

А



АНГЛИЯ
В ПАМФЛЕТЕ

АНГЛИЯ В ПАМФЛЕТЕ

АВТОПОРТРЕТ ДЖОНА БУЛЛА

«ЗРИТЕЛЬ»

ВИГИ И ТОРИ

ПОРАЖЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ ЛЮДИ

ФИЛОСОФСКИЙ ЭПИЛОГ





АНГЛИЯ В ПАМФЛЕТЕ

*Английская
публицистическая проза
начала XVIII века*

**Д. АДДИСОН
Р. СТИЛ**

**Д. АРБЕТНОТ
Д. ДЕФО
А. ПОУП
Д. СВИФТ**

Москва «Прогресс» 1987

ББК 84.4ВЛ
А 64

Составитель, автор предисловия и комментария

к. ф. н. И. О. Шайтанов

Художник

В. Е. Валериус

Редактор

А. Н. Панкова

В работе над сборником приняли участие

д. ф. н. Н. М. Демурова, д. ф. н. А. И. Старцев.

Научный консультант сборника

к. ф. н. В. Д. Рак

© Составление, предисловие, комментарий
и перевод на русский язык произведений,
кроме отмеченных в содержании *,
издательство «Прогресс», 1987 г.

А $\frac{4703000000-725}{006(01)-87}$ 77-87



кала художественных ценностей исторически очень подвижна. Любая эпоха, какой она была для себя, не совпадает с тем, какой ее видим мы, какова она для нас. Естественное несовпадение. Степень его совсем необязательно возрастает по мере удаления во времени. Мы нередко возвращаемся назад в поисках единомышленников. Забытые эпохи и явления способны возрождаться.

О растущем интересе к XVIII веку свидетельствуют сегодня не только усилия специалистов, существует и более широкий литературный резонанс. Исторический роман развил вкус к этой эпохе. В критике теперь не редкость — эссе о Г. Р. Державине, о жанре оды или о чем-то еще недавно интересном лишь для историка литературы.

Можно, разумеется, счесть, что этот интерес не является чем-то специфичным сегодня, когда слова «прошлое», «память», «история» звучат завораживающе, когда желание лучше понять и узнать ведет исследователя и писателя во все минувшие времена. Это верно. И все-таки по отношению к XVIII столетию, к его художественному мышлению у нас особый долг — непонятости, неценности: пожалуй, мы найдем не много эпох, которые в собственной художественной оценке так бы резко расходились с тем, как мы их видим.

Утверждение, которое может показаться странным. А как

же роман — разве мы невысоко ставим это основное художественное открытие эпохи (принадлежащее западноевропейской традиции, в России литературная ситуация складывалась иначе)? Однако это не только не опровергает сказанного выше, а как раз и служит лучшим для него аргументом. Для нас роман — художественная вершина эпохи, но в XVIII веке это мнение не показалось бы беспорным. А в первой его половине — лишь абсурдным.

Мы приближаем эпоху к себе, смотрим на нее в свете будущего, торопим его появление. И в этом тем более расходимся с существовавшей самооценкой, что она была отмечена эстетическим консерватизмом: приговор новому во многом зависел от того, насколько оно, новое, вписывалось в традицию, соответствовало классическим образцам.

«Роман был не только новым, что плохо само по себе, но он был признан появившимся на свет вследствие определенного литературного смешения. У него существовали некоторые претензии на родство с такими формами, как эпическая поэма и рыцарский роман, но он опускался слишком низко, чтобы черпать из журналистики, биографий, плутовских повествований и народных верований, помимо всего прочего. Его разнообразие было залогом его новизны и популярности»¹.

Однако ни новизна, ни популярность, как показывает знаток литературного быта и вкусов эпохи английский литературовед Пэт Роджерс, не могли в принципе способствовать приобретению высокого места в существовавшей эстетической иерархии. Скорее напротив — свидетельствовали против жанра.

Неуважение к нему современников, особенно в начале эпохи Просвещения, не может изменить нашего отношения. Однако мы не должны забывать этого расхождения во вкусах, чтобы исторически верно реконструировать ситуацию, внутри которой полагали, что путь к немеркнущей славе прокладывает только поэзия, осененная авторитетом Горация и Вергилия. Для нас она заслонена романом, как, впрочем, и многое из того, что не было ему враждебно в момент появления, готовило и поддерживало роман, из чего он черпал свои сюжеты, язык, характеры.

¹ P. Rogers. Grub Street. Studies in a subculture. L., 1972, p. 324.

В 1719 году вышла из печати первая часть «Робинзона Крузо», за которой — остальные романы Д. Дефо. В 1726 году — «Путешествия Гулливера». Свифт и Дефо — две личности, во многом противоположные, но их имена традиционно рядом. Имена создателей просветительского романа. И еще одна маленькая деталь биографической общности: оба опубликовали свои первые романы в 59 лет. А до этого — десятки произведений, проза в различных документальных жанрах, участие в «памфлетной войне»... Оба сложились как писатели в годы царствования королевы Анны.

«Век Анны»

Сравнительно недолгим было пребывание на престоле этого последнего монарха из рода Стюартов. Чуть более двенадцати лет: 1702—1714. Однако и до сих пор приходится слышать — «*век Анны*», как будто под этим именем скрывается целая эпоха, как будто им наполнено ее историческое бытие.

Королева между тем была личностью ничем не примечательной, даже заурядной. Современники свидетельствуют, что Анна была не глупа, но ленива и нерешительна. И к тому же упряма: она долго колебалась, ввергая своих министров в отчаяние, однако, на что-то решившись, уже не отступала. Единственной ее страстью была еда. Страстью запретной и опасной ввиду тучности королевы и ее подагры; страстью, которой она не умела сопротивляться. Лишний бифштекс причинял ей муки и на несколько дней отлучал от государственных дел.

И все-таки — «*век Анны*». Даже — «*золотой век*»!

Может быть, — так ведь случается с актерами, и театральными и историческими, — посредственного исполнителя главной роли спасительно «отыгрывали» блестящие партнеры? Не обязаны ли мы легенде о «золотом веке» «Пасторалям» и «Виндзорскому лесу» молодого и уже великого Александра Поупа? Блеском царствования — личности министров королевы: ученейшего *Оксфорда* — казалось, он способен говорить одними цитатами из римских поэтов; *великолепного Болингброка*, вершителя европейских интриг, — кто его не помнит хотя бы по пьесе Э. Скриба «*Стакан воды*»?

Министры заключили долгожданный *Утрехтский мир*

(завершивший войну за Испанское наследство), поэт воспел его, а королеве оставался еще целый год жизни — в лучах мира и славы.

После ее смерти все меняется мгновенно и удивительным образом: министры обвинены в государственной измене, вместо увлекающих интриг королевского двора — куда более прозаичные биржевые махинации, и едва минуло шесть лет, как разразилась в ранее невиданном государственном масштабе финансовая катастрофа — лопнула дутая компания Южных морей. Такое впечатление, что доигран спектакль в красивых исторических костюмах...

Но если не поддасться обаянию бутафории, театральных жестов, то разве из «века Анны» не доносятся до нас речи деловые, прозаические? Они все крепнут, опровергают выдвигаемые против них доводы и не оставляют сомнения в том, что принадлежат будущим победителям.

Побежденные вздохнут о днях доброй королевы Анны, о «золотом веке». Правда, эта метафора впервые была пущена иронически известным поэтом-пасторалистом и членом парламента от партии вигов Уильямом Уолшем. Он приветствовал новую королеву стихотворным обещанием «золотого века», который обязательно наступит, если министры ее величества научатся договариваться между собой, а Харли (он еще не стал первым министром и не удостоен титула графа Оксфорда) — держать свое слово... В общем, если поубавится *политической лжи*, искусством которой овладели лидеры обеих партий.

Наступившее царствование не оправдало пасторальных надежд в политике, а что в литературе?

Чаще о первых полутора десятилетиях XVIII века в литературе говорят скептически. Автор книги о становлении художественного мышления Дж. У. Джонсон полагает, что все самое важное (роман в первую очередь!) начинается именно с завершением царствования Анны, при ней — лишь несколько разнородных, еще не делающих погоды и не составляющих единой традиции явлений: журналы Аддисона и Стила, пастораль...¹

Иное мнение у известного специалиста по английской журналистике У. Грэма, повторяющего метафору «золотой

¹ J. W. Johnson. The formation of English neoclassical thought. Princeton (N. J.), 1967 p. 5.

век», «после которого литература никогда уже не будет в такой мере поощряться и получать покровительство власть имущих»¹. Это, конечно, преувеличение, да и критерий «покровительства» не самый верный для свидетельства о состоянии литературы. Однако понятны причины этого преувеличения и энтузиазма: никогда прежде слово так наглядно и непосредственно не вмешивалось в политическую жизнь, не воспринималось как важная сила.

Выборы в парламент, проходящие в соперничестве вигов и тори, побуждают бороться за общественное мнение — за избирателя. К нему обращались способом, испытанным уже в годы Революции, — через памфлет, возникавший по любому значительному случаю, но и это уже казалось недостаточным. Ощутили потребность в том, чтобы влияние было непрерывающимся, каждодневным: первая ежедневная газета увидела свет несколько дней спустя после восхождения Анны.

Это, конечно, совпадение, но знаменательное. И оказавшееся в кругу целого ряда других совпадений, отметивших изменение литературной ситуации на переломе двух столетий. Вот некоторые из них.

В 1700 году умирает Джон Драйден, «великий поэт малого века» — эпохи Реставрации. Он был первым во всех жанрах, поэтических и драматических, он создал критику. Его литературный авторитет был непререкаем в течение нескольких десятилетий.

В марте того же года постановкой комедии «Так поступают в свете» Уильям Конгрив не только прощается с театром, но фактически завершает весь путь «комедии Реставрации». В своем веселии не ведавшая приличий, она как будто не решается переступить порог нового века, где ей на смену почти тотчас же приходит «слезливая комедия» Р. Стила, издаലെка предвещающая еще не вошедшую в моду чувствительность.

Драйден был бы весьма удивлен, если бы узнал, что едва ли не основной литературной фигурой последовавших за его смертью десятилетий потомки сочтут Джонатана Свифта, которому он еще по первым публикациям предсказал: «Кузен Свифт, вы никогда не станете поэтом». Свифт всю жизнь писал стихи, но Поэтом в том высоком смысле, какой вкла-

¹ W. G r a h a m . English literary periodicals. N. Y., 1930, p. 19.

дывался в это слово, он не стал. В этом Драйден оказался прав, но тем более он был бы изумлен, доведись ему увидеть, что и Свифт, в которого он не поверил, и Аддисон, которого успел почтить сотрудничеством в издании Вергилия, что оба они снискают известность в свое время и славу у потомков не в качестве поэтов, а в жанрах странных, сомнительных, погруженных в сиюминутные заботы.

Падение вкуса, забвение достоинства Поэзии? Наступившая эпоха не давала повода для таких мыслей. Если что-либо и могло обеспокоить Драйдена, проживи он еще десяток лет, то не слава Поэзии, а его собственная слава, которая начала меркнуть в лучах нового имени. Едва ли старый поэт обратил внимание в кофейне Уилла, где собирался кружок его почитателей, на двенадцатилетнего мальчика. А мальчик запомнил, как он видел великого Драйдена, чьей славе он наследовал и у чьего имени похитил лестный эпитет, чтобы прибавить к собственному — Александр Поуп.

Какое странное время, когда и старый и новый путь могут привести к славе! И люди, идущие этими путями, могут оставаться друзьями, как Свифт и Поуп! Просветительский роман еще не появился, но в литературе работают его будущие создатели. Резкость и неестественность в выражении, присущая памфлету, соседствуют с изысканностью пасторали, написанной несравненным по мелодичности стихом Поупа.

Как это могло произойти? Видимо, *веротерпимость* — лозунг новой эпохи — примирила по крайней мере литературные вкусы?

О веротерпимости говорили много, что не удивительно после нескольких десятилетий гражданской войны, распри и вражды под религиозными лозунгами. За веротерпимость ратовали, за нее боролись, она становилась яблоком раздора и поводом к самым непримиримым разногласиям.

В 1700 году отдельным изданием Дефо печатает поэму «Миротворец». В согласии с ее названием и следуя своему всегдашнему призыву к веротерпимости, идет ли речь о политике, религии или, как в этот раз, о литературе, Дефо убеждает английских писателей радоваться перемирию (в войне с Францией) и не нарушать его своими дрызгами, своим тщеславием.

Ни этот его совет, ни многие другие услышаны не были. Дефо решает прибегнуть к более сильно действующему

средству: если вы не можете внять голосу разума, то, может быть, вы ужаснетесь, услышав звучащий в полную силу, не прикрытый хитроумными уловками голос безрассудства? Он пишет памфлет «Простейший способ разделаться с диссентерами» (1702) — простодушный и страшный в своем простодушии совет, как искоренить в Англии тех, кто в своей вере уклоняется от официального англиканства.

Последствия были неожиданными: совет, якобы данный от лица гонителей *диссентеров*, приняли за чистую монету, а когда мистификация разъяснилась, ярости обманутых не было предела. Возмущение достигло трона и в конце концов привело Дефо в тюрьму и к позорному столбу.

Это было одно из первых произведений на той странице истории английской литературы, где развернулись события «памфлетной войны». «Англия в памфлете!»¹ На какой-то момент английская литература оказалась во власти этого жанра, ибо в нем выразила себя история.

Начало — в Англии

Европейский XVIII век, который мы называем Эпохой Просвещения и Веком Разума, начинался в Англии. Оттуда по всей Европе распространился дух новой философии, подкрепленный примерами реальных перемен в общественном устройстве.

Границы эпохи, даже если мы связываем ее с тем или иным столетием, редко укладываются в его хронологические рамки. Мы ищем не круглых чисел с двумя нулями на конце, а знаменательные события, от которых, пусть даже с определенной долей условности, имеем право начать отсчет нового исторического времени.

Веку Разума были положены границами два революцион-

¹ Книга с таким названием, точнее, с таким подзаголовком, уже выходила: «Диктатура пустяков (Англия в памфлете)». Ее автор — Михаил Левидов. Дата выпуска — 1923 г. Она написана о современной ей английской беллетристике, увиденной глазами памфлетиста. Значит, слова в подзаголовке стоят в другом значении, чем в названии нашего сборника. И все-таки переключка названий не случайна, она напоминает о том, что М. Левидов — автор прекрасного, неоднократно издававшегося биографического повествования о Свифте. Может быть, и к нему эти слова пришли как воспоминание о той эпохе.

ных события. Век вступает в силу после того, как доигран последний, уже далеко не героический акт революции английской, и завершается с началом Великой французской революции: 1688—1789. Преимущество такой датировки в ее «европейском масштабе», которым, по словам К. Маркса, отмечены эти две революции.

Разделенные целым столетием, бывшим одновременно и целой эпохой, они не могут не быть различными, несмотря на единый для них исторический характер — буржуазный. Революция во Франции ощущалась как необходимость и была предсказана в теории просветительской мысли. Она должна была стать воплощением вековой мечты о разумном устройстве общества и государства, достойном разумного человека.

Английская революция совершалась неподготовленной. Потому-то каждый ее шаг представлялся неожиданным, и казалось, особенно на первых порах, что побед боялись не меньше, чем поражений: неясными были последствия, пугающей — ответственность каждого нового решения. Парламент, поднявший страну против Карла I, собирался не столько с силами, сколько с духом, чтобы победить. Отсюда колебания в ходе событий, которые не стали исторически необратимыми, зависели подчас от обстоятельств достаточно случайных, и в результате, даже спустя десять лет после казни короля, после одержанной победы, оказывается возможным добровольный отказ от ее плодов. В начале 1660 года, призванный парламентом, возвращается из эмиграции Карл II, сын казненного короля; начинается Реставрация Стюартов.

И все повторяется еще раз, убеждая в исторической неизбежности происходящего теперь в измененных условиях и с другим составом участников. В 1688 году, боясь повторения участи отца, Яков II (брат уже умершего Карла) бежит во Францию после того, как парламент единодушным решением лидеров обеих партий направляет приглашение Вильгельму Оранскому, правителю Нидерландов, занять английский трон. Так совершилась «славная революция», или «классовый компромисс» окрепшей буржуазии с земельной аристократией, буржуазии, уже готовой выдвинуть свою партию или, во всяком случае, такую партию, которая была бы способна отстаивать ее интересы в предстоящем переделе власти.

Кто в нем участвовал? Король и парламент. Время даже для мечтаний о неограниченной власти монарха в Англии прошло. Первым же своим законом — Биллем о правах (1689) Вильгельм III обещает не обходиться без парламента и не отступать от его законных установлений. Эти еще достаточно общие слова закрепляются в последующие годы рядом парламентских постановлений, итог которым подведен «Актом о престолонаследии» (1701) или, согласно полному его названию, «Актом о дальнейшем ограничении власти монарха и наилучшей охране прав и свобод подданного».

Эти годы называют годами становления английской конституции¹, которая и на сегодняшний день имеет вид не единого свода законов, а суммы парламентских актов, принятых на протяжении трех веков. Так английское государственное устройство обрело вид конституционной, или парламентской, монархии, определяемой фразой: *«Король царствует, но не правит»*.

Центр политической власти именно в эти годы перемещается из дворца в парламент, который далеко не был единодушным. В самом парламенте и за его пределами противоречие экономических, религиозных, политических интересов обернулось борьбой двух партий: виги и тори (подробнее о них см. 490—491). В обеих партиях много высшей и чиновной аристократии, вначале сходящейся в политических группах по религиозным и семейным традициям. Важным было то, на кого опиралась верхушка. Первоначально несменяемой и организующей характеристикой партий была религиозная ориентация. К веротерпимым вигам подключались набирающие силу финансисты Сити, купцы богатых компаний, склонные к более радикальным формам протестантской веры, чем официальное англиканство, и оказывавшиеся диссидентами. В противовес этому складывалась партийная позиция-тори, основную силу которых составили сельские джентльмены, живущие на доходы с поместий, — джентри, в основном ревностные приверженцы Церкви Англии (как называли англиканскую церковь).

Партийная вражда, расколовшая страну, воспринималась многими как великое зло, ибо она лишала Англию единства. Давая согласие занять трон, Вильгельм III думал, что ему

¹ Britain after the Glorious Revolution (Ed. by G. Holmes). L., 1969, p. 39.

обеспечена такая же единодушная поддержка в стране, каким было приглашение, а значит, с прежними разногласиями и партиями покончено. Он был неприятно удивлен, когда понял, что ошибся. В первом же своем парламенте в январе 1689 года он столкнулся и с тори, и с вигами. Причем ни тех, ни других нельзя было по старинке считать «партией двора».

Король не чувствовал за собой поддержки ни страны, ни парламента, который, даже возведя его на трон, только спустя семь лет, и то под большим нажимом, принял формулировку о его законности — ведь законным оставался бежавший во Францию Яков II! Вильгельму — постоянный удар по его гордости — давали почувствовать сомнительность его прав, а заодно и то, что он здесь чужой по вере и национальности, ибо он не *чистокровный англичанин*.

Самым трудно переносимым для короля следствием такого к нему отношения в Англии были ограничения, сковывающие размах его военных действий: ему отказывали в субсидиях, урезали численность армии, требовали всей полноты отчета. А делом жизни для Вильгельма было — сокрушить Францию, этот оплот католической силы в Европе. Может быть, только ради этого он, герой и защитник протестантского мира, и взшел на столь для него неудобный английский трон.

В 1697 году, после заключения Рисвикского мира, в войне и вовсе наступил перерыв. Было ясно, что это лишь временная пауза, перемирие, ибо главные вопросы не решены и войны не избежать.

Поскольку Вильгельм никак не мог считаться у англичан *королем-патриотом*, воплощением духа нации, то ему нужно было найти какие-то иные веские причины, связывающие его интересы с интересами *страны*. Под этим словом традиционно подразумевали тех, у кого в руках — земля, а теперь начали добавлять и тех, у кого — деньги.

Особенно насущной такого рода связь стала в 1694 году после смерти соправительницы Вильгельма, его супруги Марии Стюарт, чья фамильная принадлежность для многих искушала чужеродность короля. И вот королевы не стало. Обстоятельство, которое могло иметь самые непредвиденные последствия, не будь Вильгельм столь предусмотрителен и не обеспечить себя государственным долгом, предоставленным ему именно с этой целью созданным *Английским банком*. Теперь смена правления для многих, особенно в партии

вигов, чьим детищем был банк, обернулась бы денежными потерями вместо выгодных процентов.

Первоначальный национальный английский долг выражался суммой достаточно скромной — 1 млн. 200 тыс. фунтов, но уже спустя два десятилетия он возрос в пятьдесят раз. Эти небывалые по тем временам суммы были потрачены в ходе войны за Испанское наследство.

К ней и готовился Вильгельм. О том, что войны не миновать, знали давно, в течение всех тех лет и десятилетий, пока в Испании медленно умирал Карл II, прозванный Страдальцем. Наследников у него не было, и трон испанских Габсбургов становился предметом многих вожделений, тем более что династический повод для претензий имели сразу несколько европейских принцев (см. династическую таблицу в прим., с. 464).

К войне готовились, заключали сепаратные договоры, которые тут же опрокидывались какой-нибудь очередной смертью малолетнего или престарелого члена того или иного царствующего дома, что нарушало и без того неустойчивый баланс. В результате давно ожидаемая смерть Габсбурга в ноябре 1700 года застала Европу врасплох. Для Англии ситуация предельно осложнялась еще и тем, что в течение года один за другим умирают последний оставшийся в живых сын принцессы Анны Стюарт герцог Глостер — 12 июня 1701 г.; король в изгнании Яков II — 16 сентября 1701 г.; и, наконец, сам король Вильгельм — 8 марта 1702 г.

После смерти наследного герцога Глостера спешно закрепляются конституционные завоевания принятым парламентом в июне 1701 г. Актом о престолонаследии, предусматривающим переход трона после смерти Вильгельма III к Анне, а в дальнейшем — в том случае, если она не оставит наследников, — к правителю Ганновера Георгу, сыну Софьи — внучки Якова I (см. табл., с. 464). Поскольку не нашлось наследника среди *чистокровных англичан*, то смену династии предпочитают смене вероисповедания, обеспечивая Англии короля-протестанта.

Меры были приняты как нельзя более своевременно. Людовик XIV после смерти Якова открыто признает законным наследником английского трона его сына — Джеймса¹,

¹ По-английски имена отца и сына звучат совершенно одинаково, но в русской традиции, установившейся с тех времен, когда

который впоследствии до своей смерти в 1766 г. не оставит надежд, постоянством своих претензий заслужив имя Старого Претендента. Он не раз будет угрожать вторжением в Англию и впервые — несмотря на свой юный, тринадцатилетний, возраст — именно сейчас, когда вопрос о престолонаследии стал так остро.

Те несколько месяцев жизни, которые оставались Вильгельму, он мог вкушать наконец всю полноту поддержки в подготовке к войне, в которой прежде ему было отказано. В парламенте побеждают виги, символизирующие патриотизм и умело играющие на том, что подозревают своих противников тори в излишней привязанности к Стюартам, в том числе и к удаленным из страны.

И все-таки неожиданная смерть короля Вильгельма (после падения с лошади на охоте и простуды) вызвала у многих вздох облегчения: Англия вступала в войну, предводительствуемая не голландским принцем, а законной английской королевой, исповедующей англиканскую веру. Более чем столетие — вплоть до королевы Виктории — трон в Англии не будет так популярен, как в этот момент.

Отсюда и «век Анны» и «золотой век»!

Англичане

В своей тронной речи перед парламентом Анна несколько раз повторила, что она *англичанка*. Это было ее преимуществом перед предшественником, и она его не забывала оттенять, вызывая бурю восторга у подданных. Высочайше одобренный национальный энтузиазм не оставлял надежды на то, что умиротворяющий голос Дефо в «Чистокровном англичанине» (где он напоминал о сложных истоках английской нации, недоумевая — чем здесь гордиться?) будет услышан. И во времена короля Вильгельма, в поддержку которому был написан памфлет, мнение Дефо шло вразрез с общим умонастроением, теперь же оно тонуло в патриотических кликах, предвещавших войну. Дефо, впрочем, не сдавался и именно этим памфлетом открыл в 1703 году двухтомное собрание своих произведений (вышедшее, когда автор, отстояв у

дипломатическая документация велась на латыни, имя короля произносится как Яков (Иаков). Аналогично этому Чарлз, вступив на трон, становится Карлом.

позорного столба, пребывал в Ньюгетской тюрьме за «Диссентеров»).

В первые десятилетия XVIII века — период, завершающий формирование основных европейских наций, Англия обзаводится национальными гимнами: официальным («Боже, храни короля...») и неофициальным («Правь, Британия, морями...»); придает окончательный облик своему государственному флагу и даже обретает эмблему-символ *Джона Булла* (от англ. «бык»). Одухотворяемая чувством патриотизма, все время подогреваемого, Англия, приняв образ Джона Булла, яростно вырвалась на поля европейской войны. Войны, которую впоследствии историки не раз назовут торговой и колониальной, а по ее масштабу — мировой, на что имеют право: интересы воюющих сторон вовлечены на трех континентах.

Война, казалось объединившая нацию в едином патриотическом порыве против традиционного врага — Франции, скоро станет поводом для разъединения и серьезнейших внутренних разногласий. За войну ратовали виги, и они ведут ее, богатея на процентах с национального долга. А тори — сельские сквайры, быстро трезвеют под грузом новых налогов. К тому же Анна не любит вигов: по семейной традиции Стюартов, ей ближе тори, которые не у власти в момент ее прихода, но они скоро обретут ее.

Далеко не сразу тори решаются возвысить голос против войны. Вначале они отыгрывают также в высшей степени патриотический козырь — чистоту веры. Что ей угрожает? Вигская веротерпимость. Появление Анны на престоле стало знаком для не утихавшего на всем протяжении ее царствования торийского возгласа: «*Церковь в опасности!*» Одной из первых жертв и стал Дефо, попытавшийся плыть против течения.

Война за Испанское наследство окончательно прояснила противоположность позиций вигов и тори как расхождение денежного и земельного интереса. Кто из двух партий мог теперь претендовать на то, чтобы считаться «партией страны» (первоначально ею считались виги, а тори — «партией двора»)?

В изменившихся условиях, когда общественное мнение — реальная сила, претендуют и те и другие. Ни одна из партий не могла пренебречь тем, чтобы не присвоить себе такой важный голос, как голос всего народа. В действитель-

ности он не учитывался при подсчете голосования. Эта метафора может читаться буквально, ибо из шести миллионов населения страны избирательным правом обладали приблизительно двести пятьдесят тысяч, из которых подавляющее большинство голосов распределялось по «гнилым» и «карманным» местечкам, где подкуп или просто слово лендлорда решали исход.

Процент избирателей невелик, но нельзя забывать и того, что сами выборы были новшеством, принципиально изменившим систему политической власти. Еще совсем недавно, а в остальных странах и вплоть до того самого времени, все решалось одним голосом — голосом монарха. Король был символом единства нации, уже несколько устаревшим в Англии. Потребовалась новая символика: и официальная — для чувства национальной гордости, и допускающая снижение — так ли уж во всем безупречен чистокровный англичанин?

Образ Джона Булла возник под пером сатирика — личного врача королевы Анны и личного друга Свифта Джона Арбетнота. Тори в этот момент (1712) уже открыто ратовали за мир, преодолевая возмущение вигов и сопротивление союзников. Самый веский аргумент против войны — хватит нам усердствовать ради чужих интересов. Вот почему Джон Булл изображен честным, но простодушным и увлекающимся — качества, не всегда позволяющие ему верно оценить собственную выгоду. Английской нации досталась доля иронии, смягченная снисхождением и добродушием. Со сходным чувством и Джозеф Аддисон свидетельствует в «Зрителе» убеждение своего героя Роджера де Каверли, что один англичанин всегда стоит двух французов.

Время для более трезвых и менее снисходительных оценок еще не пришло. Чтобы увидеть объективно, нужно было взглянуть со стороны, как сумеет Свифт, но позже — из Ирландии. Пока что все захвачены борьбой, вовлечены в «памфлетную войну», отстаивая верность партийным пристрастиям и лозунгу данного момента. Противоположность политических убеждений расколола литературу: Аддисон и Стил — с вигами, Свифт и Дефо (оба в прошлом — виги) — основные публицисты правительства тори.

Назвав эти имена, трудно поверить, что все создаваемое прославленными писателями было политической однодневкой. Конечно, нет. У литературы своя роль, которую тогда

понимали по Горацию: доставлять удовольствие и поучать. Мнение античного авторитета подкреплено новейшим — Джоном Локком, самым влиятельным философом эпохи. Убеждение в том, что человек разумен, не было открытием Локка, но одно дело верить в разум, другое — показать его в работе, в процессе познания. Локк это и сделал в «Опыте о человеческом разумении» (публ. 1690), убедив современников в том, что способность к пониманию в человеке — от природы, но овладение ею — от воспитания, которое только и делает человека истинно разумным.

Литература поучает и воспитывает. С этой целью Аддисон затевает самый знаменитый из всех тогдашних журналов — «Зритель» (1711—1714). Ее же имеет в виду Дефо, верящий, что может образовать из биржевого жулика и безграмотного лавочника *совершенного торговца*. И даже Свифт, проповеди предпочитающий обличение, обращается к первому министру Оксфорду с планом Академии для усовершенствования английского языка. В разных ролях выступают авторы: один собеседует, другой наставляет, третий проповедует, — отсюда и многообразие тона в памфлетах и эссе, но у каждого перед глазами — его будущий читатель.

Или даже точнее во множественном числе — читатели. Они разные, их возможную реакцию пытаются угадать, направить встречным аргументом, их самих представить и понять. Литература, стремясь к обобщениям, создает символический образ нации, но ей же предстоит показать, из чего складывается это осознаваемое единство. Эмблема начинает расслаиваться, разворачивается в портретную галерею. В ней есть лица конкретные, исторические, заставляющие вспомнить, что предшествующий XVII век оставил ряд памятников мемуарной прозы и утвердил жанр «характера». Переведенный на страницы свифтовского памфлета, этот жанр шаржирует оригинал, карикатурно узнаваемый. Таковы портреты Томаса Уортона и герцога Мальборо.

Портреты подлинных лиц (в случае с Уортоном имя вынесено в название — изображение подписано!), но в то же время и обобщения: современный политик, современный военачальник... В эссе Аддисона и Стила, где возможность сатиры «на лица» отменена с самого начала, узнаваемы не люди, а типы, хотя и представленные с подробностью мелких и дорогих для читателя черт. Об этом первая же фраза, с которой представляется *Зритель* в первом номере: «Я подме-

чал, что читатель не очень охотно читает книгу, пока не узнает, каков автор — темен лицом или светел, низок или великодушен, кроток или гневлив, женат или холост и прочее в том же духе, ибо иначе толком и не разберешь, к чему этот автор клонит».

Подробная разработка характера — черта нового стиля и мышления, оставшаяся чуждой, например, русским переводчикам XVIII века. Им в английских журналах оказались ближе эссе, представленные в форме «восточных повестей, видений и аллегорий. Вообще в России XVIII века проявлялся преимущественный интерес к нравоучительному аспекту английской журналистики, а не к сатирическому»¹. Вот почему многие эссе, отобранные для настоящего издания, ранее на русский язык не переводились.

В английской литературе характерность, даже резко и подробно представленная, не была совершенной новостью. Достаточно вспомнить комедии Бена Джонсона, его «теорию гуморов», согласно которой в каждом человеке есть черта преобладающая и отличительная. Собирателем таких отличительных черточек выступает и Зритель, от лица которого пишутся эссе и который признается: «Лично я охочусь за чудаками...» (№ 108).

Чудачества и странности он собирает, но не только — он ищет им объяснения: вот уже славный Уимбл, вызвавший приведенное выше признание, оказывается не просто чудаком, но распространенным типом чудака, разделяющим «участь многих младших братьев знатного рода...». Он обречен на бесполезность, которую только подчеркивает его услужливость по мелочам, ибо старшие скорее стерпят, чтобы он голодал, «чем разрешат ему заняться торговлей или иной недостойной деятельностью». Уимбл у Аддисона — один из эскизов к портрету сельского сквайра.

У этого портрета много граней. Иногда при создании его Аддисон с трудом сохраняет маску добродушия, а в журнале

¹ Ю. Д. Левин. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века. — В кн.: Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы (под ред. М. П. Алексеева). — Л., 1967, с. 79. Работа, представляющая собой характерный для данного автора обстоятельный анализ русских переводов английской публицистики, снабжена полной библиографией.

«Фригольдер» и открыто ее снимает, говоря об «охотниках за лисицами». Но ведь из их числа и милейший — таким он представлен — Роджер де Каверли! Он мил не только своими упрямыми странностями, но прежде всего добрым сердцем, в конце концов допускающим веротерпимость и позволяющим ему оставаться в друзьях с сэром Эндрю Торгменом. Их миролюбивый спор — наглядный аргумент в защиту веротерпимости.

Характерология аддисоновских эссе, памфлетов Свифта, поучений Дефо — это введение в литературу персонажей, новых не только для литературы, но и для самой английской действительности, их первоначальное открытие. В документальных жанрах накапливаются пока что разрозненные, но поражающие своей моментальной точностью портретные наброски для того большого полотна, группового портрета, на котором будет представлено английское общество в романе.

От пристрастия к факту, от многообразия частных, как бы впервые увиденных, — к обобщению и синтезу. Таков путь просветительской мысли. Ее обычный путь.

Единство противоположностей

Оно обнаруживает себя с необычайной ясностью в любой сфере просветительской мысли и действительности. Крайности обострены, но надежда на их примирение не утрачена. Раннепросветительское мировоззрение еще не знает непримиримых противоречий, точнее, не хочет признавать их таковыми.

Буквально во всем просветительская мысль поражает своей готовностью, допуская многообразие единичного, разместить его в пределах разумно устроенного целого; допуская своеволие индивидуального, уравновесить его всеобщей упорядоченностью.

Рождающаяся эстетика вводит категорию вкуса, обосновывающую право на разность индивидуальных оценок: «О вкусах не спорят». И в то же время от Хатчесона до Юма верят, что это не повлечет за собой субъективистского произвола, ибо все многообразие вкусов может быть приведено к единству в пределах разумного суждения. Раз человек разумен, разве люди не могут договориться?

Убежденность в возможности договора еще сильнее той разобщенности, в которой убеждают наблюдение и опыт. Пусть современный человек и общество дали Гоббсу основание заключить: «человек человеку — волк», но с точки зрения просветительской разумности философ заблуждался, ибо не понял уравнивающей тенденции, обращаемой, по выражению Мандевиля, « пороки частных лиц » в « благо для общества ».

Индивидуальность вкусов примиряется в разумности суждения; своекорыстный интерес — во всеобщем благе; дух национального патриотизма — в ощущении каждым себя Гражданином Мира... Век, открывающийся «мировой» войной, несмотря ни на что, завершается оптимистическими лозунгами Великой французской революции, в числе которых и такой: «Братство».

Центростремительные силы кажутся преобладающими над центробежными, и залогом тому — *торговля*: «Мировая торговля и мировой рынок открывают в XVI столетии мировую историю капитала»¹. И с тех пор не существует истории отдельно взятых государств иначе, как в качестве страниц и глав «*всемирной истории*».

К. Маркс относит начало процесса «всемирной истории» к XVI веку. Сами участники этого процесса начинают догадываться, что он идет, естественно, несколько позже, чем он начался. Едва ли не первыми были ранние английские экономисты XVII столетия, заложившие основы для будущей классической политэкономии. Один из них — Д. Норт — писал: «Что касается торговли, то весь мир представляет как бы одну нацию и один народ...»

Эта мысль вдохновляла. Ее мы находим выраженной с тем же пафосом и гораздо позже — в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, где о торговле сказано: «В общем смысле под этим словом понимают взаимное общение... Неисповедимое провидение, создав природу и царящее в ней разнообразие, пожелало поставить этим людей во взаимную зависимость». Взаимная зависимость — это еще достаточно неопределенно: чем люди связаны — разумной договоренностью или непримиримой враждебностью своих интересов? Об этом немало спорили — в спорах прошел весь век.

«Братство», «взаимная зависимость», «мировая история»,

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 157.

а за всем этим как единая основа — «мировой рынок», обменом и торговлей связавший народ. В XVIII веке эта экономическая проза не смущала, от нее не отворачивалась даже самая высокая поэзия. «Моря будут соединять земли, которые они разделяют...» — с пафосом обещал А. Поуп в поэме «Виндзорский лес», торжественно славящий заключение уже близкого мира. Этой строке предшествовало описание кораблей, товаров, людей прибывших со всех концов света.

А в «Зрителе» (№ 69) — гимн бирже, превращающей «нашу столицу в рынок всея Земли. Признаюсь, биржа кажется мне высшим советом, где представлены все маломальски стоящие нации».

В общем, та картина, о которой другой поэт спустя столетие скажет: «Все флаги в гости будут к нам...» Пушкинская строка, и это не случайно, — из поэмы о XVIII веке, о том, как было «прорублено окно» в Европу...

Мы помним эту метафору и связываем ее с обстоятельствами именно русской, национальной истории. А она имеет и гораздо более широкий смысл: «окна» рубились повсюду, по всей Европе, складывавшейся и осознававшей себя в качестве новой исторической общности.

Россия заново открывала для себя Европу, но и Европа отвечала заинтересованным взглядом. Знаменитая фраза Н. М. Карамзина — «Россия есть Европа», — фраза как о новой России, так и о новой Европе, вдруг раздвинувшей свои границы далеко на восток.

Английская публицистика тому свидетельство. В эссе, памфлетах нет-нет да и мелькают упоминания то еще по-старому — о полумифической Московии, то по-новому — о России, о Петре, о войне, которую он так дерзко затеял с северным героем — Карлом XII... А Петра в Англии запомнили со времен Великого посольства, с которым он здесь побывал в 1698 году.

И вот уже Свифт предвещает превращение России в цветущую империю, Дефо пишет книгу о Петре, Томсон славит его в своей поэме «Времена года»... Россия пожинает плоды Полтавской победы, об участии своего кузена в которой считает не лишним приврать английский Хлестаков — персонаж одного из эссе в журнале «Зритель» (№ 136). Историческое любопытство кажется Аддисону принявшим настолько опасные размеры, что он обращает к читателю укоризнен-

ный вопрос-напоминание: «...представляю читателю решить, не лучше ли познавать самого себя, чем узнавать, что происходит в Московии или в Польше...» (№ 10).

События Северной войны, которую ведут Россия со Швецией, не проходят мимо внимания англичан. Дефо еще в 1704 году оповещает своего патрона Роберта Харли о состоянии дел в Польше и пишет о ней отдельный трактат. Этих событий не заслоняет даже та европейская война, в которую уже вступила Англия, — и не только не заслоняет, но заставляет всматриваться в них особенно пристально: различая возможных противников и союзников, рассчитывая, какие силы могут быть оттянуты Северной войной с полей войны за Испанское наследство.

Да, первоначально всеобщность исторической связи являет себя не всеобщим торговым процветанием, а всеобщей враждой — не в образе Флоры, а в образе Беллоны, если воспользоваться мифологическими эмблемами в духе времени, преданного античной культуре.

«Золотой век» процветания торговли и промышленности обещан всем народам. Историческая реальность дала совершенно иное направление «всемирной истории»: Европа, идущая впереди по пути цивилизации, то есть Просвещения, претендует на мировое господство и добивается его, создав ряд империй. И самую мощную среди них — Британскую. Это тоже XVIII век.

Век, мечтающий о веротерпимости: в Англии она даже закреплена законодательно — в 1689 году, то есть именно в том году, когда появляется первое из «Писем о веротерпимости» Джона Локка, написанное сразу же по возвращении из эмиграции. Влиятельнейший философ ее проповедует, закон о ней принят, но не для всех — люди далеко не всех вероисповеданий попадают под ее действие или могут наслаждаться ею лишь украдкой, выискивая лазейки в законе.

Как часто, сокрушается Аддисон, люди проявляют «безжалостность и жестокость, ревнуя об общем благе» (№ 125).

На словах все хотели одного — договориться. Ради этого вступали в спор. Спор оборачивался полемикой, в ходе которой выяснялось, что склонность к опровержению и обвинению преобладала над умением слушать и обсуждать, то есть над способностью к диалогу.

Это замечали наиболее проницательные современники. Философ Шефтсбери (внук создателя партии вигов и воспи-

танник Локка) с сожалением признается в своей философской рапсодии «Моралисты» (1709): «...мы, современные люди, в таком преизбытке создаем исследования, опыты, но столь скудны на диалоги — форма, которая некогда считалась самым наилучшим и благопристойным способом обсуждения наиболее серьезных материй». И далее — «...в этой философской Академии, образец которой я должен преподнести вам, существует известный путь вопросов и сомнений, далеко не отвечающих духу нашей эпохи. Теперь любят немедленно выбирать свою сторону»¹.

По крайней мере на словах все соглашались, что непримиримость полемики, дух раскола — худшее зло современной политики. Александр Поуп с его афористическим даром сказать то, что думают все, но сказать так хорошо, как никто этого не умел сделать, нашел формулу гордо провозглашенной им собственной умеренности и независимости: «...для тори — виг, у вигов числюсь тори».

Это на словах. А на деле — всеобщее участие в событиях «памфлетной войны».

«Памфлетная война»

Не все произведения, собранные в нашем сборнике, можно считать памфлетами, но все имеют отношение к обстоятельствам «памфлетной войны». И что такое памфлет? Есть ли жесткие правила или узаконенные обычаи для этого жанра?

Он очень свободен по форме и может явиться в любом облике.

Он может принять форму трактата, разъясняющего, опровергающего, подчас с необычайной резкостью, прямо раскрывая свою остросатирическую природу. «Гражданский дух вигов» Свифта — безусловно, памфлет. Но также памфлет и послуживший ему поводом «Кризис» Стила, написанный совсем не резко, напротив, — высокопарно, с пафосом, что уже по тону неприемлемо для Свифта.

Памфлет — и сатирическая аллегория Арбетнота о Джоне Булле — образ широко известный, хотя текст и впервые предстает на русском языке. И также памфлет, вовсе не включенный в сборник, «Ключ к «Локону» Поупа: включая

¹ Ш е ф т с б е р и. Эстетические опыты. М., 1975, с. 82—83.

его, нужно было бы рассчитывать на читателя, прекрасно помнящего поэму Поупа «Похищение локона», ключ к которой автор издевательски вкладывает в руки недоброжелателю, везде склонному усматривать порочащие автора политические высказывания и вновь — о войне за Испанское наследство.

Темы одни и те же у разных авторов, потому что по главным поводам и кипят страсти.

Памфлет — это не форма, а роль, которую должно сыграть произведение, рассчитанное как выпад, как удар. Впрочем, участвовать в полемике можно и самим неучастием в ней — своей подчеркнутой невовлеченностью, объективностью, веротерпимостью... Разве не веротерпимость — один из предметов спора? Можно высказаться за ту или иную позицию, но можно просто занять ее. Это аргумент наиболее наглядный и убедительный. Он избран Аддисоном в журнале «Зритель».

Выходящий в разгар «памфлетной войны», он отличается от предшествующего «Болтуна» (где главенствующую роль играл Стил, а Аддисон примкнул позже, только участвовал) и от более поздних журналов тех же авторов своим ровным тоном, своей созерцательностью, своей философской позицией неучастия. «Зритель» — метафора, распространенная в этот век ньютоновой «Оптики», в век разговоров о новом зрении, о пользе философского созерцания и наблюдения. Сатира в журнале допускается, и широко, но сатира не «на лица», а на нравы: «...бичевать порок, не задевая людей» (№ 34).

Его тон — тон доброжелательного собеседника, человека думающего, чувствующего, остро подмечающего и в полном смысле достойного, не в пример бранчливым, злоязычным памфлетистам с Граб-стрит...

Граб-стрит — символ низкопробной журналистики, место обитания поденных писак. Отделить себя от Граб-стрит спешат все политические писатели-публицисты той эпохи. Для вига Аддисона и для тори Свифта, джентльменов, людей общества, мысль о том, что хотя бы жанр, хотя бы род занятий связывает их с этими грязными писаками, мучительна.

Но что делать? — когда начинается борьба за общественное мнение, вслед корифеям, исполненным талантов и учеными, вступает хор, состоящий на грошовом жалованье,

которое ему за что-то платят. Мысль о нем неприятна, но он полезен.

Различие культурное — и само по себе, и как знак социального различия — стена, переступить через которую еще труднее, чем через политические разногласия. Свифт и Аддисон с сожалением видят, как рушится их дружба под грузом взаимных политических претензий, но между публицистами одной партии — Свифтом и Дефо — никакой близости и быть не может. Свифт даже имени Дефо нарочито не хочет запомнить, ибо он, как равный, как джентльмен в своем кругу, обедает с теми министрами, у кого Дефо — посетитель с черного хода, журналист на жалованье, выполняющий указания. Конечно, Дефо ни по таланту, ни по значению не чета обычному наемному писака, но ведь он родился (и умрет) где-то на Граб-стрит, сын торговца, побывал в тюрьме — социальные предрассудки, через которые еще только учились переступать.

Свифт может переиначивать, пародировать высокую поэзию, заставляя ее служить целям своей сатиры, но от этого в его сознании она не теряет своей высоты и достоинства. Для Свифта его памфлеты находятся в гораздо более близком родстве пасторалям Поупа, чем писаниям, хотя и памфлетным, исходящим с Граб-стрит, ибо он может позволить себе опускаться на нижние ступени литературной иерархии, не забывая ни о самой иерархии, ни о том, что ее вершина — поэзия. Античная цитата, реминисценция, риторический прием — все это не случайно, все это с напоминанием о своей культурной принадлежности.

Его союз с Поупом, с Геем, создавшими кружок под коллективным псевдонимом Мартина Скриблеруса, — это не только союз писателей, но союз жанров, союз культуры, объединившей силы для своей защиты и выступающей под маской одного из тех (Скриблерус — писака), кто ей угрожает.

И все-таки Свифту не избежать участия в изданиях сомнительных. Он вынужден давать задания тем самым презираемым писакам, ибо его дело — направлять пропаганду правительства тори, пришедшего к власти в 1710 году, как, вероятно, дело Аддисона организовывать оппозиционную пропаганду вигов.

Для просветительской философии, нравственно-этической по своему складу, мерило всему — человек, и только по

нему можно судить о том, совершился прогресс или он все еще остается неисполненным обещанием. Стал ли человек разумнее и лучше? На этот вопрос отвечали по-разному. Свифт — отрицательно, и переубедить его не могли никакие технические и научные чудеса нового века, над которыми впервые он посмеялся задолго до того, как была написана издевательская третья часть «Путешествий Гулливера».

И новая система с ее выборами не способствовала улучшению человеческой породы, а лишь плодила политическую ложь, создавала новый повод для обмана и подкупа. О том, что не только лендлорды влиянием на арендаторов и мелких соседей могут определять ход выборов, но с той же целью используются деньги — сила *новых людей*, писал Дефо. Он осуждал, надеясь, что может исправить пороки.

Смешное легкоеверие, с точки зрения Свифта. Сохранилось несколько упоминаний им Дефо — без имени и всегда неприязненно: «безграмотный писака», «комично-поучающий тон»... Что пользы поучать тех, кого уместно обличить и уничтожить! В своей сатире Свифт многолик: от пророческого гнева до холодно-расчетливого исчисления пороков и бед, от них проистекающих. Именно так — с презрением — написан памфлет о *Томасе Уортоне*.

Фигура, позволяющая говорить не только о личности, но и о вигском духе, Уортон — один из вождей, один из тех, кто возродил партию после уничтожения ее Карлом II. В прошлом — ее великие мученики за убеждения: Шефтсбери, Рассел, Сидни... «Старые *виги*» — к ним могли быть отнесены эти слова. Новые на них мало похожи, хотя они тоже гордятся своей стойкостью и верностью, но верностью чему?

Публицисты-виги прославляли Уортона за преданность партии, во главе которой он стоял так долго, при всех сменах ее курса. Он был верен не принципам, не делу, а имени, за которым несколько сподвижников, прозванных совсем уж современно — Хунта. Под этим именем вошли в историю пять лидеров партии вигов, и в их числе — Томас Уортон.

У каждого из них своя роль, свои способности, обращенные для достижения общего успеха. Один — Чарлз Монтегю, граф Халифакс, изощренный финансист, создатель Английского банка; другой — Джон Сомерс, юрист, законник, лорд-президент в момент, когда Хунта у власти; Томас Уортон — политик, организатор...

По тону странным контрастом памфлету Свифта звучат

панегирики своему вождю писателей-вигов, в том числе Аддисона, Стила, но мы узнаем Уортона — это тот же человек. Удивительна его энергия! Он может спать четыре часа в сутки, скакать в карете куда угодно и когда угодно, чтобы очутиться в нужный момент в нужном месте, произнести речь, пожать столько рук, сколько к нему протянется, назвать каждого избирателя по имени, выпить с ним кружку эля и не забыть поинтересоваться, родила ли его жена и «вырос ли Джеймс из коротких штанишек».

Портрет, от которого исходит дух, известный в Европе как «дух американизма», хотя до создания Соединенных Штатов еще шесть десятилетий.

Таков Томас Уортон, восхищающий одних, а у других вызывающий чувство отвращения не только к себе, но и ко всей той политической системе, для которой он создан или которая создана для него. Человек, ни разу в жизни (по собственным словам) не сдержавший обещания, но, предупреждает Свифт, завершая памфлет, «прошу не смешивать простое обещание со сделкой, ибо в последнем случае он, конечно, будет соблюдать условия, если они сулят ему выгоды...».

«Такое характер его светлости...»

Таков характер вига в изображении Свифта, портретиста далеко не беспристрастного. Характер, чуждый чувству чести, лишенный чувства верности, кроме тех случаев, когда сама верность оборачивается худшим пороком — приверженностью корыстолюбивым интересам своей секты.

Виги обвиняли Свифта в том, что он изменил им. Свифт отвечал обвинением в предубежденности, пристрастности, за которую они, новые виги, выдают верность несуществующим принципам. О себе же он всегда говорил как о «старом виге»: выходило, что не он изменил партии, а партия изменила своему первоначальному курсу.

Объективность требует признать, что пока будущему автору «Гулливера» не приходят на ум злые сравнения враждующих сторон с остроконечниками и тупоконечниками, высококаблучниками и низкокаблучниками. Сравнения, убеждающие, что все существующие пристрастия яйца выеденного не стоят. Пока что он принимает происходящее всерьез.

В этом все более беспощадном обмене ударами были ли правые и виноватые? Победители и побежденные?

Пока Анна на троне, тори не знают поражений. Они приходят к власти, удерживают ее в самые критические для себя моменты (если вмешательство королевы необходимо, она вмешивается), они заключают мир, проводят ужесточающие законы против диссентеров... И ни одна победа не упрочивает их положения. Они обречены.

«Река, текущая к морю, может быть так взволнована ветром, что кажется устремленной в противоположную сторону. Так и в правление Анны, глядя на поверхность течения, мы думаем, что оно подчинено тори. Однако в исторической перспективе возгласы «Церковь в опасности!», протесты против временного единоверия, Акт о расколе, процесс Сэчверелла и другие события кажутся лишь порывами ветра, дуящего против течения. Когда после смерти Анны эти порывы улеглись, то стало совершенно ясно, что и все время течение было подчинено духу вигской веротерпимости»¹.

Обо всех исторических фактах, вовлеченных метафорой Х. Н. Фэрчайлда, подробнее речь идет в комментарии. Сейчас же скажем, что по течению исторических событий действительно плыли виги. Под знаменами тори собираются все те, кто хотел бы обратить его вспять. Единство через общность отрицания — всегда единство пестрое и непрочное: временное содружество попутчиков, единодушно отказавшихся следовать в указанном направлении, но очень скоро выяснивших, что им — в разные стороны. Не может Свифт долго рассчитывать на поддержку и искать этой поддержки у полуграмотного, фанатичного сквайра из Октябрьского клуба только потому, что приход к власти вигов, новых денежных людей, для него равнозначен признанию Грабстрит храмом поэзии.

Страсти накаляются по мере того, как становится все более очевидным вывод — конец эпохи близок. Все более слабеющая Анна может испустить дух в любую минуту, и тогда трон — в руках у Георга, курфюрста Ганноверского, с которым тори заранее и безнадежно испортили отношения.

Предпринимать ли решительные действия? Совершать ли переворот в пользу Претендента Стюарта? Или искать ком-

¹ H. N. Fairchild. *Religious friends in English poetry*, v. 1. 1700—1740: Protestantism and the cult of sentiment. N. Y., 1949, p. 96.

промисса с новой династией и с вигами?

Мнения множатся, сталкиваются, опрокидывая и без того неустойчивое равновесие внутри самой партии тори. Ее крах довершен окончательным разрывом между Болингброком и Оксфордом, чью отставку королева успела подписать буквально на смертном одре.

Колеблются и публицисты, переходя от отчаянных нападок к тону нарочито сдержанному, претендующему на объективное спокойствие. Свифт дописывает историю последних лет, участником которой он был, и делает это в более примирительном тоне, чем в «Гражданском духе вигов». Его история, однако, запоздает и увидит свет гораздо позже, не оказывая влияния ни на судьбу ее автора, ни на судьбу тех политиков, чьего падения она не смогла бы предотвратить. Апологией занят и Дефо — в «Призыве к Чести и Справедливости», где пытается снять обвинения с себя и с Оксфорда...

* * *

С приходом Георга I Оксфорд — в Тауэре, Болингброк — в эмиграции, где он окончательно скомпрометировал себя, приняв тот же пост государственного секретаря, только теперь при дворе Претендента. Спустя десять лет ему разрешат вернуться, не занимая места в парламенте. Он попытается играть роль лидера внепарламентской оппозиции, но скоро поймет, что его время прошло. Политик уступит место историку, который, конечно, не может забыть о политике, не может не попытаться хотя бы оправдать его действий или объяснить их стремлением к высокой цели. Она определена уже в названии трактата: «Идея о короле-патриоте», для которого «нет более святого долга, чем защита и сохранение свободы... конституций»¹.

Независимо от того, хороша ли, плоха ли «Идея» Болингброка, она неисполнима! Что мечтать об аристократической монархии, о сохранении традиций, когда власть — у новых людей, а во главе правительства — Роберт Уолпол, с которым когда-то, на заре века, Болингброк одновременно появился в парламенте. Два подающих надежды два-

¹ Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978, с. 216.

дцатилетних честолюбца! На вершинах успеха побывал каждый, но не каждый сумел там удержаться. Теперь одному — вся полнота власти, синоним которой — богатство (дурная слава не пугает, что бы там ни болтали, в своих комедиях Гей и Филдинг, очень прозрачно намекая на склонность первого министра к мздоимству и казнокрадству); другому — воспоминания и утопии.

Политическую часть утопии Болингброк пишет сам, философскую предоставляет Поупу. В беседах с опальным политиком и умнейшим собеседником рождался план «Опыта о человеке».

Странное время, если вдуматься, избрал Поуп для книги такого рода. И странно, что именно он ее автор. Ничего подобного ранее он не писал. Предшествующее десятилетие принесло ему шумную известность сатирика, особенно после того, как он вновь встретился с приехавшим из Ирландии Свифтом. До этого они не виделись более десяти лет. Результатом встречи было издание «Путешествий Гулливера», привезенных с собой одним, и написание злейшей сатиры на современных литераторов — «Тупициады», другим. И вот, как будто ужаснувшись того, насколько верным изображением современного человека оказались йэжу его друга и его собственные тупицы, Поуп решает сказать о человеке вообще.

«Опытом о человеке» и восхищались, и нападали на него. Один из поводов — обвинение в компилятивности: мол, ни одной своей мысли, все заемное — от Лукреция до Локка и Шефтсбери, усвоенное в пересказе Болингброка. Но, если вдуматься, такое ли уж это страшное обвинение поэту, чей талант — в умении незабываемо сформулировать, вдохновенно пересказать? Теорией Поуп не создавал, но, облекая известное звучным, чеканным стихом, он придавал силу мысли, подкреплял ее поэтическими аргументами.

И еще в одном сказалась оригинальность Поупа и ценность его поэмы — в полноте синтеза. Идеи враждебные, суждения, отменяющие друг друга и представляющие человека то венцом творенья, то горстью праха, то равным богу, то пресмыкающимся, подобно червю (отсюда и державинская строка!), — все это он пытается примирить сложностью человеческой природы. Сложность, в которой — его величие.

«Опыт о человеке» явился своеобразной антологией опти-

мистической философии Просвещения, а отчасти уже и памятником ей, по крайней мере в самой Англии. Просветительский оптимизм иногда представляется прекрасодушным, особенно если он вспоминается через вольтеровскую пародию («Кандид»), где ученик Лейбница и Шефтсбери — Панглос, невзирая на то, где он и что с ним, упорно твердит: «Все прекрасно в прекраснейшем из миров».

Пародия, как всегда, преувеличивает: в данном случае — готовность принять мир таким, каков он есть. Просветители, даже самые оптимистичные из них, не были слепы. Вопрос расхождения между оптимистом и пессимистом, по сути дела, был не в том, соответствует ли действительность предписанному ей нравственному идеалу, — все сходились, что она от него далека, но есть ли возможность направить ее развитие в сторону идеала? Возможен ли прогресс и в какой мере он уже совершается?

При обсуждении этот вопрос принимал форму более нравственную и метафизическую, отвечающую складу просветительской мысли. Все соглашались с тем, что зло в мире обильно и многообразно, но от бога оно или от человека? Быть может, то, что кажется злом отдельному человеку, есть лишь необходимое условие для всеобщего блага? Если признать, что зло — творение человеческих рук (точнее — его страстей и заблуждений) или что оно лишь кажется таковым разуму, не умеющему возвыситься до мирового порядка, тогда можно признать, что общий закон прекрасен и справедлив, тогда можно надеяться.

Оптимистическая мысль Просвещения, последний раз так ярко вспыхнувшая в Англии, еще сохраняла всю прелесть новизны для остальной Европы. Ею восхищен Вольтер (ему еще не пришло время писать пародии!), впитывающий ее в беседах с англичанами, среди которых умнейшие — Болингброк и Поуп.

Ее подхватывает Россия, где «Опыт о человеке» переводит Н. Поповский, любимый ученик М. В. Ломоносова. Опубликованный в 1757 году, этот перевод становится первой книгой, изданной в только что открытой типографии при Московском университете, дает повод для первого столкновения светского писателя с церковной цензурой, которой он не хочет уступить. В переводе Н. Поповского «Опыт» переиздавался четырежды и трижды переводился прозой!

Эта книга связывает бурное начало эпохи Просвещения в

«Столетье безумно и мудро...»

Англии с дальнейшим ходом просветительской мысли, рождавшейся в трудных спорах, дарившей надеждой и разочарованием. Она заполнила собою все столетие.

Столетие споров и столетие убежденности в том, что договориться необходимо, что договориться возможно — а как же иначе, если человек действительно разумен! Столетие, на протяжении которого пробовали следовать путем Разума, веротерпимости и одновременно с редкой пристрастностью оспаривали друг у друга право вывести на этот путь, будто бы единственный и известный кому-то одному.

Знаменитая поэтическая формула, которой Н. А. Радищев подводил итог «осьмнадцатому столетию», не только эмоционально, но исторически верна: *«столетье безумно и мудро...»* С равным правом, с такой же исчерпывающей полнотой она не может быть переадресована какому-либо другому веку.

И. Шайтанов

I

АВТОПОРТРЕТ ДЖОНА БУЛЛА

Дэниел Дефо

ЧИСТОКРОВНЫЙ АНГЛИЧАНИН

(Фрагмент)



К нам *Юлий Цезарь Рим* привел сначала,
А вместе с ним *Ломбардца, Грека, Галла*,
Короче — всех, о ком мы говорим
Со ссылками на тот же Древний Рим.
Потом сюда пришли, никем не званы,
С *Энгистом — Саксы*, а со *Свеном — Даны*,
А из земли *Ирландской — Пикт* и *Скотт*,
С *Вильгельмом* же — *Норманны* в свой черед.

Потомство, брошенное этим сбродом,
Перемешалось с коренным народом,
С исконными *Британцами*, придав
Сынам Уэллса их черты и нрав.

Как результат смешенья всякой Рвани
И *мы* возникли, то бишь — *Англичане*,
У пришлецов заимствовав сполна
Обычай, Язык и Имена,
И Речь свою украсили при этом
Таким невытравимым *Шиболетом*,
Что по нему ты опознаешь вмиг
Саксонско-Римско-Датский наш язык.

Нашествие Норманнов показало,
Что их Главарь — мерзавец, коих мало:
Своим *Стрелкам* раздал он города,

Автопортрет Джона Булла



Дэниел Дефо

Не обладая ими никогда;
Заполучив Английскую Корону,
Голландцев этих он приблизил к трону.
Хоть *Давенант* весьма ученый муж,
Все, что он пишет о Возврате, — чушь:
Своим солдатам сей Иноплеменник
Платил Землей за неменьем Денег.
Так свой захватнический Легион
Хозяином народа сделал он,
И никакой Парламент был не в силах
Страну избавить от Господ служилых.
И *Лордом* стал его Легионер,
Не отличаясь тонкостью манер;
И *Перепись* тех лет — тому пример.

Нет ничего престижнее для Знати,
Чем от *Французов* из *Нормандской* рати
С их *Незаконнорожденным* Главой
Производить весь Род старинный свой:
Вам с гордостью покажут панцирь, или
Двуручный меч, покрытый слоем пыли,
Которые те *якобы* носили;
А также приведут как аргумент
Какой-нибудь старинный Документ,
Но ни один не скажет, кто из оных
Чем отличился в этих легионах:
Здесь Документы немые, вроде рыб, —
Настолько затуманен Прототип.

А потому чрезвычайно странен
Мне этот *Чистокровный Англичанин*;
Скакун *Арабский* мог бы дать скорей
Отчет о чистоте своих кровей.
Мы знаем из Истории, что Званье
Дворянству принесло *Завоеванье*,
Но, черт возьми, как, за *какой* пробел
Француз стать Англичанином успел?

И как мы можем презирать *Голландцев*
И всех новоприбывших иностранцев,
Когда и сами мы произошли
От самых подлых сыновей земли, —
От *Скоттов* вероломнейших и *Бриттов*,
От шайки воров, трутней и бандитов,
Которые насильничали тут,

Автопортрет Джона Булла

Чиня Разбой, Смертоубийства, Блуд,
От рыжекудрых *Викингов* и *Данов*,
Чье семя узнаешь, едва лишь глянув, —
От *Смеси* коих и родился клан
Всех наших *Чистокровных Англичан*.

1701 г.

Джон Арбетнот

ИСТОРИЯ ДЖОНА БУЛЛА

Часть I

Закон есть бездонная яма, примером чему может служить тяжба между лордом Страттом, Джоном Буллом, Николасом Фрогом и Луи Бабуном, каковые потратили на нее все, чем владели.

Глава 1: о том, как учинилась тяжба



Мне нет нужды рассказывать вам о крупной ссоре, учинившейся в нашей округе вслед за кончиной покойного лорда Стратта, и о том, как приходский священник вместе с хитрецом-стряпчим подбили старика отписать все свое имение двоюродному братцу Филипу Бабуну, к величайшему разочарованию другого его кузена — эсквайра Саута. Кое-кто поговаривал даже, будто священник этот и стряпчий подделали завещание, за что получили от семьи Бабунов изрядный куш. Как бы там ни было, но факт остается фактом: и титул и имение отошли Филипу Бабуну.

Все вы знаете, что многие годы лорды Стратты владели огромными превосходно возделанными земельными угодьями, лесами и водами, а также углем, солью, оловом, медью, железом и прочими богатствами недр земных; но, к несчастью, семья эта попала под власть своих управляющих, поставщиков и слуг более низкого разбора, из-за которых обременила себя большими долгами. Сверх того, по причине неоторимой привычки к роскошной жизни, пришлось им заложить лучшие свои угодья. Доподлинно известно, что долги лорда Стратта, жившего лет двести назад, по счетам мясников и булочников по сей день еще не заплачены.

Как только Филип Бабун вступил во владение имуще-

Автопортрет Джона Булла



Джон Арбетнот

ством, поставщики покойного лорда Стратта явились, как водится в таких случаях, пожелать новому хозяину многих радостей, а заодно и оговорить, какие будут заказы. Главными среди сих купцов были двое: торговец сукном Джон Булл и торговец льняным товаром Ник Фрог. Испокон веку Буллы и Фроги, молвили они лорду Стратту, снабжали лордов Страттов тканым товаром; купцы они честные и справедливые, счета всегда составляли на совесть, а их светлости, лорды Стратты, живя широко и беспечно, не имели надобности марать пальцы чернилами или о перья и монеты, так что и его светлость вполне может полагаться на их купцову честность: они будут служить ему верой и правдой, как служили его предшественникам. Молодой лорд, казалось бы, принял их слова благожелательно и отпустил с видимым расположением, заверив, что не намерен изменять благородным уложениям своих предшественников.

Джон Арбетнот

Глава 2: о том, как Булл и Фрог
заподозрили лорда Стратта
в намерении передать заказы
своему деду Луи Бабуну



К несчастью для мира в нашей округе, у юного лорда Стратта был дед — старый пройдоха, или (как говорят в подобных случаях шотландцы) продувная бестия, которого по всей справедливости не грех назвать мастером на любые дела. Сегодня его видели за прилавком торгующим тонким сукном, завтра меряющим льняные товары, а на следующий день отпускающим шелка и бархаты; знал он толк и в головных уборах, лентах, перчатках, веерах и кружевах, в которых разбирался до тонкостей; сам Чарлз Матер не мог бы лучше подобрать игрушку, чтобы ублажить малолетнего лорда; да и продажей тесьмы, подвязок, башмачных пряжек сей Луи Бабун тоже не брезговал. Случалось, заперев лавку, шел он по соседям обучать за полкроны танцам молодых людей и девиц. И таким манером набирал он большие богатства, которые расточал на рапиры, тесаки, дубинки, на каких сам с наслаждением дрался, да еще втянул в эти игры всю округу. Неудивительно, скажете вы, что Булл и Фрог отнеслись к этому малому с подозрением.

«Вполне вероятно, — сказал Буллу Фрог, — что старый мошенник приберет к рукам все дела молодого лорда; сверх того, он, ракалия, раздобылся преотменными товарами и будет отпускать их по таким дешевым ценам, каких другие купцы не могут на них ставить. Суди сам, что станется с нами и нашими семьями: либо нам с голоду пухнуть, либо идти к старому Бабуну в разносчики. А посему, любезный сосед, сдастся мне, надобно нам написать молодому лорду письмо, дабы толком знать, что за всем этим кроется».

Автопортрет Джона Булла

*Глава 3, в которой представлена копия
с письма к лорду Стратту
от Булла и Фрога*

 илорд,

Вашей светлости, полагаю я, известно, что Буллы и Фроги с незапамятных времен поставляли лордам Страттам всевозможные тканые товары; а поелику нам не без причины встало на мысль, что Ваша светлость возымела намерение впредь покупать оные у деда Вашего Луи Бабуна, то сим покорнейше извещаем Вашу светлость, что таковое намерение приведет в расстройство достаток наших семей, живших и благоденствовавших милостью лордов Страттов. Посему полагаем мы необходимым довести до сведения Вашей светлости, что Вам надлежит представить нам, а также наследникам нашим и правопреемникам твердые гарантии в том, что Вы не станете пользоваться услугами помянутого Луи Бабуна. В противном же случае Вы вынудите нас принять надлежащие меры и обратиться к Закону для взыскания с Вас 20 000 фунтов стерлингов старого долга, описать все принадлежащее Вам имущество и наложить на него арест, что, учитывая обстоятельства Вашей светлости, причинит Вам значительные трудности, из коих Вам нелегко будет выпутаться. Ввиду всего вышесказанного мы надеемся, что, хорошенько вникнув в создавшееся положение, Вы согласитесь удовлетворить желания тех, кто навсегда останутся

Вашей светлости любящие друзья
Джон Булл
Ник. Фрог».

Кое-кто среди друзей Джона Булла советовал ему обойтись с юным лордом помягче, но Джон, естественно, предпочитал крутые меры. Невозможно даже передать, в какое изумление ввергло лорда Стратта сие письмо; наличных денег у него почти не водилось, а обратиться в суд, или заплачивать старые долги, или сыскать надежного поручителя он не

имел никакой возможности и посему обещал, дав на том честное слово, не менять поставщиков. Однако делу это не помогло, ибо Булл и Фрог уже не сомневались, что старый Луи непременно юного лорда облапошит.

*Глава 4: о том, как Булл и Фрог
обратились в суд с иском на лорда Стратта,
а остальные торговцы
к ним в том присоединились*



се попытки прийти к соглашению ни к чему не привели, рознь между лордом Страттом и его поставщиками усиливалась, а тут еще за границей разнесся слух, будто лорд Стратт заказал новые ливреи у старого Луи Бабуна. Дошла сия новость и до ушей миссис Булл, и, когда Джон Булл явился домой, он застал свое семейство в необычайном волнении. Миссис Булл, да будет вам известно, легко впадала в ярость.

«Ах ты пьянчуга, — накинулась она на Джона Булла, — околачиваешься по пивным и трактирам, убиваешь время на бильярды и кегли, прохлаждаешься в кукольном театре, разъезжаешь по улицам в золоченой карете, а до меня и чад наших, мал мала меньше, тебе, беспутному, и дела нет. Разве ты не слышал, что лорд Стратт отрядил своих слуг купить ливреи в лавке Луи Бабуна? Разве ты не видишь, что эта старая лиса отбивает у тебя покупателей и каждодневно выживает из собственного дела? А ты сидишь чурбан чурбаном, засунув руки в карманы. Стыд и позор! Проснись, мужек, самое время действовать. А то я и сама найду на этого негодяя средства, пока он еще не пустил меня по миру!»

Вы, надо думать, понимаете, что тут не обошлось без Фрога, который сначала хорошенько раззадорил миссис Булл, а потом и сам заговорил с нею в лад. Не мешкая ни минутой более, помчались они, Булл и Фрог, за советом к искусственным в законах правоведам, и те единодушно заве-

рили обоих в справедливом и, без сомнения, успешном исходе их судебного дела.

Как говорилось выше, старый Луи Бабун был в своем роде мастер на всякие дела, что вызывало, не исключая Булла с Фрогом, зависть прочих торговцев. Прослышав о ссоре, они с превеликой радостью ухватились за случай участвовать в ней против Луи Бабуна при условии, что судебные издержки возьмут на себя Булл и Фрог. Даже брехун Нед-трубочист из Савойи и Том-мусорщик — португалец заявили свои претензии, и дело поступило в руки стряпчего Хамфри Хокуса. Стряпчий составил исковое заявление, в котором значилось, «что Булла и Фрогу принадлежит несомненная прерогатива по праву давности поставлять лордам Страттам тканые товары; что прерогатива эта подтверждается имеющимися в наличии давними контрактами; что Луи Бабун занялся торговлей красным товаром, не отслужив положенного срока ученичества и не внеся в гильдию должной суммы; что ткани у него все не годные для продажи, без надлежащего клейма; что сам он вовсе не купец, а буян и шаромыжник, кочующий по сельским ярмаркам, где подбивает честной народ драться на кулачках или дубинках ради приза; и еще многое в том же духе.

*Глава 5, в которой дается истинная характеристика
Джону Буллу, Николасу Фрогу
и стряпчему Хокусу*



Для лучшего понимания нижеследующей истории желательно, чтобы читатель знал, каковы ее герои. Джон Булл, в основном прямой и честный малый, был горяч, самонадеян и весьма непостоянного нрава. Он нимало не боялся сразиться со старым Луи хоть на рапирах, хоть на саблях, хоть на дубинках; но при всем том легко заводил ссоры и с лучшими друзьями, особенно если те

пытались им руководить. Зато лестью можно было вертеть им, как малым ребенком. Расположение духа у Джона сильно зависело от погоды: настроение падало и подымалось вместе с барометром. Был он весьма сообразителен и отменно понимал в делах, но вряд ли сыскался бы на свете человек, который вел бы счета столь беспечно, как он, и которого столько бы обманывали его компаньоны, приказчики и слуги. А все потому, что был Джон добрый собутыльник, любил выпить и повеселиться; по правде сказать, никто в мире не держал дома хлебосольнее и не тратил деньги щедрее, чем Джон. Обычной честной торговлей нажил он порядком денегат и мог бы их для себя сберечь, если бы не это злосчастное судебное дело.

Николас Фрог был ловкий, хитрый пролаза, полная противоположность Джону почти во всех чертах; скопидом и скряга, он усердно присматривал за своим домом; морил голодом брюхо, но набивал карманы; не спускал и фартинга ни шалопаю-слуге, ни негодяю-должнику. Никакими рассеяниями не прельщался, разве только художеством верхненемецких живописцев и *Leger de main*¹, в каковых ни один человек на свете Николаса не превзошел, хотя, надобно признать, купцом Николаса был добросовестным, а свои огромные богатства приобрел честным путем.

Хокус был старый выжига-стряпчий, и если чего-то сам не знал, то держал на этот случай клерков, преотличных малых, которые на судебных делах собаку съели. Был сей Хокус большой охотник до денег, умел красно говорить, не скупился на добрые слова и никогда не выходил из себя. Уж он-то не был «хуже невернаго», ибо дом свой снабжал сполна, хотя из всех своих присных больше всего любил самого себя. Бог дал ему сварливую жену, и, если верить соседям, она держала его под каблуком. В суде он, в отличие от других стряпчих, сам почти никогда не выступал, а предпочитал давать показания *per test. conduct.*² Словом, лучшего стряпчего нельзя было и сыскать.

¹ Ловкостью рук (*фр.*).

² *Per testimonium conductorum* — по очевидным сведениям (*лат.*).

*Глава 6, в которой повествуется о различных успехах
в ведении судебного дела*



Закон — что бездонная яма, ненасытная утроба, гарпия, пожирающая всех и вся. Поначалу законники тешили Джона надеждой, что его тяжба продлится не более года, от силы два, и что еще до этого срока он без усилий вернет себе свои торговые права. Однако прошло долгих десять лет, а Хокус все еще тащился с его делом по лабиринтам закона и всевозможным судам, хотя ни в сноровке, ни в изворотливости у него недостатка не было, да и Джон, по правде сказать, не давал делу хиреть: сыпал золотыми, чтобы подкормить судейских, нанять свидетелей и подкупить присяжных. Лорд Стратт проигрывал во всех инстанциях, не получив ни одного решения в свою пользу; и Джону все время обещали, что уже в следующий-то раз будет принят окончательный вердикт, но, увы! этот окончательный вердикт, счастливое завершение дела, оказался подобным заколдованному острову: чем ближе Джон к нему подходил, тем дальше тот от него отодвигался. Возникали все новые процессы по новым пунктам, расследовались новые неясности и новые обстоятельства — словом, законники редко расстаются с доходным делом, пока не съедят всю устрицу, а клиентам оставляют раковину. Все наличные деньги Джона, все долги, числящиеся по счетным книгам, залого и закладные пошли в карманы законникам; потом пришлось Джону уже занимать под банковский капитал, под акции Ост-Индской компании, а потом уж и фермы — то одну, то другую — продавать с молотка. Наконец, решились прибегнуть к такой уловке: объявить право на наследство эсквайра Саута и тем самым доказать, что завещание подделано, а потому лишить лорда Стратта всего имения. Тут законникам опять открылось непочатое поле деятельности, и дело запуталось и осложнилось как никогда. Джон бесновался все больше и больше и, если где встречал Страттовых слуг, тотчас срывал с них одежду, так что им частенько приходилось возвращаться домой нагими — без башмаков,

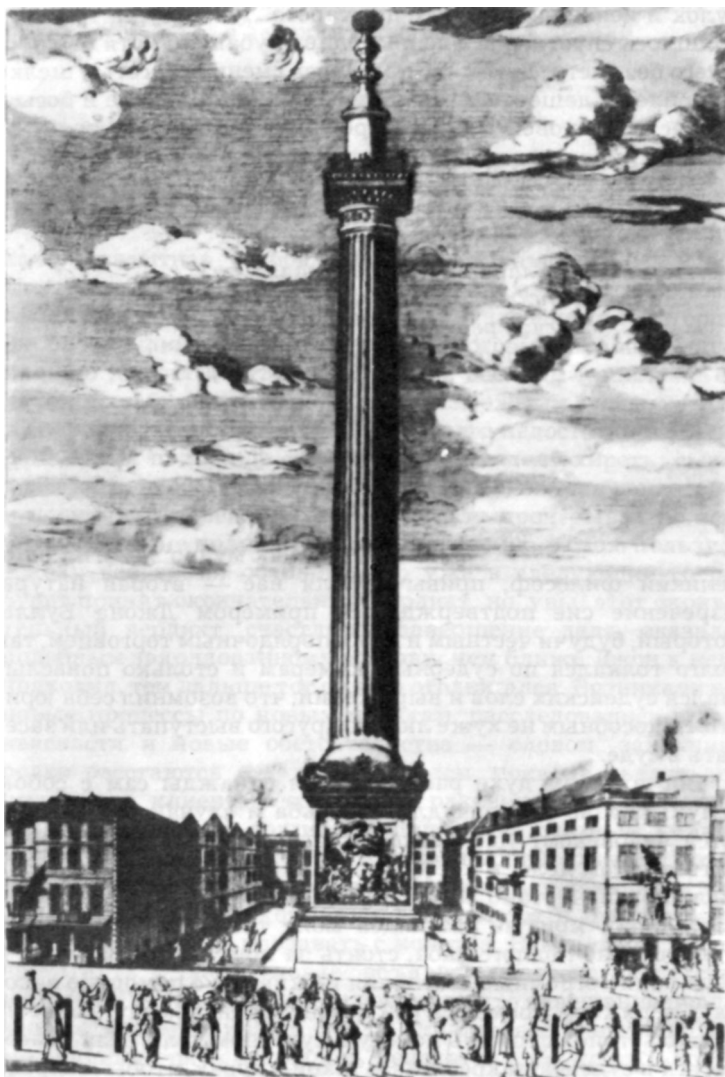
чулок и исподнего. Что же до старого Луи Бабуна, то и ему пришлось спустить все до последней рубашки, хотя было их у него без счету. Детям его пришлось сменить богатые шелка на дойлевы дешевые ткани, слуги ходили в тряпье и босые, а вместо здоровой пищи потребляли обрезки да требуху. Словом, никто на этом деле не выиграл, кроме судейских.

*Глава 7, повествующая о том,
как Джон Булл настолько увлекся своими успехами,
что решил бросить торговлю
и податься в законники*



Как мудро заметил один великий философ, привычка для нас — вторая натура. Изречение сие подтверждается примером Джона Булла, который, будучи честным и добропорядочным торговцем, так долго толкался по судебным камерам и столько понаслышался судейских слов и выражений, что возомнил себя юристом, способным не хуже любого другого выступать или заседать в суде.

Вот в каком духе рассуждал он однажды сам с собою вслух: «Разве не причудливо судьба и случай распоряжаются человеком? Как редко выпадает ему радость упражняться в том деле, к коему назначен он природой! Разве не было предначертано мне идти в законоискусники? Меж тем наставники мои, не разглядев моих талантов, определили меня, словно подлого раба, стоять за прилавком. Бог мой! А ведь какие огромные состояния наживают с помощью закона! Сверх того, промысел сей к лицу джентльмену: разве не удовольствие одержать победу в судебном деле? Или красоваться в судейском кресле? Не такой я дурак, чтобы и впредь влачить свои дни, торгуя красным товаром! Юристом я рожден, и быть мне. А учиться ни в какие лета не поздно». И вот стал Джон корпеть над каталогом ученых слов, выучив их столько, сколько вполне хватило, чтобы вызвать из ада



Памятник, воздвигнутый в Лондоне (в Сити),
отстроенном после великого пожара 1666 г.

самого дьявола. Он сыпал ими, точно ненароком, в любых компаниях, а особенно в кофейнях, так что соседи-торговцы начали избегать его общества, почитая человеком, повредившимся в уме. Вместо того чтобы поинтересоваться делами Блэквелл-холла, ценами на сукна, шерсть и шелка, он беспрестанно толковал об исковых заявлениях, судебных решениях, ордерах на арест, апелляциях, аксиденциях, резолюциях, виндикационных приказах, приостановлении решения нижестоящей инстанции, истребовании дела вышестоящей инстанцией, исках о возмещении убытков и издержках, злоупотреблении вверенным имуществом, нарушении владения, предписаниях и полномочиях, полных и частичных. Суесловие это стало мишенью для шуток ученых юристов, тем не менее Хокус со всей братией поощряли Джона в его фантазиях, уверяя, что у него к юриспруденции большой талант и что он-де, без сомнения, со временем будет на этом деле зашибать большие деньги и возместит все свои издержки, а если выучится судопроизводству, то наверняка возвысится до чина лорда Верховного судьи. Советов же честных друзей и соседей Джон и слушать не хотел, полагая, что они исходят от людей бесталанных, низкого звания, никчемных торгашей. Он полагал, что куда больше чести добиться положительного судебного решения, нежели продать целую штуку тонкого сукна. Что же касается до Николаса Фрога, он, по правде говоря, вел себя гораздо осмотрительнее: тщательно следя за тем, как велось судебное дело, отнюдь не пренебрегал своим повседневным промыслом, а успевал в урочный час побывать и в суде, и в лавке. [...]

Часть II

Джон Булл приходит в разум

*Глава I: доказательство, представленное миссис Булл
в защиту всенепрерывной обязанности жены
наставлять мужу рога
в случае его тирании, неверности или недееспособности.
Полный ответ
на проповедь некоего ученого богослова
против прелюбодеяния*



е проходило и дня, чтобы Джон не обнаруживал новых свидетельств неверности и злых умыслов своей покойной жены. Однажды, перебирая ее бюро, он среди прочих бумаг вытащил на свет следующее сочинение:

«Совершенно очевидно, что в основу брачного союза положен первоначальный контракт, согласно которому жена отказывает данное ей по закону природы право *Concubitus vagus*¹ в пользу своего мужа; муж же приобретает в собственность все ее потомство. Но, как отсюда следует, обязательство сие является взаимным, и если одна сторона нарушает контракт, то он перестает связывать и другую. Далее, там, где существует право, необходимо существует и сила, которая предназначена оное защищать, а нарушителей оно наказывать. Таковой силой, по моему убеждению, является первоначальное право, или, точнее говоря, всенепрерывная обязанность жены наставлять в означенных случаях мужу рога. Ни одна жена не может быть связанной законом, на который не давала согласия. Всякое управление делами дома искони возложено на мужа и жену с передачей

¹ Избирательного совокупления (*лат.*).

исполнительной власти мужу при гарантии общих привилегий со стороны закона и разума. Однако следует ли отсюда заключить, что передача исполнительной власти мужу лишает жену ее законной доли в управлении, а в нем ее наисущественнейшей части — права наставлять мужу рога? Или что у нее не остается иных средств воздействия, кроме как *Preces et Lacrymae*¹? Не менее шаткими выглядят аргументы, почерпнутые из общего значения понятий «муж» и «жена». Слово «муж» выражает разную степень полновластия в зависимости от нравов и обычаев, принятых в различных климатах и странах. У некоторых восточных народов оно обозначает тирана, который волен распоряжаться жизнью и смертью жены. В Турции то же слово обозначает деспотического повелителя, во власти которого навечно поместить жену в заточение. В Италии муж пользуется правом употребить яд и замок. В таких же странах, как Англия, Франция и Голландия, слово «муж» имеет совсем иное значение, подразумевая свободное и равное с женой состояние, обеспечивающее ей право наставлять ему рога, взимать деньги «на булавки» и получать отдельное содержание. Следственно, аргументы, почерпнутые из наименований «муж» и «жена», произвольны и ни в коей мере не пригодны служить обоснованием тиранической доктрины об абсолютном безграничном целомудрии и супружеской верности.

Все призывы к целомудрию жен правомерны лишь для обыденных случаев, да и то, естественно, при соблюдении трех условий: дееспособности, справедливости и верности мужа. Что же до безграничной, безусловной супружеской верности в женщине, то благоразумные мужчины вряд ли когда-либо могли на это уповать. И не бесчестье ли для церкви, когда ей приписывают доктрины, одобряющие притеснения?

Доктрина же об исконном праве жены наставлять мужу рога находится в полном соответствии с законами природы, стоящими выше всех законов человеческих, в доказательство чего осмелюсь призвать в свидетели всех без изъятия жен. К великой чести жен английских, они никогда не отступались от сего наисущественнейшего пункта, и, хотя в прежние века прозябали во мраке и власти предрассудков, тем не

¹ Мольбы и слезы (*лат.*).

менее сознание сего права, видимо, столь глубоко отпечата-лось в их мозгу, что ничто не могло уже его стереть.

Утверждать — каков бы ни был предлог — противозаконность прелюбодеяния все равно, что рисовать брак в самом непривлекательном свете, чернить необходимые средства для продолжения рода. Да и возможно ли предположить, чтобы и впрямь были приняты законы, разрушающие саму конечную цель супружества — воспроизведение человечества! Я потому называю сии средства необходимыми, что во многих случаях никаких иных не остается. А подобная доктрина лишь порочит честь благородных семейств и чинит беспорядок в установлении права на королевства, титулы и имения, ибо, признав незаконными действия, в результате которых эти права возникли, надобно и все остальное, на них воздвигнутое, также объявить таковыми; но поскольку последнее абсурдно, то и первое, надо полагать, того же толка. В чем причина, что ныне вся Европа стонет под бременем жестокой и разорительной войны, как не в деспотическом обычае некоего народа и мелочной щепетильности вздорной королевы, не пожелавшей исполнить всенепременной обязанности наставить мужу рога, чем, возможно, дала бы королевству наследника, а разногласий о престолонаследии позволила бы избежать. Таковы последствия узости принципов, исповедуемых нашим священством, согласно которым не должно нам «делать зло, чтобы вышло добро».

Поборники всенепременного права и *Jus Divinum*¹ супружества в душе все как один только благосклонны к повесам и охотникам до замужних женщин, ибо, нарушив подлинно законные основы брака и заменив оные деспотическими принципами, чего добьемся мы, кроме того, что место тайных и мирных измен заступят умыкания и побег.

Из всего сказанного нельзя не заключить о несурзности доктрины, провозглашаемой сим мятежным, уязвленным, необузданным, бестолковым и безнравственным проповедником, который утверждает, будто главной гарантией супружества и столпом, на коем зиждется счастье в браке, является вера жены в необходимость соблюдать абсолютную безусловную верность супружескому ложу. Сим дерзостным утверждением подрывает он корень, расшатывает фунда-

¹ Божественного права (*лат.*).

мент и сокрушает основы, на которых возводится счастье супружеского состояния. Что же до некоторых намеков на личности, пущенных им в своей проповеди, то хотелось бы знать, кто сии *распутные жены*, кто эти высокопоставленные леди, коих он столь дерзко поносит. Впрочем, и без него яснее ясного, на кого нацелены его клеветы, за каковые достоин он позорного столба, а то и более сурового наказания.

В подтверждение нашей доктрины о всенепременной обязанности ясен наставлять мужу рога могли бы мы сослаться на пример мудрейших жен всех веков и народов, каковые, пользуясь означенным средством, спасли род мужа от гибели и забвения из-за отсутствия потомства. Но выше нами сказанное дает достаточно оснований, дабы сего чересчур возомнившего о себе проповедника примерно наказать».

Глава 2: две великие партии жен —
Мужеверные и Шляки



чение о целомудрии и верности ясен было безоговорочно принято всеми мужьями, кои, разъехавшись по стране, стали принуждать жен подписывать некую бумагу, в которой выражались негодование и отвращение по поводу нечестивого учения миссис Булл о всенепременной обязанности ясен наставлять мужьям рога. Одни жены подчинялись беспрекословно, другие протестовали, отказываясь расстаться со своим исконным правом, что привело к созданию среди них двух великих партий — *Мужеверных* и *Шляк*. Однако приходится признать, что различие между ними было скорее номинальное, нежели по существу: *Мужеверные*, случалось, иногда злоупотребляли свободами, а те, кого именовали *Шляками*, нередко вели себя примерно. Тогда же увидел свет хитроумный трактат под названием «Совет мужьям», в коем их призывали не слишком доверять женам, признавшим учение о безграничной супружеской верности, а напротив, не боясь самим пренебре-

гать семейным долгом, следить в оба за поведением жены. Вместе с тем там говорилось, что лучшей гарантией безопасности мужа является мощный организм, хорошее обращение с женой и умение удержать ее от искушений, а также что многие мужья, излишне полагаясь на общие заверения, сильно от того пострадали, примером чему служит история одного недалекого и беспечного мужа, который, поверив в действенность помянутых гарантий, проглядел жену и сам остался ни с чем.

*Глава 3: подробная запись беседы,
имевшей место между миссис Булл
и Доном Диего Дизмалло*



Дон Диего. Возможно ли, любезная кузина, что вы, позабыв высокие принципы семьи, из коей родом, нарушили слово, данное трем наичестнейшим и наидобрейшим на свете джентльменам — эсквайру Сауту, Фрогу и Хокусу, которые пожертвовали собственными интересами ради ваших? Ведь это низко — воспользоваться их простодушием и доверчивостью, а потом бросить в беде.

Миссис Булл. А я так скажу, что это по их милости семья оказалась в бедственном положении, так что у нас едва набирается денег, когда надо на рынок сходить, а на слово нам и на полпенни никто ничего не дает. Хорош гусь этот ваш распрекрасный эсквайр Саут! Муж взял его к нам мальчишкой, грязным и сопливым. Шуму и беспорядку от этого негодника было столько, что доброй половине слуг поручили за ним ходить. То упадет в огонь и все лицо опалит, то, по скамьям прыгавши, обе голени переломает, то в постель помочится; и всегда ходил весь изгвазданный, словно пансионские воспитанники им чулан подмели. Деньги, какие были, он все проиграл в орлянку, кости и стукалку, книги распродал, постельное белье заложил, а нам пришлось его

выкупать. Я уж не говорю, что весь его род помешан на волынках и кукольном театре. А уж сколько муж переплатил кондитерам и пирожникам за неапольские булочки, пирожные, сбитые сливки и конфеты! А меж тем муж, почитавший его за джентльмена из доброго, пусть и оскудевшего рода, дал ему хорошее образование и нашел хорошее благородное занятие, определив за свой счет на одно из лучших в стране мест. И как же, вы думаете, сей распрекрасный джентльмен нас отблагодарил? Ни с добрым словом, ни с почтительной речью он ко мне или к мужу никогда не обращался. Вместо принятых «сэр» и «мадам» (каковые — не мне о том говорить! — нам положены) называет он нас «мамаша» и «папаша», да еще таким тоном, будто, столуясь у нас, оказывает нам великую честь; рвет и мечет, почему-де мы не тратим то малое, чем владеем, дабы добыть ему титул и имение лорда Стратта, а он, извольте радоваться, окажет нам честь взять нас поставщиками суконного товара.

Дон Диего. И вы откажетесь от чести принять столь почетное и великодушное предложение? Неужто вы предпочтете подписать позорное соглашение и доверитесь мошеннику Луи Бабуну?

Миссис Булл. Послушайте, друг Диего, если мы будем таскаться по судам, пока Луи не сделается честным малым, боюсь, наш кредит в Блэквелл-холле упадет ниже некуда. По мне, так пусть каждый останется при своем. И еще скажу: денешки лорда Стратта блестят не меньше и звенят не хуже, чем монеты эсквайра Саута. А я не знаю иного способа, чтобы удержать покупателями сих великих господ, как во всем идти им навстречу. Покупай дорого, продавай дешево, и, ручаюсь, ваши покупатели останутся при вас. Хуже всего в этом деле то, что слуги лорда Стратта уже повадились ходить в лавку мошенника Луи, и теперь нам придется выставить не один бочонок крепкого эля, чтобы заполучить их к себе снова, а уж чем дольше они пребудут на этом дурном пути, тем труднее потом повернуть их на другой.

Дон Диего. Ах, бедняга Фрог! Что же он наделал! Ведь, по совести говоря, уж если есть на свете честный, душевный человек, так это Фрог!

Миссис Булл. Как бы не так! Думаю, мне нет нужды сообщать вам, сколь многим он с самого детства обязан нашей семье. Нынче он высоко подымает голову, только без нашей помощи он никогда бы не был тем, чем он стал. А

ведь с первых дней нашего судебного дела всякий раз, как приходится делить расходы, Хокус за него ходатайствует. «У бедняги Фрога, — говорит он, — тяжелые обстоятельства: семья у него многочисленная, и они еле сводят концы с концами, дети круглый год сидят на селедке, кислой капусте и брунколе, а здоровой пищи им и кусочка не перепадает. Сам он, бедняга, что только не делает, чтобы держаться в свете на должном уровне, и в этой тяжбе бьется даже сверх своих возможностей, но на самом деле средств на нее ему взять неоткуда. Велики ли деньги — сотня фунтов? Уж вы запишите их на свой счет. Для бедняги Фрога это целое состояние, а для вас — безделица». Вот какие речи постоянно держит перед нами Хокус, а ведь, если на то пошло, он немало нам обязан и мог бы выступать в нашу защиту.

Дон Диего. Хокус, несомненно, действует из лучших побуждений — такой мягкосердечный, благожелательный человек! А у Фрога и в самом деле тяжелые обстоятельства.

Миссис Булл. Тяжелые обстоятельства? Как бы не так! Даже слышать такое, право слово, обидно! Пока тянется в суде наше дело, я имущество свое только закладываю, а Фрог знай прикупает и прикупает. Из простого торговца, у которого всего-то лавка, да склад, да сельский домишко у заплывшего тиной пруда, превратился он в важного сельского джентльмена — хозяина богатых земельных угодий с дворцами, поместьями, парками, фруктовыми садами и фермами во сто крат лучше тех, какими мы когда-либо владели. Не странно ли, меж тем как мой муж вносит каждую судебную сессию огромные суммы, Фрог только то и делает, что прикупает — то ферму, то поместье! И если наша тяжба еще продлится, он, пожалуй, станет богатейшим в стране человеком. Но что еще хуже, не проходит и дня, чтобы он не сманил у нас покупателей. Вот уже дюжина самых богатых и знатных покинули нашу лавку, и, как мне доподлинно известно, взял он с них обязательство не возвращаться к нам никогда. Судите сами, по-соседски ли это.

Дон Диего. Да, Фрог и вправду прижимист в делах, но ведет их очень честно. Вы, голубушка, уж слишком обидчивы и принимаете все слишком близко к сердцу, а я уверен, тут, наверное, что-то не так.

Миссис Булл. Как же, не так! Уж вам-то известно, да вы и сами мне про то частенько рассказывали, как Хокус с компанией пять лет кряду моего муженька, Джона Булла,

спивал всякими пуншами и крепкими винами. Ведь он ни разу трезвым в постель не ложился, пока не подписал им бумагу, диковиннее которой никто никогда не видывал. Уж какими способами они у него эту подпись выманивали, я вам в другой раз расскажу, а теперь только зачитаю сей документ.

«Соглашение между Джоном Буллом, суконщиком, и Николасом Фрогом, торговцем льняным товаром

I. Во упрочение давнего доброго согласия и дружества между вышеозначенными сторонами я, Николас Фрог, торжественно обещаю и обязуюсь содействовать миру в семействе Джона Булла, дабы ни жена его, ни чада, ни слуги не чинили ему никаких невзгод, хлопот или затруднений, а все смиренно выполняли бы свой долг, каждый согласно своему званию. А понеже вышеозначенный Джон Булл, питая полную доверенность к моему дружеству, назначил меня исполнителем своей последней воли и завещания, а также опекуном чад своих, то беру на себя, а также наследников и правопреемников моих обязательство доглядывать за тем, чтобы оные должным образом исполнены и воплощены были и чтобы ни в одной своей части ни Джоном Буллом, ни кем-либо еще не изменялись. С каковой целью, дабы обеспечить мир в семье друга моего Джона Булла и доглядывать за должным исполнением его воли, предоставляется мне полное и законное право входить в его дом в любой час дня и ночи, взламывать запоры, замки и двери, открывать шифоньеры и денежные шкатулки.

II. В благодарность за добрососедскую услугу, оказываемую мне Николасом Фрогом, каковой любезно согласился принять на себя вышеизложенное обязательство, я, Джон Булл, взяв в рассуждение то обстоятельство, что мой друг, Николас Фрог, проживает ныне в болотистой местности, дыша нездоровым воздухом, насыщенным туманами и испарениями, губельными для здоровья его самого, жены и чад его, даю слово и обязуюсь, а также и наследники и правопреемники мои, приобрести для вышеозначенного Николаса Фрога на имеющиеся у меня наличные закладные, векселя, а также личное имущество, земельные угоды с парками, фруктовыми садами, домами, реками, пашнями и пастбищами такого размера, какой вышеозначенный Николас Фрог сочтет для себя приемлемым. А понеже вышеозначенный

Николас Фрог в настоящее время весьма утеснен угождями Луи Бабуна, магистра фехтовальных наук, я, вышеозначенный Джон Булл, обязуюсь на имеющиеся у меня наличные деньги откупить у оного часть помянутых угодий и отгородить столько акров пахотных и прочих земель, сколько вышеозначенный Фрог сочтет приемлемым, с тою целью, чтобы вышеозначенный Николас пользовался свободным въездом и выездом, не имея надобности испрашивать разрешение на оные, а совершать их столько, сколько будет потребно ему и его семье.

III. Далее. Вышеозначенный Джон Булл обязуется заставить соседей Николааса Фрога выделить из своих годовых доходов сумму, потребную на оплату необходимых исправлений в вышеупомянутых угодьях, дабы избавить своего доброго друга Николааса Фрога от несения расходов.

IV. Понеже вышеозначенный Николас Фрог заключил контракт с покойным лордом Страттом, по каковому представлены ему некоторые свободы, привилегии и льготы, ранее предоставленные вышеозначенному Джону Буллу, я, вышеозначенный Джон Булл, сим добровольно от оных отказываюсь и отступаюсь и передаю вышеозначенному Николаасу все свободы, привилегии и льготы, обусловленные контрактом, во всем их объеме, как если бы они мне никогда не принадлежали.

V. Вышеозначенный Джон Булл, а также наследники его и правопреемники обязуются не продавать ни ярда тонкого или грубошерстного сукна никому из джентльменов, проживающих по соседству с вышеозначенным Николаасом, разве только в тех количествах и по тем ценам, какие вышеозначенный Николас сочтет для себя приемлемыми.

Руку и печать приложили: Джон Булл
Ник. Фрог».

Чтение сего документа привело миссис Булл в такое волнение, что с ней приключился обморок и пришлось долго держать у нее перед носом флакон с нюхательной солью, прежде чем она пришла в себя.

Дон Диего. К чему так волноваться, кузина? Принимая в соображение тогдашние ваши обстоятельства, это был, мне думается, не такой уж неразумный контракт. Да к тому же Фрог, как видите, свято соблюдает условия договора, отвер-

гая любые предложения, о которых вам неизвестно. Миссис Булл. Все как раз наоборот. Не угодно ли прочесть сие письмо (*читает адрес*) к Луи Бабуну, магистру благородных фехтовальных наук.

«Прослышал я, сэр, что ведутся Вами переговоры с любезным другом моим Джоном Буллом насчет того, чтобы вновь передать ему заказы, которые имел обыкновение делать ему покойный лорд Стратт, а сверх того предоставить право пользования парками и рыбными садками. Удивительно мне, как это Вы — человек бывалый — можете толковать с таким простоватым малым. Вот уже двадцать лет служит он у меня фактором, и мне доподлинно известно, что он и в собственных-то делах разбирается не больше, нежели младенец в качестве пеленок, которыми его свивают. Знаю, есть у него жена — особа хитрая и глупая, которой давно неймется вырвать его из моих рук. Только ничего у Вас с ней не получится: я уже приглядел тех, кто сумеет найти на нее узду. Что же до самого Джона Булла, то пусть лучше и не пробует без моего согласия и шагу сделать. Если Вы отдадите мне то, что ему обещали, я во всем пойду вам навстречу и дело об изъятии имущества лорда Стратта прекращу. Если же нет, то пеняйте на себя. Я хоть завтра могу начать против Вас судебное дело по обвинению в том, что Вы пытаетесь лишить меня фактора. Примите сие как предостережение от того, кто пребудет

Ваш любящий друг
Ник. Фрог».

Сказывали мне, любезный кузен, будто вы и есть один из тех, кто берется найти на меня управу, а также будто похвалялись, что скорее сами заделаетесь судейским крючком, нежели позволите нам закрыть это дело. Уж докажу я им, да и вам тоже, как искать на меня управу!

Дон Диего. Помилуйте, мадам, к чему такие страсти? Помоему, письмо это просто фальшивка: такому честному малому, как Ник. Фрог, это и в голову не могло прийти!

Миссис Булл. Глаза бы мои вас не видели! Двадцать лет вы ругали эсквайра Саута, Фрога и Хокуса последними словами, называя их плутами и ворами, а теперь они стали у вас честнейшими малыми в мире. Как прикажете все это понимать?

Автопортрет Джона Булла

Дон Диего. Лучше вы мне скажите, как это вас угораздило взять в ваше дело сэра Роджера, не подумав о вашем друге Диего?

Миссис Булл. Ах вот оно что! По правде сказать, я с сэром Роджером не раз вела серьезные дела и знаю: человек он честный, он, миляга, и фартингом от меня не попользовался. А от тех, кто сулился для нас из кожи лезть, у меня отбою не было, только все они страх как до денег жадны. А мы с мужем оказались нынче в таких обстоятельствах, что приходится искать услуги за более дешевую плату, чем прежде.

Дон Диего. Что ж, кузина, вижу, мне с вами не договориться, а жаль — погубите вы себя, доверяясь этому сэру Роджеру.

Глава 4: о том, как однажды явились к Джону опекуны, трех дочерей покойной миссис Булл и какой совет ему дали;

с приложением краткой характеристики сих трех дочерей и ответа Джона Булла означенным трем джентльменам



о того как оставить наш грешный мир, миссис Булл одарила Джона — о чем уже сказано ранее — тремя дочерьми. Мне нет нужды повторять их имена¹, а также крайне не хотелось бы наводить тень на молодых особ, чья репутация нуждается в особенно бережном обхождении. Но в нашей стороне их нрав хорошо известен, и сей краткой характеристикой я не причиню им вреда.

Старшая сестра была самой драчливой, самовластной,

¹ Polemia, Discordia, Usuria — война, раздоры, ростовщичество (гл. 9, памфлет 1-й) — прим. перев.

невоздержанной, разгульной девкой, какую когда-либо носила земля. В доме она на всех нагоняла страх: младших детей — щипала, слуг — била, собак и кошек — мучила; сверх того, запускала руку в отцовскую шкатулку с деньгами, оделяя ими молодых повес, к которым питала слабость. Вид у нее был благородный, осанка привлекала величием, но дыхание столь тяжелое и заразное, что все служанки, которые ее одевали, неизменно становились чахоточными; стоило ей поднести к носу букет цветов, даже наисвежайших, как они, словно пораженные недугом, тотчас увядали и засыхали. Домой она заявлялась всегда под парами и била фарфор и зеркала; к тому же отличалась весьма неровным нравом, легко попадая под власть страстей, так что легче было бы укротить северный ветер, нежели урезонить ее милость, и такой расточительностью, что, дабы оплатить ее сумасбродства, недоставало доходов от трех герцогств. Хокус души в ней не чаял, ибо полагал, что она плоть от плоти его и миссис Булл.

Вторая сестра, годом младше, была самым капризным, настырным, дурным по складу души существом, каких когда-либо видел свет. Уродливая, как смертный грех, тощая, чахлая, с землистым лицом, глазами-плошками, острым носом, да к тому же горбатая, она проявляла неумность, ловкость и усердие в делах. Столь болезненный цвет лица приобрела она по причине того, что дурно питалась — одним лишь кофе, который пила утром, днем и вечером. Ночью ее одолевали кошмары, и она беспрестанно своими криками во сне будила всю семью, а на следующий день изводила домашних, толкуя то, что ей пригрезилось, ибо почитала свои видения равными евангельским притчам. Чуть что орала она «убивают!», будоража всех соседей, а когда Джон сломя голову сбежал по лестнице, дабы узнать, какая беда с ней приключилась, то оказывалось всего ничего: горничная не в том месте булавкой лиф пришила. Одну служанку она прогнала, потому что та переложила приправы, другую — потому что соли в овсянку недосыпала. Зато тех, кто перед ней лебезил, покрывала даже в самых черных делах. У ее отца служили два кучера, и когда на козлах сидел один, она при малейшем толчке так вопила, что прохожие на улице оборачивались, полагая, что ее из кареты вывалили, а когда второй, горький пьяница, опрокинул однажды всю семью, то она с родным отцом из-за него поссори-

лась — зачем-де он такого распрекрасного молодца прогнал. Еще любила она переносить сплетни и слухи от одного к другому, пока всю округу не перессорит, и это было единственное ее развлечение. Из дома она почти никогда не выезжала, хотя и умудрялась невесть откуда выуживать ворох чудовищных небывальщин, перед которыми не умел устоять ни один смертный, кроме тех, кто ее хорошо знал, — о ките, заглотившем целый торговый флот; о львах, которых намеренно выпустили из Тауэра, чтобы они сожрали протестантскую церковь; о том, что в Уоппинге видели Папу в питейном заведении, а с ним вместе дюжего детину, прибывшего сбросить купол с собора Св. Павла; о трех миллионах пятифунтовых банкнот, найденных эсквайром Саутом у старой стены; об огненных звездах, летающих драконах и еще о множестве такого же вздора. Слуги перед ней заискивали, ибо в доме она всем заправляла и кого хотела выгоняла и нанимала. Давно уже таила она злобу на сэра Роджера и, смертельно его ненавидя, то и дело подряжала разбойных молодчиков, которые, подкараулив его на улице, обливали сточной водой, так что ему, бедняге, приходилось носить камзол из промасленной ткани, единственно благодаря чему возвращался он домой вполне чистый — разве только слегка запачканный в тех немногих местах, где камзол поистерся.

Что до третьей сестры, то она была воровка и публичная девка, занимавшаяся этим промыслом без всякой к тому природной склонности. Она сама сознавалась, что не получала от него никакого удовольствия. Ни один человек не внушал ей ни малейшего почтения — что король, что конюх, для нее было все едино, лишь бы платили, и ей ничего не стоило бросить распрекраснейшего джентльмена ради какого-нибудь конопатого малого, если тот давал на шесть пенсов больше. Промышляя этим делом, накопила она полные сундуки добра, но, имея сотен пять отменных туалетов, в люди ездила замарашка замарашкой, а слуг обирала и морила голодом, по каковой причине они у нее в доме не задерживались.

Вот такие были у Джона три дочери — такие, как говорится, три цацы ненаглядные. Впрочем, природа всегда себя окажет, и их родню не приходилось обвинять в желании заботиться о них, а посеми Хокус вместе с еще двумя джентльменами сочли своим долгом позаботиться об ин-

тересах сих трех девиц и наставить на ум Джона касательно его судебного дела, которое тот собирался бросить.

Хокус. Отчего это, любезный друг, ты последнее время меня чуждаешься? А ведь нет другого человека на свете, кто любил бы тебя так, как я, и так радел о твоих делах. Клянусь вечным спасением, ради тебя я готов на все — хоть на четвереньках ползти. На службе тебе растратил я свое здоровье и отцовское имение, от которого, что и говорить, осталась малая толика, с каковой, да с чистой совестью, уйду я нынче в отставку. Но мысль о позорном соглашении задевает меня за живое и лишает сна. Как, теперь, когда твое дело доведено мною до последней черты — еще одно судебное решение, и старый Луи вместе с лордом Страттом будут полностью уничтожены, а ты получишь все, чего добивался, — теперь пойти на соглашение! Да это для меня смерти подобно! Я к твоему делу всем сердцем прилепился, душу, можно сказать, в него вложил, как в единственное дитя, и, верь мне, не перенесу, коли оно сорвется. Сообрази ты, бога ради, до какого отчаянного состояния доведен нами старый Луи: наличные деньги у него на исходе, адвокаты ни одного нового хода придумать не могут, все свои уловки и трюки они исчерпали. Более того, и услугами закона, и хлебом насущным пользуется он в долг. Потерпи ты всего эту сессию, и, клянусь тебе, еще до следующей мы упрячем его во Флит. Уж я поставлю его к позорному столбу, он еще поплатится ушами за свои лжесвидетельства! Бога ради, не иди ты на попятный, не отказывайся от иска! Разрази меня гром, если есть у тебя друг, который любит тебя больше, чем я! Никто не посмеет обвинить меня в своекорыстии или сказать, что я бьюсь тут ради своих, а не твоих интересов.

Второй опекун. Дело тут простое и ясное: сей Луи решил разорить всех торговцев в округе, а на сегодняшний день, торгуя чем только ни попало, он нажил такое огромное состояние, что, если не поставить предел его несметным богатствам, он на все окрест наложит руку, и никто не продаст от себя ни ярда сукна, ни дюйма бархатного или шелкового товару. Посему полагаю разумным, чтобы вы продолжали судебное дело против Луи и покончили с ним разом. И если даю вам такой совет, то единственно из участия к трем бедным лишившимся матери сироткам, ибо все их имение зависит от успехов сего судебного дела.

Третий опекун. Не скрою, приказ о вызове в суд по

иску о возвращении присвоенных владений не дешево стоил, но, подумайте же сами, — ведь за такое сокровище не жалко отдать все, чем вы владеете. Только заклятые враги мистера Булла посмеют утверждать, будто можно как-то иначе обеспечить ему возможность беспрепятственно торговать, кроме как изъять имущество у лорда Стратта. Единственный еще не решенный вопрос: кто должен нести судебные издержки? Но ответ на него однозначен — кто, как не тот, кому будет выгодно решение. Как только эсквайр Саут получит во владение титул и наследство, разве не Джон станет его поставщиком? Так кому же, как не Джону, хлопотать о том, чтобы эсквайра Саута ввести во владение? Спросите любого незаинтересованного джентльмена — кому нести судебные издержки? И вы тотчас услышите в ответ — торговцу-поставщику. А посему повторяю, и готов повторять под страхом смерти, — вам, Джон, надлежит ввести эсквайра Саута во владение его собственностью и с тем же великодушным порывом, с каким вы сие благое дело начали, довести его до конца. Нет, не верю, что вы будете упорствовать в том, что сейчас затеваете. Что же станет тогда с бедными сиротками, от жалости к которым сердце мое кровью обливается?

Джон Булл. Вы, господа, все умеете красно говорить, но позвольте заметить, что вы проявляете не в пример больше заботы о сих трех девицах, чем обо мне грешном, а, мне так кажется, надобно бы о моих интересах в первую голову думать. Касательно до вас, любезный Хокус, ничего не скажу — вы вели мою тяжбу с большой сноровкой, прибавив мне много чести. Но при всем том за дело это вам изрядно заплачено: ни один стряпчий не подавал таких непомерных счетов, и, позволю себе добавить, в них много пунктов, по которым даже самые ухищренные из вашей братии советаться требовать уплаты. Я доверил вам распоряжаться огромными суммами, и часть из них вы постоянно опускали в собственный карман. Скажу прямо — мне это не по нраву. И еще спрошу: почему надобно освобождать Фрога от общей ноши и перекладывать ее на мои плечи? Что ж, он будет разъезжать по своим паркам и полям в золоченой карете, а я — закладывать свое имение! Он — писать записки, а я — подписывать на себя векселя! Кому не известно, что я, в недавнем прошлом богатейший во всей стране торговец, вынужден просить и одолжаться у займодавцев и ростовщиков, которые из меня уже всю кровь выпили, все соки

выжали. И за что мне такая напасть? Уж не оттого ли, что физиономия Фрога вам моей милее? Разве я не давний друг вам, не родня? Разве не одаривал вас со всей возможной щедростью? Не одевал всю вашу семью? Разве не брали вы в моей лавке по сотне ярдов тончайшего сукна за раз? Отчего же вы не только освободили всех остальных торговцев от уплаты судебных издержек, но еще и запретили им заниматься собственным делом, которое куда важнее для них, чем для меня? Что же до того, чтобы обождать до конца сессии, так взываю к вашей совести — разве все эти шесть лет не твердили мне беспрестанно: «Еще одна сессия, и старому Луи крышка»? Если вам, милейший, так пришлось по сердцу мое дело, дайте мне взаймы тысячонку, другую. Ах, Хокус, Хокус! Уж я-то вас знаю: ведь, право, гроша ломаного не дадите, чтобы спасти меня от беды! У меня, джентльмены, всегда было доброе имя, и мне нож острый, когда теперь, всякий раз, стоит мне перешагнуть порог дома, как то один, то другой настырный лихоимщик хватается за рукав: «Вы не забыли о моем счете, сэр? За вами должок — тысяча фунтов. Надеюсь, сэр, вы не заставите с ним долго ждать». А приятно мне, когда ростовщики обмениваются моими векселями в пивных и кофейнях, словно я уже закрываю торговлю? Господи, подумать только, что богатый, щедрый Джон Булл, торговец суконным товаром, предмет зависти всей округи, дошел до того, что вынужден просить кредиторов, не согласятся ли они учесть его векселя по пять шиллингов за фунт, и не сегодня-завтра прочтет свое имя в списке объявивших себя банкротами. Мысль об этом сводит меня с ума! Читал я где-то в апокрифах: «Не ищите совета у женщины касательно ее соперницы, ни у купца касательно его товара, ни у покупателя касательно его приобретения, ни у бессердечного касательно милосердия» и так далее, к чему я мог бы добавить: «Ни у стряпчего касательно прекращения тяжбы». Никогда не добьетесь вам изъятия имени у лорда Стратта! Улики ваши хромают, свидетели показывают сегодня так, завтра эдак и во всем себе же противоречат, а его арендаторы стоят за него горой. Разумно ли, что, пока эсквайр Саут спускает деньги шулерам и мошенникам, пока куролесит по всей стране со свитой шутов и игроков, расточая свои богатства на соколов и гончих, я ради него выкладываю да выкладываю на тяжбу плоды моих честных трудов с единственной надеждой быть его поставщиком? А

когда сей судебный процесс наконец завершится, я не смогу привести в исполнение свои планы, ибо не с чем будет мне ехать на рынок. Послушайте, джентльмены, Джон Булл человек простой, но Джон Булл понимает, когда с ним обращаются дурно. Я знаю, какими недостатками страдает мой род: да, мы любители выпить в доброй компании и расточить свои денежки на вино. Но честно ли с вашей стороны, джентльмены, извлекать пользу из моих слабостей, окружая меня сворой отпетых задир и буйанов, которые день и ночь оглушают меня своими криками, ревом охотничьих рогов и перезвоном мясничьих топоров, не давая мне прийти в себя и вынуждая подписывать бумаги, когда пальцы не держат перо. Что ж, настанет день расплаты за все, что вами содеяно. А пока, джентльмены, позвольте мне немного заняться собственными делами и не сердитесь, если я сохраняю то малое, что осталось от огромного состояния.

*Глава 5: послание эсквайра Саута
к миссис Булл*



Аргументы, приведенные Хокусом и остальными опекунами, оказались все же недостаточными. Ни Джона, ни его жену не удалось убедить нести расходы по ведению судебного дела эсквайра Саута. Они полагали, что поскольку честь и выгоды целиком достанутся ему, то и большая доля издержек должна пасть на него, и он, перестав спускать деньги шулерам и расточать на контрдансы и кукольные представления, употребит их на ведение тяжбы. Но сие эсквайру Сауту не слишком-то понравилось, а посему решил он на последнюю попытку — послать к миссис Булл сеньора Бененато, своего старшего псаря, дабы посмотреть, не удастся ли тому с нею сладить. Сей сеньор Бененато обладал всеми качествами щеголя, коими прельщаются сердца женщин, и если кто на свете мог уломать миссис Булл, так это бесприменно он. Но столь неко-

лебима была ее верность супругу и столь неизменно желание блюсти его интересы, что никакие изощреннейшие приемы по части обольщения не могли склонить на измену ее преданного сердца. Не помогли ни ожерелья, ни алмазные крестики, ни роскошные браслеты — она все их с крайним негодованием и презрением отвергла. Музыка и серенады, дававшиеся в ее честь, звучали на ее слух несноснее крика совки. При всем том письмо эсквайра Саута она со всем положенным тому почтением из рук синьора Бененато приняла. Ниже следует копия сего письма, в каковом вы обнаружите незначительные изменения в привычном его светлости стиле.

«Мадам!

Решение по иску, предъявленному Филипу Бабуну, самозванному лорду Стратту, об изъятии у него владения недвижимостью будет вот-вот вынесено; для окончательного решения недостает лишь нескольких необходимых формальностей и еще одного или двух вердиктов, и тогда я буду введен во владение титулом и имением. Не сомневаюсь, что при Вашем неизменном великодушии и доброте Вы не преминете дать сему делу последний толчок — честь, которую я никому, кроме Вас, не уступил бы. Дабы облегчить Вам частично несомые Вами издержки, обещаю обеспечить перо, чернила и бумагу, при условии, что Вы оплатите марки. Сверх того, я отдал распоряжение моему управителю выплачивать Вам из текущих поступлений ренты по пять фунтов десять шиллингов ежегодно до окончания моего судебного дела. Желаю Вам здоровья и благосостояния, оставаясь при сем с должным почтением к Вам, мадам,

Ваш преданный друг
Саут».

Ответ миссис Булл на сие письмо узнаете вы из моей третьей части; правда, эсквайр Саут и миссис Булл сильно разошлись в своих предложениях: меж тем как эсквайр Саут пожелал оплачивать расходы лишь за перо, чернила и бумагу, миссис Булл согласилась лишь на то, чтобы снарядить собственную баржу, дабы отвезти его стряпчих в Вестминстер-холл, и ни на что более. [...]

Джонатан Свифт

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ,
УЛУЧШЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В ПИСЬМЕ К ВЫСОКОЧТИМОМУ РОБЕРТУ
ОКСФОРДУ И МОРТИМЕРУ, ЛОРДУ-КАЗНАЧЕЮ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ



Милорд! То, что я имел честь высказать Вашей светлости в недавней нашей беседе, не было для меня мыслью новой, возникшей случайно и произвольно, но плодом долгих размышлений; и с тех пор суждения некоторых весьма сведущих лиц, к которым я обратился за советом, еще более утвердили меня в справедливости моих соображений. По их общему мнению, ничто не будет столь полезным для развития науки и улучшения нравов, как действенные меры, рассчитанные на исправление, улучшение и закрепление нашего языка, и они полагают вполне возможным осуществить такого рода предприятие при покровительстве государя, поддержке и поощрении его министров и стараниях надлежащих лиц, для сего избранных. Я с радостью услышал, что ответ Вашей светлости отличается от того, что в последние годы принято говорить в подобных случаях, а именно: что дела такого рода следует отложить до мирного времени — общее место, настаивая на котором иные зашли так далеко, что из-за войны, которую мы ведем за рубежом, рады любыми средствами заставить нас не думать о соблюдении гражданских и религиозных обязанностей.

Милорд, от имени всех ученых и просвещенных лиц нашего государства я жалею Вашей светлости, как главе

министерства, что наш язык крайне несовершенен, что повседневное его улучшение ни в коей мере не соответствует повседневной его порче; что те, кто полагает, будто они делают наш язык более отточенным и изысканным, только умножили его неправильности и нелепости и что во многих случаях попираются все законы грамматики. Но дабы Ваша светлость не сочла мой приговор слишком суровым, я позволю себе высказаться подробнее.

Ваша светлость, полагаю, согласится с моим объяснением причин меньшей утонченности нашего языка по сравнению с итальянским, испанским или французским. Совершенно очевидно, что чистый латинский язык никогда не был распространен на этом острове, поскольку не предпринималось, или почти не предпринималось, никаких попыток завоевать его вплоть до времени Клавдия. И в Британии среди народа латинский язык не был в столь общем употреблении, как в Галлии и Испании. Далее мы видим, что римские легионы были отсюда отозваны, чтобы помочь своей стране против нашествия готов и других варваров. Между тем, предоставленные сами себе, бритты подверглись жестокому набегу пиктов и были вынуждены призвать на помощь саксов. В результате саксы установили свою власть почти над всем островом, оттеснив бриттов в самые отдаленные и горные области, меж тем как остальные части страны приняли обычай, религию и язык саксов. Это, я полагаю, и послужило причиной того, что в языке бриттов сохранилось больше латинских слов, нежели в древнесаксонском, который, исключая незначительные изменения в правописании, сходен в большинстве своих исконных слов с современным английским, а также немецким и другими северными языками.

Эдуард Исповедник, долго живший во Франции, первый, по-видимому, внес некоторую примесь французского в саксонский язык. Двор стремился угодить своему королю, а все остальные сочли это модным, что происходит у нас и ныне. Вильгельм Завоеватель пошел значительно дальше. Он привез с собой великое множество французов, рассеял их по всем монастырям, роздал им большие земельные наделы, приказал все прошения писать по-французски и попытался ввести этот язык в общее употребление по всему королевству. Так, во всяком случае, принято думать. Однако Ваша светлость вполне убедили меня в том, что французский язык



Роберт Харли, граф Оксфорд

сделал еще более значительные успехи в нашей стране при Генрихе II, который, получив большие владения на континенте во французской земле как от отца, так и от супруги, совершал туда частые поездки в сопровождении большого числа соотечественников, состоявших при его дворе. В течение нескольких следующих веков продолжались постоянные сношения между Францией и Англией как ради принадлежащих нам во Франции владений, так и ради новых завоеваний. Таким образом, два или три столетия назад в нашем языке было, по-видимому, больше французских слов, нежели сейчас. Многие слова были впоследствии отвергнуты, некоторые уже во времена Спенсера, хотя у нас сохранилось еще немало слов, давно вышедших из употребления во Франции. Я мог бы привести несколько примеров как того,

так и другого рода, будь они хоть сколько-нибудь полезны или занимательны.

Исследование различных обстоятельств, в силу которых может изменяться язык страны, увлекло бы меня в весьма пространную область. Отмечу только, что у латинского, французского и английского языков была, по-видимому, сходная судьба. Первый со времен Ромула до Юлия Цезаря подвергался непрерывным изменениям. Из того, что мы читаем у писателей, случайно затронувших сей вопрос, так же как из отдельных отрывков древних законов, ясно, что латинский язык, на котором говорили за три столетия до Туллия, был столь же непонятен в его время, как английский или французский языки трехсотлетней давности непонятны нам сейчас. А со времени Вильгельма Завоевателя (то есть немногим менее чем за семьсот лет) оба эти языка изменились не меньше, чем латинский за такой же период времени. Будет ли наш язык или французский разрушаться с той же быстротой, что и латинский, — вопрос, который может вызвать больше споров, нежели того заслуживает. Порча латинского языка объясняется многими причинами: например, переходом к тираническому образу правления, погубившему красноречие, ибо отпала нужда поощрять народных ораторов; предоставлением жителям многих городов Галлии, Испании и Германии, а также других далеких стран, вплоть до Азии, не только гражданства города Рима, но и права занимать различные должности, что привело в Рим множество чужеземных искателей удачи; раболепством сената и народа, вследствие чего остроумие и красноречие превратились в словословие — пустейшее из всех занятий; величайшей испорченностью нравов и проникновением чужеземных предметов роскоши вместе с чужеземными словами для их обозначения. Можно было бы указать еще на несколько причин, не говоря уже о вторжениях готов и вандалов, значение коих слишком очевидно, чтобы нужно было на них останавливаться особо.

Язык римлян достиг высокого совершенства прежде, чем начал приходить в упадок. А французский язык за последние пятьдесят лет подвергся такой тщательной отделке, какую только был в состоянии выдержать; тем не менее и он, по-видимому, приходит в упадок вследствие природной непоследовательности французов и из-за особого пристрастия некоторых их авторов, особенно недавнего времени,

злоупотреблять жаргонными словами — наипагубнейшее средство исказить язык. Покойный Лабрюйер, прославленный среди французов писатель, пользовался многими новыми словами, коих нет ни в одном из ранее составленных общих словарей. Английский язык, однако, не достиг еще такой степени совершенства, когда следует опасаться его упадка. Если же он достигнет определенного предела утонченности, то, возможно, найдутся способы закрепить его навечно или по крайней мере до той поры, пока мы не подвергнемся вторжению или не окажемся поработанными другим государством. Но даже в последнем случае лучшие наши творения, вероятно, тщательно хранились бы, их приучились бы ценить, а сочинители их приобрели бы бессмертие.

Однако даже и без подобных переворотов (коим, мне думается, мы менее подвержены, нежели континентальные королевства) я не вижу необходимости в том, чтобы язык постоянно менялся, ибо можно привести множество примеров обратного. От Гомера до Плутарха прошло свыше тысячи лет, и можно признать, что, по крайней мере в течение этого времени чистота греческого языка сохранялась. Колонии греков располагались по всему побережью Малой Азии вплоть до северных ее областей, расположенных у Черного моря, на всех островах Эгейского и на некоторых — Средиземного, где на протяжении многих веков, даже после того как они стали римскими колониями, греческий язык сохранялся неизменным, пока после падения империи греки не были покорены варварскими народами.

У китайцев есть книги на языке двухтысячелетней давности, и даже частые нашествия татар не смогли его изменить. Немецкий, испанский и итальянский языки за последние несколько веков подверглись незначительным изменениям или не изменились вовсе. Мне ничего не известно о других европейских языках, да и нет особых причин их рассматривать.

Завершив сей обзор, я возвращаюсь к рассуждениям о нашем собственном языке и желал бы смиренно предложить оные вниманию Вашей светлости. По моему мнению, период, в который английский язык достиг своего наибольшего совершенства, начинается с первых лет правления Елизаветы и кончается великим мятежом сорок второго года. Правда, слог и мысли были тогда очень дурного вкуса, в

особенности при короле Якове I, но, кажется, обрели пристойность в первые годы правления его преемника, который, помимо многих других качеств превосходного монарха, был великим покровителем просвещения. Я имею основания сомневаться в том, что со времени междоусобной войны порча нашего языка не уравновесила по меньшей мере те улучшения, которые мы в него внесли. Лишь немногие из лучших авторов нашего века полностью избежали этой порчи. В период узурпации жаргон фанатиков настолько проник во все сочинения, что от него невозможно было избавиться в течение многих лет. Затем последовала пришедшая с Реставрацией распушенность, которая, пагубно отразившись на нашей религии и нравственности, сказалась и на нашем языке. Едва ли улучшению языка мог содействовать двор Карла II, состоявший из людей, которые последовали за ним в изгнание, либо из тех, кто слишком наслушался жаргона времен фанатиков, либо молодежи, воспитанной во Франции. Так что двор, который обычно был образцом пристойной и правильной речи, стал, и продолжает с тех пор оставаться, худшей в Англии школой языка. Таковым он пребудет и впредь, если воспитанию дворянской молодежи не будет отдано больше заботы, дабы она могла выходить в свет, владея некоторыми основами словесных наук, и стать образцом просвещенности. В какой мере сей недостаток отразился на нашем языке, можно судить по пьесам и другим развлекательным сочинениям, написанным за последние пятьдесят лет. Они в избытке наполнены жеманными речами, недавно выдуманскими словами, заимствованными либо из придворного языка, либо у тех, кто, слывя остроумцами и весельчаками, считает себя вправе во всем предписывать законы. Многие из сих утонченностей давно уже устарели и едва ли понятны теперь, что неудивительно, поскольку они были созданы единственно невежеством и прихотью.

Насколько мне известно, еще не бывало, чтобы в этом городе не нашелся один, а то и больше высокопоставленных олухов, пользующихся достаточным весом, чтобы пустить в ход какое-нибудь новое словечко и распространять его при каждом разговоре, хотя оно не содержит в себе ни остроты, ни смысла. Если словечко сие приходилось по вкусу, его тотчас вставляли в пьесы да журнальную писанину, и оно входило в наш язык; а умные и ученые люди, вместо того чтобы сразу же устранять такие нововведения, слишком

часто поддавались соблазну подражать им и соглашаться с ними.

Есть другой разряд людей, также немало способствовавших порче английского языка: я имею в виду поэтов времен Реставрации. Эти джентльмены не могли не сознавать, сколь наш язык уже обременен односложными словами, тем не менее, чтобы сберечь себе время и труд, они ввели варварский обычай сокращать слова, чтобы приспособить их к размеру своих стихов. И занимались этим так часто и безрассудно, что создали резкие, нестройные созвучия, какие способно вынести лишь северное ухо. Они соединяли самые жесткие согласные без единой гласной между ними только ради того, чтобы сократить слово на один слог. Со временем их вкус настолько извратился, что они оказывали предпочтение тому, что прежде считалось неоправданной поэтической вольностью, утверждая, что полное слово звучит слабо и вяло. Под этим предлогом такой же обычай был усвоен и в прозе, так что большинство книг, которые мы видим ныне, полны обрубками слов и сокращениями. Примеры таких злоупотреблений бесчисленны. И вот, опуская гласную, чтобы избавиться от лишнего слога, мы образуем созвучия столь дребезжащие, столь трудно произносимые, что я часто недоумевал, можно ли их вообще выговорить.

Уродованию нашего языка немало способствовала и другая причина (вероятно, связанная с указанной выше); она заключается в странном мнении, сложившемся за последние годы, будто мы должны писать в точности так, как произносим. Не говоря уже об очевидном неудобстве — полном разрушении этимологии нашего языка, изменениям тут не предвиделось бы конца. Не только в отдельных городах и графствах Англии произносят по-разному, но даже и в Лондоне: при дворе комкают слова на один лад, в Сити — на другой, а в предместьях — на третий. И через несколько лет, вполне возможно, все эти выговоры опять переменятся, подчинившись причудам и моде. Перенесенное в письменность, все это окончательно запутает наше правописание. Тем не менее многим эта выдумка настолько нравится, что иногда становится нелегким делом читать современные книги и памфлеты, в которых слова так обрублены и столь отличны от своего исконного написания, что всякий, привыкший к обыкновенному английскому языку, едва ли узнает их по виду.

В университетах некоторые молодые люди, охваченные

паническим страхом прослыть педантами, впадают в еще худшую крайность, полагая, что просвещенность состоит в том, чтобы читать каждодневный вздор, который им присылают из Лондона; они называют это знанием света и изучением людей и нравов. С такими познаниями прибывают они в город, считают совершенством свои ошибки, усваивают набор новейших выражений и когда берут в руки перо, то выдают за украшение стиля все необычайные словечки, подобранные в кофейнях и игорных домах, причем в правописании они изошряются до крайних пределов. Вот откуда взялись те чудовищные изделия, которые под именем «Прогулук», «Наблюдений», «Развлечений» и других надуманных заглавий обрушились на нас в последние годы. Вот откуда взялось то странное племя умников, которые уверяют нас, будто пишут в соответствии со склонностями нынешнего века. Я был бы рад, если бы мог сказать, что эти причуды и кривлянья не затронули более серьезных предметов. Словом, я мог бы показать Вашей светлости несколько сочинений, где красоты такого рода столь обильны, что даже Вы, при ваших способностях к языкам, не смогли бы их прочесть или понять.

Но я убежден, что многие из этих мнимых совершенств выросли из принципа, который, если его должным образом осознать и продумать, полностью бы их развенчал. Ибо опасаясь, милорд, при всех наших хороших качествах просвещенность нам по природе не слишком свойственна. Наше беспрестанное стремление укорачивать слова, отбрасывая гласные, есть не что иное, как склонность вернуться к варварству тех северных народов, от которых мы произошли и языки которых страдают тем же недостатком. Нельзя не обратить внимания на то, что испанцы, французы и итальянцы, хотя и ведут свое происхождение от одних с нами северных предков, с величайшим трудом приучаются произносить наши слова, меж тем как шведы и датчане, а также немцы и голландцы достигают этого с легкостью, потому что наши слова и их сходны по грубости и обилию согласных. Мы боремся с суровым климатом, чтобы вырастить более благородные сорта плодов, и, построив стены, которые задерживают и собирают слабые лучи солнца и защищают от северных ветров, иногда с помощью хорошей почвы получаем такие же плоды, какие выращивают в более теплых странах, где нет нужды в стольких затратах и усилиях. То же

относится и к изящным искусствам. Возможно, что недостаток тепла, который делает нас по природе суровыми, способствует и грубости нашего языка, несколько напоминающего терпкие плоды холодных стран. Ибо я не думаю, что мы менее даровиты, чем наши соседи. Ваша светлость, я надеюсь, согласится с тем, что мы должны всеми силами бороться с нашими природными недостатками и быть осмотрительными в выборе тех, кому поручаем их исправление, меж; тем как донеде это выполняли люди, наименее к тому пригодные. Если бы выбор был предоставлен мне, я скорее вверил бы исправление нашего языка (там, где дело касается звуков) усмотрению женщин, нежели безграмотным придворным хлыщам, полоумным поэтам и университетским юнцам. Ибо ясно, что женщины, по свойственной им манере коверкать слова, естественно, отбрасывают согласные, как мы — гласные. То, что я сейчас поведаю Вашей светлости, может показаться сущими пустяками. Находясь однажды в смешанном обществе мужчин и женщин, попросил я двух или трех лиц каждого пола взять перо и написать подряд несколько букв, какие придут им в голову. Прочитав сей набор звуков, нашли мы, что написанное мужчинами, из-за частых сочетаний резких согласных, звучит подобно немецкому языку, а написанное женщинами — подобно итальянскому, изобилуя гласными и плавными звуками. И хотя я ни в коем случае не намереваюсь затруднять наших дам, испрашивая у них совета в деле преобразования английского языка, мне думается, что нашей речи нанесен большой вред с тех пор, как они исключены из всех мест, где собирается общество, а появляются лишь на балах и в театрах, да в других местах, где происходит многое еще худшее.

Для того чтобы внести преобразования в наш язык, думается мне, милорд, надобно по здравом размышлении произвести свободный выбор среди лиц, которые всеми признаны наилучшим образом пригодными для такого дела, невзирая на их звания, занятия и принадлежность к той или иной партии. Они, по крайней мере некоторые из их числа, должны собраться в назначенное время и в назначенном месте и установить правила, которыми намереваются руководствоваться. Какими методами они воспользуются — решать не мне.

Лица, взявшие на себя сию задачу, будут иметь перед собой пример французов. Они смогут подражать им в их

удачах и попытаются избежать их ошибок. Помимо грамматики, где мы допускаем очень большие погрешности, они обратят внимание на многие грубые нарушения, которые, хотя и вошли в употребление и стали привычными, должны быть изъяты. Они найдут множество слов, которые заслуживают, чтобы их совершенно выбросили из языка, еще больше — слов, подлежащих исправлению, и, возможно, несколько давно устаревших, которые следует восстановить ради их силы и звучности.

Но более всего я желаю, чтобы обдумали способ, как установить и закрепить наш язык навечно, после того как будут внесены в него те изменения, какие сочтут необходимыми. Ибо, по моему мнению, лучше языку не достичь полного совершенства, нежели постоянно подвергаться изменениям. И мы должны остановиться, в противном случае наш язык в конце концов неизбежно изменится к худшему. Так случилось с римлянами, когда они отказались от простоты стиля ради изощренных тонкостей, какие мы встречаем у Тацита и других авторов, что постепенно привело к употреблению многих варваризмов еще до вторжения готов в Италию.

Слава наших писателей обыкновенно не выходит за пределы этих двух островов, и плохо, если из-за непрерывного изменения нашей речи она окажется ограниченной не только местом, но и временем. Именно Ваша светлость заметила, что, не будь у нас Библии и молитвенника на языке народном, мы вряд ли могли бы понимать что-либо из того, что писалось у нас каких-нибудь сто лет назад. Ибо постоянное чтение этих двух книг в церквах сделало их образцом для языка, особенно простого народа. И я сомневаюсь, чтобы внесенные с той поры изменения способствовали красоте и силе английской речи, хотя они во многом уничтожили ту простоту, которая является одним из величайших совершенств любого языка. Вы, милорд, — лицо, столь сведущее в Священном писании, и такой знаток его оригинала — согласитесь, что ни один перевод, когда-либо выполненный в нашей стране, не может сравниться с переводом Ветхого и Нового завета. И многие прекрасные отрывки, которые я часто устаивался слышать от Вашей милости, убедили меня в том, что переводчики Священного писания в совершенстве владели английской речью и справились со своей задачей лучше, нежели писатели наших дней, что я приписываю той простоте, которой эта книга целиком проникнута.

Далее, что касается до большей части нашей литургии, составленной задолго до перевода Библии, которым мы ныне пользуемся и мало с тех пор измененным, то, по-видимому, мы вряд ли сможем найти в нашем языке более величественные примеры подлинного и возвышенного красноречия; каждый человек с хорошим вкусом найдет их в молитвах причастия, в заупокойной и других церковных службах.

Но когда я говорю, что желал бы сохранить наш язык навеки, я вовсе не хочу сказать, что не следует обогащать его. При условии, что ни одно слово, одобренное вновь созданным обществом, впоследствии не будет исключено и не исчезнет, можно разрешить вводить в язык любые новые слова, какие сочтут нужными. В таком случае старые книги будут ценить по их истинным достоинствам и не будут пренебрегать ими из-за непонятных слов и выражений, которые кажутся грубыми и неуклюжими единственно потому, что вышли из моды.

Если бы до нашего времени народ в Риме продолжал говорить на латинском языке, внести в него новые слова стало бы совершенно необходимым в силу великих изменений в законах, ремеслах и воинском деле, в силу многих новых открытий, сделанных во всех частях света, широкого распространения мореходства и торговли и множества других обстоятельств; и все же древних авторов читали бы с удовольствием и понимали с легкостью. Греческий язык значительно обогатился со времени Гомера до Плутарха, но, вероятно, в дни Траяна первого из них понимали так же хорошо, как и последнего. Когда Гораций говорит, что слова увядают и гибнут, подобно листьям, и новые занимают их места, он скорее сетует по этому поводу, нежели сие одобряет. Но я не вижу, почему это должно быть неизбежным, а если и так, то что случилось бы с его *Monumentum aere perennius*¹?

Так как сейчас я пишу единственно по памяти, то предпочту ограничиться тем, что твердо знаю, а посему не буду входить в дальнейшие подробности. К тому же я хочу только доказать полезность моего проекта и высказать несколько общих соображений, предоставив все прочее тому обществу, которое, надеюсь, будет учреждено и получит бла-

¹ Памятником вековечнее меди (*лат.*).

Джонатан Свифт

годаря Вашей светлости поддержку. Кроме того, мне хотелось бы избежать повторений, ибо многое из того, что я имел сказать по данному поводу, уже сообщалось мною читателям при посредничестве некоего остроумного джентльмена, который долгое время трижды на неделе развлекал и поучал сие королевство своими статьями и ныне, как полагают, продолжает свое дело под именем «Зрителя». Сей автор, столь успешно испробовавший силы и возможности нашего языка, полностью согласен с большинством моих суждений, так же как и большая часть тех мудрых и ученых людей, с коими я имел счастье беседовать по этому поводу. А посему, полагаю, такое общество выскажется весьма единодушно по основным вопросам.

Дэниел Дефо

ОПЫТ О ПРОЕКТАХ

Об академиях



ных у нас в Англии меньше, нежели в других странах, — в тех, по крайней мере, где ученость ставится столь же высоко. Недостаток сей восполняют, однако, два наших великих питомника знаний, кои бесспорно являются крупнейшими, правда, не скажу, лучшими, в Европе. И хотя здесь многое можно было бы сказать об университетах вообще и об иноземных академиях в особенности, я удовольствуюсь тем, что коснусь лишь предмета, оставшегося у нас без внимания. Гордость французов — знаменитейшая Академия в Европе, блеском своим во многом обязана покровительству, которое оказывали ей французские короли. Произнося речь при избрании в сию Академию, один из членов ее сказал, что «одно из славнейших деяний, совершенных непобедимым монархом Франции, — учреждение сего высокого собрания — средоточия всей сущей в мире учености».

Первейшей целью Парижской Академии является совершенствование и исправление родного языка, в чем добилась она такого успеха, что ныне по-французски говорят при дворе любого христианского монарха, ибо язык сей признан универсальным.

Некогда выпала мне честь быть членом небольшого кружка, поставившего себе, по-видимому, ту же благородную

цель относительно английского языка. Однако величие задачи и скромность тех джентльменов, кои взялись за ее исполнение, послужили к тому, что от начинания сего пришлось им отказаться как от непосильного для частных лиц. Поистине для подобного предприятия надобен нам свой Ришелье, ибо нет сомнений, будь в нашем королевстве такой гений, который возглавил бы эти усилия, то последователи у него непременно нашлись бы, сумев стяжать себе славу, достойную предшественников. Язык наш наравне с французским заслуживает, чтобы на благо его трудилось подобное общество, и способен достичь много большего совершенства. Просвещенные французы не могут не признать, что по части глубины, ясности и выразительности английский язык не только не уступает своим соседям, но даже их превосходит. Сие признавали и Рапэн, и Сент-Эвремон, и другие известнейшие французские писатели. А лорд Роскоммон, почитавшийся знатоком английского языка, писавший на нем с наибольшей точностью, выразил ту же мысль в следующих строках:

«Как легкость авторов французских далека
От силы нашего родного языка!
Ведь в слитке строчки нашей серебрится
Французской проволоки целая страница.

И если соседи наши вслед за своим величайшим критиком признают наше превосходство в возвышенности и благородстве слога, мы охотно уступим им первенство по части их легковесной живости».

Приходится только сожалеть, что дело столь благородное не нашло у нас столь же благородных приверженцев. Разве не указывает нам путь пример Парижской академии, которая — воздадим должное французам! — стоит первой среди величайших начинаний просвещенного человечества?

Ныне здравствующий король Англии, коему со всех сторон света доносятся хвалы и панегирики и чьи достоинства враги, если только их интересы не зажимают им рта, готовы превозносить даже больше, чем сторонники, — король наш, показавший столь удивительные примеры величия духа на войне, не найдет лучшего случая, осмелюсь заметить, в мирное время увековечить свою память, нежели учредив такую Академию. Сим деянием он имел бы случай затмить славу французского короля на мирном поприще, как затмил он ее своими подвигами на поле брани.

Одна лишь гордыня находит упоение в лестии, и не что иное, как порок, закрывает нам глаза на наши несовершенства. Государям, по моему разумению, в этой части выпал жребий особенно несчастливый, ибо добрые их поступки всегда преувеличиваются, меж тем как дурные замалчиваются. Со всем тем королю Вильгельму, уже снискавшему себе хвалу на стезе воинской доблести, видимо, уготовано деяние, похвальное в самой сути своей и стоящее выше лестии.

А посему — коль скоро речь идет о деле, каковое, надо полагать, по плечу лишь государю, — я, против обыкновения, не дерзаю в этой части моих опытов, как делал в других, указать на пример разрешения сего вопроса, а просто приведу свои соображения.

Мне представляется ученое Общество, учрежденное самим государем, будь на то его высочайшая воля, состоящее из просвещеннейших людей наших дней; при том надобно, чтобы дворяне сии, будучи страстными приверженцами учености, соединяли в себе благородство рождения с выдающимися природными способностями.

Целью сего Общества должно стать распространение изящной словесности, очищение и совершенствование английского языка, развитие столь пренебрегаемых нами навыков правильного его употребления, забота о чистоте и строгости слога, избавление языка от всяческих искажений, порождаемых невежеством или жеманством, а также от тех, с позволения сказать, нововведений, кои иные чересчур самонадеянные сочинители осмеливаются навязывать нашему языку, словно их авторитет настолько непререкаем, что дает им право на любые причуды.

Такое Общество, смею утверждать, принесло бы подлинную славу английскому языку, и тогда среди просвещенных народов он по праву получил бы признание как наиболее благороднейший и наиболее точный из всех новых языков.

Членами сего Общества стали бы только лица, известные своей просвещенностью, но отнюдь не те — или очень немногие из тех, — кто посвятил себя ученым занятиям, ибо, позволю себе заметить, встречается немало больших ученых или просто образованных людей и выпускников университетов, чей язык вовсе не безупречен, поскольку страдает неуклюжестью, искусственностью и тяжеловесностью, изобилует чрезмерно длинными и плохо сочетающимися словами и предложениями, каковые звучат грубо и непривычно,

а для читателей трудно произносимы и непонятны.

Словом, среди членов сего Общества я не хотел бы видеть ни священников, ни лекарей, нистряпчих. Не то что бы я не уважал учености тех, кто упражняется в сих почтенных занятиях, или с пренебрежением относился к ним самим. Но, думаю, я не нанесу этим людям бесчестья, если замечу, что их род занятий неизбежно исподволь накладывает свой отпечаток на речь, чего не терпят интересы дела, о коем я радею. Вполне допускаю, что и в этой среде может встретиться человек, в совершенстве владеющий языком и стилем, истинный знаток английского языка, чью речь мало кто осмелится исправлять. И если найдутся таковые люди, их выдающиеся достоинства должны открыть им двери в помянутое ученое Общество, однако подобные случаи, конечно же, будут редки и должны составлять исключение.

Будущее Общество представляется мне состоящим из истинных джентльменов. В него вошли бы двенадцать пэров, двенадцать джентльменов, не занимающих государственных должностей, и еще следовало бы учредить, хотя бы ради поощрения, двенадцать мест для людей разных званий, кои своим трудом и заслугами приобрели бы право удостоиться подобной чести. Общество было бы достаточным авторитетом для определения правильности употребления слов, избличало бы нововведения, возникающие по чьей-то прихоти, и тем самым наша словесность обрела бы блюстителя законности, обладающего полномочиями поправлять сочинителей и в особенности переводчиков, запрещая им излишние вольности. Благодаря своему высокому авторитету Общество стало бы признанным законодателем в языке и стиле, и тогда никто из пишущих не дерзал бы изобретать слова без его одобрения. Обычай языка, которые суть для нас закон в употреблении слов, должны строго оберегаться и неукоснительно соблюдаться. Учреждение Общества положило бы конец изобретению слов и выражений, каковое следует считать таким же преступлением, как печатание фальшивых денег.

Круг занятий Общества охватывал бы чтение трактатов об английском языке, издание трудов о происхождении, природе, употреблении, значениях и различиях слов, о правильности, чистоте и благозвучии слога, а также воспитание у пишущих хорошего вкуса, порицание и исправление распространенных ошибок в языке, словом, все необходимое для

того, чтобы привести английский язык к должному совершенству, а наших джентльменов научить писать как подобает их званию, изгнав чванство и педантизм, преградив путь неуместной дерзости и наглости молодых авторов, кои в погоне за известностью готовы жертвовать здравым смыслом.

Позвольте теперь высказать некоторые соображения касательно того потока бранных слов и выражений, который ныне захлестнул нашу речь. Я не могу не остановиться здесь на сем предмете, ибо бессмысленный порок сей настолько среди нас укоренился, что мужчины в беседе между собой почти не обходятся без крепкого словца, а иные даже сетуют — жаль, дескать, что брань почитается неприличной, ибо украшает речь и придает ей выразительность.

Говоря о сквернословии, я имею в виду все те проклятия, божбу, бранные слова, ругательства и как там оные еще именуются, кои в пылу беседы беспрестанно слетают с уст едва ли не всякого мужчины, какого бы звания он ни был.

Привычка сия бессмысленна, безрассудна и нелепа; это глупость ради глупости, чего даже сам дьявол себе не позволяет: дьявол, как известно, творит зло, но всегда с некой целью — либо из стремления ввергнуть нас в соблазн, либо, как говорят богословы, из враждебности к Создателю нашему. Человек крадет из корысти, убивает, дабы удовольствие свою алчность или мстительность; распутство и поругание женщины, прелюбодеяние и содомский грех служат к утолению порочных вожделений, всегда имеющих свою корыстную цель, как вообще любой порок имеет какую-то причину и какую-то видимую цель, и лишь дурной обычай, о котором я пишу, представляется совершенно бессмысленным и нелепым: он не дает ни удовольствия, ни выгоды, не преследует никакой цели, не удовлетворяет никакую страсть, это просто бешенство языка, рвота мозга, являющая собой насилие над естеством.

Далее. Для других пороков всегда находятся оправдания или извинения: вор ссылается на нужду, убийца — на ослепление неистовством, немало неуклюжих доводов приводится в извинение распутства; отвратительную же привычку к сквернословию все, включая тех, кому она свойственна, не могут не признать преступлением, и единственное, что можно услышать в оправдание бранного слова, это то, что оно само срывается с языка.

Сверх того, оглушать своих собеседников потоками брани есть непροстителъная дерзость и нарушение правил приличия, а коль скоро кому-то из присутствующих сие не по душе, то, следственно, попираются и законы вежливости. Все равно что испустить утробный звук на судебном заседании или произносить непристойные речи в присутствии королевы.

В борьбе с таким злом любые законы, постановления парламента и предписания суть не что иное, как игра в бирюльки. Меры сии курам на смех, и, сколько могу судить, они всегда оставались без последствий, тем паче что наши судьи ни разу не пытались требовать их исполнения.

Не наказание, а хороший пример искоренит порок, и, если большинство наших джентльменов откажется от этой дурной привычки, нелепой и бессмысленной, она, став предосудительной, выйдет из моды.

Вот начинание, достойное Академии. Полагаю, ничто не может возыметь большего действия, нежели открытое порицание со стороны столь авторитетного Общества, призванного охранять чистоту языка и нравов. Академии принадлежало бы право решать, сообразуется ли с духом разумности изображение обычаев, нравов и обхождения на театре. Прежде чем ту или иную пьесу увидят зрители, а критики начнут судить о ней и всю ругать, она должна быть оценена членами Академии. Тогда на сцене будет процветать подлинное искусство, и два наших театра перестанут ссориться за обладание первенством, признав разум, вкус и истинные достоинства непогрешимыми судьями в сем споре.

Джозеф Аддисон

ЭССЕ ИЗ ЖУРНАЛА «ФРИГОЛЬДЕР»

№ XXV

Пятница, 16 марта 1716 г.

Quid est Sapientiae? Semper idem
velie atque idem nolle.

*Seneca.*¹



Жели и впрямь верить тому, что приметили в нас иноземцы, во всей Европе не сыщешь страны, столь подверженной переменам. Одни приписывают это переменчивости нашей погоды, другие — вольготности нашего правления. Из той ли, иной ли причины, либо же из обеих производят многообразие нравов, царящих у нас, чудачеств и непоследовательности, которую можно узреть едва ли не в каждом нашем соотечественнике. Однако, поскольку должно бежать именно тех пороков, какие нам особо присущи, надобно печься свыше обычного о том, чтобы поведение наше не зависело от погоды, а также не пользоваться причуды ради свободой, дарованною нам превосходнейшим из государственных устройств.

Переменчивости нрава следует беречься пуще всего, когда она проявляется в воззрениях на политику, побуждая нас метаться от одних уложений к другим, ибо подобная неустойчивость в делах общественных может оказаться пагубной для нашей страны.

¹ Что есть мудрость? Всегда и хотеть и отвергать одно и то же.
Пер. С. А. Ошерова.
(Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977, с. 37.)

Прежде всего, любому предприятию, требующему для осуществления своего немало времени, неустойчивость эта мешает достигнуть совершенства. В истории нашей нет лучшего сему примера, чем тот, который еще свеж в памяти каждого. Недавно, ведя войну, мы намеревались положить предел растущей мощи опаснейшего противника. Одержав множество поистине славных побед, мы подошли уже к самой цели, как вдруг терпение наше иссякло, мы устали и приняли условия тех, кто еще недавно готов был дать нам все, чего бы мы ни потребовали.

Такая изменчивость настроений побуждает старинных наших друзей уклоняться от союзов, споспешествующих благу и безопасности обеих стран. Чужеземцы обычно полагают, что союз с англичанами хорош, когда он недолог, однако положиться на нас нельзя, если дело требует терпения и упорства. Недавние наши деяния настолько подорвали доверие к нам, что правители, заключающие договор с нынешним монархом, руководствуются лишь верою в личную его твердость и надежность.

После этого нет нужды напоминать читателю о негодовании и упреках, коими награждают нацию, отличную от своих соседей изменчивостью и неверностью поступков.

Непоследовательность, мешающая нам выполнить тщательно обдуманые замыслы, вредит внутренним нашим делам не менее, чем внешним. Рассказывают, что прославленный принц Кондэ, получивши почту, говорил нашему послу: «Поглядите, кто нынче в Англии государственный секретарь», подшучивая тем самым над переменчивостью английской политики. Истинной напастью для страны стало то, что министров наших сменяют как раз тогда, когда они обретут искусность и опыт в своем деле; беда же эта постигает их не потому, что они ее заслужили, но потому, что нам угодно видеть новых людей на высоких почетных постах.

Особенность эта вдвойне губительна для наций, склонных к переменам, когда во главе их стоят правители, покорно следующие своенравным прихотям толпы. Саллюстий, мудрейший из римских историков, чьи суждения о королевской власти основаны на том, что он видел у варваров, пишет: «Plerumque regiae voluntates uti vehementes, sic mobiles, saepe ipsae sibi advorsae», то есть: «Произволения королей, весьма пылкие, к тому же и переменчивы, противореча порою самим себе». Если суждение это основательно,

сколь велика заслуга правителя, к коему оно не относится!

Переменчивость правления, естественно, порождает непрестанные споры и распри меж людьми, тогда как король, упорно выполняющий им же созданные правила и чающий лишь блага для подданных, препятствует упованиям тех, кто снискал бы выгоду и славу, противясь закону, а также исподволь соединяет враждующие стороны, даруя им общность цели.

Королева Елизавета, превышавшая всех наших монархов, среди прочих своих достоинств, упорством и последовательностью, отличавшими все ее действия от начала и до конца долгого и славного царствования, придерживалась принятых правил в каждом своем деянии, не теряя из виду великих целей, поставленных ею самой себе при восшествии на престол, а именно — народного блага и укрепления протестантства. Нередко прибегала она к высокой своей власти, дабы спасти от клевет и вражды первых министров, и потому министры эти старились и умирали на том самом месте, какое украсили достойною службой. Подобным же способом она сумела пресечь различные козни внутренних и внешних врагов и властно сломила мощь и самый дух той части нации, которая питала приверженность к римской церкви и представляла немалую опасность в начале славного царствования.

Частые перемены в общественных делах, многообразие сменяющих друг друга правил, власть временщиков — словом, все, чем изобиловали царствования позднейшие, малопомалу разделили страну на злосчастные секты и партии, принешие королям немало вреда и забот и угрожавшие благу подданных.

Я не сомневаюсь, что беспристрастный читатель предвосхитил меня во мнениях, поразмыслив о том, сколь счастлива наша страна под властью нынешнего монарха, по праву снискавшего глубокое уважение приверженностью намерениям, явственно споспешествующим общему благу, и расположением к людям, кои помогают претворить их в жизнь.

Монарх такого нрава будет грозен для врагов, друзья же станут служить ему с отвагою и рвением; к тому же пример его поможет нам сменить переменчивость на постоянство либо сами деяния его воспрепятствуют возможному ущербу.

Словом, поскольку нет склонности столь позорной для

частного лица и столь гибельной для общества, как переменчивость, в коей нас вполне справедливо укоряют иноземцы, следует уповать, что здравая часть нации более не даст оснований для таких упреков, но будет верной духу, воцарившемуся ныне. Поскольку же приверженность предрассудкам нимало не схожа с благородной решимостью и твердостью, необходимыми для того, чтобы страна не погибла, было бы хорошо, если бы противники нынешнего уклада настолько преисполнились сим новым духом, что изменились бы еще в одном, а именно — приняли все, чему сейчас противятся. Вознадемся же по меньшей мере, что им достанет разума выказать сообразное закону повиновение лучшему из королей, как выказывают они повиновение неограниченное королю наихудшему.

№ LIII

Пятница, 22 июня 1716 г.

Belua centiceps.

Hor.¹



Едва ли во всей Англии сыщется человек какого бы то ни было образа мыслей, кой не был бы вольнодумцем, когда речь идет о политике, и не имел бы особых воззрений, отличающих его от сограждан. Остров наш, именовавшийся прежде островом святых, мы вправе назвать островом мужей государственных. Стар и млад, мужчина и женщина, простолюдин и вельможа, словом — почти все до единого предпочитают любезных им министров и угодный им вид правления.

Дети наши знают, с какой они партией, ранее, чем сумеют

¹ Стоглавый пес. *Пер. Г. Церетели.*
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 111.)

отличить правую руку от левой. Едва научившись говорить, они лепечут первые слова: «виг» или «тори». Приученные сызмальства гнушаться половиной нации, они обретают злобу и нетерпимость партий еще до того, как научатся мыслить.

Что же до знати, аристократ родится политиком; и, хотя Англия выбирает представителей в парламент, у каждого жителя ее — свои права, свои правила, свои поправки к общим уложениям. Студент, вчера поступивший в университет, почти всегда способен улучшить наши законы. Всякий день в Лондон прибывают сквайры или йомены, столь сведущие в политике, что (как заметил один остроумец) поневоле вспомнишь римских диктаторов, оставлявших плуг, дабы править страной. То и дело слышишь об олддермене, предположим из Бэкингемшира, который на каждом общественном собрании напивается допьяна, восславляя знать, и о противнике его, мировом судье, который готов с утра до ночи толковать о равновесии между правами парламента и полномочиями короля. Кто не встречал церковнослужителя, который не читал бы и не перечитывал псалмов Хопкинса и Стернхолда, выискивая, нет ли в них восхваления семени Иакова, точно так же как предшественники его, при Кромвеле, призывали по дням субботним заковать в цепи королей, а вельмож — в оковы! На каждой скамье, где отдыхают носильщики, непременно найдется два либо три знатока, которые в тонкостях разъяснят вам права престолонаследия и определят за кружкою эля границы гражданской и церковной власти. Кому не доводилось повстречать праздничным вечером нетрезвого сапожника, громко восславляющего церковь, а немного позже узреть, как его прибует другой сапожник, предпочитающий веротерпимость!

В прежних наших листках мы говорили о том, что закваски политической не избежал и слабый пол, и брожение она вызвала сильнейшее. Последний и самый занимательный тому пример — распря между приверженкой белой розы и отважной девицей, приколовшей к прелестным перьям цветов, именуемый флердоранжем, дабы убедить в своей верности славной Революции. Совсем недавно толпа разъяренных женщин не постыдилась разжечь на улицах костры и выкликать при всем честном народе мнения свои о политике. Словом, во всем городе едва ли найдется особа, которая не почитала бы себя способной судить о сложней-

ших спорах, церковных и государственных. Торговки устрицами убеждены в незаконности наших епископов, служанки же утверждают незыблемость их прав.

Из всех манер и способов, коими нашему народу внушают сию страсть к политике, наиболее привычным и действенным представляется мне нынешний обычай непрестанно оповещать в газетах о государственных делах. Только и слышишь, как новые газеты возникают по всей стране ради этой цели, словно Эксетер, Солсбери и прочие города вздумали стать столь же сведущими, как Лондон или Вестминстер, и поставляют собственными силами вести, наиболее приличествующие по духу своему рыночным торговцам и потрафляющие вкусу местных обитателей.

Поневоле посетуешь об участи мест, где действует сей пагубный механизм, ибо, как всем известно, когда родится политик, умирает торговец. Становясь коварным политиканом, человек обретает лукавство, при котором уже не может честно заниматься своим делом; и мне довелось узнать, что за последние годы производство шерсти пришло в упадок ровно настолько, насколько расцвело производство бумаги. Связаны ли явления эти, предоставляю судить тому, кто более меня искушен в политике.

Поскольку поставщики новостей сообщают множество сведений, кои, по их же словам, «располагают к размышлению», читатель соответственно и размышляет и, ознакомившись за несколько лет со всевозможными мнениями, становится заправским политиком; кроме того, газеты преисполнены духа наиразличнейших партий и посему разделяют людей согласно их воззрениям, причем считаются люди эти скорее с поставщиком новостей, нежели с истиной. Явление сие усилилось настолько, что в нынешней распре между императором и турками соотечественники наши, сами того не заметив, предали свою веру и стали сторонниками мусульман. Словом, каждый газетный писака создал особую секту; поскольку же нам, англичанам, любезны дела государственных и мы охотно вдаемся в их тонкости или меняем мнения, писаки эти мало-помалу обеспечили всех до единого особой системой взглядов, ибо, хотя в основном англичане придерживаются мнений вигов либо тори, у каждого имеются уклонения, особенности и оговорки.

Среди неисчислимой толпы политиков особенно отмечу одну породу, весьма распространенную, каковая, на мой

Автопортрет Джона Булла

взгляд, ведет со своими собратьями не совсем честную игру. Можно применить к ним слова «задним умом крепок», ибо, когда тот либо иной проект терпит полное или хотя бы частичное поражение, оказывается, что они предвидели недоброе, но скрывали до времени свои мысли. Более того, мудрецы эти, восхвалявшие действия государства прежде, чем станут ясны последствия, всячески бранят их, когда они не принесут должной пользы. Свойствами сими, как правило, наделены диктаторы кофеен, глубокомысленно намекающие на то, что все было бы иначе, войди они в состав кабинета.

Сколь трудно, наверное, спокойно править, какой бы ни была форма правления; сколь трудно избегать хулы правителю, когда всякий член общества со знанием дела вносит поправки в наши уложения и судит о делах государственных! Прославленный французский остроумец, рассуждая о том, что единовластному монарху его страны проще пролагать путь сквозь хитросплетения власти, чем императору германскому, согласующему действия свои с множеством государей, ему подчиненных, сравнивает первого со змеею об одной голове и дюжине хвостов, второго — со змеею об одном хвосте и дюжине голов и вопрошает, какая из них легче и быстрее проберется сквозь заросли. Сравнение сие приличествует и стране, ведомой целой нацией политиков.

II

«ЗРИТЕЛЬ»

Джозеф Аддисон, Ричард Стил
ЭССЕ ИЗ ЖУРНАЛА «ЗРИТЕЛЬ»

№ 1

Четверг, 1 марта 1711 г.

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.

*Hor.*¹



Я подмечал, что читатель нередко без особой охоты читает книгу, пока не узнает, каков автор — темноволос или светел, кроток или гневлив, женат или холост и прочее в том же духе, ибо иначе толком и не разберешь, к чему сей автор клонит. Дабы удовлетворить столь законное любопытство, я намереваюсь и в этом листке, и в следующем рассказать все, что предварит дальнейшие мои очерки, и поведать хотя бы немного о различных лицах, причастных к сему изданию. Поскольку немалая часть труда выпадает на мою долю — именно я составлю эти очерки, отберу их и выправлю, — то без зазрения совести начну с самого себя. Уже при рождении своем я наследовал небольшое поместье, чьи границы, по местному преданию, то бишь изгороди и канавы, были ровно такими же во времена Вильгельма Завоевателя, и земля наша переходила от отца к сыну в полной неприкосновенности, не теряя и не прибавляя ни луга, ни поля целых шесть столетий кряду. В семье моей

¹ Он не из пламени дым, а из дыма светлую ясность хочет извлечь, чтобы в ней явить небывалых чудовищ.

Пер. М. Гаспарова
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 387.)



Джозеф Аддисон.

бытует рассказ о том, что матушка, тяжелая мною, увидела на третьем месяце сон, согласно которому она произвела на свет судью. Не берусь сказать, проистекало ли это оттого, что семья наша вела тогда тяжбу, или же оттого, что отец мой был мировым судьёю; да я и не столь тщеславен, чтобы счесть это предзнаменованием почестей, предназначенных мне в земной жизни, хотя именно так толковали матушкин сон все наши соседи. Толки эти, казалось бы, подтверждала небывалая моя серьёзность и сразу по рождении, и в младенчестве, ибо, согласно матушкиным словам, нередко слышанным мною, я презрел погремушку, не достигнув и двух месяцев, когда же у меня резались зубы, не брал в рот колечка из гладкого коралла, пока с него не сняли колокольцев.

Больше в детстве моем ничего примечательного нет, и я обойду его молчанием. В отрочестве я слыл весьма угрюмым,

Джозеф Аддисон, Ричард Стил



Ричард Стил.

но учитель меня отличал, нередко повторяя, что разум у меня крепкий и ему не будет износа. Определившись в университет, я вскоре выделился особой молчаливостью, ибо за все восемь лет едва произнес и сотню слов, если не считать публичных актов; да и позднее не припомню, чтобы речь моя простиралась за пределы двух или трех фраз. Пребывая в обители наук, я столь прилежно предавался учению, что прочитал почти все достойные внимания книги, будь то на древних или на новых языках.

После смерти моего отца я решил посетить чужие земли и оставил университет, слывя человеком непонятым, странным, но исполненным учености, которой нимало не выказывал. Неутолимая жажда знаний водила меня по всем странам Европы, где можно было узреть хоть что-нибудь новое или примечательное; любознательность моя дошла до таких пределов, что, прочитав о спорах ученых мужей касательно египетских древностей, я отправился в самый Каир, намереваясь обмерить пирамиду; и, установив ее размеры, вернулся домой, весьма довольный собою.

Последующие годы я провел здесь, в этом городе, и меня чрезвычайно часто встречают в самых людных местах, хотя знает меня не больше полудюжины близких друзей, о которых я расскажу подробнее в следующем письме. Вряд ли найдется место сборищ, в котором бы я не появлялся. Порою меня видят в кофейне Уилла, где я с вниманием слушаю споры о политике, которые ведут там избранные кружки. Порою я курю трубку в другой кофейне, у Чайлда, и, как бы занятый газетой «Почталион», слышу тем не менее, что говорят за каждым столиком. Воскресными вечерами я посещаю кофейню на улице Сен-Джеймс, а также порою присоединяюсь к политикам, собирающимся в комнатке за общей залой, дабы послушать их и сделать соответствующие выводы. Известно мое лицо и в греческой кофейне, и в кондитерской «Кокосовая пальма», и в театрах — «Друри-лейн», и «Хей-маркете». Лет десять кряду меня принимают на бирже за купца, в кофейне же у Джонатана, где собираются биржевые маклеры, — за правоверного иудея. Словом, если я вижу сборище, я к нему присоединяюсь, хотя нигде, кроме собственного клуба, не размыкаю уст.

Таким образом, я обитаю в мире скорее как зритель, наблюдающий людей, чем как участник их жизни; благодаря чему становлюсь в мыслях своих и государственным мужем,

и воином, и купцом, и ремесленником, не посвящая себя никакому определенному делу. Я прекрасно знаю в теории, как быть отцом или мужем, и могу указать неправильность в домоводстве, коммерции и прочих делах много лучше тех, кто ими занимается, подобно тому как досужий наблюдатель видит возможную ошибку, неведомую игрокам. Никогда не выказывал я пылкого пристрастия ни к одной из партий и намерен стоять в равном удалении от обоих станов, если виги или тори не вынудят меня нарушить нейтралитет какой-либо враждебной выходкой. Словом, всегда и везде я был сторонним наблюдателем, зрителем, коими и намерен остаться в сих заметках.

Я рассказал читателю ровно столько о прошлом своем и нраве, сколько надобно, чтобы он увидел, пригоден ли я к замышляемому предприятию. Прочие подробности моей занимательной жизни я сообщу при случае в будущих моих листках. Пока же, поразмыслив о том, как много я видел, слышал и читал, я стал корить себя за немногословие, и, поскольку мне некогда, да и не хочется, чтобы уста мои глаголали от избытка сердца, я решил вместо этого писать и печатать все, что переполняет душу, еще до того, как меня посетит смерть. Друзья мои нередко сетовали на то, что множеством полезнейших сведений владеет человек столь молчаливый. Посему я намереваюсь выпускать каждое утро, на благо современникам, небольшой листок, преисполненный мыслей; и, если смогу способствовать вящей радости или исправлению нравов в стране, где обитаю, я покину ее во благовремени, втайне радуясь тому, что прожил жизнь мою не напрасно.

По разным, но весьма веским причинам я не коснулся здесь трех немаловажных предметов, которые хотя бы на время останутся неведомыми: имени моего, возраста и адреса. Заверю читателя, что он узнает все необходимое; касательно же означенных сведений, я решил пока не сообщать их, прекрасно понимая при этом, что они заметно украсили бы повествование, однако сорвали бы покров неприметности, защищавший меня столь долго, и вынудили бы покориться суетной славе кофейен, всегда претившей мне, ибо я несказанно страдаю, когда ко мне обращаются и на меня глядят. По той же причине я сохраняю в строжайшей тайне обличье мое и одежду, хотя, может статься, кое-что и приоткрою в случае надобности.

«Зритель»

Рассказав так подробно о себе, я посвящу завтрашний листок лицам, связанным со мною, ибо, как я уже указывал, замысел сего предприятия, подобно всем важным замыслам, выношен и рожден в клубе. Поскольку друзья мои препоручили представительство мне, всякий, пожелавший вступить со мною в переписку, может направлять послания Зрителю, в кофейню мистера Бакли на улице Литтл-Бритон; ибо читатель должен знать, что, хотя клуб наш собирается лишь по вторникам и по четвергам, особый комитет заседает всякий вечер, дабы отбирать письма, споспешествующие общему благу.

К.

№ 2

Пятница, 2 марта 1711 г.

... ast alli sex
Et plures uno conclamant ore.

*Juv.*¹



Первый из нашего сообщества родился в Вустершире, он знатного рода, баронет, и зовется сэром Роджером де Каверли. Прадед его изобрел сельский танец, прославивший имя сей семьи. Всем, кто бывал в тех краях, ведомы способности и достоинства сэра Роджера. Ведет он себя своеобразно, но странности его проистекают от здравомыслия и противоречат принятому в свете лишь настолько, насколько наш баронет расходится со светом в мнениях. Как бы то ни было, странный нрав не вызывает к нему вражды, ибо сэр Роджер лишен как угрюмости, так и упрямства; а погрешности против этикета лишь

¹ ...То же все шесть или больше софистов кричат в один голос.
Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского
(Ювенал. Сатиры. М.—Л., 1937, с. 59.)

усугубляют особую любезность и предупредительность ко всем, кто ведет с ним знакомство. Приезжая в Лондон, он живет на Сохо-сквер. Ходит слух, что он остался холост, ибо был обманут в любви коварной и прекрасной вдовой из соседнего графства; прежде же, до разочарования, по праву слыл блистательным джентльменом, нередко ужинал с лордом Рочестером и сэром Джорджем Эгериджем, дрался на дуэли, впервые приехав в Лондон, и отдубасил в кофейне самого Даусона, когда сей невежа назвал его зеленым юнцом. Оскорбленный вышеозначенной вдовою, он оставался печальным и угрюмым полтора года кряду, а после, преодолев скорбь по природной живости нрава, все же перестал заниматься собой и печясь об изящном обличье и носит по сую пору камзол и плащ того покроя, какой носили во времена его несчастья, в веселые же минуты говорит нам, что покррой этот успел двенадцать раз войти в моду и выйти из нее с тех пор, как он его надел. Поговаривают, будто сэр Роджер, забыв жестокою красавицу, стал столь неприхотлив в своих желаниях, что грешил против целомудрия с нищенками и цыганками; но друзья его полагают, что это скорее шутка, чем правда. Сейчас ему пошел пятьдесят шестой год, он весел, радушен и приветлив, а оба его дома — и городской, и сельский — славятся гостеприимством; людей он очень любит и ведет себя с ними столь весело и просто, что и его самого скорее любят, чем почитают. Арендаторы его богатеют, слуги лоснятся от довольства, молодые дамы питают к нему приязнь, молодые мужчины ценят его дружбу; входя в чей-либо дом, он называет слуг по имени и говорит с ними, едва ступив на лестницу. Отмечу также, что сэр Роджер входит в число мировых судей, председательствует на сессиях суда и не далее как три месяца тому назад с большим успехом разъяснил неясный пункт Закона об охоте.

Почти таким же уважением и авторитетом пользуется среди нас другой холостяк, судейский из Иннер-Темпла, наделенный острою ума, честностью и благородством; поприще свое он избрал не по призванию, но из послушания старому, сварливому отцу, велевшему изучить все наши законы, и теперь превышает своих собратьев знанием законов театра; Аристотель и Лонгин намного понятней ему, чем Литтлтон или Кук. Отец спрашивает его в письмах обо всех брачных, земельных, имущественных делах в округе; а он, прежде чем разобраться и ответить, совещается с коллегою,

ибо ему свойственно скорее изучать самые страсти, чем разбираться в порожденных ими спорах. Он знает каждый довод Демосфена и Цицерона, но не в силах запомнить ни единого дела, разбиравшегося в наших судах. Никто не заподозрит его в глупости, однако лишь близким друзьям ведомо, сколь он умен. Особенности эти придают ему и некую отрешенность, и немалую привлекательность; в мыслях своих он далек от судебных дел и потому превосходно ведет беседу. Литературные его вкусы немного строги для наших времен; читал он все, одобрил немногое. Он так хорошо знает обычаи, нравы, деяния и писания древних, что с особою тонкостью судит о нынешних событиях. Кроме того, он отменный знаток театра, и час его истинного труда наступает с началом представления; ровно в пять он проходит через Нью-Инн, пересекает Рассел-корт и заглядывает к Уиллу; башмаки его начищены, парик напудрен в цирюльне, что у таверны «Роза», а пребывание его в зале благотворно для зрителей, ибо артисты всячески стремятся ему угодить.

Следующим по достоинству идет сэр Эндрью Торгмен, влиятельнейший из коммерсантов лондонского Сити, неустанный в делах, сильный разумом и немало повидавший. Представления его о торговле исполнены благородства, и (поскольку богатый человек всегда склонен к шутливости, которая вызывала бы меньший отклик, будь он беднее) он называет море общинным выгоном Англии. Коммерцию он знает до тонкостей и полагает, что глупо и грубо завоевывать чужие земли, ибо истинную власть даруют лишь трудолюбие и ремесла. В споре он нередко утверждает, что, торгуя одними товарами, мы получили бы прибыль в одной стране, торгуя другими — в другой, и нередко доказывает (это я слышал сам), что обретенное усердием держится крепче, чем обретенное отвагой, леность же погубила больше народов, чем война. Речь его изобилует мудрыми поговорками, и чаще всего он повторяет: «Что сберег, то заработал». Здравомыслящий торговец приятней в общении, чем ученый; а поскольку сэр Эндрью наделен от природы достойным красноречием, лишенным пустого блеска, простота его бесед доставляет такое же наслаждение, какого не доставит иная остроумия ума. Состояние он нажил собственными своими силами и непрестанно утверждает, что Англия могла бы превзойти богатством другие страны, если бы применила методы, благодаря которым сам он стал богаче других людей; я

же полагаю, что нет океана или моря, где бы не плавали его суда.

Рядом с сэром Эндрью сидит в нашем клубе капитан Чэсти, человек великой отваги, светлого ума и неистребимой скромности. Он — один из тех, кто, будучи лучше многих, не умеет выказать своих дарований так, чтобы их заметили. Несколько лет он служил, сражался, отличившись особым мужеством в походах и в осадах; но поскольку у него было небольшое поместье, а также надежда наследовать титул после сэра Роджера, он покинул стезю, на которой едва ли воздадут по заслугам, если к доблестям воина не прибавить хоть что-либо из доблестей льстеца. Нередко он сетовал на то, что в деле, где достоинства столь ясно видны, наглость приносит больше пользы, чем скромность. Говорил он это без малейшей горечи, просто и честно признавая, что оставил свет, ибо к нему непригоден; ведь прямота, Порядочность и безупречные правила отнюдь не идут на пользу тому, кто должен пробиться сквозь скопище стремящихся к той же цели, а именно — к благосклонности власть имущих. Однако наш капитан не склонен судить генералов за то, что они не могут и даже не тщатся ценить людей по достоинству, ибо, согласно его словам, высокий чин, вознамерившийся ему помочь, должен был бы преодолеть такие же самые препятствия, какие не смог преодолеть он сам; и потому, заключал он, всякий, желающий выделиться, особенно на воинском поприще, обязан поступиться скромностью и угождать стоящим выше, отшвыривая прочих наглецов, дабы отстоять себя. Поистине, говорит он, тот, кто неспособен пробиться, столь же малодушен, как тот, кто не решится идти в атаку, презрев воинский долг. Вот с какой незлобивой простотою рассуждает друг наш капитан и о себе, и о других; такую же открытостью дышат все его речи. За годы сражений он перевидал немало, и рассказы его занимательны, ибо он не обрел и малейшей властности, хотя распорядился людьми, стоящими неизмеримо ниже его, не обрел и раболепия, хотя привык подчиняться тем, кто стоит много выше.

Не следует думать, однако, что клуб наш — сборище причудников, коим чужды нравы и услады нашего века; ведь среди нас — блистательный м-р Уллей, джентльмен, чьи годы могли бы свидетельствовать о закате жизни, но неустанные заботы о себе и благосклонность судьбы помешали времени отметить свою печатью и лоб его, и самый

разум. Он хорошо сложен, довольно высок и чрезвычайно искусен в той беседе, какую мужчины пленяют женщин. Когда с ним беседуют, он улыбается и отвечает смехом на шутку. Одевался он всегда превосходно и помнит все прихоти моды так же прочно, как иные помнят встреченных ими людей. Поистине, он — историк модных поветрий, ибо всегда скажет, от какой из блудниц, приближенных к французскому королю, переняли наши жены и дочери покрой капюшона или форму локонов, кто именно скрыл свою худобу кринолином и чье тщеславие укоротило юбку, дабы являть прелесть ножки. Словом, и познания его, и речи связаны с прекрасным полом. Мужчины его лет скажут вам, как выразился тот или иной министр по тому или иному поводу; он же поведает, от какой из дам отвернулся герцог Монмутский на таком-то балу и кого означенный герцог взял с собою на прогулку. Во всех этих знаменательных событиях принимал участие и он сам, и прославленная красавица, чей сын носит теперь такой-то титул, кинула на него взгляд или ударила его веером. Если вы упомянете о том, что молодой член Палаты общин произнес прекрасную речь, он тут же заметит: «Что ж, кровь у него неплохая, он — от самого Тома Мирабелла, это говорила мне его негодница-мать, которая, кстати сказать, помыкала мною, как ни одна женщина». Такие речи весьма оживляют наше благопристойное сообщество; мы редко толкуем о людях, но если уж зайдет беседа, не я один назову нашего друга истинным, достойнейшим джентльменом. Чтобы завершить его описание, скажу, что там, где не замешаны женщины, он человек порядочный и надежный.

Не знаю, следует ли мне причислить к нашему сообществу того, чей черед настал, ибо посещает он нас нечасто, но появление его всегда приносит радость. Он — священик, человек большой мудрости, огромной учености, беспорочной жизни и безупречнейшей воспитанности. К несчастью, он весьма слаб, ему не под силу заботы и хлопоты, неотъемлемые от его дела; и потому, среди пастырей, он подобен судейскому, который дает советы, но не выступает в суде. Ясностью ума и чистотою жизни он приобрел не меньше последователей, чем приобретают иные красотой или силою голоса. Он почти никогда не заговаривает первым о том, что занимает его мысли; но все мы немолоды, и, пребывая среди нас, он подмечает, склонны ли мы потолковать о горнем,

говорит же с тою весомостью, какую наделен человек, не ищущий ничего в сем мире, стремящийся лишь к наивысшему и черпающий надежду из самых своих немощей. Таковы те, с кем я обычно встречаюсь в нашем клубе.

P.

№ 3

Суббота, 3 марта 1711 г.

Quoi quisque fere studio devinctus adhaeret
Aut quibus in rebus multum sumus ante morati
Atque in qua ratione fuit contenta magis mens,
In somnis eadem plerumque videmur obire.

*Lucr.*¹



Н едавно, прогуливаясь по городу и предаваясь размышлениям, я заглянул в большую залу, принадлежащую банку, и немало порадовался, увидев управляющих, служащих и секретарей вкупе с другими членами сего богатейшего учреждения, каждого — на отведенном ему месте соответственно роли, которую он играет в столь упорядоченном хозяйстве. В памяти моей ожили многочисленные рассуждения, как печатные, так и устные, о том, что кредит страны приходит в упадок, и разно-речивые советы о том, как восстановить его в силе, грешащие, на мой взгляд, приверженностью к своекорыстию, а также к выгодам собственной партии.

¹ Если же кто-нибудь занят каким-либо делом прилежно,
Иль отдавался мы чему-нибудь долгое время,
И увлекало наш ум постоянно занятие это,
То и во сне представляется нам, что мы делаем то же.

Пер. Ф. А. Петровского
(Луcretий. О природе вещей. М., 1945, с. 263.)

Дневные мысли заняли мой разум и ночью, и я, сам того не заметив, перенесся в весьма осмысленный сон, обративший все, что я видел, в некую аллегория, некое видение или что иное, по разумению читателя.

Мне привиделось, что я вернулся в большую залу, где побывал утром, но, к удивлению моему, нашел там не тех, что были прежде: в глубине залы, на золотом троне, восседала прекрасная дева, зовущаяся, как мне сказали, Кредитой. Стены были увешаны не картами и не картинами, но парламентскими актами, начертанными золотом. В конце помещения висела Великая Хартия Вольностей, справа от нее — Акт о единообразии, слева — Акт о веротерпимости. На ближней стене находился Акт о престолонаследии, и дева глядела прямо на него. По бокам я увидел все те акты, которые относились к упорядочению государственных средств. Насколько я понял, украшения эти чрезвычайно нравились властительнице, ибо она то и дело услаждала ими свой взор и порою, взглянув на них, улыбалась с тайной радостью; а если хоть что-либо грозило нанести им вред, выпадала в особое беспокойство. Поведение ее отличалось несказанной пугливостью; по слабости здоровья или от особой нервозности (как сообщил позже один ее недоброжелатель) она бледнела и вздрагивала при любом звуке. Впоследствии я подметил, что немощь ее превышала все, что мне доводилось видеть даже среди женщин, а силы убывали с такою быстротою, что она в мгновение ока превращалась из здоровой, цветущей красавицы в истинный скелет. Правда, и прибывали они мгновенно; изничтожающая хворь сменялась той животворной мощью, какою наделены самые здоровые люди.

Мне довелось наблюдать очень скоро эти быстрые перемены. У ног ее сидели два секретаря, получавшие что ни час письма со всех концов света; то один, то другой читали ей сии послания, и сообразно новостям, которые она выслушивала весьма внимательно, дева менялась в лице, выказывая признаки здоровья или же болезни.

Позади трона, от полу до самого потолка, громоздились огромной кучей мешки с деньгами, наваленные друг на друга. И по левую руку от девы, и по правую возвышались огромнейшие горы золота; однако удивление мое угасло, когда я узнал в ответ на свои вопросы, что дева сия наделена тем же даром, каким, по слову стихотворца, обладал в былое

время один лидийский царь, а именно — способна обратить в драгоценный металл все что угодно.

Голова моя закружилась, мысли смешались, что нередко бывает во сне, и мне привиделось, что в зале поднялась суматоха, распахнулись двери и вошло с полдюжины мерзейших призраков, какие я только видел и наяву, и в ночных грезах. Шли они по двое, словно бы в танце, но пары нимало не подходили друг другу. Описывать их не стану, боясь утомить читателя; скажу лишь, что в первой паре выступали Тирания и Анархия, во второй — Фанатизм и Неверие, в третьей — дух-хранитель Англии и молодой человек лет двадцати двух, имени чьего я так и не узнал. В правой руке он держал шпагу и взмахивал ею, когда проходил, танцуя, мимо Акта о престолонаследии; а некий джентльмен, стоявший рядом со мной, шепнул мне, что в левой его руке заметил губку, какую стирают буквы с доски. Лишенный согласия танец напомнил мне, как в бэкингемовом бурлеске пляшут Луна, и Земля, и Солнце, всячески стараясь затмить друг друга.

Припомнив, о чем говорилось выше, читатель легко догадается, что дева на троне испугалась бы до полусмерти, узрев хотя бы один призрак; каково же ей было, когда она увидела всех разом? Она потеряла сознание и немедля испустила дух.

Et neque jam color est misto candore rubori,
Nec vigor, et vires, et quae modo visa placebant,
Nec corpus remanet¹.

Переменились и груды мешков с деньгами, и кучи золота, причем мешки осели, лишившись содержимого, так что деньги находились теперь не более чем в десятой их части. Прочие мешки — пустые, хотя с виду подобные полным, — унесло ветром, отчего я припомнил те надутые воздухом мехи, которые, по слову Гомера, герой его получил в подарок от Эола. Кучи золота по сторонам трона обратились в кипы

¹ Красок в нем более нет, уж нет с белизною румянца,
Бодрости нет, ни сил, всего, что, бывало, пленяло,
Тела не стало его.

Пер. С. Шервинского

(Овидий. *Метаморфозы*. М., 1977, с. 94.)

«Зритель»

бумажек или связки палочек с зарубками, подобные вязанкам хвороста.

Пока я сокрушался о том, как все разорилось на моих глазах, прежняя сцена исчезла. Вместо жутких призраков в залу, изящно танцуя, вошли иные, дружные пары, весьма приятные собой. В первой паре были Свобода об руку с Монархией; во второй — Терпимость и Вера; в третьей — дух-хранитель Британии с кем-то, кого я никогда не видел. С появлением их дева ожила, мешки округлились, хворост и бумажки сменились кипами гиней. Я же от радости проснулся, хотя, признаюсь, охотно бы заснул снова, если бы только мог, дабы досмотреть сновидение.

К.

№ 10

Понедельник, 12 марта 1711 г.

Non aliter quam qui adverso ut flumine lembum
Remigiis subigit: si brachia forte remisit,
Atque illum praecipos pronо rapit alveus amni.

*Virg.*¹



очень радуюсь, когда слышу, что славный наш город день ото дня ждет моих листков и принимает утренние поучения с должным вниманием и серьезностью. Издатель говорит, что в день уже расходуется три тысячи; так что, если мы положим по двадцать читателей на каждый (что еще весьма скромно), я

¹ Точно гребец, что насилу челнок свой против течения
Правит, но ежели вдруг его руки нежданно ослабнут,
Он уж стремительно вспять увлекаем встречным теченьем.

Пер. С. Шервинского

(Вергилий. Георгики. Буколики. Энеида. М., 1971, с. 70.)

вправе счесть своими учениками не менее шестидесяти тысяч человек в Лондоне и Вестминстере, надеясь, что они сумеют отмежеваться от бессмысленной толпы своих нелюбопытных и невежественных собратьев. Обретя такое множество читателей, я не пожалею сил, чтобы назидание стало приятным, а развлечение — полезным. Посему я постараюсь оживлять нравоучение остротой слога и умерять остроту эту нравственностью, чтобы читатели мои, насколько это возможно, получали пользу и от того, и от другого. А дабы добродетель их и здравомыслие не были скоротечны, я решил напоминать им все должное снова и снова, пока не извлеку их из того прискорбного состояния, в какое впал наш безрассудный, развращенный век. Разум, остающийся невозделанным хотя бы один день, порастает безрассудством, которое можно уничтожить лишь непрерывным, прилежным трудом, подобным труду земледельца. Говорили, что Сократ низвел философию с неба на землю, к людям; а я бы хотел, чтобы обо мне сказали, что я вывел ее из кабинетов и библиотек, из университетов и училищ в клубы и собрания, в кофейни и за чайные столы.

По этой причине я особо рекомендую мои размышления всем добропорядочным семьям, которые могут хотя бы час посидеть за утренним чаем; и со всею серьезностью посоветовал бы им, для их же блага, распорядиться так, чтобы листок доставляли без проволочек и чтобы он стал неотъемлемой частью чаепития.

Сэр Фрэнсис Бэкон заметил, что хорошая книга соотносится со своими соперниками, как змей Моисеев с поглощенными им жезлами египетскими. Я не столь тщеславен, чтобы полагать, что там, где появится «Зритель», исчезнут все прочие издания; но предоставлю читателю решить, не лучше ли познавать самого себя, чем узнавать, что происходит в Московии или в Польше; не полезней ли сочинения, стремящиеся развевать невежество, страсти и предвзятости, чем те, что разжигают злобу и препятствуют примирению.

Далее, я посоветовал бы каждый день читать сей листок тем, кого считаю своими союзниками и братьями, то бишь досужим зрителям, живущим в мире, но от него отрешенным и, по милости ли богатства или по природной лености, взирающим на прочих людей лишь как сторонние наблюдатели. В это братство я включу склонных к размышлению коммерсантов; врачей, избегающих практики; судейских, избега-



Английское семейство за чаем

ющих тяжбы; членов Королевского общества; государственных мужей на покое — словом, всех, кто считает мир театром и тщится правильно понять актеров.

Обращусь я и к иной породе людей — к тем, кого я недавно уподобил пустому месту, ибо у них нет никаких мнений, пока деловая жизнь или повседневная болтовня не подбросят им какую-либо мысль. Нередко испытывал я превеликую жалость к несчастным, слыша, как они спрашивают первого встречного, нет ли новостей, и собирают таким мане-

ром то, о чем намерены думать. Сии обделенные люди не знают, что говорить до самого полудня, но с этого часа могут отменно судить и о погоде, и о том, куда дует ветер, и о том, наконец, прибыла ли почта из-за моря. Поскольку они отдаются на милость первых встречных и злятся или печалются до ночи в зависимости от новостей, впитанных поутру, я посоветую им со всюю серьезностью не выходить из дому, пока они не прочитают моего листка, и обещаю всякий день внушать им на полсутки здравые мнения и добрые чувства, которые превосходно скажутся на их беседах.

Однако полезнее всего мой листок для прекрасного пола. Я часто думал о том, как мало стараемся мы подыскать ему пристойные развлечения и должные занятия. Забавы, отведенные им, измышлены словно бы лишь для женщин, но не для разумных существ; приноровлены к даме, но не к человеку. Поприще их — наряды, главное занятие — прическа. Подбирая все утро ленты, они полагают, что заняты, если же выйдут купить безделушек или шелку, целый день потом отдыхают и ничего не могут делать. Шитье и вышивание — самый тяжкий их труд, изготовление сластей — изнуряющая работа. Так живет обычная женщина, хотя, как я доподлинно знаю, многим ведомы радости высоких мыслей и умной беседы; многие обитают в дивном краю добродетели и знаний, дополняют красотой души красоту наряда и внушают взирающим на них мужчинам не только любовь, но и почтение. Надеюсь, листок мой умножит число таких женщин, и постараюсь дать моим прекрасным читательницам если не душеполезное, то хотя бы невинное занятие, отвлекающее от суетных пустяков. В то же время, стремясь придать совершенство тем, кого и так можно назвать славю рода человеческого, я стану указывать недостатки, пятнающие женщин, равно как и достоинства, их украшающие. Надеюсь, прелестные мои ученицы, наделенные великим избытком времени, не посетуют на то, что сей листок отнимет у них четверть часа без ущерба для прочих занятий.

Я знаю, что друзья мои и доброжелатели беспокоятся обо мне, опасаясь, что я не смогу поддерживать на должном уровне живую остроту ума в листке, который обязался выпускать ежедневно; дабы их успокоить, обещаю, что оставлю это предприятие, как только начну писать скучно. Конечно, это станет превосходной мишенью для остроумцев низкого пошиба, ибо мне будут нередко напоминать о моем обеща-

«Зритель»

нии, просить, чтобы я сдержал слово, заверять, что пора давно пришла, и прочее, в том самом духе, какой любезен недалеким остроумцам, когда лучший друг дает им столь прекрасный повод. Но пусть они помнят, что этими словами я предваряю и отменяю будущие насмешки.

К.

№ 15

Суббота, 17 марта 1711 г.

Parva leves capiunt animos.

Ovid.¹



Когда я был во Франции, я в изумлении взирал на блистательные экипажи и многоцветные наряды сей удивительной страны. Однажды я с особенным вниманием созерцал даму в карете, изукрашенной золочеными амурами и к тому же искусно расписанной забавными изображениями Венеры и Адониса; запряжена карета была шестеркой белых коней, на запятках стояли шесть лакеев в пудренных париках, а прямо перед дамой разместились два паж, красотой своею, радостью улыбок и нарядной одеждой походившие на старших братьев тех, кто резвился в росписи и резьбе по всем уголкам экипажа.

Дама сия оказалась злосчастной Клеантой, о которой была написана позднее печальная повесть. Несколько лет она пользовалась расположением одного лица, но оставила столь долгую сердечную приязнь ради блистательной кареты, подаренной ей весьма богатым, хотя и немощным вельможей. Роскошь, которую я видел, лишь прикрывала разби-

¹ Мелочь милее всего.

Пер. М. Гаспарова
(Овидий. Элегии и малые поэмы. М., 1973, с. 151.)

тое сердце, тшилаась утаить беду; ибо двумя месяцами позже несчастную даму отвезли на кладбище с такой же блистательной роскошью, убили же ее и утрата одного возлюбленного, и союз с другим.

Часто размышлял я о странности женского нрава, столь неустойчивого перед суетным, ложным блеском, и о неисчислимым бедах, проистекающих из сей легкомысленной склонности. Помню молодую особу, за которой ухаживали два пылких поклонника, несколько месяцев кряду старавшихся превзойти друг друга изяществом деяний и приятностью беседы. Наконец, когда соперничество зашло в тупик и дама никак не могла сделать выбор, одному из кавалеров пришла счастливая мысль: он добавил к своему камзолу кружев и через неделю женился на избраннице.

Простой разговор обычных женщин весьма способствует естественной слабости, побуждающей пленяться пустой видимостью. Заведите речь о чете молодоженов, и вы тут же узнаете, есть ли у них карета шестерней и серебряный сервиз; упомяните отсутствующую даму, и в девяти случаях из десяти вам сообщат что-нибудь о ее нарядах. Бал дает немалую пищу болтовне, день рождения обеспечивает целый год предметами для толков. Все говорят о том, было ли отделано такое-то платье драгоценными камнями, такая-то шляпа приколота булавкой с бриллиантом, такой-то жилет или такая-то юбка сшиты из парчи. Словом, подмечают лишь одеяния людей, не устаивая и мысли ту прелесть ума, которая придает очарование человеку и приносит пользу всем прочим. Когда женщины непрестанно стремятся поразить воображение друг друга и в голове их одни лишь пестрые наряды, удивительно ли, что суета и поверхность жизни любезнее им, чем ее весомые, существенные блага. Девица, воспитанная среди таких разговоров, беззащитна перед любым расшитым камзолом, встретившимся ей на пути; ее может погубить пара перчаток с бахромою. Ленты и кружева, золотой и серебряный галун и прочая мишура влекут и пленяют женщин, некрепких разумом или не получивших должного воспитания, и при умелости способны сразить самую надменную, своенравную ветреницу.

Истинному счастью любезно уединение, ему претят блеск и суета, а порождают его, во-первых, удовлетворенность собою, во-вторых — общество и беседа избранных друзей. Оно любит тень и одиночество, естественно тяготея к гротам

и родникам, лугам и полянам; словом, оно несет в себе все, что ему нужно, и не нуждается в многочисленных свидетелях. Ложное же счастье, напротив, предпочитает толпу, стремясь привлечь к себе внимание света. Собственного одобрения ему недостаточно, но необходимо восхищение прочих, и потому процветает оно при дворе, во дворцах и в театрах, на балах и ассамблеях и мгновенно исчезает, если его не заметят.

Аврелия, женщина весьма родовитая, находит усадьбу в сельском уединении и проводит немало времени, гуляя в саду или в поле. Муж ее, ближайший ей друг, разделяющий с ней одиночество, сохраняет влюбленность, возникшую с первой же встречи. Оба они наделены в преизбытке здравомыслием, добродетелью, взаимным уважением и непрестанно радуют друг друга. Жизнь их столь упорядочена, молитва, трапеза, труд и развлечения чередуются столь разумно, что семья эта кажется маленьким государством. Супруги часто бывают в гостях, но тем приятнее им вернуться к уединению вдвоем; бывают и в Лондоне, где скорей устают, чем наслаждаются, так что с тем большим облегчением обращаются вновь к сельской жизни. Благодаря всему этому они счастливы друг другом, дети любят их, слуги — почитают, и все, кто с ними знаком, завидуют им, а вернее — любят ими.

Сколь отлична от этого жизнь Фульвии! Мужем она помыкает, как слугою, рассудительность же и рачительное домоводство считает мелкими, скучными и недостойными знатной дамы. Время, проведенное с семьей, она полагает потерянным впустую и видит себя удаленной от мира, если не пребывает в театре, в парке или в гостиной. Тело ее вечно в движении, мысли — в смятении, и ей не сидится нигде, поскольку, на ее взгляд, там, где ее сейчас нет, многолюднее и веселее. Пропустить премьеру в опере тяжелей для нее, чем потерять ребенка. Ей жалки все достойные представительницы ее пола, а женщину скромной, здоровой, уединенной жизни она именует неотесанной и глупой. Как бы страдала она, если б узнала, что, стараясь быть заметной, выставляет себя на позор и, пытаясь привлечь людей, вызывает лишь презрение.

Не могу завершить сие письмо, не напомнив, что Вергилий с большою тонкостью коснулся женской страсти к нарядам и суете, описывая Камиллу. Казалось бы, она отвергла все сла-

Джозеф Аддисон, Ричард Стил

бости своего пола, но в этой осталась ему верна. Поэт поведал нам, что, доблестно поражая врага, она, к несчастью, увидела троянца в расшитой тунике, красивой кольчуге и прекраснейшем пурпурном плаще. На плече его, по слову поэта, висел золотой лук, плащ скрепляла золотая пряжка, голову украшал сверкающий шлем из того же металла. Амазонка немедля выделила из всех столь блистательного воина, повинувшись истинно женской тяге к изящной мишуре:

Totumque incauta per agmen
Foemineo praedae
et spoliolum avolebat amore ¹.

Искусно скрывая прямое назидание, поэт показывает нам, как бездумное пристрастие к пустякам погубило его героиню.

К.

№ 21

Суббота, 24 марта 1711 г.

... Locus est et pluribus umbris.

*Hor.*²



редко я прихожу в большое смущение, размышляя о трех славнейших поприщах — священника, судейского и врача, и думаю о том, сколь много их на свете; так много, что достойные люди отбивают друг у друга хлеб.

¹ В гущу врагов вслепую летит, забыв осторожность:
Женскую жадность разжигает в ней убор драгоценный. —

Пер. С. Ошерова
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 343.)

² ...И для других незваных есть место.

Пер. Н. Гинцбурга
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 332.)

Духовенство мы вправе подразделить на генералов, высших офицеров и низших. К первым относятся епископы, деканы и управители делами епархий. Среди вторых — доктора богословия, каноники и все, кто носит епитрахиль. Прочие — низшие чины. Что до первого ранга, законы наши сурово охраняют его от преизбытка, хотя пытающимся туда проникнуть несть числа. Строгие подсчеты показывают, что за последние годы число высших офицеров непозволительно увеличилось, ибо многим удалось достигнуть этого ранга, обойдя прочих; и сам я хорошо помню, как шелк поднялся в цене на два пенса за ярд. Офицеров низших сосчитать невозможно. Если бы духовенство наше, перенеяв порочный обычай мирян, стало меж собою делить землю, оно смогло бы победить на любых выборах.

Среди судейских тоже немало лишних; они подобны войску у Вергилия, которое, по его словам, было столь многочисленно, что воин не мог поднять руку с мечом. Эго славное сообщество можно подразделить на сутяг и миролюбцев. Под первыми я разумею всех, кого во время сессий целыми каретами возят в Вестминстер-холл к назначенному часу. Марциал с немалым остроумием описал этот род судейских:

...Iras et verba locant¹.

Это люди, дающие на прокат гнев свой и речи; соизмеряющие пыл с платой и праведно негодующие в той мере, в какой не поскупился клиент. Замечу, однако, что среди тех, кого я назвал сутягами, многие гневливы лишь в сердце своем, ибо у них нет возможности проявить свою ярость в суде. Однако, не ведая, как пойдет дело, в суд они ходят ежедневно, являя свою готовность выступить, если им предстанется случай.

Миролюбцами прежде всего бывают старейшины судейских корпораций, как бы сановники закона, наделенные свойствами, более приличествующими правителю, чем блюстителю правовых интересов. Они живут тихо, едят один раз в день и танцуют раз в год, дабы почтить свою корпорацию.

¹ ...Подделанный гнев
И наемную речь.

Другой разряд миролюбцев образуют молодые люди, намеревавшиеся изучать законы Англии, но предпочитающие театр Вестминстер-холлу, веселые сборища — суду. Не скажу ничего о полчищах молчаливых, прилежных существ, множащих в тиши количество различных бумаг, а также о тех, несравненно более обычных, кто лишь притворяется, что этим занят, дабы скрыть отсутствие каких бы то ни было дел.

Ежели мы обратим теперь взоры на врачей, то убедимся, что они расплодилось в поистине ужасающем количестве. Один их вид способен лишить нас всякого веселья, ибо мы вправе принять непреложный закон: чем больше в стране врачей, тем меньше народу. Сэр Уильям Темпл не может понять, почему из краев, которые он именует северным ульем, не вылетает более огромный рой, наводивший некогда мир готами и вандалами; но если бы наш досточтимый автор вспомнил, что почитатели Тора и Вотана не учились медицине, а сейчас в северных странах занятие это процветает, он нашел бы ответ, превосходящий все его догадки. У нас же в Англии врачей можно уподобить британской армии времен Цезаря: одни убивают, двигаясь в колеснице, другие — на пешем ходу. Пехотинцы приносят меньше вреда, чем обладатели карет, лишь потому, что им труднее быстро добраться до всех уголков города и сделать так много за столь короткий срок. Кроме регулярных войск, имеются и одиночки, которые, не числясь в списках, приносят тысячи бед тем, кто на свою беду попал к ним в руки.

Существует к тому же великое множество прислужников медицины; за неимением других пациентов, они развлекаются тем, что выкачивают воздух из-под колпака, куда посадили кошку, режут заживо собак или накальвают насекомых на булавки, дабы изучать их под микроскопом. Прибавим к ним тех, кто собирает травы и ловит бабочек, не говоря уж об охотниках за пауками и собирателях ракушек.

Когда я подумаю, что тысячи ищут пропитания на всех этих поприщах, а достойных, то есть таких, кто любит самое дело, много меньше, я тщусь понять, почему родители не изберут для своих детей приличное и прибыльное занятие вместо житейских путей, где можно потерпеть неудачу при самой великой честности, учености и разумности. Сколько сельских священников могли бы засесть в лондонском муниципалитете, если бы отцы их правильно распорядились

«Зритель»

суммой, намного меньшей, чем та, какую они потратили на учение? Бережливый, умеренный человек, не наделенный острым умом и особыми способностями, мог бы безбедно жить торговцем, тогда как он голодает, будучи врачом; ибо многие охотно покупали бы шелк у того, кому не доверят пощупать свой пульс. Вагелий прилежен, любезен, обязателен, но несколько туповат; пациентов у него нет, покупателей было бы много. Беда в том, что родители, облюбовав какое-либо поприще, стремятся приохотить к нему своих отпрысков, но, когда речь идет о деле всей жизни, следует исходить не из собственных пристрастий, а из того, насколько умны и к чему способны дети.

Страна, прославленная торговлей, тем и хороша, что надо быть на редкость тупым и ленивым, чтобы не найти себе места, дающего возможность преуспеть. В торговле, хорошо налаженной, не может быть того преизбытка людей, как в церкви, суде или медицине; напротив, чем их больше, тем лучше, всем найдется дело. Флотилии судов, плавучих лавок бороздят моря, продавая наши изделия и товары на всех рынках света и находя покупателей под обоими тропиками.

К.

Pallida Mors aequo puisat pede pauperum tabernas
regumque tures. O beate Sesti,
Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam;
iam te premet nox fabulaeque Manes
et domus exilis Plutonia...

Hor.¹



Когда я в серьезном духе, я часто гуляю один по Вестминстерскому аббатству; мрачность его, назначение, величие самой постройки и слава тех, кто лежит там, способны навеять некую печаль или, вернее, не лишнюю приятности задумчивость. Вчера я провел целый день на кладбище, в галереях и в соборе, развлекаясь чтением могильных надписей, которые встретились мне в этом царстве мертвых. Большая их часть сообщала лишь о том, что покойный родился в такой-то день, а в такой-то умер; вся жизнь его сводилась в двум фактам, общим для всех людей. Поневоле видел я в этих регистрах бытия, медных или мраморных, насмешку над ушедшими, вся память о которых сводилась к тому, что они родились и скончались; и на ум мне пришли участники сражений из героической поэмы, наделенные звучными именами лишь потому, что их могут убить, и прославленные лишь тем, что их и впрямь убили.

¹ Бледная ломится смерть одною и той же ногою
В лачуги бедных и царей чертоги.
Сестий счастливый! Дана недолгая в жизни нам надежда —
А там охватит ночь и царство теней.
Там и Плутона жилье унылое...

Пер. А. Семенова-Тян-Шанского
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 49.)

Glaucumque, Medontaque, Thersilochumque¹.

Жизнь таких людей Писание удачно сравнивает с путем стрелы, который мгновенно исчезает.

Войдя в собор, я с любопытством наблюдал труд могильщиков и всякий раз, как лопата наполнялась, видел кусок кости или черепа, смешанный со свежей землей и глиной, которая некогда послужила созданию тела человеческого. При зрелище этом я стал размышлять о том, какое несметное множество народу лежит вперемешку под плитами древнего храма; о том, что мужчины и женщины, друзья и недруги, пастыри и воины, монахи и каноники поистине смешаны здесь, образуя единое вещество; о том, наконец, что в одном и том же неразличимом месиве красоту, силу, молодость не отличишь от старости, слабости, уродства.

Окинув взглядом обширный град мертвых, я принялся изучать его более подробно по надписям, какие нашел на памятниках, которые есть далеко не в каждом уголке сего древнего здания. Некоторые эпитафии были столь замысловаты и преувеличены, что, ознакомься с ними покойный, его бы смutilи похвалы, расточаемые друзьями; другие столь исключительно скромны, что сообщают об умершем по-гречески или по-древнееврейски, и разобрать их может разве что один человек за год. Там, где покоятся поэты, я обнаружил, что у некоторых из них нет памятников, под некоторыми же памятниками нет поэтов. Заметил я также и то, что нынешняя война наполнила храм монументами, воздвигнутыми в память погибших, чьи тела покоятся не здесь, а в земле Бленхейма или в лоне моря.

Весьма порадовали меня новые надписи, исполненные изящества слова и точности мысли и тем самым оказывающие честь не только мертвым, но и живым. Поскольку чужеземцы скоры судить о разуме и благородстве страны по ее монументам и эпитафиям, надписи эти и памятники следовало бы показать внимательным, умным и ученым людям прежде, чем представить на общее рассмотрение. Меня неприятно поражает памятник сэру Клодсли Шовелу, ибо вместо сурового, смелого человека, каким был этот отважный, вели-

¹ И Медонт, и Главк с Терсилохом.

Пер. С. Ошерова

(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 231.)

кодушный адмирал, мы видим щеголя в длинном парике, на бархатных подушках, под пышным балдахином. Не лучше памятника и надпись, знакомящая нас не со славными подвигами, которые он совершил, служа своей стране, но лишь с обстоятельствами смерти, не приносящими ему никакой славы. Голландцы, которых мы рады презрительно назвать недалекими, выказывают в зданиях и монументах несравненно более вкуса и понимания древности, чем наша страна. Их адмиралы, чьи памятники воздвигнуты на общественный счет, похожи на самих себя, орнамент же и украшения связаны с морем, ибо это — ростры или красивые гирлянды из раковин, кораллов и водорослей.

Однако вернемся к нашему предмету. Место упокоения королей я оставил на другой день, когда буду склонен к столь серьезному созерцанию. Я знаю, что такие занятия легко порождают горестные мысли в некрепком разуме или мрачном воображении; однако сам я, хотя и склонен к серьезности, не ведаю меланхолии и потому способен наслаждаться природой не только в прелестных и веселых, но и в глубоких, величественных ее проявлениях. Душе моей идут на пользу предметы, которые другим внушают лишь ужас. Когда я смотрю на могилы великих людей, малейший завистливый помысел гаснет во мне; когда читаю эпитафию красавице, недолжное желанье исчезает; когда могильный камень являет мне печаль семьи, сердце мое истаивает от жалости; когда гляжу на могилы родителей, я понимаю, как нелепо сокрушаться о тех, за кем мы вскоре последуем; когда вижу королей, лежащих рядом с теми, кто низверг их, соперников, покоящихся бок о бок, или князей церкви, разделявших мир своими несогласиями, я думаю с печалью и удивлением о жалких человеческих распрях, соревнованиях и спорах. Когда я читаю, что один умер вчера, другой — шесть столетий тому назад, я предвкушаю день, в который все мы станем современниками и все явимся вместе.

...parcit
Cognatis maculis similis fera.

*Juv.*¹



Члены клуба нашего, по счастью, избрали самые разные поприща, и посему я обеспечен многообразными материалами, зная все обо всем, что происходит не только в каждом уголке Лондона, но и в каждом уголке Англии. Читатель, к удовольствию своему, тоже успел узнать, что в клубе представлены едва ли не все занятия и звания, и среди присутствующих всегда найдется тот, кто позаботится, чтобы в печати или в рукописи не оскорбили и не затронули его законных привилегий и прав.

Вчера я засиделся допоздна в кругу избранных друзей, развлекавших меня замечаниями, своими или чужими, о мыслях моих и выкладках и рассказами о том, как приняли их читатели различных рангов и сословий. Уилл Уллей сообщил мне как можно мягче, что некоторые дамы («К утешению вашему, — сказал он, — далеко не самые умные») обиделись на то, что я толкую о таких пустяках, как опера и кукольный театр, а многие удивлены, что я считаю возможным потешаться над столь серьезными вещами, как наряды и кареты знатных особ.

Он еще не кончил, когда сэр Эндрью Торгмен оборвал его, заметив, что листки, на которые он намекает, принесли немало блага, ибо оказали доброе влияние на супруг и дочерей лондонских коммерсантов, а после прибавил, что Сити весьма признателен мне, поскольку я искренне стремлюсь бичевать порок и безумство, овладевающие людьми,

¹ ...И с окраской

Схожей другого щадит всякий зверь.
Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского
(Ювенал. Сатиры. М.—Л., 1937, с. 119.)

но не опускаюсь до сплетен о кознях и супружеских изменах. «Словом, — сказал сэр Эндрью, — если вы не пойдете по торной тропе, глупо высмеивая добрых горожан и достойных олддерменов, а используете свой дар для обличения салонной роскоши и суеты, листок ваш будет нарасхват».

Тут другой мой приятель, судейский, выразил удивление, что столь разумный человек, как сэр Эндрью, рассуждает подобным образом; деловые люди и торговцы, сказал он, всегда были мишенью для сатиры, а при короле Карле II остро-слова только над ними и смеялись. Затем, на примерах из Горация, Ювенала, Буало и лучших писателей каждого века, он показал, что безумства театра и двора никогда не почитались слишком священными для насмешки, какие бы знатнейшие особы ни покровительствовали им. «Но все же, — заметил он, — шутки ваши зашли далее, чем следует, ибо вы затронули и суд; а я полагаю, вам не удастся найти среди его служителей ничего, что оправдало бы ваш поступок».

Друг мой сэр Роджер де Каверли, не проронивший до сей поры ни слова, неодобрительно фыркнул и сказал, что не может понять, почему разумные люди столь серьезно толкуют о пустяках. «Наш сотоварищ, — прибавил он, — вправе нападать на всех, кто того заслуживает; посоветую только, мистер Зритель, быть осторожней, когда речь заходит о сельских сквайрах, украшении английской нации, людях здраво-мыслящих и здоровых; а надо сказать, некоторым из них не понравилось, что вы без должного уважения говорите об „охотниках на лис“».

Капитан Чэсти был ко мне очень мягок, только посоветовал сдержанней и разумней судить об армии и теперь, и впредь.

К этому времени я понял, что члены клуба, один за другим, осудили мои рассуждения о каждом предмете, и сравнил себя с человеком, у которого первой ясене не нравились седые волосы, второй же — черные, так что совместными усилиями они ощипали его наголо.

Пока я думал об этом, меня стал защищать еще один друг, достойный священник, который, на мое счастье, находился тогда в клубе. Он сказал, что понять не может, почему те или иные люди смеют считать себя слишком важными для поучения; не знатность, а невинность ограждает от укора; безумство и порок необходимо обличать, где бы ты их ни встретил, особенно же в высших кругах, заметных отовсюду.



Лондонская улица

Листок ваш, продолжал он, лишь усугубит страдания бедности, если станет обличать тех, кто и так несчастен и выставлен на посмеяние жалкостью своей жизни. Он заметил, что листок принесет немалую пользу, бичуя пороки, слишком обычные, чтобы за них судить, и слишком причудливые, чтобы говорить о них с церковной кафедры. Затем он посоветовал мне смело продолжать начатое и заверил, что, если я кому-либо и не угодил, меня одобряют все те, чья хвала оказывает истинную, а не мнимую честь.

Клуб наш отнесся к этим речам с особым вниманием и согласился с ними благодаря простоте их и чистоте, а также разумности и силе доводов. Уилл Уллей немедленно признал, что друг наш говорил правду, а сам он не будет больше защищать модных дам. Сэр Эндрю с той же искренностью уступил деловые круги; судейский не возразил; примеру его последовали сэр Роджер и капитан Чэсти. Все сошлись на том, что я вправе высмеивать кого захочу, с одним лишь условием: и впредь бороться со злом, а не с отдельными лицами и бичевать порок, не задевая людей.

Споры эти, которые велись для блага человеческого, напомнили мне о других, давних спорах, которые римский триумвират вел людям на гибель. Каждый защищал своих,

пока все не поняли, что тогда невозможно осуществить жестокий свой замысел, и, принеся в жертву личные привязанности, бестрепетно казнили множество народу.

Итак, я решил и впредь бесстрашно защищать добродетель и здравомыслие и обличать их противников, чем бы они ни занимались и на какой высоте ни находились, не внемля насмешкам и хуле. Если уличный кукольник перейдет пределы приличия, я смело высмею его; если театр будет воспитывать неразумие и распутство, я не побоюсь об этом сказать. Словом, если я увижу при дворе, в деловых кварталах или в деревне что-либо, оскорбляющее скромность и благонравие, я сделаю все, чтобы привлечь к этому взоры. Заверяю, однако, моих читателей, что ни один из них, более того — ни один из их друзей и недругов не станет мне мишенью, ибо я никогда не опишу дурного человека, который не был бы похож по меньшей мере на тысячу ему подобных, и не выпущу ни одного листка, который не был бы проникнут благоволением и любовью к людям.

К.

№ 45

Суббота, 21 апреля 1711 г.

Natio Comoeda est.

*Juv.*¹



ничего не желаю я столь пылко, как почетного, долгого мира, хотя прекрасно понимаю, какими он чреват опасностями. Сейчас я веду речь не о политике, но о нравах. Какая лавина парчи и кружев обру-

¹ ...Комедианты —
Весь их народ.

Пер. Д. С. Недовича, Ф. А. Петровского
(Ювенал. Сатиры. М.—Л., 1937, с. 16.)

шится на нас! Какие каскады глумленья и смеха оглушат нас! Во избежание сих страшных зол надо бы (о, как бы я того хотел!) издать парламентский акт, запрещающий ввозить из Франции все, что служит суете.

Обитательницы острова нашего уже испытали сильнейшее влияние сей занимательной нации, но долгая распря (поистине, нет худа без добра) ослабила его и едва ли не обрекла на забвение. Помню времена, когда особо изысканные дамы, живущие в поместьях, держали не горничную, а *valet de chambre*¹, ибо, без сомнения, считали мужчину много более проворным, чем представительниц их пола. Я видел сам, как один из этих «горничных» порхал по комнате с зеркалом в руке и все утро напролет причесывал свою хозяйку. Не знаю, есть ли правда в сплетнях о том, что некая леди родила от такой «служанки», но полагаю, что теперь эта порода перевелась в нашей стране.

Примерно тогда, когда мы, мужчины, не гнушались подобной службой, женщины ввели моду принимать гостей в постели. Даму сочли бы невоспитанной, если бы она отказалась видеть гостя, поскольку еще не встала; швейцару отказали бы от места, если бы он не пустил к ней под столь нелепым предлогом. Сам я люблю поглядеть на все, что ново, и потому уговорил друга моего, Уллея, повести меня к одной из дам, повидавших чужие земли, попросив представить меня как иностранца, не понимающего по-английски, дабы мне не пришлось участвовать в беседе. Хотя хозяйка наша стремилась казаться неодетой и неприбранной, она прихорошилась, как только могла, к нашему визиту. Волосы ее пребывали в очаровательном беспорядке, легкий пеньюар с превеликим тщанием небрежно накинут на плечи. Меня же так смущает женская нескромность, что я поневоле отводил взгляд, когда хозяйка наша двигалась под одеялом, и впадал в полное смятение, когда она шевелила рукой или ногой. Со временем кокетки, которые ввели сей обычай, понемногу отменили его, превосходно понимая, что женщина лет шестидесяти может брыкаться до изнеможения, не произведя и малейшего эффекта.

Семпрония в высшей степени восхищается всем французским, хотя, по скромности своей, не пускает гостей дальше

¹ Лакея (фр.).

будуара. Чрезвычайно странно смотреть, как это прелестное создание беседует о политике, распустив волосы и прилежно изучая в зеркале лицо, безотказно пленяющее находящихся рядом мужчин. Как очаровательно чередует она обращения к гостям и к горничной! Как легко переходит от оперы или проповеди к гребенке слоновой кости или подушечке для булавок! Как наслаждался я, когда она прервала рассказ о своем путешествии, чтобы отдать распоряжение лакею, и пресекла чрезвычайно пылкий нравственный спор, дабы лизнуть мушку!

Ничто не подвергает женщину большей опасности, чем легкость и ветреность нрава, столь свойственные ее полу. Разумная и достойная его представительница должна неустанно следить за собою, дабы не впасть в сии пороки. Во Франции же и поведение, и речи стремятся придать ей особую развязность, или, по их выражению, прелестную причудливость, namного превышающую то, что допускают вкус и добродетель. Почитается изысканным и пристойным громко говорить на людях, притом о вещах, которые можно упомянуть лишь тихо, с глазу на глаз. С другой стороны, краснеть воспрещает мода, молчать же — позорней, чем болтать о чем бы то ни было. Словом, скромность и сдержанность, считавшиеся всегда лучшим украшением прекрасного пола, царят теперь лишь в дружеских беседах и тесном семейном кругу.

Несколько лет тому назад я смотрел трагедию «Макбет» и, на свою беду, поместился под ложей знатной дамы, ныне уже умершей, которая, судя по громким ее высказываниям, только что вернулась из Франции. Незадолго до того, как подняли занавес, она возгласила: «Ах, когда же появятся эти душечки ведьмы?», а при появлении их спросила даму, сидящую за три ложи справа: «Не правда ли, они просто прелесть?» Немного погодя, когда Беттертон произносил один из лучших монологов, она помахала веером, призывая внимание другой дамы, за три ложи слева, и прошептала на весь театр: «Наверное, сегодня мы не увидим нашего милого Волана». Чуть попозже, окликнув по имени молодого баронета, сидевшего на три кресла ближе, чем я, она спросила, жива ли жена Макбета, но, прежде чем он ответил, пустилась в рассуждения о духе Банко. К этому времени ее стали слушать и на нее смотреть. Но я хотел смотреть и слушать пьесу и, спасаясь от сей развязности, удалился из сферы ее

внимания в самый дальний угол зала.

Этой детской непосредственности, одного из изящных проявлений кокетства, достигают лишь те, кто путешествовал совершенства ради. Естественное, свободное поведение мило сердцу, и мы не удивимся, что люди стремятся к нему. Но тем, кто не одарен им с рождения, столь трудно его достигнуть, что многие, стремясь к нему, только становятся смешными.

Один чрезвычайно умный француз поведал нам, что придворные дамы его времени считали дурным тоном произнести правильно грубое слово и потому употребляли сии слова как можно чаще, дабы выказать свою воспитанность, их искажая. Некая фрейлина, прибавляет он, нечаянно употребила подобное слово к месту и правильно его произнесла, после чего собравшиеся весьма за нее смутились.

Однако скажу справедливости ради, что многие дамы, побывавшие в дальних краях, нимало не стали хуже и привезли домой ту же скромность, тот же здравый смысл, с какими уехали. И наоборот, немало подражавших иноземцам женщин прожили всю свою жизнь в лондонском тумане. Я знал даму, никогда не выезжавшую из прихода Сен-Джеймс; однако ее манеры изобиловали всеми причудами, какие только можно позаимствовать, объехав пол-Европы.

К.

Hominem pagina nostra sapit.

*Mart.*¹



Джентльмену, не склонному к веселым мужским сборищам или дамским гостиным, естественно искать той беседы, какую мы находим в кофейне. Там человек моего нрава — в своей стихии; ибо, если он не может говорить, он еще приятней прочим и доволен сам, слушая других. Немногие знают, хотя это весьма полезно, что, вступая в разговор, надо прежде всего иметь в виду, чего желает собеседник — слушать вас или снискать ваше внимание. Последнее встречается гораздо чаще, и мне известно множество тонких льстецов, ни единым словом не восхваливших того, кто всякий день дарует им милости, но внимающих любой его фразе. Нам любопытно наблюдать повадки вельмож и людей, им угождающих; но ровно такие же страсти и интересы царят и в низших сферах, и я, занятый лишь наблюдениями, вижу в каждом приходе, в каждом прогулке, в каждой аллее и улице нашего многонаселенного города маленького владыку и маленький двор, где лизоблюды и льстецы завоевывают расположение теми же способами, какие царят и в высшем свете.

Там, куда я захожу всего чаще, люди различаются скорее временем дня, в какое они помыкают ближними, чем истинным превосходством одних над другими. Поскольку я являюсь в кофейню на рассвете, мне известно, что утренний прием друга моего, галантерейщика Бивера, превосходит числом льстецов и поклонников приемы наших вельмож и генералов. Каждый из поклонников этих и сам держит в

¹ Человеком у нас каждый листок отдает.

руке газету, но ни один не угадает, какой поступок совершит тот или иной монарх Европы, пока м-р Бивер не вынет изо рта трубку и не оповестит их, что должны сделать союзники при данных обстоятельствах. Кофейня наша расположена неподалеку от одной из судейских корпораций, и м-р Бивер вещает восхищенным слушателям от шести часов до восьми без малого, когда его сменяют будущие законоведы. Некоторые одеты так, словно к восьми часам их ждут в Вестминстере, и глядят столь озабоченно, словно заняты в каждом разбирающемся там деле; другие, напротив, приходят прямо в халате, как бы желая убить время, будто и не собирались в суд. Не припомню, встречал ли я на какой-либо из моих прогулок людей, способных столь успешно и рассмешить меня, и нагнать на меня скуку, как молодые всегдагдаи кофеен, соседствующих с обитателями закона, встающие на заре лишь для того, чтобы явить миру свою лень. Можно подумать, что эти шалопаи определяют ценность собрата по туфлям и шейному платку, пестрой шапочке и многоцветному одеянию; ибо, в суетности своей, ведут себя друг с другом так, словно судят лишь по внешнему виду. Удалось подметить, что выше ценится тот, кому лучше ведомы прихоти моды; юнец в ярко-алой перевязи, державшийся донельзя горделиво, ходил, мне сдается, прошлой зимой на каждое представление в опере и, если верить слухам, пользовался благосклонностью одной из артисток.

Когда дневные заботы уже не дают нашим джентльменам беспечно наслаждаться утренней небрежностью одежды, они уступают место людям, на чьих лицах начертаны деловитость и разум; одни из них приходят в кофейню ради сделок, другие — ради доброй беседы. Я выше всего ценю речи и поступки тех, кто находится посередине между двумя этими типами; тех, кто не так деловит и боек, чтобы не находить покоя и счастья в тихой, честной жизни, и не так пылок, чтобы пренебрегать обязанностями, ею налагаемыми. Из них-то и состоит лучшая часть человечества — добрые отцы, любящие братья, искренние друзья, верные слуги. Радости им поставляет скорее разум, чем воображение, и потому ни речь их, ни поступки не грешат порывистостью или легковесностью. Самый их вид говорит о том, что им хорошо и спокойно в настоящем, и они не торопят его в угоду страсти или новоявленному замыслу. Именно они созданы

для общества и для тех небольших сообществ, где царит добрососедство.

В кофейне встречаются все, кто, живя поблизости, хочет насладиться спокойной, будничной жизнью. Евбул властвует здесь в середине дня, когда сюда приходят именно такие люди. Богатством своим он распоряжается разумно, не впадая в мотовство, и являет много ценных, высоких качеств, не занимая никакой общественной должности. Мудрость его и знания служат всем, кто считает нужным ими пользоваться; он и советник, и судья, и поверенный, и друг для всех, кому это понадобится, но не знает ни выгод, какие дают эти поприща, ни даже почета и чести, обычно с ними связанных. Благодарности он не любит; ему важно, чтобы помощь его сделала вас лучше и вы стали служить другим с такой же охотой, с какою он служил вам.

Он одалживает друзьям немалые деньги, хотя мог бы приумножить их на бирже, ибо думает не о своей выгоде, но о пользе ближних.

Власть его над небольшим сообществом, внимающим ему ежедневно, столь велика, что, если, услышав ту или иную новость, он покачает головой, всех охватит печальная растерянность; если же, напротив, он доволен, все весело направятся домой, предвкушая добрый обед. Более того, его так почитают, что, находясь с другими, подражают ему в поступках, судят с такой же мудростью и за своим собственным столом выражают надежду или страх, радость или печаль точно так, как выражал он в кофейне. Словом, каждый становится Евбулом, когда его нет рядом.

Я рассказал о властелинах и дворах, сменяющих друг друга с рассвета до обеда; о вечерних монархах расскажу попозже и завершу мою повесть правлением Тома Тирана, премьер-министра кофейни, властвующего в ней с одиннадцати часов до полуночи и непреклонно отдающего подданным грозные приказания касательно вин, каминов и угля.

P.

Hic segetes, illic veniunt felicius uvae,
arborei fetus alibi, atque iniussa virescunt
gramina. Nonne vides croceos ut Molus odores,
India mittit ebur, molles sua tura Sabaei,
At Chalibes nudi ferrum, virosaque Pontus
Castorea, Eliadum palmas Epiros equarum,
Continuo has leges alternaque foedera certis
Imposuit natura locis.

*Virg.*¹



Н

ет в Лондоне места, какое посещал бы я так охотно, как Королевскую торговую биржу. Поскольку я — англичанин, мне приносит тайную радость и тешит мое тщеславие самый вид столь пышного сборища соотечественников моих и чужеземцев, совещающихся о делах рода человеческого и превращающих нашу столицу в рынок всяя Земли. Признаюсь, Биржа кажется мне высшим советом, где представлены все мало-мальски стоящие нации. Посредники в торговом мире — то же, что послы в мире политическом; они вершат судьбы, заключают соглашения и поддерживают непрестанную связь между богатыми сообществами, отделенными друг от друга оке-

¹ Здесь счастливее хлеб, а здесь виноград уродится,
Здесь плодам хорошо, а там зеленеет, не сеян,
Луг. Не знаешь ли сам, что Тмол ароматы шафрана
Шлет, а Индия кость, сабей же изнеженный — ладан,
Гольй халиб — железо, струю бобровую с тяжким
Запахом — Понт, а Эпир — кобылиц для побед Олимпийских?
Установила навек законы и жизни условия
Разным природа краям.

Пер. С. Шервинского
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 66.)

аном, морем или же целым континентом. Нередко с удовольствием слушал я, как разрешаются споры между жителем Японии и лондонским олддерменом, или смотрел, как подданный великих моголов приходит к соглашению с подданным русского царя. Мне в высшей степени приятно бродить среди служителей коммерции, отличающихся друг от друга и языком, и поведением; то я затешусь в толпу армян, то пропаду среди иудеев, то пристану к стайке голландцев. Попеременно бываю я датчанином, шведом, французом или уподоблюсь тому древнему философу, который, будучи спрошен, откуда он родом, именовал себя гражданином мира.

Хотя я часто посещаю это деловитое собрание, я не знаком ни с кем, кроме друга моего сэра Эндрью; увидев меня в толпе, он мне улыбается, но не подходит ко мне и как бы меня не замечает. Есть там один купец из Египта, знающий меня с виду, ибо он послал мне денег в Каир; но поскольку я плохо владею нынешним языком коптов, то знакомство наше ограничивается взаимными поклонами.

Арена торговых сделок приносит мне самые разнообразные и существенные наслаждения. Я очень люблю людей, и при виде счастливых, преуспевающих сообществ сердце мое настолько преисполняется радости, что я не могу сдержать слез. Именно потому я несказанно счастлив, когда столько народу умножает личное свое благосостояние, преумножая в то же время общественный капитал; или, другими словами, обогащает свою семью, привозя в страну все, что ей нужно, и увозя излишнее.

Вероятно, природа постаралась распределить свои милости по различным землям, дабы люди могли непрестанно ездить и общаться, уроженцы разных мест — зависеть друг от друга и все были связаны общими интересами. Почти каждая страна производит что-либо особое. Зачастую пища растет в одном месте, приправа — в другом. Фрукты из Португалии дополнены плодами Барбадоса; настойка китайского куста услащена сердцевинной вест-индских тростников. Филиппинские острова даруют аромат нашим европейским чашам. Наряд знатной дамы нередко сочетает в себе изделия самых разных стран. Муфта и веер явились с противоположных краев света, шарф — из тропиков, капор — чуть ли не с полюса, парчовая юбка находится в тесном родстве с перуанскими приисками, алмазное ожерелье — с недрами Индостана.

Если мы представим себе нашу страну такую, какой она была бы без благ и даров торговли, что за неприятное место мы увидим! Естествоиспытатели говорят нам, что здесь, у нас, росли изначально лишь боярышник и шиповник, желуди и земляной каштан и прочее, в том же духе; что климат наш, сам по себе, без содействия земледельца, не способен создать ничего лучшего, чем терновник, и не породит никаких яблок, кроме диких; что дыни, персики, смоквы, абрикосы, вишни явились к нам издалека, в самое разное время, и прижились в английских садах; и, наконец, что они вырождаются, уподобившись жалким здешним растениям, если садовник предоставит их милости солнца и почвы. Торговля не только обогатила наши сады, она изменила самую нашу жизнь. Английские корабли гружены изделиями и плодами всех стран, жарких и холодных; столы наши уставлены специями, винами и маслами; комнаты полны китайского фарфора и японских безделушек; утренний напиток приходит к нам из дальних уголков земли; мы подкрепляем здоровье американскими снадобьями и спим под индийским балдахинном. Друг мой сэръ Эндрью именует виноградники Франции нашим садом, южные острова — нашими парниками, персов — прядильщиками шелка и гончарами — китайцев. Конечно, природа обеспечивает нас самым необходимым, и к заморская торговля дополняет пользу разнообразием, и к тому же дарует все, чего требуют красота и приличия. Неплохо и то, что мы пользуемся благами самого дальнего севера и юга, не страдая от крайностей климата, породившего их; что взор наш тешат зеленые луга Британии, тогда как вкус услаждают тропические плоды.

По этим причинам и нет в обществе людей более полезных, чем торговцы. Они связуют человечество взаимным обменом благ, распределяют дары природы, дают работу бедным, силу — богатым. Английский коммерсант обращает нашу жесть в золото, шерсть — в рубины. Жители мусульманских стран облачаются в наши ткани; обитателей севера спасает от стужи руно наших овец.

Посещая Биржу, я часто представлял себе, что статуя одного из наших былых королей ожила и глядит на многолюдное сборище, всякий день наполняющее залу. Как удивился бы он, услышав в своих небольших владениях все языки Европы и увидев, что люди, которые в его время были бы вассалами какого-нибудь гордого барона, ворочают сум-

Джозеф Addison, Ричард Стил

мами, каких не бывало нигде, кроме королевской казны! Не увеличивая самое Англию, торговля даровала нам еще одну империю; она умножила число богатых, во много раз повысила ценность наших поместий и присовокупила к ним плоды других, не менее ценных земель.

К.

№ 93

Суббота, 16 июня 1711 г.

...Spatio brevi
Spem longam reseces: dum loquimur, fugerit Invida
Aetas: carpe diem, quam minimum credula postero.

*Hor.*¹



С

енека говорит, что все мы сетуем на недостаток времени и сами не знаем, что делать с его избытком. Жизнь, продолжает он, мы расходуем на безделье или на бесцельные дела, или на дела недолжные. Мы вечно плачемся, что дни наши кратки, но действуем так, словно им нет конца. Благородный мудрец описал эту непоследовательность со всем красноречием и искусством, присутствующим в его сочинениях.

Я часто думаю, что люди непоследовательны и в другом, хотя и близком по смыслу. Сетуя на скоротечность жизни, мы торопим, подгоняя к концу, каждый ее отрезок. Отроки мечтают стать взрослыми, потом — деловитыми, потом — богатыми, потом — известными, потом — уйти на покой.

¹ ...Долгой надежды нить
Кратким сроком урежь. Мы говорим — годы-завистники
Мчатся. Пользуйся днем, меньше всего верь грядущему.

Пер. С. Шервинского

(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 57.)

Жизнь в целом кажется им короткой, каждый отрезок ее — невыносимо длинным. Мы хотели бы удлинить отведенный нам срок, однако тщимся сократить составные его части. Ростовщик был бы рад, если бы исчез промежуток между нынешним мигом и той минутой, когда истечет срок. Политик охотно изъясил бы года три из своей жизни, дабы увидеть, как все переменится согласно его желаниям. Влюбленный был бы счастлив уничтожить минуты, отделяющие его от услад свиданья. Каждый день, почти всегда, мы желаем, чтобы время бежало быстрее. Мы не в силах вынести нескольких часов, да что там — целых лет, и быстро идем сквозь время, словно по диким краям, по пустырям и чащобам, которые надо миновать, чтобы достигнуть где-то вдали воображаемых прибежищ покоя.

Разделив многие жизни на двадцать частей, мы увидим, что по меньшей мере девятнадцать из них — лишь пробелы, не заполненные ни делами, ни удовольствиями. Сейчас я говорю не о тех, кто вечно спешит и трудится, но о тех, кто действует редко, и, надеюсь, не окажу им непрошеной услуги, если посоветую, как заполнить пустоты. Советы мои таковы.

Прежде всего, всякий может развивать добродетель в самом общем смысле этого слова. Деятельность, связанная с обществом, займет собою тех, кто склонен к хлопотам, и одарит их занятиями, превосходящими бурнонию своей самую разгульную жизнь. Советовать невежественным, помогать нуждающимся, утешать страждущих — наш долг, и выпадает он нам едва ли не всякий день. Мы можем усмирить враждующие партии, защитить достойного, смягчить завистливого, охладить гневного, избавить кого-либо от закоренелого предрассудка; занятия эти приличествуют разумным и доставляют удовлетворение всякому, кто достойно им предается.

Есть и другая добродетель, пригодная для часов уединения, когда мы предоставлены самим себе и лишены дружеской беседы; я имею в виду то общение, которое все, одаренные разумом, должны поддерживать со своим Создателем. Если мы непрестанно ощущаем присутствие Божие, мы ровны и радостны, ибо нам приносит блаженство то, что с нами наш лучший, дражайший друг. Время не тяготит нас, мы не бываем одиноки. Мысли наши и чувства особенно заняты именно тогда, когда у других они дремлют; мы не

бежим от мира, но сердце наше пламенеет благоговением, преисполняется надеждой и радуется сознанием Божьего присутствия; или же, напротив, поверяет своему Спасителю горести, страхи и опасения.

Пока я говорил лишь о том, что добродетельный человек всегда найдет, чем заняться; если же мы пойдем дальше и поймем, что праведная жизнь не только приносит сиюминутную радость, но простирает свое влияние и на загробную нашу участь, ибо вся вечность окрашена тем цветом, каким окрашены часы, отданные здесь, на земле, добродетели или пороку, — если мы поймем это, возрастет вдвое ценность моих доводов в пользу вышеупомянутого времяпрепровождения.

Что подумаем мы о человеке, которому дано приумножить свой небольшой капитал, если он оставит лежать без движения девятнадцать его частей и употребит двадцатую себе же во вред и в разоренье? Душа не может непрестанно держаться на высоте добродетели, и мы должны найти ей занятие для тех часов, когда она слабеет.

Поэтому я предложу еще один способ заполнить время — полезные и невинные развлечения. Мне кажется, признавать, что разумному существу не пристало всецело им предаваться, но вреда в них нет. Не берусь судить, допустима ли игра, но дивлюсь, когда весьма разумные люди проводят вместе долгие часы, тасуя и раздавая карты, беседа лишь о них и думая лишь о тех или иных сочетаниях красных и черных пятен. Кто не рассмеется, если один из игроков примется сетовать на быстротечность жизни?

Вечным источником высокой и душеполезной радости мог бы стать и театр, подчиняйся он особым правилам.

Но лучшая улада наша — беседа с любимыми друзьями. Ни одно житейское благо не уподобится достойной дружбе. Она очищает и утешает душу, укрепляет и просвещает разум, порождает мысли, дает познания, возбуждает добродетели, утишает страсти и заполняет к тому же большую часть пустых часов.

Следом за дружбой с тем или иным человеком идет общая беседа, если собеседники наши способны и развлечь, и наставить; однако дарования эти сочетаются редко.

Существует множество других полезных развлечений, и мы должны умножать их, дабы не отдавать разум на произвол безделья и душу на произвол страстей.

«Зритель»

Тот, кто любит музыку, живопись или зодчество, словно бы одарен еще одним чувством по сравнению с теми, кто не способен наслаждаться искусствами. Если обеспеченный человек займется ко всему садоводством или домоводством, он чрезвычайно скрасит свою сельскую жизнь и принесет немало пользы.

Однако лучше всего заполняет пустое время чтение полезных и занимательных книг. Его я коснусь лишь мельком, ибо этот способ связан с третьим из рекомендуемых мною, и скажу о нем в другом листке; сейчас же замечу, что речь идет о неустанном приумножении знаний.

№ 96

Среда, 20 июня 1711 г.

...amicum
Mancipium domino, et frugi...
*Hor.*¹



Г

лубокоуважаемый мистер Зритель!

Несколько раз перечитал я Ваши рассуждения о слугах и, поскольку я сам — один из них, очень обиделся, что, описав все дурные их разновидности, Вы не нашли места для хороших. Тем не менее с одной Вашей мыслью я согласен: и впрямь, разумные и здравые люди есть в любом сословии, а на слуг переносят много худых и добрых толков об их хозяевах. Без ложной скромности осмелюсь сказать, что бывают весьма разумные слуги, ибо убедился в том на горьком опыте. Вы совершенно справедливо полагаете, что развра-

¹ ...Твой преданный раб и служитель достаточно честный...
Пер. М. Дмитриева
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 304.)

щенность наша порождена жизнью на всем готовом и отсутствием собственного дома; но мысли об этом предмете я не могу изложить, если не расскажу хотя бы вкратце, что пережил и перевидал за сорок пять лет, точнее, за тридцать один, то бишь с четырнадцати, когда я стал слугою, до нынешнего, названного выше возраста, когда я служу при-вратником у знатного лица.

Знайте же, что отец мой был бедным арендатором у сэра Стивена Рекрента. Сэр Стивен определил меня в школу, или, вернее, послал меня туда со своим сыном Гарри, когда мне исполнилось девять лет. За учение мое платили, хотя и немного, но на деле я был слугою и прилежно подбирал крохи знаний, ибо учитель почти не замечал меня. Мой молодой хозяин отличался живым умом, я его любил и обитал с ним вместе, что приносило мне пользу. Сам он любил меня до чрезвычайности, и его нередко пороли за то, что он не держит слугу на должном расстоянии. Он часто говаривал, что, когда войдет в права наследства, оставит мне бесплатно земельный надел моего отца. Позже мы переехали в Лондон, в Вестминстерскую школу, где он рассказывал мне по ночам все, что усвоил днем, я же искал для него слова в словаре, когда он готовил уроки. Однако, по воле Промысла, хозяин мой схватил лихорадку, от которой и умер через десять дней. Такою была первая моя беда, и поверьте, сэр, я столь ясно помню, как благородно вел себя на одре болезни сей прекрасный юноша, словно с тех пор не прошло и суток. Если ему чего-нибудь хотелось, подать это должен был Том, и никто иной; если я ронял что-нибудь с горя, он плакал и молил: «Не бейте бедного мальчика, пусть лучше он нальет мне микстуры, я выпью ее только из его рук». Когда он видел, что я свыше сил страдаю и беспокоюсь о нем, он пытался скрыть свои муки и утешал меня, говоря: «Ну, Том, подбодрись же, подбодрись!» Однажды, когда я поднес ему лекарство, его схватили судороги, и я услышал последний стон дорогого моего хозяина. Меня быстро удалили из комнаты, предоставив мне рыдать и биться головой об стену. Горе мое описать невозможно; все полагали, что и сам я умру. Через несколько дней хозяйка, женщина весьма домовитая, выгнала меня, дабы я не напоминал ей о сыне. Сэр Стивен предложил было отдать меня в ученье, но супруга его, особа бережливая, не разрешила тратить деньги на благотворительность. У меня хватило разума горько обидеться, ибо она

выставляла без зазрения совести того, кого сын ее так любил, и я ушел из этого дома куда глаза глядят.

На третий день после того, как я покинул семью сэра Стивена, я встретил в проулках Темпла некоего джентльмена, служившего там. Позже он говорил мне, что, увидев голодное, но пристойно одетое создание, подумал, как я ему пригожусь, и, спросив лишь, не нужен ли мне хозяин, предложил следовать за ним; я повиновался и вскоре мог считать себя счастливейшим человеком. Я только и делал, что носил записки и письма знакомым девицам и дамам моего хозяина. Мы ходили из таверны в таверну, из театра в увеселительный сад, и хозяин мой каждый вечер заводил новую любовь, на которую, как и на вино, тратил все свои деньги, когда они были. Пока он предавался шалостям, я отдыхал полночи на ступеньках, играя в кости с другими слугами, или бездельничал иным манером. Если денег у нас не было, мне приходилось переписывать набело любовные стихи, старые песни и новые памфлеты. Длилась такая жизнь, пока мой хозяин не женился и не догадался уволить меня, ибо я слишком хорошо знал его тайны.

Я долго не мог решить, что же мне делать дальше, и наконец предложил свои услуги собрату, вернее, сестре по несчастью, одной из бывших его любовниц. Она была тогда при деньгах и, одев меня с ног до головы, приспособила к делу, прекрасно зная, что я — человек смысленый. Иногда я должен был сопровождать ее, но если ей удавалось приглядеть подходящего молодого человека, она делала вид, что должна избавиться от меня, ибо мне не доверяет. Нередко она посещала со мною модисток на Стрэнде, но, заметив, что кто-либо ею заинтересован, отсылала меня с поручением. Когда дело у них начинало слаживаться, являлся я и сообщал, что сэр Джон вернулся домой. Она немедленно брала карету, чтобы избежать преследования; я вскакивал на запятки, поклонник делал мне знаки, подзывая меня, а я качал головой, давая понять, что это сейчас невозможно. На соседней же улице я оставлял хозяйку и следовал за простофилей, дабы узнать, как найти его, если понадобится. Кроме всех этих услуг, я писал за нее любовные письма, иногда — о том, что она увидела там-то и там-то адресата в таком-то камзоле; иногда — о том, что она боится ревнивого старого мужа; иногда, наконец, о том, что родители ее очень строги, но, хотя судьба ее решена, она готова бежать с таким-то, хотя

он не наследник, а всего лишь младший сын. Словом, мои убогие знания и пристрастие к пустому чтению помогали мне писать за нее любовные письма; она же, особа хитрейшая, прекрасно все улаживала, искусно притворяясь великой скромницей. Однажды, к вящему своему удивлению, я получил от нее десять фунтов и такое письмо:

«Честный мой Том!

Больше ты меня не увидишь. Я вышла замуж за весьма прозорливого помещика, который может о многом догадаться, если я оставлю тебя при себе. Поэтому — прощай».

Потеряв из-за брака и это место, я решил держаться впредь совсем других людей и поступил дворецким в одно из тех семейств, где держат выезд и трех-четыре слуг, в доме чисто, денег немного, но все не хуже, чем у богатых. Там я очень удобно жил, пока, на свою беду, не застал в мансарде, с горничной, своего хозяина, серьезнейшего из смертных. Я слишком хорошо знал белый свет, чтобы оставаться в доме; притворился назавтра же, что получил письмо из деревни, где отец мой лежит при смерти, и получил увольнение с немалой суммой в придачу, за благоразумие.

После этого, года полтора, я служил у сварливого холостяка. Большею частью мне было совсем неплохо, ибо, узнав хозяина получше, я уже его толком не слушал, и однажды, в добром духе, он даже сказал, что у него не бывало такого хорошего лакея, потому что я не питаю к нему ни малейшего почтения.

Таковы, сэр, главные события моей жизни; о других местах, где я служил, распространяться не стану, ибо в одном меня считали чрезвычайно странным, в другом — бранили каждого слугу, в третьем — говорили, что худших слуг, чем мы, и не бывает, и тому подобное. Цель моя — лишь в том, чтобы показать Вам, что не всех нас, несчастных, можно считать мошенниками (как Вы, поспешно обобщив, нас назвали); мы такие, какими становимся, беря пример с хозяев. В семье, где я сейчас служу, я не провинился ничем, кроме лжи; а лгу я не моргнув глазом каждый божий день, с утра до ночи, с жезлом и в ливрее, охраняя хозяина от нескромных просителей, хозяйку — от незваных гостей. Но должен сказать Вам, сэр, что вне дома я — признанный вождь всех слуг. Именно я отбиваю дубиной такт на галерке, в опере; именно я бываю тронут трагедией, когда именитые люди бессмысленно глядят друг на друга; если же Вы, стоя в толпе,

«Зритель»

слышите крик одобрения точно там, где ему положено быть, или хмыканье там, где оратор ошибся, или громкое «браво!», знаменующее глас народа, Вы вправе заключить, что начал сие или подхватил

Искренне Ваш
Томас Предан.

№ 101

Вторник, 26 июня 1711 г.

Romulus et Liber pater et cum Castore Pollux,
Post ingentia facta deorum in tempia recepti,
dum terras hominumque colunt genus, aspera bella
Conponunt, agros adsignant, oppida condunt,
ploravere suis non respondere favorem
speratum meritis.

*Hor.*¹



о слову уже почившего, весьма остроумного писателя, хула — это дань, которую платят за славу. Человек выдающийся и помыслить не вправе о том, чтобы от нее укрыться, и проявляет немощ духа, если ею уязвлен. Все славные мужи древности, равно как и любого века, испытали ее безжалостный гнет. Против осуждения нет иной защиты, чем безвестность; оно неуклонно сопутствует величью, подобно тому как поноше-

¹ Ромул, и Лебер-отец, и Кастор с братом Полдуксом,
Те, что в храмах к богам за то причислены были,
Что заселяли страну, о людях пеклись, укрощали
Тяжкие войны, поля межевали и строили грады, —
Сильно пеняли, что им на заслуги в ответ не явили
Должного благоволения.

Пер. Н. Гинцбурга
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 365.)

ния и насмешки входили в триумф, которым Рим чествовал победителя.

Но если выдающиеся люди, с одной стороны, открыты хуле, с другой — они равно так же открыты неумной лести. Их незаслуженно поносят и незаслуженно хвалят. Словом, на заметного человека никогда не глядят равнодушно; он либо друг, либо враг. Именно по этой причине мы можем узнать, что являла собой та или иная знаменитость лишь через несколько лет после ее смерти, когда улягутся дружба и вражда, иссякнет пристрастие людей круга, а добродетели и грехи обретут справедливую оценку. Чем меньше у жизнеописателя возможностей узнать правду, тем лучше он ею распорядится.

Таким образом, одни лишь потомки могут верно изобразить значительного человека и воздать каждому из противников, которые, оспаривая друг у друга величие, разделили на партии целую эпоху. Теперь мы вправе признать Цезаря великим, не умаляя тем самым Помпея, и восславить доблести Катона, не нанося ущерба доблестям того же Цезаря. Всякий, кто умер достаточно давно, получает должную долю хвалы, тогда как при жизни друзья преувеличивали ее, враги же — преуменьшали.

Согласно вычислениям сэра Исаака Ньютона, последняя комета, посетившая нас в 1680 году, вобрала столько тепла, неоднократно приближаясь к солнцу, что была бы в две тысячи раз горячее раскаленного докрасна железа, если бы состояла из этого металла; если же она сравнялась бы размером с землею и находилась на том же, что и мы, расстоянии от солнца, ей понадобилось бы пятьдесят тысяч лет, чтобы остыть до естественной своей температуры. Взвизывая на то, как бурлит наша политическая жизнь, как раскаляется она, куда ни глянь, час от часу, нынешний англичанин вынужден предположить, что она остынет не раньше, чем через триста лет. Быть может, за столь долгий срок жар нашего века утихнет, и выдающиеся личности, живущие ныне, предстанут такими, какими они и были. Быть может, кроме того, появятся историки, которые смогут писать без *resentibus odiis*¹ (как выразился Тацит), без предвзятости и пристрастий, свойственных современнику, и справедливо разделять славу между великими наших дней.

¹ Живой вражды (*лат.*).

Я часто тешу себя, представляя, как сей историк описывает царствование Анны I, предваряя свой труд словами о том, что время это превосходит блеском все другие эпохи английской истории. Тех, кто оспаривал друг у друга славу, автор оценит по истинному их достоинству, и каждый засияет лишь ему свойственным светом. Такой-то (напишет историк), изображенный и так и эдак теми, кто жил в его время, был, по всей видимости, человеком недюжинных дарований, великого прилежания и большой честности; но и такая-то знаменитость, принадлежавшая к иной партии, служившая иным целям, обладала ничуть не меньшими достоинствами. Антагонисты, стремящиеся унижить друг друга, кумиры одних партий, предмет поношения других, обретут всеобщую любовь и всенародную славу. Тот, кто вправе ждать заслуженного успеха лишь от половины соотечественников, сможет снискать восхищение всех до единого.

Без сомнения, наш славный историк не обойдет вниманием никого из тех, кому посчастливилось отличиться умом или ученостью в столь блистательную эпоху. Сам я нередко предвкушаю достойную оценку, которую он даст мне, и даже составил небольшое описание, не так уж сильно разнящееся с тем, кое украсит какую-нибудь страницу ученого труда, принадлежащего перу моего воображаемого биографа.

«Именно в то время, — напишет он, — «Зритель» печатал каждый день очерки, сохранившие свою значимость и ныне. Мы знаем очень мало о том, кто их создал, нам даже неизвестно его имя, известно лишь, что он при внешнем добродушии отличался крайней молчаливостью и такой любовью к знаниям, что отправился в Каир только ради того, чтобы измерить пирамиду. Ближайшим его другом был некий сэр Роджер де Каверли, чудаковатый сельский дворянин; водил он знакомство и с судейским, но имени его нам не оставил. Он снимал комнаты у одной вдовы и слыл большим причудником. Вот и все, что мы знаем достоверно о личности его и нраве, рассуждения же его, несмотря на устаревшие слова и уже неясные обороты той давней поры, достаточно понятны нам, чтобы увидеть, как развлекалась и какую была тогда английская нация, хотя нельзя забывать, что склонность автора к насмешке и шутке, без сомнения, повредила истине. Так, если мы примем слова его буквально, нам придется поверить тому, что знатные дамы нередко проводили целое утро в кукольном театре; что они выражали при помощи

мушек приверженность той или иной партии; что публика соглашалась слушать представление на непонятном ей языке; что на сцене вместе с актерами выступали кресла и горшки с цветами; что в полночь при дворе танцевали мужчины и женщины в масках, и многому другому, столь же несообразному. Остается предположить, что подобные иносказания намекали на некие странности, бывшие тогда в моде и полностью забытые ныне. По отдельным фразам можно догадаться, что существовали писатели, хулившие нашего автора; но труды их до нас не дошли, и мы не знаем, какие возражения вызывал его листок. Если мы отнесемся к его стилю с тою терпимостью, какую следует проявлять к старинным литераторам, и обратим внимание на то, как много различных предметы его суждений и нравственных оценок...»

Дальнейшее столь лестно для меня и настолько превосходит самые дерзкие мои чаяния, что читатель, надеюсь, извинит мне вынужденную остановку.

Л.

№ 108

Среда, 4 июля 1711 г.

Gratis anhelans multo adento nihil agens.

Phaed.¹



Когда вчерашним утром я гулял с сэром Роджером около его дома, сосед принес ему большую рыбу и сказал, что в это самое утро ее изловил м-р Уильям Уимбл, который, посылая свой дар с нижайшим

¹ Всем занятый и ничего не делающий.

Пер. М. Л. Гаспарова

(Федр. Бабрий. Басни. М., 1962, с. 22.)

почтением, придет отобедать. Вручил сосед и письмо, а друг мой его прочитал, как только посланец удалился.

«Дражайший сэра Роджер!

Прошу Вас принять щуку, крупнее которой мне не довелось изловить этим летом. Я намерен погостить у Вас недельку и поглядеть, хорошо ли клюет рыба в Вашей речке. Когда мы недавно играли в шары, я заметил, что хлыст Ваш прохудился, и привезу Вам с полдюжины новых, которые самолично свил на прошлой неделе, уповая, что они послужат Вам все то время, какое Вы проживете в сельской местности. Шесть дней кряду я не вылезал из седла, ибо находился в Итоне вместе со старшим сыном сэра Джона. Он предается занятиям с большим прилежанием.

Искренне преданный Вам
Уилл Уимбл».

Странное это письмо и необычный подарок, его сопроводивший, вызвали во мне живой интерес к нраву и свойствам лица, их пославшего; и я узнал следующее: Уильям Уимбл — младший брат одного баронета, представитель древнего рода. Ему уже пошел пятый десяток; однако, не обученный ничему и ничего не унаследовавший, он живет при старшем брате, распоряжаясь его охотой. Никто не сравнится с ним в умении науськать свору собак, а также в искусстве выследить зайца. Как у многих праздных людей, у него золотые руки; он превосходно приготовляет наживку и обеспечивает всю округу удочками. Самого его любят за обязательность и добрый нрав, семью его почитают, и потому он гостит буквально у всех и осуществляет при этом связь между своими друзьями, то перевозя в кармане из дому в дом луковицу тюльпана, то помогая обмениваться щенками помещикам, живущим в разных концах графства. Особенно жалуют его юные наследники титулов, ибо он нередко снабжает их сетью собственного изготовления или сеттером собственной выучки; время от времени он дарит их матерям и сестрам собственноручно сделанные подвязки и вызывает немалое веселье, спрашивая при каждой встрече, хорошо ли они служат. Благодаря подобным поделкам, достойным истого джентльмена, и другим милым услугам Уильям Уимбл стал всеобщим любимцем.

Сэр Роджер продолжал свой рассказ, когда увидел, что герой его идет к нам, держа в руке два или три ореховых

прутика, срезанных по дороге, в лесу нашего хозяина. Мне были очень приятны искреннее радушие, с каким сэра Роджер встретил гостя, и тщетно скрываемая радость, которую вызвал у нового моего знакомого самый вид нашего доброго друга. Когда завершились первые приветствия, Уимбл попросил сэра Роджера отрядить с ним на время кого-нибудь из прислуги, чтобы доставить мячи для игры некоей даме, живущей в миле-другой от усадьбы, ибо он давно обещал преподнести сей подарок. Не успел наш хозяин повернуться, как славный Уимбл начал рассказывать мне, какого фазана вспугнул он в одном из окрестных лесов, после чего поведал еще о двух или трех подвигах подобного рода. Лично я охоч до чудачков и чрезвычайно люблю их; особенности моего собеседника развлекали меня не меньше, чем развлек бы его самого наикрупнейший фазан, и я слушал с особым вниманием.

Речи его прервал звон колокольчика, и мы пошли в столовую, где гость с удовольствием увидел свою щуку, приготовленную самым замысловатым образом. Пока мы ели ее, он подробно рассказывал, как она клюнула, как он с нею боролся, как одолел ее и бросил наконец на берег, уснащая свою повесть подробностями до самого конца первой перемены. Потом подали дичь, обеспечившую нас предметом беседы, и в завершение Уимбл поведал нам, как усовершенствовал дудочку, которой приманивают перепелов.

Удаляясь после обеда к себе, я втайне жалел нашего достойного сотрапезника, сокрушаясь о том, что золотое сердце и золотые руки расходуются на пустяки, ибо доброта его почти не приносит пользы ближним, а усердие — пользы ему самому. Ровно такой же нрав и такое же прилежанье могли бы и обогатить, и прославить его, трудись он на ином поприще. Купец или негоциант, наделенный столь полезными, хотя и нередкими свойствами, хорошо послужил бы и стране своей, и себе самому.

Славный Уимбл разделяет участь многих младших братьев из дворянского рода, поскольку семья их охотнее стерпит, чтобы сын голодал, нежели разрешит ему заняться торговлей или иной недостойной деятельностью. Именно по сей причине многие европейские страны поражают как гордыней, так и нищенством. К счастью нашей торговой державы, младшим сыновьям, даже и не способным ни к какому ремеслу и занятию, предоставлены такие условия жизни,

кои позволяют им существовать безбедно; соответственно мы знаем, что многие люди, брошенные в море житейское с весьма скудными средствами, достигли честным трудом большего богатства, чем старшие их братья. Вполне возможно, что достойный Уимбл пытался изучать богословие, юриспруденцию или медицину, но родители его поняли, что способен он отнюдь не к этому, и предоставили заняться любезными ему изобретениями. Однако неспособность к наукам высшего рода никак не означает, что он не мог бы преуспеть на ниве коммерции. Поскольку мысль эту я считаю чрезвычайно важной, я хотел бы, чтобы мой читатель сравнил изложенное здесь с тем, что я говорил в двадцать первом листке.

Л.

№ 125

Вторник, 24 июля 1711 г.

Ne, pueri, ne tanta animis adsuescite bella:
Neu patriae validas in viscera vertite vires.

*Virg.*¹



К

огда мы толкуем о коварстве политических партий, мой достойный друг сэръ Роджер часто рассказывает нам о том, что приключилось с ним в школьные годы, когда кавалеры и круглоголовые рьяно враждовали между собой. Наш славный дворянин, весьма еще юный, осведомился, как пройти на улицу Святой Анны, а тот, к кому он обратился свой вопрос, вместо ответа обозвал его папским пашенком и спросил, кто же сделал эту Анну

¹ Дети! Нельзя, чтобы к войнам таким ваши души привыкли!
Грозною мощью своей не терзайте тело отчизны!

Пер. С. Ошерова
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 240.)

святою. Отрок смутился и спросил следующего встречного, как пройти на улицу Анны; но был именован ни за что ни про что пашенком пуританским и узнал, что Анна была святою, когда он еще не родился, и будет святою, когда его уже повесят. «После этого, — говорил сэр Роджер, — я не решался повторять прежние свои вопросы, но ходил из улицы в улицу, спрашивая, как ее здесь называют, и сим хитроумным способом нашел нужный дом, не оскорбив ни одной партии». Обычно рассказ этот завершается рассуждениями о вреде, какой наносят Англии распри партий; о том, как губят они добрососедскую дружбу и побуждают к ненависти достойных джентльменов; о том, наконец, что они могут повысить земельный налог и уничтожить охоту.

Нет худшей напасти для страны, чем страшный дух раздора, обращающий ее в два особых народа, более чуждых, более враждебных друг другу, нежели разные нации. Последствия подобных разделений губительны в высшей степени, не только потому, что они благоприятствуют общему врагу, но и потому, что они сеют зло почти в каждом сердце. Дух сей оказывается роковым и для нравов, и для разума; люди становятся все хуже, мало того — все глупее.

Яростная нетерпимость партий, выраженная открыто, ведет к междоусобице и кровопролитию; будучи же сдерживаема, естественно, порождает ложь, клевету, злословие и лицеприятство, заражает нацию хандрой и злобой и губит все начатки доброты, сострадания и милости.

Плутарх прекрасно сказал, что мы не вправе ненавидеть даже врага, ибо, попустив эту страсть единожды, мы не сумеем сладить с ней после; ненавдя врага, мы обретаем злонамеренный взгляд на жизнь, каковой исподволь проявит себя и в обращении с друзьями, и в отношении к людям, нам безразличным. Я мог бы заметить от себя, что сие нравственное правило (согласно которому ненависть дурна сама по себе, независимо от того, на кого направлена) как нельзя лучше соответствует великому слову, проповеданному лет за сто до Плутарха; но вместо того скажу лишь с искренним сокрушением, что многие хорошие люди вокруг нас поражены духом нетерпимости и посему далеки друг от друга вопреки велению разума и веры. Добродетельный человек, пекущийся об общем благе, возгорается страстями, которых никогда не попустил бы, пекись он о собственной пользе.

Дух партии влияет на суждения наши не меньше, чем на

благовраие. Мы часто слышим, как превозносят жалчайший листок или памфлет, не замечая превосходного творения лишь потому, что автор одного расходится с тобою во взглядах. Тот, кто одержим сим духом, почти не способен отличить красоту от безобразия. Достойный человек, несогласный с ним, искажается, как если бы он попал в другую среду (припомним, что палка в воде кажется кривой или сломанной, хотя на самом деле она цела и пряма). Поэтому в Англии навряд ли отыщется хотя бы один мало-мальски заметный деятель, чей образ не двоился бы, причем разные эти ипостаси более отличны друг от друга, нежели свет и тьма. Пристрастность, царящая ныне во всех наших слоях и сословиях, немало мешает знанию и учености. Прежде в ученом сообществе человек обретал славу своими способностями; теперь легче выделиться пылом и яростью, с какими защищаешь споспешников. Так оценивают и книги: злобная сварливость сходит за сатиру, в скучном перечне предвзятых мнений прозревают тонкость слога.

Обе стороны охотно прибегают к некоей хитрости: любую скандальную сплетню, какую только могли измыслить и пустить о том или ином лице, они представляют непреложной истиной и делают из нее нужные выводы. Недоказанная клевета, более того — клевета опровергнутая становится для подлых писак постулатом, непровержимым принципом, общим местом, тогда как сами они, в сердце своем, знают, что сведения эти неверны или хотя бы сомнительны. Удивительно ли, что злые домыслы, построенные на сем основании, всегда нетрудно отстоять? Если столь бесстыдные деяния будут продолжаться и далее, благородные люди уже не станут сообразовывать свои поступки с хвалой или хулой.

В каждой стране бывает пора, когда дух этот особенно силен. Италию долго рвали на части гвельфы и гибеллины, Францию — сторонники и противники Лиги; но горе человеку, родившемуся в такое бурное время. Гордые притязания коварных раскалывают страну на части и соблазняют разумных мнимой заботой о родине. Сколько честных умов обрело безжалостность и жестокость, ревнуя об общем благе! Как немилосердны бывали они к противникам, которых чтили бы и щадили, если бы глядели на них без предвзятости! Благороднейшие из смертных совершали постыдные ошибки и помышлением, и делом, становились много хуже по вине высочайшего чувства, любви к отчизне. Не удержишь

и приведу прославленную испанскую пословицу: «Ежели бы на свете не было глупцов и плутов, все мыслили бы едино».

Что до меня, я сердечно желаю, чтобы честные люди объединились ради взаимной защиты от того, кого им следует считать общим своим врагом, на чьей бы стороне он ни был. Образуй мы такой союз беспристрастных, подлец не занимал бы высоких постов лишь потому, что он нужен единомышленникам, а праведник не находился бы в небрежении лишь за то, что он выше приемов и уловок, полезных его партии. Мы могли бы ясно увидеть негодяев и изгнать их, какими бы могучими они ни казались; могли бы защитить бескорыстных и невинных, поддержать добродетель, как бы ни чернила ее и ни высмеивала низкая зависть. Словом, соотечественники наши были бы для нас не вигами и тори, но друзьями, когда они благородны, и врагами, когда они подлы.

К.

№ 126

Среда, 25 июля 1711 г.

Tros Rutulusque fuat, nullo discrimine habebo.

Virg.¹



В

предыдущем моем листке я высказал пожелание, чтобы честные люди всех партий объединились, дабы защищать друг друга и поражать своих врагов. Поскольку сообщество это, чуждое партийных пристрастий, должно стремиться лишь к истине и справедливости, отрешаясь от мелких предрассудков и мелочной гневливости, приводящих к расколу самые разные

¹ ...Равны для меня троянец и рутул.

Пер. С. Ошерова
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 303.)

партии, я приготовил следующий документ, выражающий намерения сии как можно понятнее и проще:

«Мы, подписавшиеся ниже, торжественно заявляем, что искренне верим в истину, гласящую «дважды два — четыре», и сочтем врагом своим любого, кто попытается убедить нас в противном. Готовы мы поклясться всем, что нам дорого, и в верности истинам: «Шесть — меньше семи всегда и повсюду», а также «Десять не станет больше десяти через три года». Настаиваем мы и на том, что до самой смерти будем называть черное черным, а белое — белым и, не щадя достоинства и жизни, оспаривать при каждом удобном случае тех, кто назовет черное белым или белое черным».

Ежели бы и впрямь объединились честные люди, кои, невзирая на лица, стремились бы уничтожить и одержимых вояк, готовых принести половину страны в жертву страстям и корысти другой половины, и мерзких лицемеров, пекущихся о собственном благе, называя его благом общественным, равно как и всех тех, кто, не имея совести и чести, поддерживает ту или иную сторону, слепо подчиняясь главенствующим, вскоре исчез бы самый дух непримиримой приверженности, который рано или поздно сделает нас презренным посмешищем других народов.

Член сообщества, прилежно приготавливающий место для истинных талантов, свергая бесполезных и низких людей с высоких постов, куда они случайно попали, и ничуть не радеющий при этом о собственном благе, принес бы немало пользы своей стране.

Помню, я читал у Диодора Сицилийского о чрезвычайно шустром зверьке — кажется, мангусте, — который только и делает, что разбивает крокодильи яйца. Старания его особенно замечательны, ибо яиц он не ест и никакой пользы от дел своих не получает. Если бы не сей неустанный труд, Египет, по слову историка, кишел бы крокодилами, ибо тамошние жители не стали бы бороться с мерзкими тварями, коих они почитают как богов.

Глядя на обычных ревнителей политики, мы заметим, что они похожи не столько на бескорыстного зверька, сколько на дикарей, стремящихся извести самых нужных и даровитых своих собратьев в надежде на то, что свойства погибших, принесшие им честь и славу, перейдут к погубителям.

Весь ход моих рассуждений направлен на то, чтобы по мере сил угасить губительный дух страстей и предрассудков,

но в одном особенно я хотел бы принести пользу; дело в том, что, как я заметил, нетерпимость сильнее не в городе, а в сельской местности. Здесь она сочетается с грубостью, с деревенской лютостью, каковой не ведают те, кто привык к вежливой беседе. В деревне враги даже не кланяются друг другу; главы партий сохраняют воспитанный вид и обмениваются любезностями, тогда как послушные их орудия, рассыпанные по стране, навряд ли согласятся смотреть вместе петушиный бой. Благодаря сему духу постоянно собираются вместе то лошадаики-виги, то охотники-тори, а на судебных сессиях царят сплетни, грубость и злоба.

Не помню, писал ли я в каком-либо из своих листков, что друзья мои, сэр Роджер де Каверли и сэр Эндрью Торгмен, не сходятся во взглядах: один — землевладелец, другой предпочитает торговлю. Но разномыслие сие столь умеренно, что приводит лишь к доброму подшучиванью, которое доставляет удовольствие прочим членам клуба. Я знаю, однако, что сэр Роджер становится в деревне много более твердолобым тори, ибо, как он сообщил мне втайне, без этого никак невозможно отстаивать свой интерес. За весь долгий путь от Лондона до поместья мы даже лошадей не кормили на постоялом дворе у виги; ежели по нечаянности кучер завозил нас не туда, куда следует, один из слуг сэра Роджера поспешал к нему и шептал ему на ухо, что здешний хозяин голосовал против такого-то. Нередко нам приходилось спать на жесткой постели и есть дурную пищу — ведь нам был важен не двор, а его владелец, и, если взгляды его были здоровыми, мы не обращали внимания на то, свежи ли у него припасы. Мне это совсем не нравилось, поскольку чем лучше был хозяин, тем хуже он угощал нас, прекрасно зная, что «свои» удовольствуются любой едою и жестким ложем. По сей причине я всю дорогу боялся войти в дом, когда сэр Роджер восхвалял честность его владельца.

С той поры, как я гостил у сэра Роджера в поместье, я что ни день нахожу примеры этой узости, вызванной враждою партий. На днях, в маленьком городке, мне довелось играть в шары на лужайке (именно так встречаются еженедельно члены одной партии), и я заметил незнакомца, который и выглядел достойней других, и держался лучше; оказался он и превосходным игроком, но, к моему удивлению, никто не хотел принять его. Расспросив о причине, я узнал, что на прошлых выборах он голосовал против здешнего кандидата,

«Зритель»

и потому ни один из собравшихся не удостоил его общения, заключавшегося лишь в том, чтобы выиграть у него деньги.

Упомяну и случай такого рода, касающийся до меня самого. Уильям Уимбл рассказывал недавно весьма удивительные истории, которые он слышал бог весть от какого высокопоставленного лица. Я уставился на него, дивясь тому, что здесь говорят громко то, чего в городе не решились бы и шепнуть на ухо. Уимбл замолчал посредине фразы, а после обеда тихо спросил друга моего, сэра Роджера, уверен ли тот, что я — не отъявленный, нетерпимый фанатик.

Меня сильно заботит сия сельская предвзятость не только потому, что она губит добродетель и разум, превращая нас в каких-то варваров, вечно оскорбляющих друг друга, но и потому, что по милости ее злоба наша становится все прочнее, расхождения наши — все больше, а нынешние предрассудки и страсти передаются будущему. Порою, с немалым страхом, я смутно провижу в сих ссорах ростки междоусобиц и горько скорблю о наших несчастных потом-

К.

№ 135

Суббота, 4 августа 1711 г.

Est brevitae opus, ut currat sententia.

Hor.¹



где-то читал о знаменитом человеке, который, вознося молитвы, благодарил Бога за то, что родился французом; сам же я почитаю особою милостью, что родился англичанином. Среди прочих причин, счастлив я потому, что язык наш как нельзя лучше служит недругу многословия, стремящемуся к скупости слога.

¹ Краткость нужна, чтобы речь стремилась легко и свободно.

Пер. М. Дмитриева
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 275.)

Поскольку я нередко думал о сей своей удаче, то поделюсь с любознательным читателем мыслями о нашем языке, не сомневаясь в том, что он с ними согласится.

Если верить чужеземцам, англичане склонны к молчанию более всех европейцев. В отличие от соседей наших мы общаемся друг с другом не столько беседуя, сколько обмениваясь паузами; пишем же мы менее многословно, чем в других странах, ибо, верные природной молчаливости, стремимся родить мысль как можно скорее и выразить ее как можно короче.

Склонность эта сказывается в разных особенностях, подмеченных мною в нашем языке. Прежде всего, английские слова в большинстве своем односложны, что позволяет выразить мысль, употребив очень мало звуков. Конечно, это умаляет изящество речи, зато способствует скорейшему выражению идей и тем самым отвечает главной задаче языка более, нежели обилие слогов, придающих благозвучность чужеземному слову. Наши слова отрывисты и скоро-течны, словно звучанье струны, возникающее и угасающее от единого касанья; слова других языков, подобно звукам органа, сладостно длятся, звуча на разные лады [...]

Несомненно, слух чужеземца, лучший судья в таких делах, сурово осудит эту скомканность речи, да и мы сами допускаем ее не всегда, произнося все слоги ясно в церковной торжественной службе и не сокращая их на письме.

Приспосабливаем мы к языку не только слова, но и фразы, стягивая оные воедино, отчего наша речь поражает обилием согласных, весьма препятствующим ее мелодичности.

Должно быть, сия скупость, если не скудость речи столь несчастливо укоротила наши слова, что мы и произносим и пишем лишь первый их слог; поскольку же все нелепые, модные словечки входят в язык через привычные фразы, я не удивлюсь, если такие уродцы займут со временем законное место. Некие стихотворцы осмелились ввести в торжественный стих то, что пристало комическим виршам, коверкая самую суть английского слова. Тяга к крайностям зашла так далеко, что весьма известные писатели, в числе коих особенно рьян сэр Роджер Л'Эстрендж, решили освободиться от букв, неслышных в устной речи, приравливая к ней написание, что мешает понять, откуда взялось слово, и может погубить наш язык.

Заметим также, что ласкательные имена становятся у нас короче, тогда как в других современных языках они обретают особую неясность благодаря дополнительным слогам. Нашему «Нику» соответствует итальянский «Никколино», нашему «Джеку» — французский «Жанно» и так далее.

Есть и еще одна склонность, связанная со скупостью речи: мы нередко опускаем слова, без которых в других языках фразу и не поймешь. Даже лучшие наши писатели толком не знают, как распорядиться местоимениями «кто», «что», «какой»; и не узнают, пока у нас не будет академии или иного, подобного ей учреждения, где самые ученые люди установили бы твердые правила, как в иных языках, и разрешили спор между грамматикою и живой речью.

Я вижу наш язык таким, каким ему велят стать самый дух и нрав народа: скромным, разумным, истинным; наверное, таким хотел бы видеть его и сам народ, хотя он нанес языку немало ущерба. Ту же мысль можно применить и к языкам иных народов, объяснив многое в них духом соответствующей нации. Должно быть, легкость и общительность французов сказались в их речи (тому немало примеров), а приверженность итальянцев к музыке и ритуалу придала их словам особую мелодичность. Важность испанцев сказались в их торжественной речи, а грубоватая германская шутка лучше звучит по-немецки, нежели звучала бы на более изящном языке.

К.

...Parthis mendaciior.

Hor.¹



С

огласно просьбе одного престранного джентльмена, я напечатаю такое письмо:

«Уважаемый Зритель!

Спешу сообщить Вам без извинений и предисловий, что я с молодых лет — один из величайших лжецов, коих породил наш остров. Прочитавши все, что написали на сей предмет моралисты, я нимало не переменялся, ибо рассуждения их лишь обогатили меня, как на беду, новыми выдумками и вымыслами, а также помогли говорить красноречиво, подбавляя к тому, что нельзя и помыслить, то, что покажется правдой. При всей моей страсти к обману, на свете нет честнейшего человека и вернейшего друга, чем я; но воображение мое меня обгоняет, и, только я начну рассказ, предо мною возникают мгновенно такие сцены и происшествия, что я, не в силах сдержаться, повествую о них, хотя, к стыду моему, прекрасно знаю, что меня может уличить первый же встречный.

Когда при мне упомянули о Полтавской битве, я, не совладав с собою, принялся рассказывать о своем кузене, молодом негоцианте, воспитанном в городе *Моска* и чрезмерно пылком, чтобы заниматься счетными книгами, если в стране, где он обитал, случилось столь поразительное событие. Добровольно последовав за царем, кузен мой, родившийся лишь тогда, когда я начал свой рассказ, сбросил с коня шведского генерала, научил московитов умело вести огонь, освободил солдат, захваченных еще утром, и взял в плен самого графа Пипера. Несмотря на пылкость свою, кузен был исключительно скромен, никогда не кичился подвигами и

¹ Лживей парфян.
(Гораций. Письма).

отличался, вдобавок, живейшим, острым умом. Он часто писал мне (тут я пощупал карманы), повествуя о нраве царя, который я узнал в совершенстве, тем более что и сам, — прибавил я, не сдержавшись, — бывал с Его Величеством вместе раза два или три в неделю, когда сей государь находился в Детфорде. Прискорбнее всего, что нельзя заговорить со мною, не подав мне повода для лжи, лишенной блеска, разумности, корысти, цели словом, какой бы то ни было причины, которая была бы понятна мне самому. Недавно кто-то превозносил известного ученого богослова, а я, неведомо почему, заметил: «Мне кажется, он внушал бы больше почтения, если бы волосы у него были потемнее». Собеседники мои улыбнулись, и что же? Вскоре я увидел его и убедился, что волосы его черны как уголь. Всякий день мне дают понять, что никто моим словам не верит, но я не меняюсь. Как-то, в кофейне Уилла, я что-то сказал старому другу, и тот не ответил, а позже рассказал занятную историю о Цицероне: когда приятель несколько раз подряд повторил Марку Туллию, что ему, то бишь приятелю, недавно пошел пятый десяток, славный оратор не отвечал, затем промолвил: «Верно, ты считаешь меня уж очень недоверчивым, если втолковываешь то, что повторял день за днем десять лет кряду». Беда моя в том, что меня на удивление сильно клонит оказаться в каждом месте, о котором зайдет речь; склонность эта принесла немало тягот, кои могли быть и хуже, если бы я по натуре своей не был столь чужд злоречию; к счастью, я никогда не говорю того, что могло бы повредить ближнему. Клевета гнусна мне; но слова мои приносят порою такие же дурные плоды, поскольку я вкладываю в уста недалеких наследников титула весьма острые речи. Однажды, услышав, что такой-то не слишком умен, я немедленно воскликнул: «Вот уж нет! Недавно он прекрасно срезал лорда Имярек», и прочее, в том же роде; после чего люди стали прислушиваться ко всему, что ни скажет сей тупица, и, поскольку он моих слов не оправдывал, потешались над ним пуще прежнего. Вознамерившись излечиться от несносного порока, я решил молчать целую неделю и молчал, но, кто бы что ни поведал, глаз мой шурился, лицо кривилось, и я понимал, что воздерживаюсь лишь от беседы, в сердце же своем лгу, как и лгал, всем и каждому. Да будет Вам известно, я никогда не путешествовал (о чем Вы, наверное, пожалеете, ибо это приносит немалую пользу); однако

едва ли сыщется страна, о которой бы я не рассказывал с величайшей легкостью совершенно чужим людям. Я бранил немецкие гостиницы, хвалил венецианские блудилища, восторгался французской вольностью беседы и, никогда не выезжая из Лондона дальше пятидесяти миль, повествовал о том, как три ночи кряду за мною крались по Риму наемные убийцы, поскольку я соблазнил любовницу кардинала.

Подобным примерам несть числа, но смею заверить Вас, что здесь, то бишь в Лондоне и Вестминстере, нас наберется человек двадцать, если не тридцать, словом — достаточно, чтобы основать особое общество; поскольку же верить нам больше нельзя, прошу напечатать мое письмо, дабы мы могли собираться, придерживаясь правил, не допускающих ни откровенности, ни доверчивости. Ежели Вы сочтете уместным, именовать нас можно историками, ибо слово «лжец» стало уж слишком бранным. Поскольку же членами сего общества могут гнушаться прочие, попрошу Вас рассказать хоть немного о людях такого рода, дабы историков более не причисляли к заурядным лгунам, вралям, мошенникам и обманщикам. Знайте же, что историк одарен плодоноснейшим воображением и, ведя беседу, попросту не может удовольствоваться тем, что было. К примеру, один из нас, человек почтенный, коему, согласно цicerоновой шутке, уже несколько лет исполняется сорок три года, отличается тягой ко всему необычному. Дайте ему малейший повод, и он расскажет, как в таком-то году, с такими-то лицами случилось что-либо чрезвычайно занимательное, а присутствовал при этом такой-то, совершивший впоследствии то-то и то-то. События эти он прекраснейшим слогом сопряжет и свяжет с другими, весьма правдоподобными, выказав столь глубокий, честный ум и такую скромность, когда речь пойдет о нем самом, что поневоле восхитишься. Скажите же, сэр, почему мы должны почитать сие ложью? Речи его поучительны, как нельзя более, серьезны, весомы, великолепны! Другой из историков еще молод и совершенно лишен дарований, но мы его примем, как берут в школу не готовых к учению детей, дабы отвратить их от опасностей. Говорит он пустое, слова его ни холодны, ни горячи, они занимают время неведомо зачем, он даже позабавить не тщится, но нрав у него добрый, а речь он заводит потому, что любит общение и хочет порадовать ближнего.

Могу я назвать и воина, свершившего великие дела, не

«Зритель»

пролив и капли крови; он, на удивление, скучен и туп, но слова его ни в малой мере не соответствуют истине, и потому он вправе занять свое место среди нас.

Дозвольте поведать и о влюбленном, горящем лишь о том, чтобы никто не узнал, что произошло между ним и одной прославленной красавицей. Однако утешается и он, проклиная распутницу и заверяя нас: «Если деньги купят мне верность, заложу земли, отдам все за любовь, как Антоний ради Клеопатры, а там пропади все пропадом...»

Есть у нас и небогатый купец, честный поставщик колониальных товаров, как бы созданный для убытка и прибытка, для тары и фрахта и, судя по его речам, торгующий со всем миром; проникательность его столь велика, что ему известно, что делают французы, что намерены делать и что должны бы делать мы. Но, Боже, куда меня занесло! Я плачусь Вам, я повествую, и все это — ложь, и, насколько мне известно, нет на свете ни почтенного джентльмена, ни воина, ни влюбленного, ни торговца. Однако сдержусь хотя бы один раз и, противу естества, скажу правду, заверив Вас в преданности слуги Вашего.

№ 152

Пятница, 24 августа 1711 г.

Οἱη περ φύλλων γενηε ταῖδε καὶ ἀνδρῶν



Никакой разговор не может быть столь приятен, как беседа с военным, чье мужество и благородство проистекают от дум и размышлений. Жизненный путь сих людей изобилует удивительными событиями, и потому рассказ их столь занимателен, манера — столь проста (ведь все это видели они сами), что, повторю, нет

¹ Листьям в дубравах лесных подобны сыны человеков.

Пер. Н. Гнедича

(Гомер. Илиада. Одиссея. М., 1967, с. 113.)

общества приятней, нежели общество умного воина. В повествованиях его и речах есть некая необычность, которая дает тепло и усладу, коих не найдешь в беседе с людьми, привыкшими мыслить строго и размеренно.

Сегодня под вечер я гулял в полях с другом моим, капитаном Чэсти; вынудив его поведать о том, что случилось с ним в годы службы, я не переставал удивляться, ибо страх смерти, против коего мы обороняемся столькими усилиями, размышлениями и доводами, почти и не существует на поле брани, где самые обычные люди идут прямо в открытую брешь и встречают грудь противника не только с полной охотой, но даже и с веселостию. Друг мой отвечал на такие слова: «То, чему вы удивляетесь, может быть и предметом восхищения, если вы не были в бою; но если вы поживете хоть немного походной жизнью, вы подметите некую неосмысленную храбрость, обретаемую обычными людьми, долго пребывающими вместе. Конечно, солдат видит, что многие пали, но чаще он видит выживших; он помнит, что чудом избежал смерти, и верит, что так случится и впредь. Мысли его смутны, он почти и не думает и всей душой предан развлечениям, предан настолько, что недолгий труд или недолгая опасность не кажутся ему дорогой платой за веселье, радость победы, удобное жилье, занимательные сцены и необычные приключения».

Так смотрят на это все, непосредственно занятые ратным делом, и, вероятно, почти все люди вообще; но обладатели неосмысленной храбрости никогда не играли в армии большой роли. Командует другой — тот, кто, думая сам, понял, что есть большее благо, чем долгая жизнь, и преисполнился такого небрежения к себе, что главное правило для него: «Достаточно каждому дню своей заботы»; а потому, стремясь действовать достойно и служить ближним, часто и с легкостью идет на риск. Мы не ведаем, говорит он, как отразятся на других события и поступки; что же до нас самих, ничего плохого не случится, если мы выполним долг, ибо Провидение все делает к лучшему, независимо от того, живы мы или умерли. Все, что предписано природой, — благо; смерть естественна для нас, и глупо ее бояться. Страх утрачивает смысл, когда мы знаем, что он не защитит нас, и мы должны смело смотреть в лицо смерти, ибо нам ее не избежать. Не смирившись пред ее неизбежностью, человек не сделает ничего великого; достигнув же сего совершенства, мы усла-

ждаемся воинскими радостями, как любимы другими, доступными человеческой душе. Сила разума, сознание долга и жажда славы придают красоту тому, что прежде ужасало и отвращало самую нашу фантазию. Прибавьте к этому братство в опасности, благо человечества, общее дело и несомненную доблесть, какую так часто можно встретить у неприметных людей, и вы узнаете причины, по коим человек теряет мелочное попечение о себе. Таковы воины-герои, истинные вожди; что же до прочих, о которых я говорил, они — не знаю уж почему — обретают какую-то привычку к бездумности, и настолько, что в самой крайней опасности сохраняют полное равнодушие. Помню, один развеселый француз воевал под началом генерала, о коем всегда говорил не иначе, как с издевкой; в начале боя, будучи ранен, он понял, что умирает, и подумал: «Прожить бы еще хоть часок, чтобы посмотреть, как этот мерзкий хлыщ выкрутится из положения!»

Помню я и двух молодых людей, служивших в одном кавалерийском эскадроне и проводивших все время вместе; они вместе ели, вместе пили, вместе волочились — словом, страсти их и склонности, казалось, были одинаковы, схожи и годны для них обоих. Как-то под вечер мы собирались перейти реку, и эскадрон сих джентльменов должны были переправить как можно скорее на пароме. Один из друзей уже взошел на паром, другой остался на берегу с товарищами. На пароме возникла суматоха по вине непослушной лошади, и первый из друзей, плохо державший поводок, упал в реку. Второй крикнул с берега: «Кто это утонул?» — и тут же услышал: «Твой приятель, Гарри Томсон», на что серьезно ответил: «Да, лошадь у него строптивая». Мне еще не исполнилось и двадцати, и столь краткая эпитафия ближайшему другу поразила меня; я решил, что и дружбы особой не было. Но таковы и привязанность, и все побуждения жизни у тех многочисленных людей, кои забудут что угодно ради сиюминутной суеты: они не станут скорбеть по человеку, если его с легкостью заменит другой, а там, где люди сменяются столь жестоко, первый встречный станет таким же близким, как тот, с кем вы прожили полжизни. Для людей этого рода обычны и привычны опустошенные земли, обездоленные селяне, вопли ограбленных, тихая скорбь осиротевших; их трогают лишь мелкие улады чувств и похотей; они не знают милости, не жаждут славы и боятся только

позора, ибо душу их манит одна жалчайшая надежда: собраться вместе и повеселиться. Таковы почти все солдаты; но бывают и благородные люди, подобные тому, кто стоит у меня перед глазами, — люди, первыми встречающие опасность, если велит долг. Офицеры ему — друзья, когда они честны и великодушны; рядовые — братья, ибо они, как и он, принадлежат к роду человеческому. Все, кто знается с ним, его любят и в грозную минуту хотят, чтобы им представился случай его спасти. Там, где командует он, любовь становится законом, и всякий служит себе и ближним не потому, что иначе командир накажет, а потому, что он огорчится. Полк его знает сострадание к людям и всячески щадит их. Даже в том, что причитается по праву, он одет скромней своего портного и никогда не возьмет и лишнего фартинга. Так и живи, благородный муж; судьба твоя — вечная слава, награда — негленная радость.

Т.

№ 165

Суббота, 8 сентября 1711 г.

Si forte necesse est,
Fingere cinctutis non exaudita Cethegis
Continget:
dabiturque licentia sumpta pudenter.

Hor.¹.



часто мечтаю о том, чтобы язык наш охраняли особые лица, подобно тому как государственное устройство охраняет наши законы, свободы и торговлю. Лица эти не допускали бы к обращению слова

¹ ...Но если придется
Новые знаки найти для еще неизвестных предметов,
Изобретая слова, каких не слыхали Цетеги,
Будет и здесь дозволенье дано и принято с толком.

Пер. М. Гаспарова
(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 384.)

французской чеканки, особенно препятствуя чужим оборотам, коль скоро у нас, для той же цели, отчеканены свои. Война так засорила язык чужеземными речениями, что какой-либо наш пращур не понял бы, как мы живем, развернув нынешнюю газету. Победоносно сокрушая французов, воины наши с не меньшим усердием насаждают среди нас и речи оных. Подвиги столь велики, что героям нашим не хватает слов, и они сообщают о своих деяниях на невразумительнейшем наречии, заимствованном у поверженного врага. Следовало бы послать им в помощь секретарей или послов, чтобы мы прочитали на родном языке о доблести соотечественников. Это французам пристало бы печатать сообщения по-английски; за туманностью и замысловатостью фраз никто бы ничего не понял, и сограждане их могли бы думать, что дела еще не так плохи. Англичанам же незачем скрывать правду, вознесшую их страну на вершину славы; чем яснее будет слог, тем сильнее восхищение.

Лично я теряюсь в догадках дня два или три, пока длится осада; замешательство мое столь велико, что я никак не пойму, чей верх, покуда торжественный залп не известит меня о победе. Это извинительно, ведь фортификацию выдумали чужеземцы, пускай же о ней и говорят по-чужеземному. Когда же мы вершим дела, о коих можно сказать по-английски, почему газеты наши так туманны и мы заимствуем слова у французов, дабы сообщить об их поражении? По нашей вине они словно бы соучаствуют в разглашении своего позора, подобно тому как в древнем, римском театре на занавесе были столь искусно вытканы фигуры британцев, что зрителям казалось, будто британцы эти и поднимают занавес, дабы открыть сцену, где будет представлено их поражение. Драйден так перевел стих Вергилия:

Which interwoven Britains seem to raise,
And shew the Triumph that their Shame displays.¹

По слову известного нынешнего писателя, история прежних наших войн дошла до нас на английском языке. Ни в одной хронике не читал я о реляциях Эдуарда III, хотя он

¹ [Purpurea intexti] tollunt aulaea Britanni.

Пурпурный занавес вверх британцами ткаными вздернут.
Пер. С. Шервинского
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971., с. 92.)

часто побеждал французов. Черный Принц перешел много рек, но не форсировал их и даже не наводил понтонов. Из-за темных речений и трудных слов, коими кишат газеты, военачальники наши утрачивают добрую часть славы, народ — добрую часть радости. Я нередко слышал, как, прочитав статью, здравомыслящий англичанин спрашивал, какие новости.[...]

Помню, в достопамятный год, когда страна наша избавилась от наихудших опасностей и страхов и познала величайшее счастье — в год Бленхейма, — я получил из деревни копию письма, которое один молодой офицер отправил своему отцу, человеку зажиточному и здравомыслящему. Письмо сие написано на нынешнем военном наречии, и я познакомлю с ним читателя.

«Дражайший сэр! Имею честь доложить Вам о баталии, завершившейся блистательною викторией. Форсировав реку, мы приблизились к расположению галлов; совместно с баварцами они находились за болотом, которое, по разумению их, перейти невозможно. На другой день в лагерь наш прибыл амбассадор с пропозицией от герцога Баварского. Назавтра армия наша, разделенная на два корпуса, двинулась на врага; Вы узнаете из газет, как мы с ним разделились, от себя же прибавлю, что, встретив после боя нескольких мародеров, мы подвергли их приличествующей экзекуции. Мне посчастливилось сразиться с баталионом, оказавшим особую резистенцию, которая была не более чем простой гасконадой, ибо вскорости, напугавшись нашей атаки, воины эти предоставили нам карбланш¹. Командир их и множество офицеров взяты в плен и, вероятно, нанесут Вам визит в Англии. Не думаю, сэр, что все это представляет интерес для Вас, лица партикулярного, но все же шлю свои конгратуляции и остаюсь преданным Вашим сыном».

Получив письмо, отец догадался, что оно содержит добрую весть, но никак не мог понять ее толком. Он немедленно отправился к приходскому священнику, который, прочитав написанное, разобрал далеко не все, обиделся и сказал в сердцах, что тут ничего не поймешь. Должно быть, капитан не в себе, говорил он, если толкует о пропозициях, конгратуляциях, гасконадах и даже о какой-то Виктории.

¹ От «carte blanche» — свобода действия (*искаж. фр.*).

Либо он разыгрывает нас, либо он свихнулся. Отец почитал священника ученым человеком и, поневоле испугавшись за сына, вынул письмо, пришедшее почтой на три дня раньше. «Смотрите-ка, — сказал он, — когда речь идет о деньгах, все ясно, и когда речь идет о новой сбруе, все понятней понятного». Словом, старик так растерялся, что поссорился бы с сыном, ежели бы дня через три не увидел те же слова в газетах и не убедился, что сын его нимало не отличается от прочих.

Л.

№ 174

Пятница, 19 сентября 1711 г.

Nos memini et victum frustra contendere Thyrsin.

*Virg.*¹



Есть ли на свете что-либо более обычное, нежели раздор между партиями, которые могут выжить лишь в согласии? Явление это превосходно выражено в римской басне о взбунтовавшихся членах единого тела. Бывает сие и среди союзников-государств, борющихся против превосходящей силы: они вечно спорят, хотя единение для них насущно; а уж чаще всего бывает так, когда речь идет о землевладельцах и торговцах. Торговца кормит земля, землевладельца одевает торговля, но сами они никак не поладят.

Прошлой зимой нечто подобное случилось и в нашем клубе между сэром Роджером и сэром Эндрю Торгменом,

¹ Помню я все — и как Тирсис не мог, побежденный, бороться.

Пер. С. Шервинского
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. с. 51.)

чьи несогласия нимало не мешают их дружбе. Как-то один из нас заметил, рассуждая об истории, что коварство карфагенян вошло в поговорку, ибо они непрестанно нарушали соглашения. Сэр Роджер не преминул вставить, что иначе и быть не могло, поскольку карфагеняне — искуснейшие торговцы в мире, а выгода — главная цель таких народов, и они поступятся ради нее чем угодно. Средства для них неважны; когда можно, народы эти обогащаются честно, когда же нет — не гнушаются коварством и обманом; да и впрямь, торговец лишь тем и занят, как бы обойти честного человека. Но если бы и не так, разумно ли ожидать великодушия и благородства от тех, кто вечно корпит над счетами и страшится лишь убытка? Допустим, запасливость и бережливость украшают торговца; но насколько они мельче и ниже, чем широта дворянина, раздающего деньги бедным и привлекающего соседей!

Капитан Чэсти заметил, что речи сэра Роджера неприятны сэру Эндрью, и, стремясь переменить тему, сказал, что повсюду, сверху донизу, тайно бытует несправедливый обычай: послушно поддаваясь искушениям злобы и зависти, всякий превозносит свой уклад в ущерб другим путям жизни и осуждает способ, которым ближний его добывается счастья; те же, кому не везет, неумолимы к тем, кто познал удачу, и считают ее несправедливой. Военные люди и штатские подозрительно глядят друг на друга; солдат ропщет, взирая на придворного, придворный глумится над солдатом. В самом же низу пехотинцы враждуют с конниками, а кучера и ломовики обмениваются злыми взглядами, оспаривая друг у друга малую часть дороги.

«Все это прекрасно, дражайший капитан, — прервал его сэр Эндрью. — Мы можем переменить тему, если вы считаете нужным; но я все же должен перекинуться словом-другим с сэром Роджером, поскольку он, я вижу, полагает, что поставил на место и меня, и всех нас, торговцев. Не буду напоминать, — продолжал он, — сколь много великих памятников милосердию и общественному благу воздвигли мы, торговцы, со времен Реформации; лучше сдержусь, прибегнув к добродетелям, любезно дозволенным нам, — запасливости и бережливости. Если бы баронет столь древнего рода, как друг наш, позволил себе опуститься до такого занятия, как подсчеты, он сам предпочел бы нашу рачительность своему радушию. Не знаю, следует ли именовать сим словом

опорожнение нескольких бочек; мы за этой доблестью не гонимся, но неплохо бы подумать, кому лучше — ремесленнику, трудящемуся десять дней по моему заказу, или крестьянам, которых великодушно потчует сэра Роджер. Мне кажется, семь работников более благодарны мне, чем семь крестьян — помещику. Сэр Роджер дает все сам, я же не ставлю никого в зависимость от моих щедрот и не вынуждаю к благодарности. Меня нимало не трогает, что говорили римляне о карфагенских купцах; Рим и Карфаген были заклятыми врагами, и весьма прискорбно, что до нас не дошли труды карфагенских историков, — быть может, мы узнали бы о том, как широко и благородно грабили римляне. Но коль скоро сэра Роджер привел поговорку, неблагоприятную для торговцев, позволю себе привести другую, не такую древнюю, в их защиту; в Голландии, если кому случится потерять состояние, о нем скажут, что он «не очень хорошо вел счета». Для нас оскорбленья в этом нет, но для точнейшего из народов это страшный укор. Ошибиться в расчетах, легкомысленно рискнуть деньгами, уповая на неверный успех, столь же позорно там, сколь позорны в иных странах нечестность и трусость.

Мы настолько вправе назвать цифры мерою всех вещей, что успех предприятия или его разумность и не выразишь иным способом. Скажу сэру Роджеру, вечно твердящему свое, что истинного благородства должно ожидать лишь от человека, который в ладу со счетом. Получая деньги из-за границы, я могу выразить при помощи цифр с точностью до шиллинга, успешным или убыточным было мое предприятие; однако прежде я должен доказать — на личном ли опыте, с чужих ли слов, или разумными доводами, — что оно необходимо, ибо доходы мои превысят и риск, и убытки; а этого не сделаешь, не умея искусно орудовать цифрами. Если я, к примеру, собираюсь торговать в Турции, я обязан узнать заблаговременно, какой там спрос на ткани, нужен ли в Англии тамошний шелк и сколько платят за сей товар и в одной, и в другой стране. Я должен ясно представить себе это еще заранее, чтобы понять, уравнивает ли доход стоимость товара, фрахт судна, пошлину и проценты на капитал; не окажусь ли я в накладе, получу ли прибыль. Что же позорного в таких подсчетах? Чем провинился негоциант, лишившийся милости сэра Роджера? Он не врывается на чужой участок, не топчет чужих посевов, не грабит прилежного

земледельца, платит бедному за труд, делится своими доходами; когда для него изготовляют товар, он обеспечивает работой и вознаграждением больше народу, нежели богатейший вельможа; да и вельможа обязан ему — как и куда сбыл бы он иначе плоды своих земель, откуда бы получил немалое прибавление к ренте? Однако торговец не сделал бы ничего, не умея он орудовать цифрами.

Так ведет свои дела коммерсант, так должен вести их и помещик, если только, гнушаясь ролью управителя, он не предпочтет, чтобы управитель прибрал к рукам поместье. Дворянину не легче обойтись без расчета, чем коммерсанту; иначе он не сможет узнать, успешен ли тот или иной замысел, разумна ли даже утеха. Если высшая его радость в охоте, обретает он лишь оленье рога для залы и лисью морду над входом в конюшню. Безусловно, сэра Роджер понимает, во что обходятся эти трофеи; и подсчитай он заранее расходы, он, при его уме, перевешал бы всех собак, не тратился на чистопородных коней и не налетал, подобно грозе, на свои же поля. Если бы так поступали все его предки, он мог бы смело гордиться теперь, что древний их род не осквернен торговлей; что ни один купец не посмел приобрести место для своего портрета в галерее Каверли со всеми землями в придачу или утверждать, что происходит от фрейлины. Но, к счастью сэра Роджера, сей неведомый нам негоциант щедро заплатил за тягу к знатности. К несчастью же многих других, они уступили родовые гнезда новым хозяевам, считавшим лучше них; а человек, приобретший имущество трудом и прилежанием, заслуживает его в несравненно большей мере, нежели тот, кто утратил все по нерадивости».

T.

— Tantaene animis caelestibus irae?

Virg.¹



В

чем не обманываем мы себя так часто, как в том, что зовется праведным рвением. Под именем этим скрывается столько страстей и столько вреда это порождает, что многие хотели бы даже, чтобы упомянутое свойство не входило в число добродетелей. Один раз на сто оно похвально и здраво, девяносто девять — неразумно и губительно; и чему удивляться, коли рвение это с одинаковым пылом проявляется в каждой религии, хотя они не схожи, а уж тем паче — в каждой секте, на которые сии религии делятся.

Один из иудейских учителей сообщает нам, что первое убийство в мире произошло по вине религиозного спора; и если бы мы знали историю праведного рвения от дней Каиновых до наших времен, мы узрели бы столько крови и злобы, что, поразмыслив, остереглись бы уступить гневной страсти, когда речь идет о разнице мнений.

Я хотел бы, чтобы ревностные люди получше заглянули в свое сердце; должно быть, они нередко увидели бы вместо рвения гордыню, корысть или гневливость. Человек, расходящийся с другим в мыслях, возносится над противником, считая себя несравненно умнее его. Превозношение это — большой соблазн для гордых; оно многократно усугубляет то, что зовется рвением. Случается сие часто; все мы видели, как самые рьяные приверженцы правой веры сближаются с мерзавцами и подлцами, лишь бы те верили в то же, что и они. Причина проста: человек безнравственный, но право-

¹ ...Неужель небожителей гнев так упорен?

Пер. С. Ошерова
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971, с. 123.)

верный позволяет нам ощущать себя и правыми, и праведными, глядя свысока на несовершенства ближнего; именно об этом говорится в стихе, который приводят, хотя и по другому поводу, едва ли не все учителя этики:

— *Video meliora proboque,
Deteriora sequor*¹.

Напротив, если бы рвение наше было истинным и чистым, грешник возмущал бы нас куда больше, нежели еретик; многое может оправдать еретика перед Вышним Судией, грешника же ничто не оправдает.

Немалый соблазн и в корысти; распаленные ею, мы преследуем людей как бы из праведного рвения. Именно потому пуще всех насаждают огнем и мечом правую веру те, кому это выгодно. Слово «выгода» я употребляю в широком значении и применяю не только к мирским, но и к духовным благам. Человек стремится обрести побольше приверженцев, дабы они подкрепляли его личные мнения. Новообращенный — как бы новый довод в пользу веры; обративший убеждается, что принципы его весомы, то бишь истинны, когда видит, что чужой разум находит их столь же достоверными, как его собственный. Такой уклон ума часто порождает рвение; ведь даже атеист проповедует и отстаивает свои взгляды столь же рьяно, как те, кто мнит себя поборником славы Божией.

Уподобляется рвению и гневливость, что не менее мерзостно. Хороший человек нередко таит в глубине сердца естественную неприязнь, усмиряя ее верою; но стоит ему помыслить, что в ней — его христианский долг, как она вырвется наружу, а сам он без малейшего зазрения совести станет тешить свою злобу и ярость. Рвение очень удобно гневливым, ибо они могут счесть, что служат Богу, тогда как лишь потворствуют своему несносному нраву. По этой причине мы полагаем, что почти вся резня, какая бывала в мире, вызвана мнимым, нарочито раздутым рвением.

Мне нравятся люди, ревностные в добром деле, особенно

¹ ...Благое

Вижу, хвалю, но к дурному влекусь.

(Овидий. *Метаморфозы*. М., 1977, с. 170.)

Пер. С. Шервинского

если рвение их споспешествует исправлению нравов и счастью человечества. Но когда рвению служат пыткой и дыбкой, тюрьмой и галерами, когда ради него людей лишают имущества и свободы, разоряют их семьи, сжигают их тела, дабы спасти душу, я осмелюсь сказать о ревнителе (каких бы мнений ни держался он сам), что пыл его тщетен, вера — бесплодна.

Потолковав о ложных ревнителях веры, не удержусь от того, чтобы упомянуть поистине непостижимых людей, коих, казалось бы, и быть не может; так бы мы и считали, если бы не встречались с ними что ни день. Речь идет о ревнителях неверия. Люди эти, во всем прочем несовместимые с набожными, могли бы по крайней мере избежать греховной злобы, порождаемой фанатизмом; однако неверие проповедуют с такой яростью, с таким негодованием, словно от него зависит спасение рода человеческого. Этот вид рвения столь неестественен и нелеп, что просто не знаешь, как изобразить его приверженцев. Они подобны игрокам, кои находятся в непрестанном волнении, хотя не делают ставок, и вербуют сторонников, превосходно зная, что ни сторонники сии, ни они сами не обретут ничего. Словом, рвение безверных еще нелепей, если это возможно, чем само неверие.

Коль скоро я уже заговорил о непонятном рвении неверных и безверных, замечу, что они в равной мере одержимы духом фанатизма, ибо твердо придерживаются несообразных и нелепых мнений, но полагают возможным осудить малейшее отклонение от догмы, ежели оно неудобно им самим. Они считают ересь и предрассудком то, что во все века и у всех народов было сообразно здравому смыслу и соответственно разуму, а уж тем паче — способствовало счастью сообществ или частных лиц; взамен же предлагают дичайшие измышления, требующие воистину слепой веры. Я охотно сказал бы упорствующему в неверии: «Предположим, вы правы; мир возник случайно или существовал извечно, мыслящая субстанция материальна, душа смертна, тело устроено столь дивно без всякой на то причины, всем правят движение и тяготение, как и полагают наиболее прославленные из вас; предположим, все это так, — скажите же это любому народу и посмотрите, не потребуется ли ему, чтобы с вами согласиться, более сильная вера, нежели та, какой требуют отрицаемые вами догматы. Ради собственной их пользы, а также пользы прочих разрешите мне дать совет

поколению заядлых спорщиков: будьте последовательны, не ревнуйте о неверии, не защищайте нелепости с пылом фанатика».

К.

№ 195

Суббота, 13 октября 1711 г.

Νήπιοι, οὐδ' ἴσασι δῶα πλέον ἡμῶν παντός
Οὐδ' ὅσον ἐν μαλαχῆτε δε ἀσφοδῆλω μεγ' ὄνειρα¹.



Одна из сказок «Тысячи и одной ночи» повествует нам о султানে, который долго томился в обветшалом одеянии плоти, тщетно пользуя себя различными снадобьями, пока некий целитель не излечил его особым способом. Он взял полый шар, набил его лекарствами, тщательно закупорил, взял молоток для игры в шары, вылушил рукоять и головку, также набил лекарствами и велел больному каждое утро бить молотком по шару до обильного пота. Если верить сказке, целебные испарения, проникавшие сквозь дерево, принесли немалую пользу и вылечили страдальца, чего не могли сделать снадобья, принятые внутрь. Эта восточная притча превосходно показывает нам, сколь благотворен для тела физический труд; поистине, упражнение — лучшее лекарство. Еще в 115-м листке я говорил, что тело наше, по самому своему устройству, гибнет без упражнений. Порекомендую теперь другое верное средство, приносящее нередко такую же пользу, а потому способное заменить упражнение, если нет к тому условий. Речь идет об умеренности, превосходящей все методы лечения хотя бы тем, что, не различая сословий, она

¹ Дурни не знают, что больше бывает, чем все, половина, что на великую пользу идут асфодели и мальвы.

Пер. В. Вересаева

(Гесиод. Работы и дни. М., 1927, с. 41.)

доступна всякому, всюду и всегда. Каждый может подчиниться особому режиму без ущерба для дела, лишних трат и потерь времени. Упражнение сжигает все лишнее, умеренность от него оберегает; упражнение очищает жилы, умеренность не дает им ни перенасытиться, ни испытать излишнее напряжение; упражнение возгоняет соки и убыстряет бег крови, умеренность предоставляет волю природе, давая ей возможность проявить себя во всей своей красе и славе; упражнение, наконец, развеивает мрачность, умеренность же убивает ее прежде, чем она родится.

Лекарства большею частью — всего лишь подмена упражнению или умеренности. Конечно, без них не обойтись, когда нам очень плохо и мы не можем дожидаться действия неторопливых, хотя и великих целителей; но если бы люди неустанно подчинялись им, такие случаи были бы редки. Мы видим, что здоровее всего те края и страны, где люди добывают пищу, охотясь; человек жил дольше, когда целый день гнался за зверем и ел лишь то, что изловил. Пластыри, банки, кровопускания в ходу у ленивых и невоздержанных; мы привержены к этим средствам, дабы сочетать здоровье с роскошью. Аптекарь неустанно восполняет ущерб, нанесенный поваром и виноторговцем. Говорят, что Диоген встретил однажды юношу, направляющегося на пир, и отвел домой, к друзьям, словно того ожидала верная погибель, не встретиться ему философу. Что бы сказал Диоген на нынешнем пиру? Должно быть, он счел бы хозяина безумным и попросил слуг скрутить его, увидев, как он пожирает дичь, рыбу и мясо, масло и уксус, вина и приправы, салат из двух десятков трав и соус из доброй сотни пряностей, а также сласти и плоды, одни вкуснее других. Сколь трудно телу переварить и усвоить все это! Когда я вижу обильно уставленный стол, мне мерещатся подагра и водянка, обмороки и лихорадки — словом, бесчисленные невзгоды, притаившиеся меж блюд.

Природа любит простую пищу. Все животные, кроме людей, едят что-нибудь одно — кто зелень, кто рыбу, кто мясо. Человек пожрет что угодно; он не обойдет вниманием ни один из плодов земли и ест едва ли не все грибы и ягоды.

Невозможно составить список правил умеренной жизни, ибо то, что роскошь для одного, для другого — предел воздержанности; но всякий, кто хотя бы немного пожил на свете, способен судить, что подходит его складу, что может он есть и в каком количестве. Если бы я счел читателей паци-

ентами и вознамерился предписать им ту разновидность умеренности, какая подойдет любому, а также соответствует нашему климату и нашему образу жизни, я повторил бы правила одного именитого врача: не ешьте разом больше одного блюда, если же по слабости съедите и второе, воздержитесь от горячительных напитков до конца трапезы; не употребляйте никаких подлив или хотя бы ограничьтесь самыми простыми и пресными. Придерживаясь столь несложных и необременительных правил, вы не впадете в обжорство, ибо, во-первых, не усладите вкуса многообразными ощущениями и потому не съедите больше, чем следует, а во-вторых, не облегчите сытости искусственными средствами и потому не возбудите мнимого аппетита. Что до питья, я предписал бы правило, основанное на пословице, которую приводит сэр Уильям Темпл: «Первый бокал — за себя, второй — за друзей, третий — за доброе веселье, четвертый — за врагов». Но поскольку, не выйдя из мира, невозможно соблюсти такую философскую сдержанность, я рекомендовал бы каждому назначить себе как бы постные дни, сообразуясь со своей конституцией. Природе это на руку, ибо облегчит ее дело, подготовив к борьбе с голодом и жаждой, буде случай, болезнь или долг велят нам их претерпеть; кроме того, это даст ей возможность избавиться от излишнего, как бы настроив заново все струны тела. Если мы верно выберем время дней воздержания, мы, как бывает нередко, прибьем болезнь на корню, уничтожив самое семя нездоровья. Два или три древних писателя поведали нам, что Сократ, переживший в Афинах страшный мор, запомнившийся на столетия и многожды описанный прославленным пером, не подхватил и малой заразы, что упомянутые авторы приписывают умеренности, коей он неуклонно следовал.

Не могу удержаться и поделюсь одним своим наблюдением: читая жизнеописания тех или иных философов, я сопоставлял их с жизнеописаниями равного количества королей или именитых мужей. Учения древних мудрецов полны призывов к умеренной, воздержанной жизни, и поневоле кажется, что философам отпущен на земле иной срок, чем остальным людям, ибо они, почти все, прожили не шестьдесят, а едва ли не сотню лет. Наилучший пример долголетия воздержанных мы находим в книге венецианца Луиджи Корнадо, которой я совершенно доверяю, поскольку бывший посол Венеции, принадлежавший к тому же роду, неодно-

кратно убеждал меня в ее правдивости, когда бывал в нашей стране. Автор упомянутого трактата отличался особой хилостью лет до сорока, но, упорно придерживаясь строго распisanной умеренности, обрел безупречное здоровье, и в такой мере, что к восьмидесяти годам написал свою книгу, переведенную в дальнейшем на английский язык под названием: «Верный путь к долгой и здоровой жизни». Сам он дожил до третьего или четвертого издания и, справив сотый свой год, умер безболезненно и мирно, словно бы уснул. Трактат его был замечен весьма достойными лицами, ибо он исполнен духа веселости, веры и здравомыслия, естественно проистекающих из воздержания и трезвенности. То, что книгу написал старый человек, скорее служит ей хвалой, чем хулой.

Замыслив этот листок в продолжение других о пользе труда, я счел нужным рассматривать здесь умеренность не как нравственную добродетель (о ней я скажу в дальнейших моих письмах), но лишь как целительное средство.

Л.

№ 494

Пятница, 26 сентября 1712 г.

Aegritudinem laudare, unam rem maxime detestabilem, quorum est tandem philosophorum?

*Cis.*¹



В

прежнем поколении обычай наш велел каждому, кто хочет прослыть благочестивым, глядеть как можно угрюмей, тщательно уклоняясь от малейших проявлений веселости, которая считалась верным

¹ А хвалить горе, такую тяжелую долю, — решится ли на это кто-нибудь из философов?

Пер. М. Гаспарова.
(Цицерон. Тускуланские беседы. Избранные сочинения. М., 1975, с. 314.)

знаком приверженности к миру сему. Святоша был печален; его снедали чаще всего хандра и меланхолия. Один человек, еще недавно украшавший собою ученый мир, развлекал меня рассказом о том, как принял его весьма прославленный священнослужитель, принадлежавший к индипендентам и возглавлявший в ту пору некий колледж. Приятель мой, едва пустившийся в путь по стране учености, запаса немалым грузом древних языков, и добрые его друзья советовали ему попытать счастья на выборах в колледже, который возглавлял упомянутый пастырь. Согласно обычаю, юноша наш явился к нему для экзамена. Двери ему открыл слуга, принадлежавший к модному в те времена племени угрюмцев, и молча, важно провел в длинную галерею, где окна были занавешены, хотя едва наступил полдень, и горела одна-единственная свеча. Подождав немного в сем безрадостном месте, соискатель был допущен в обитую черным комнату и, полюбовавшись недолгое время слабым мерцанием фитиля, узрел наконец хозяина, который вышел к нему из спальни в ночном колпаке, причем лицо его искажал благочестивый ужас. Молодой посетитель вздрогнул, и страх его возрос, когда хозяин спросил его не об успехах в ученье, но о том, снискал ли он благодать. Ни латынь, ни греческий не значили здесь ничего; пришелец должен был сообщить лишь о состоянии своей души. Священнослужитель хотел узнать, принадлежит ли он к числу избранных, как именно он обратился, какого числа, в каком часу, как жил дальше, к чему пришел; завершился же экзамен коротким вопросом: «Готовы ли вы к смерти?» Юношу, воспитанного в весьма достойной семье, перепугали и торжественность тона, и ужасность последнего вопроса; он бежал из обители мрака и ни за что не хотел снова пойти на экзамен, не в силах вынести его непомерных тягот.

Хотя давно уже не принято облекать благочестие в такие формы, некоторые люди — по естественному ли угрюмству, по ошибочному ли представлению о благочестии или по слабости ума — питают склонность к столь непривлекательной жизни и легко становятся жертвами тоски и меланхолии. Суеверные страхи и пустые угрызения совести лишают их приятностей беседы и всех тех развлечений на людях, которые не только невинны, но и весьма похвальны, словно радость — удел распутников, а веселие сердца запрещено тем, кто считает, что у них, и только у них, есть сердце.

Мистер Скорбиус, один из сих угрюмых созданий, считает своим долгом пребывать в безутешной тоске. Смех для него нарушает обеты крещения, шутка — страшнее кощунства. Если вы скажете ему, что кто-то получил титул, он возведет очи горе и возденет руки; опишете празднество или торжество — он горько покачает головой; увидев же нарядный выезд, он осенит себя крестом. Все, что немного украшает жизнь, для него — суета сует. Веселье он считает распутством, остроумие — хулой на Бога. Юность претит ему своей живостью, детство — любовью к игре. На крестинах и на свадьбе он мрачен, как на похоронах; выслушав забавный рассказ, тяжко вздыхает и становится тем постнее, чем оживленной все прочие. В конце концов, мистер Скорбиус — человек верующий, и поведение его было бы вполне уместно, живи он во времена, когда христиане подвергались гонениям

Людей такого нрава часто обвиняют в лицемерии, но я этого делать не стану, ибо лишь Господь, испытующий сердца, вправе узреть в человеке данный порок, если внешние признаки его не слишком очевидны. Нет, обвинять я не стану; неутолимой печалью поражены нередко прекраснейшие люди, заслуживающие сострадания, а не укора. Однако им следует подумать о том, не отпугивает ли это других от набожной жизни, представляя ее несовместимой с общительностью, радостью, счастьем, омрачающей лик природы и лишаящей нас такой улады, как верность самому себе.

В прежних моих записках я показал, что вера ведет к веселию и радостный нрав не только весьма приятен, но и лучше всего подходит добродетели. Те, кто являет веру в столь неприглядном свете, подобны соглядатаям Моисея, чьи рассказы о Земле обетованной были таковы, что народ ее испугался. Те же, кто показывает нам радость, веселость, приветливость, естественно проистекающие из столь блаженного состояния, подобны посланцам, принесшим гроздья винограда и благоухающие плоды, дабы привлечь своих сотоварищей в прекрасный край, их произведший.

Славный языческий писатель говорил, что отрицающий Бога меньше оскорбляет Его, чем тот, кто, веря в Него, считает Его жестоким, неутолимым, ненавидящим все человеческое. Сам я скорее предпочел бы, продолжает автор, чтобы обо мне сказали: «Никакого Плутарха и не было», чем убеждали других в том, что Плутарх славился сварливостью, своенравием или злобой.

Если верить философам, человек отличается от всех прочих тварей даром смеха. Сердце его способно к веселью и к нему расположено. Добродетель не уничтожает склонностей души, но обуздывает их, наводит в них порядок. Она может усмирить, утишить веселость, но не должна изгонять ее из сердца. Вера сужает круг наших развлечений, однако он достаточно широк, чтобы человеку было в нем привольно. Созерцание Бога и добродетельная жизнь по природе своей далеки от мрачности; напротив, именно они непрестанно рождают радость. Словом, истинная вера и веселит, и упорядочивает душу; изгоняя легкомыслие, а с ним — и дурной, порочный смех, она взамен исполняет нас нетленной ясности духа, непрестанной веселости и склонности радовать других, доставляя радость и себе.

О.

№ 549

Суббота, 29 ноября 1712 г.

Quamvis digressu veteris confusus amici
Laudo tamen...

*Juv.*¹



Мне кажется, очень многие люди вступают в мирскую жизнь, намереваясь отойти от нее и предаться суровому одиночеству или хотя бы жить в отдалении, когда к тому будет возможность. Однако, на свою беду, мы снова и снова находим предлог, мешающий столь похвальному решению, до той самой поры, пока все решения наши не пресечет смерть. Но нет среди людей никого, кто с таким трудом отрешался бы от мира, как накопители

¹ Правда, я огорчен отъездом старинного друга,
Но одобряю решение его...

Пер. Д. С. Невидовича, Ф. А. Петровского.
(Ювенал. Сатиры. М.—Л., 1937, с. 13.)

богатств. Разум их поглощен непрестанной погоней за прибылью, и каждому из них чрезвычайно трудно переменить курс, обратив душу к тому, что благотворно во всякой поре жизни, особенно же — в последней. Гораций повествует о старом ростовщике, который, пленившись уладами сельской тиши, стал собирать долги, дабы купить землю; и что же? Через несколько дней он пустил деньги в рост. Размышления эти породила во мне беседа, которую на прошлой неделе мы вели с достойным моим другом, сэром Эндрю Торгменом, человеком такого красноречия, такого здравомыслия и такой честности разума, что слушать его — истинное наслаждение. Когда из всего нашего клуба остались только мы, сэр Эндрю, беседуя со мною, рассказывал о множестве хлопотных происшествий, участником которых ему довелось побывать, подчеркивая при этом, как часто все кончалось хорошо. Прежде, быть может, он назвал бы такой исход удачей, но в том состоянии духа, в каком он пребывал, он приписывал это милости небес, благому промыслу, вознаграждающему честные труды. «Знайте, мой добрый друг, — сказал он, — что я привык думать о долгах, своих ли, чужих ли, и нередко своєю баланс в виде счета между небесами и душою. Когда я смотрю на левую сторону, в дебет, цифры пестрят передо мною; когда же взгляну на правую, в кредит, вижу едва ли не чистую бумагу. Конечно, я очень рад, что не в моих силах уравнять счет с Создателем, однако решил впредь делать все, чтобы хоть немного уменьшить свой долг. Посему не удивляйтесь, друг мой, если больше не увидите меня в этом клубе и до вас дойдет слух, что я живу сравнительно замкнутой жизнью».

Естественно, я одобрил это разумное решение, хотя для меня оно означало немалую утрату. Немного позже сэр Эндрю объяснился подробнее в письме, которое я только что получил.

«Любезный Зритель!

Друзья мои в клубе вечно подшучивали надо мною, когда я говорил об удалении от дел, и повторяли одну из собственных моих фраз: «Торговцу все мало, если можно получить чуть больше». Однако теперь могу сообщить Вам, что в мире имеется торговец, которому больше ничего не нужно, почему он решил провести остаток жизни, радуясь тому, что имеет. Вы прекрасно знаете меня, и я не стану объяснять Вам, что, наслаждаясь имеющимся, я намерен

приносить пользу людям. Большая часть моего состояния оставалась до сего дня неустойчивой и как бы неощутимой, ибо я отдавал его на волю моря или биржевой игры; теперь же я избавил его от превратностей ветра и биржи, вложив в весьма солидную недвижимость, которая даст мне неограниченную возможность творить добро на свой лад, то бишь обеспечить работой моих неимущих собратьев, благодаря чему они обретут достаток трудами своих рук. Сады мои и пруды, поля и пастбища станут как бы лечебницами, или, вернее, рабочими домами, где я намереваюсь прокормить великое множество голодающих ныне обитателей нашей округи. Я приобрел недурной участок земли, вполне доступной преобразованиям, и в мыслях моих уже распахиваю или огораживаю пустоши, сажаю лес, осушаю топи. Словом, получив в свое распоряжение малую часть острова, именуемого Англией, я решил сделать ее столь же прекрасной, как другие земли во владениях нашей государыни; во всяком случае, я обработаю каждый дюйм, дабы он принес всю возможную пользу. Когда я занимался торговлей, дела мои шли столь успешно, что ветер исправно пригонял мои корабли со всех концов света; теперь же, занимаясь хозяйством, я надеюсь, что каждая капля дождя, каждый луч солнца принесет моим именьям хоть какое-нибудь добро, споспешествуя произрастанию тех плодов, кои поспевают в эту пору. Как Вы знаете, я всегда считал погибшим то, что не принесло пользы людям; но, выезжая верхом в ближние пустоши, я ощущаю рождение новых мыслей. Теперь мне кажется, что человеку моих лет достанет дела и с собой самим, ибо ему следует навести порядок в душе, приуготовив ее к вечной жизни и к ожиданию смерти. Поэтому сообщу Вам, что счел недостаточными обычные виды благотворения, о которых шла речь выше, и собираюсь в самое ближайшее время основать, не скупясь, богадельню для доброго десятка престарелых крестьян. Прекрасно и радостно молиться дважды в день с людьми твоих лет, которые, подобно тебе, больше мыслят о том, как умирать, чем о том, как прожить дальше. Помню, еще в школе я выучил мудрейшую пословицу: «*Finis coronat opus*»¹. Вам виднее, из Вергилия это или из Горация; мой же долг — следовать ей. Если Ваши труды разрешат

¹ Конец — делу венец (*лат.*).

«Зритель»

удаляться иногда ко мне, в деревню, Вы всегда найдете особую, для Вас приготовленную комнату, кормить же я Вас буду бараниной и телятиной с моих пастбищ, рыбой из моих прудов, плодами моего сада. Вы сможете беспрепятственно бродить по дому, никто ни о чем Вас не спросит, словом — я предоставлю Вам все, чего вы вправе ожидать от верного друга своего и преданного слуги

Эндрью Торгмена».

Поскольку клуб наш распался окончательно, я потолкую с читателем на той неделе, как основать другой, новый.

О.

III

ВИГИ И ТОРИ

Дэниел Дефо
ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ
РАЗДЕЛАТЬСЯ С ДИССЕНТЕРАМИ



В собрании басен сэра Роберта Л'Эстренджа есть притча о Петухе и Лошадях. Случилось как-то Петуху попасть в конюшню к Лошадям, и, не увидев ни насеста, ни иного удобного пристанища, он принужден был разместиться на полу. Страшась за свою жизнь, ибо над ним брыкались и переступали Лошади, он принялся их урезонивать с большой серьезностью: «Прошу вас, джентльмены, давайте стоять смирно, в противном случае мы можем растоптать друг друга!»

Сегодня очень многие, *лишившись своего высокого насеста* и уравнившись с прочими людьми в правах, весьма обеспокоились — и не напрасно! — что с ними обойдутся, как они того заслуживают, и стали восхвалять, подобно эзоповскому Петуху, Мир, Единение и достодолжную христианскую Терпимость, запамятавав, что отнюдь не жаловали эти добродетели, когда стояли у кормила власти сами.

Последние четырнадцать лет не знает славы и покоя чистейшая и самая процветающая церковь в мире, утратившая их из-за ударов и нападков тех, кому Господь, пути которого неисповедимы, дозволил поносить и попирать ее. То было время поругания и бедствий. С незабываемым спокойствием терпела она укору нечестивцев, но Бог, услышав наконец творимые молитвы, избавил ее от гнета чужеземца.



Дефо у позорного столба

Отныне эти люди знают, что их пора прошла и власть их миновала; на нашем троне восседает королева-соотечественница, всегда и неизменно принадлежавшая Церкви Англии и искони ее поддерживавшая. И посему, страшась заслуженного гнева церкви, диссентеры кричат: «Мир!», «Единение!», «Кротость!», «Милосердие!». Как будто церковь не укрывала слишком долго это вражеское племя сенью своих крыл и не пригрела на своей груди змеиное отродье, ужалившее ту, что его выкормила.

Нет, джентльмены, дни милосердия и снисхождения кончились! Чтоб уповать теперь на миролюбие, умеренность и благость, вам следовало и самим их прежде соблюдать! Но за последние четырнадцать лет мы ни о чем таком от вас и слыхом не слыхали! Вы нас стращали и запугивали своим Актом о веротерпимости, внушали, что ваша церковь — дочь закона, как и прочие, свои моленные дома с их ханжескими песнопениями вы размещали у порога наших храмов! Вы осыпали наших прихожан упреками, одолевали их присягами, союзами и отречениями — и множеством иных досужих

измышлений! В чем проявлялось ваше милосердие, любовь и снисходительность к тем самым совестливым членам Церкви Англии, которым было трудно преступить присягу, данную законному и правомочному монарху (*к тому же не ушедшему из жизни*), дабы с поспешностью — к чему вы понуждали их — поклясться в верности новоиспеченному голландскому правительству, составленному вами из кого придется. Неприсягнувших вы лишили средств к существованию, оставив их с домашними во власти голода и обложив их земли и владения двойною податью, чтобы вести войну, в которой они не участвовали, а вы не дождались прибыли!

Чем сможете вы объяснить противоречащую совести покорность, к которой вы, пуская в ход свою новейшую обманную политику, склонили многих верных, что согрешили, как и многие новообращенные во Франции, лишь убоявшись голода? Зато теперь, когда вы оказались в нашей шкуре, вы говорите, что зазорно вас преследовать, ибо сие не по-христиански!

Вы обагрили руки кровью одного монарха! Другого низложили! Из третьего вы сделали марионетку! И вам еще хватает дерзости надеяться, что следующая венценосная особа подарит вас и службой, и доверием! Те, что не знают нравов вашей партии, должны быть, приспосабливаясь, приписали бы безумию и наглости сии неслыханные упования!

Любому из грядущих повелителей довольно было бы взглянуть, как вы вертели своим Королем-Голландцем (которому досталось править только в клубах), чтоб осознать доподлинную цену ваших убеждений и убояться ваших цепких рук. Благодаренье Богу, наша королева вне опасности, ибо ей ведомо, что вы собою представляете, она вас не оставит без надзора!

Верховному правителю страны даны, вне всякого сомнения, и власть, и полномочия употреблять законы государства по отношению к любым из подданных. Но партия фанатиков-диссентеров ославила религиозными гонениями известные законы нашего отечества, которые к ним применялись очень мягко, крича, что беды гугенотов Франции ничто в сравнении с их бедами. Однако обращать законы государства против тех, кто преступает их, хоть прежде согласился с их введением, есть отправление правосудия, а не религиозные гонения. К тому же правосудие — всегда насилие для нарушителей, ибо любой невинен в собственных глазах.

Впервые закон против диссентеров был применен на деле в годы правления короля Якова I, и что из этого последовало? Лишь то, что им позволили в ответ на их прошение переселиться в Новую Англию, где, получив значительные привилегии, субсидии и соответствующие полномочия, они сумели основать колонию и где, не собирая с них ни податей, ни пошлин, мы охраняли и оберегали их от всех и всяческих завоевателей, — то была худшая из бед, какие им случилось испытать!

И такова жестокость Церкви Англии. Какая пагубная снисходительность! Она и довела до гибели блистательного государя — короля Карла I. Если бы король Яков услали всех пуритан из Англии в Вест-Индию, мы бы остались единой церковью! Единой, неделимой и не тронутой расколом Церковью Англии!

Дабы воздать отцу за снисходительность, диссентеры пошли войной на сына, повергли его ниц, преследовали по пятам, схватили и отправили в узилище; затем, послав на казнь помазанника Божия, разделались с правительством, разрушив самые его основы, и возвели на трон ничтожнейшего самозванца, не наделенного ни высотой происхождения, ни пониманием того, как должно править, но возмещавшего отсутствие указанных достоинств силою, кровавыми и безрассудными решениями и хитростью, не умеряемой ни каплей совести.

Если бы король Яков I не сдерживал карающую руку правосудия и дал ему свершиться до конца, если б он воздал им должное, страна от них освободилась бы! Тогда они бы не могли убить наследника и не сумели бы погрязнуть монархию. Избыток его милосердия к ним повлек и гибель его сына, и окончание мирной жизни Англии. Казалось бы, диссентерам, уже вознаградившим нас за дружелюбие братоубийственной войной и тяжкими, неправыми гонениями, не стоит уповать, будто своими льстивыми и жалкими речами они склонят нас к Миру и Терпимости.

Они теперь нас убеждают мягче с ними обходиться, тогда как сами — хотя им, разумеется, не довелось вершить делами церкви — выказывали ей и крайнюю суровость, и презрение и подвергали всяческому порицанию! Во времена расцвета их Республики много ли милосердия и миролюбия вкусили те из джентри, что сохранили верность королю? Взямая выкуп со всего дворянства без разбору, с тех, что

сражались, и с тех, что не сражались в войске короля, фанатики пускали по миру чужие семьи. Чего только не вытерпела Церковь Англии, когда они расхитили ее имущество, присвоили ее владения, отдав их солдатне, а пострадавших обрекли на голодное существование! Теперь мы применим к ним их же средства!

Известно, что вероучение Церкви Англии исходит из любви и милосердия, которые она распространяла на диссентеров гораздо больше, чем они того заслуживали, пока в конце концов не стала нарушать свой долг и обделять своих сынов, виной чему, как говорилось выше, была излишняя терпимость короля Якова I. Сотри он пуритан с лица земли еще вначале, когда к тому представлялся случай, они бы не могли, набравшись сил, тиранить церковь, как делают с тех самых пор.

Чем воздала им церковь за кровавые злодеяния? В те годы, когда на троне восседал Карл II, она ответила диссентерам и милосердием, и снисхождением! Кроме безжалостных царевубийц, входивших в самочинный суд, никто из них не поплатился жизнью за потоки крови, пролитые в противостественной войне! Карл с самых первых дней оказывал им покровительство, дарил любовью, опекал их, раздавал им должности, оберегал от строгости закона и, не считаясь с мнением парламента, не раз предоставлял свободу веры, за что они воздали ему заговором, замыслив с помощью злодейской хитрости низвергнуть его с трона и уничтожить заодно с преемником!

Правление Якова II, казалось унаследовавшего милосердие от предков, ознаменовалось редкими благодеяниями для диссентеров, и даже их поддержка герцогу Монмуту не побудила его поквитаться с ними. Желая их привлечь к себе любовью и мягкосердечием, король, в своем безмерном ослеплении, провозгласил для них свободу и предпочел поставить под удар не их, а Церковь Англии! Теперь известно во всем мире, как они на то ответили!

Годы правления последнего монарха еще настолько свежи в памяти, что можно не вдаваться в разъяснения. Довольно лишь сказать, что, сделав вид, будто они хотят соединиться с церковью, чтоб искупить свою вину, диссентеры и прочие примкнувшие к ним лица из сбитых ими с толку опасно накалили обстановку и свергли короля с престола, как будто врачевать обиды, нанесенные стране,

нельзя иным путем, чем сокрушив монарха! Вот вам пример их Сдержанности, Миролюбия и Милости!

Чего только они не вытворяли, когда на троне восседал их единоведец! Они проникли на все важные и выгодные должности и, втершись в доверие к королю, в обход всех прочих, получали самые высокие посты! Все, даже министерство, оказалось в их руках, но как они при этом плохо правили! Все это очевидно и не нуждается в напоминании.

Однако свойственный им дух любви, и единения, и милости, столь громко ими ныне восхваляемый, особенно бросается в глаза в Шотландии. Взгляните на Шотландию, и вы увидите, какого они духа. Они забрали силу в местной церкви, согнули в рог священников и одержали, как им кажется, бесповоротную победу над епископальным правительством! Но это мы еще посмотрим!

Хотелось бы узнать у «Наблюдателя», их наглого заступника, много ли кротости и милосердия узнала паства епископальной церкви со стороны шотландского пресвитерианского правительства! В ответ я мог бы поручиться, что и диссентерам окажут в Церкви Англии подобный снисходительный прием, хотя они его и не заслуживают!

Из краткого трактата «Гонения, перенесенные в Шотландии служителями епископальной церкви» становится понятно, что выстрадало наше духовенство! Его не только оставляли без приходов, но зачастую грабили и подвергали оскорблениям. Священников, не отступившихся от своей веры, изгнали вместе с чадами и домочадцами, не уделив и корки хлеба на дорогу, должно быть от избытка милосердия. В таком коротком сочинении не счесть бесчинства этой секты.

А ныне, чтобы отогнать нависшую на горизонте тучу, которая, как они чувят, движется на них из Англии, обученные всем уловкам пресвитерианства, они стремятся к Унии народов, желая, чтобы Англия объединила свою церковь с шотландской и чтобы все гнусавое собрание шотландских длиннополых влилось в нашу конвокацию. Бог ведает, что бы могло случиться, останься наши фанатики-виги у кормила власти. Будем надеяться, что ныне можно сего не опасаться.

Пытаясь запугать нас, иные из этой секты заявляют, что, если мы не вступим с ними в Унию, они отложатся от Англии и сами изберут себе монарха после смерти королевы. Если

они не примут нашего престолонаследия, мы их к тому принудим, они не раз имели случай убедиться в нашей силе! Короны двух этих государств с недавних пор передаются не по наследственному праву, но, может быть, оно опять к ним возвратится, и если Шотландия намерена его отвергнуть ради того, чтоб избирать себе государя, пусть не забудет, что Англия не обещала предавать законного наследника: она поможет ему возвратиться, что бы ни говорилось в смехотворном «Законе о престолонаследии».

Так выглядят на деле эти джентльмены, и так они чтят церковь на родине и за ее пределами!

Теперь давайте перейдем к тем вымышленным доводам, которые диссентеры приводят в свою пользу; давайте уясним, из-за чего нам следует оказывать им снисхождение и почему нам следует терпеть их.

«Во-первых, — говорят они, — нас очень много». Они-де составляют слишком значительную часть нации, чтобы их можно было воспретить. На это существуют следующие возражения.

Прежде всего, их несравненно меньше, чем французских протестантов, однако тамошний король весьма успешно в одночасье избавил от них нацию, и непохоже, что ему их не хватает!

К тому же я не верю, что их так много, как они о том толкуют. Их ощутимо меньше, нежели числится в их секте, весьма возросшей за счет тех наших верующих, что дали себя одурачить вкрадчивым словом и хитрыми выдумками; но стоит нашему правительству всерьез приняться за работу, как все они оставят чуждое исповедание, подобно грызунам, что покидают тонущий корабль.

Второе. Чем больше среди нас диссентеров, тем больше и опасность, ими представляемая, и тем важней предотвратить ее! Как жало в плоть, они ниспосланы нам Богом в наказание за то, что мы не истребили их в зародыше.

И третье соображение. Коль скоро мы должны признать диссентеров лишь потому, что не способны с ними справиться, нам следует себя проверить и узнать, осилим мы их или нет. Я убежден, что это дело легкое, и мог бы указать, как лучше за него приняться, но это было бы нескромностью по отношению к правительству, которое изыщет действенные способы, дабы избавить край от этого проклятия.

Второй их довод сводится к тому, что *«Англия сейчас воюет и всем нам следует сплотиться против общего врага»*.

На это мы отвечаем, что «общий враг» не враждовал бы с нами, если бы они о том не постарались! Наш «враг» жил мирно и спокойно, не беспокоя нас и не вторгаясь в наши земли, и, если б не диссентеры, у нас бы не возникло повода для ссоры.

К тому же мы и без них способны одолеть его. Однако зададимся следующим вопросом: зачем перед лицом врага вступать в союз с диссентерами? Неужто они перебросятся к противнику, ежели мы не упредим того и не сумеем с ними сговориться? Вот и отлично, тогда мы рассчитаемся со всеми недругами сразу, и в том числе с тем самым «общим», с которым нам без них будет намного легче справиться! К тому же, если нам угрожает враг извне, нам следует освободиться и от внутреннего. Коль скоро у страны имеется противник, тот самый «общий враг», ей ни к чему иметь в тылу другого!

Когда из обращения изымали старую монету, мы часто слышали, как раздавались голоса: «Не стоит проводить такую меру! Необходимо отложить ее до окончания войны, иначе мы рискуем погубить отечество!» Однако польза этой меры не замедлила сказаться и оправдала риск, как оказалось, не такой уж и большой. И удалить диссентеров несколько не труднее и так же важно для страны, как и наладить выпуск новых денег. Мы не узнаем радость прочного, неколебимого единства и крепкого, незыблемого мира, пока не изгоним из страны Дух Вигов, Дух Раздоров и Раскола, как некогда отдали в переплавку старую монету!

Внушать себе, что это очень трудно, — значит запугивать себя химерами и опасаться силы тех, что силы не имеют. Издалека нам многое рисуется гораздо более трудным, чем оно есть на самом деле, но стоит обратиться к доводам рассудка, как мгла рассеивается и призраки уходят.

Мы не должны давать себя страшать! Наш век мудрее прежнего, о чем свидетельствует и наш опыт, и опыт предшествующего поколения. Яви король Карл I больше осмотрительности, он в колыбели уничтожил бы их секту! Как бы то ни было, об их военной силе можно не упоминать — всех их Монмутов, Шефтсбери, Аргайлов больше нет, как больше нет голландского убежища! Бог им уготовал погибель, и, если мы не подчинимся Вышней воле, пенять придется только на себя, равно как помнить с этих самых пор, что нам предостав-

лялся случай послужить ко благу церкви, стерег с лица земли ее непримиримого противника; но если мы упустим миг, дарованный нам Небом, то, как показывает жизнь, останется лишь сокрушаться: «Post est occasio calva!»¹

Мы часто слышим возраженья против этой меры и посему рассмотрим самые распространенные из них.

Нередко говорят, что королева обещала сохранить диссентерам дарованную им свободу вероисповедания и упредила нас, что не нарушит данное им слово.

Не в нашей власти направлять поступки королевы, иной вопрос — чего мы ожидаем от нее как от главы церкви. Ее величество обязывалась защищать и ограждать от всяких посягательств Церковь Англии, но если для того, чтоб это выполнить, необходимо истребить диссентеров, значит, ей нужно отступить от одного обещания, чтобы сдержать другое.

Однако внимем в это возражение подробнее. Ее величество хотя и обещала соблюдать терпимость в отношении диссентеров, но все же не ценою разрушенья церкви, а только при условии благополучия и безопасности последней, которые она взялась блюсти. Коль скоро выгоды двух сих сторон пришли в противоречие, понятно, что королева предпочтет отстаивать, хранить, оберегать и утверждать родную церковь, чего, по нашему суждению, она не в силах будет сделать, не отказавшись от терпимости.

На это нам, возможно, возразят, что церкви ныне ничего не угрожает со стороны диссентеров и нас ничто не вынуждает к срочным мерам.

Но это слабый аргумент. Во-первых, если угроза вправду существует, то отдаленность ее не должна нас успокаивать и это лишний повод торопиться и отвести ее заранее, вместо того чтобы тянуть, пока не станет слишком поздно.

К тому же может статься, что это первый и последний случай, когда у церкви есть возможность добиться безопасности и уничтожить недруга.

Эта возможность дается представителям народа! Настало время, которого так долго ждали лучшие сыны страны! Сегодня они могут оказать услугу своей церкви, ибо их

¹ Случай [спереди лохмат, а] — сзади плешив. — *Пословица.*

поощряет и поддерживает королева, по праву возглавляющая эту церковь!

Что вам соделать с сестрою вашею, когда будут свататься за нее?

Что вам соделать, если вы желаете утвердить лучшую христианскую церковь в мире?

Если вы желаете изгнать оттуда рвение?

Если вы желаете уничтожить в Англии змеиное отродье, так долго упивавшееся кровью Матери?

Что вы предпримете, желая освободить потомство от раздоров и волнений?

Тогда спешите это сделать! Настало время вырвать с корнем сорняки мятежной ереси, которые так много лет мешали миру в вашей церкви и заглушали доброе зерно!

«Но так мы возродим костры, — мне скажут многие в сердцах или невозмутимо, — и акт «*De haeretico comburendo*»¹, а это и жестоко и означает возвращенье к варварству».

На это я отвечу так: хоть и жестоко предумышленно давить ногой гадюку или жабу, но мерзость их природы такова, что превращает мой поступок в благо для ближних наших. Их убивают не за вред, который они сотворили, а для того, чтобы его предотвратить! Их убивают не за зло, которое они нам уже причинили, а за то, которое они в себе таят! Вся эта нечисть: жабы, змеи и гадюки — опасна для здоровья и вредна для жизни тела, тогда как те нам отравляют душу, растлевают наше потомство! Заманивают в сети наших чад, подтачивают корни нашего земного счастья и небесного блаженства. И заражают весь народ!

Какой закон способен охранять сих диких тварей? Есть звери, созданные для охоты, за каковыми признается право убегать и укрываться от погони, но есть и те, которым разбивают голову, используя все преимущества внезапности и силы!

Я не прописываю в качестве противоядия сожженье на костре. Я только повторяю вслед за Сципионом: «*Delenda est Carthago!*»² И если мы надеемся жить в мире, служить Богу и сохранять свободу и достоинство, диссентеров необходимо уничтожить! Что до того, как лучше это сделать, —

¹ «О необходимости сожжения еретиков».

² Карфаген должен быть разрушен! (*лат.*)

решение за теми, кто полномочен отправлять божественное правосудие против врагов страны и церкви!

Но если мы позволим запугать себя упреками в жестокосердии, если мы уклонимся от свершения правосудия, нам не дано будет узнать ни мира, ни свободы! То будет варварство, и несравненно большее, по отношению к нашим чадам и потомкам, которые им попрекнут своих отцов, как мы им попрекаем наших. «У вас был случай под покровительством и при поддержке королевы, стоящей во главе Законной Церкви, искоренить все подлое отродье, а вы, поддавшись неуместной жалости из страха проявить жестокость, помиловали этих мерзких нечестивцев. И нынче они гонят нашу церковь и попирают нашу веру, опустошают наши земли, а нас влекут на плахи и в темницы! Вы пощадили амаликитян и погубили нас! И ваша милость — лишь жестокость к вашим бедным детям!»

Как справедливы будут эти нарекания, когда наши потомки попадутся в лапы к сему не знающему снисхождению роду, и Церковь Англии охватят смуты и раздоры, дух рвения и хаос, когда правление в стране передоверят иноземцам, которые искоренят монархию и учредят республику!

Коль скоро мы должны шадить их племя, давайте действовать разумно: давайте умертвим своих потомков сами, вместо того чтоб обрекать их гибели от вражеской руки и прикрывать высокими словами свое бездействие и равнодушные, крича, что это милосердие, — ибо рожденные свободными, они тогда свободными покинут этот мир.

Кротчайший, милосердный Моисей промчался в гнев по становищу, сразив мечом три и еще тридцать тысяч любезных его сердцу братьев из народа своего за сотворение себе кумира. Зачем он покарал их? Из милосердия — дабы не допустить до разложения все воинство. Сколь многих из грядущей паствы мы бы спасли от заблуждений и от скверны, срази мы нынче племя нечестивцев!

Недопустимо мешкать с этой мерой! Все эти штрафы, пени и поборы, глупые и легковесные, только идут диссидентам на пользу и помогают им торжествовать! Но если бы за посещение сектантского собрания, молился ли там верный или проповедовал, расплачиваться нужно было не монетами, а виселицей и если бы сектантов присуждали к каторжным работам, а не к штрафам, страдающих за веру было бы

гораздо меньше! Теперь перевелись охотники до мученичества, и, если многие диссентеры бывают в церкви для того, чтоб их избрали мэрами и шерифами, они согласны будут посетить и сорок храмов ради того, чтобы не угодить на виселицу!

Достало бы и одного закона, но только строгого и точно соблюдаемого, о том, что всякий посещавший их гнусавые молельни присуждается к изгнанию, а проповедник отправляется на виселицу, и дело было б решено! Диссентеры бы валом повалили в церковь! Уже при жизни следующего поколения мы стали бы единою церковью!

Взимать пять шиллингов за то, что человек в течение месяца не подходил к причастию, и шиллинг за то, что он не приближался к церкви целую неделю, — это неслыханное средство обращенья в истинную веру! Так можно лишь представлять за деньги право согрешать!

И если в этом нет злоумышления, то отчего мы не даем им полную свободу? А если есть, какими деньгами его окупишь? Мы продаем им право согрешать и против Господа, и против власти держащей!

И если они все же совершают тягчайшее из преступлений, направленное против мира и блага Англии и против славы Божьей во поруганье церкви и на пагубу души, пусть это числится среди наиболее страшных злодеяний и получает соответствующую кару!

Мы вешаем людей за пустяки и отправляем в ссылку за безделицы, тогда как от обиды, нанесенной Господу и церкви, достоинству религии и благу человека, нетрудно откупиться за пять шиллингов. Это такое унижение христианского правительства, в котором стыдно дать отчет потомкам!

За то, что люди согрешают против Бога, не соблюдают его заповеди, бунтуют против церкви, не повинуются наказаньям, кого он дал им в управители, им следует назначить наказанье, сравнимое по тяжести с проступком! Тогда вновь расцветет наша религия, и наша разделившаяся нация вновь обретет единство.

Что же касается словечек вроде «варварский», «жестокый», которыми вначале нарекут такой закон, то их забудут очень скоро. Я вовсе не хочу сказать, что каждого диссентера следует приговорить к повешению или к изгнанию из Англии, отнюдь нет. Но для того, чтоб подавить мятеж или волнение, достаточно бывает покарать зачинщиков, а про-

чих можно и простить. И если наказать по всей строгости закона наиболее упорствующих, это, бесспорно, приведет толпу к повиновению.

Чтоб осознать неоспоримую разумность и, более того, заведомую простоту сего решения, давайте разберемся, по какой причине наша страна раздроблена на партии и секты, а также спросим у диссентеров, чем они могут оправдать раскол. И заодно ответим сами, из-за чего мы, паства Церкви Англии, покорно сносим все бесчинства и обиды, какие ей наносит эта братия?

Один из их известных пастырей, такой же грамотей, как большинство их просвещенного сообщества, в своем ответе на памфлет «Исследование случаев частичного согласия с доктриной Церкви Англии» высказывается в следующем роде на странице двадцать седьмой: «Разве мы представляем собой два разных исповедания? Что отличает веру Церкви Англии от вероучения молитвенных собраний? У нас нет расхождений в существе религии, и то, что нас разъединяет, касается лишь менее важных и второстепенных положений»; на странице двадцать восьмой он продолжает в том же роде: «Ваше учение изложено в тридцати девяти догматах, из которых тридцать шесть, с которыми мы все согласны, содержат ее сущность, и только относительно трех дополнительных меж нами нет единодушия».

Итак, по собственному их признанию, они считают нашу церковь истинной, а расхождения меж нами — несколькими несущественными частностями, — не согласятся же они на казни и галеры, на истязания и на разлуку с родиной из-за подобных пустяков? Ну нет, они наверняка окажутся умнее! И даже собственные принципы их не подвигнут на такое!

Не сомневаюсь, что закон и разум возымеют действие! И хоть вначале наши меры могут выглядеть крутыми, уже их дети не ощутят и толики жестокости, ибо с заразой будет навсегда покончено! Когда болезнь исцелена, к больному не зовут хирурга! Но если они будут продолжать упорствовать в грехах и рваться в преисподнюю, пускай весь мир узнает и осудит их упрямство, несовместимое с их собственными принципами.

Тем самым отпадет упрек в жестокости, с их сектой будет навсегда покончено, и дело больше не дойдет до смут и столкновений, в которые они так часто вовлекали Англию.

Их много, и у них тугие кошельки, из-за чего они исполнены высокомерия, которое отнюдь не побуждает нас к ответному терпению и, более того, склоняет к мысли, что нужно торопиться и либо поскорей вернуть их в лоно церкви, либо убрать навеки с нашего пути.

Благодаренье Богу, они теперь совсем не так страшны, как прежде, но если мы позволим им вернуть былую силу, то будет наше собственное упущенье! И Провидение и Церковь Англии, как кажется, желают одного — чтоб мы освободились от смутьянов, мешающих спокойствию страны, и ныне нам дарован к тому случай.

Мы полагаем, что английский трон был уготован нашей королеве ради того, чтобы она своей рукой восстановила права церковные, равно как и гражданские.

Мы полагаем, что по сей причине вся жизнь в стране разительно переменилась в какие-нибудь считанные месяцы; и лучшие мужи, народ и духовенство — все выступают заодно, все сходятся на том, что пробил час освобожденья церкви!

Вот для чего нам Промыслитель ныне даровал такой парламент, такую конвокацию, такое джентри! И такую королеву, каких дотоле не было в стране.

А если мы упустим эту редкую возможность, чем может обернуться наше небреженье? Короне предстоят тогда большие испытания. Голландец сядет на престол — и все наши надежды и труды пойдут прахом! Имей все наши будущие государи из его династии наилучшие намерения, они останутся пришельцами! Понадобятся годы на то, чтоб приспособить чуждый дух к особенностям нашего правления, к заботам нашего отечества. Кто знает, сколько нужно поколений, чтобы на нашем троне воцарилось сердце, исполненное столь великой чистоты и пыла, горячего участия и ласки, какие согревают ныне нашу церковь!

Для всех, кто предан Церкви Англии, настало время, не теряя ни минуты, и вознести, и укрепить ее столь основательно, чтоб она больше не могла подпасть под иго чужеземцев или страдать от распрей, заблуждений и раскола!

Я был бы очень рад, если бы к сей заветной цели вели бескровные и мирные пути, но порча слишком далеко зашла, и рана загноилась, затронуты все жизненные центры, и исцеление сулит лишь нож хирурга! Исчерпаны все способы воз-

действия: и сострадание, и кротость, и увещевания, но тщетно — облегчение не наступило!

Сектантский дух настолько овладел умами, что многие во всеуслышанье бросают вызов церкви! Дом Божий стал им ненавистен! И более того, они внушили своим детям такую предубежденность и отвращение к нашей святой вере, что темная толпа всех нас считает за язычников, творящих культ Ваала! Им кажется грехом переступить пороги наших храмов. Должно быть, даже первые христиане гораздо менее чуждались капищ и кровавых жертвоприношений, сложенных к ногам кумиров, и иудеи меньше избегают есть свинину, нежели многие диссентеры чураются святого храма и отправляемого там богослужения.

Строптивцев вместе с их исповеданием необходимо истребить! Пока их племя, что ни день наносит невозбранно оскорбленье Господу, пороча его тайнства и службу, мы небрегаем своим долгом перед ним и перед нашей Матерью — Святою Церковью.

Как сможем мы ответить перед Господом, и перед церковью, и перед нашими потомками за то, что оставляем их в сетях у фанатизма, заблуждений и упрямства, гнездящегося в самом сердце нации? Как мы ответим им за то, что дозволяем недругу разгуливать по улицам страны, чтобы он мог привлечь к себе наших детей? Как оправдаемся за то, что подвергаем нашу веру угрозе полного искоренения?

Чем это лучше, чем тенета, в которые нас уловляла римско-католическая церковь и от которых нас освободила Реформация? То и другое — крайности, хотя и в разном роде, но ведь для истины губительны любые заблуждения, которые нас разделяют. Те и другие равно вредны для нашей церкви и для спокойствия отечества! Скажите, отчего признать иезуита хуже, чем фанатика? И чем папист, который верует в семь тайнств, опасней квакера, не верующего ни в одно из них? Мне также невдомек, чем монастырь страшней молитвенного дома!

Увы, о Церковь Англии! Теснимая папистами, гонимая диссентерами, она распята между двух разбойников! *Но пробил час — пора распять разбойников!*

Пусть на костях врагов воздвигнется ее строение! Заблудшие, что захотят вернуться в ее лоно, всегда найдут открытыми врата ее любви и милосердия, но твердолобых пусть сожмет железная рука!

Виги и тори

Пусть верные сыны святой, многострадальной Матери, узнав о ее бедствиях, ожесточат свои сердца и ополчатся на ее гонителей!

Пусть Всемогущий Бог вдохнет в сердца всех тех, кто верен правде, решимость объявить войну гордыне и антихристу, дабы изгнать из нашего отечества коснеющих в грехе и не дозволить расплодиться их потомству!

Джонатан Свифт

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЕГО СВЕЛОСТИ ГРАФА ТОМАСА УОРТОНА,
ЛОРДА-НАМЕСТНИКА ИРЛАНДИИ

30 августа, 1710 г.



Ирландским королевством управляют полномочные представители Англии, а потому со времени установления власти англичан его историю обычно связывают с именами отдельных правителей. Однако вот уже несколько лет все происходившее на этом острове было столь незначительно или настолько подчинено английским делам и событиям, что вообще не представляло собою ничего существенного для истории. Слава, которую ирландцы стяжали своей службой в армии, целиком внесится в анналы истории Англии. Остальное — все, что относится к политике и искусству управления, — незначительно до последней степени, что бы ни говорили при дворе те, кто пользуется там властью и гордится каждым своим шагом, сделанным для окончательного порабощения ирландского народа, словно тем самым приобретаются великие выгоды для Англии.

Вообще говоря, если бы человеку был предоставлен выбор, когда ему жить, он вряд ли выбрал бы эпохи с богатой историей, как-то: времена различных военных событий и потрясений, происков поверженной и насильственных действий господствующей партии или, наконец, произвола и беззакония угнетателя-наместника. Во время войны Ирландия не пользуется никакими правами, кроме права полно-

стью подчиняться Англии; то же можно сказать и о ее политических партиях: в настоящее время они представляют собой лишь несовершенную копию с английской. Что же касается самовластия и насилия — третьего предмета истории, — среди всех подданных ее величества народ Ирландии уже долгие годы поставлен в исключительное положение, достигшее своей вершины при его светлости графе Томасе Уортоне. А потому краткий отчет о его правлении, возможно, будет полезен и занимателен для нашего поколения, хотя следующему, надеюсь, покажется невероятным. И поскольку мое повествование, возможно, сочтут скорее историей его светлости, нежели историей его правления, полагаю необходимым заявить, что ни с какой стороны не посягаю на его особу. Я много раз удостаивался беседы с его светлостью и полностью убедился: он безразличен к похвалам и нечувствителен к упрекам, что не является переходящим состоянием духа или позой и не проистекает из душевной чистоты или величия ума, но просто — естественная склонность его природы.

Он человек без чувства стыда или чести, как есть люди без чувства обоняния, а посему доброе имя имеет для него ту же цену, как для последних — изысканное благовоние. Каждый, кто взялся бы описать нрав змеи или волка, крокодила или лисы, разумеется, стал бы это делать ради блага других, а не из личных чувств любви или ненависти к этим животным.

Точно так же и его светлость — один из тех, к кому я не питаю ни любви, ни ненависти. Я встречаюсь с ним при дворе, в его собственном доме и изредка в моем (ибо он удостаивает меня своими посещениями); и когда эти страницы станут известны, он, по всей вероятности, скажет мне, как уже сказал однажды, что ему «зверски набили морду», и тут же с величайшей в мире легкостью переведет разговор на погоду или осведомится, который час. А потому я приступаю к делу с тем большей охотой, что, конечно, не рассержу его и никоим образом не нанесу вреда его доброму имени. Такова та вершина счастья и покоя, которой достиг граф Уортон и куда прежде не мог взобраться ни один философ.

Выполняя свою задачу, я сначала дам характеристику его светлости, а затем в подтверждение ее расскажу о некоторых фактах его правления.

Мне очень хорошо известно, что характер человека

лучше всего познается из поступков, но, так как деятельность лорда Уортона ограничивается управлением Ирландии, его характер, вполне возможно, содержит и нечто большее, что за краткостью времени и ограниченностью места он не имел возможности проявить.

Граф Томас Уортон, лорд-наместник Ирландии, уже несколько лет, как вступил в преклонный возраст, но благодаря своему удивительному здоровью он — ни телом, ни рассудком — не проявляет заметных признаков старости, хотя давно предается тем порокам, которые обычно изнашивают и то, и другое. Его поведение впору молодому человеку в двадцать пять лет. Прогуливается ли он или насвистывает, божится ли, ведет грязные разговоры или ругается, — с каждым из этих занятий он справляется лучше какого-нибудь молодого юриста, всего три года проводшего в Темпле. С тем же изяществом и в том же стиле он обрушивается с бранью на кучера посредине улицы в королевстве, где он правитель; и это в порядке вещей, ибо таков его нрав и ничего другого от него и не ждут. Лицемер он слабый, а враль неумелый, хотя чаще всего прибегает к этим двум талантам и больше всего ими гордится. Если он достигает цели с помощью лжи, то скорее благодаря частому ее применению, нежели искусству, ибо его обман обнаруживается иногда через час, зачастую в тот же день и всегда — через неделю. Он без стеснения рассказывает свои небылицы в смешанном обществе, хотя знает, что половина слушающих — ему враги и, несомненно, выведут его на чистую воду, как только с ним расстанутся. Он торжественно клянется вам в любви и преданности, но стоит вам повернуться к нему спиной, как он уже всем говорит, что вы пес и мошенник. Он неизменно посещает богослужения со всей пышностью, какая полагается ему по должности, но это не мешает ему рассказывать непристойности и богохульствовать прямо у церковных дверей. В политике он пресвитерианин, в религии — атеист, но в настоящее время изволит блудить с паписткой. В своих отношениях с людьми он взял себе за правило стараться опутать их ложью, для чего существует у него одно-единственное средство: смесь из вранья и клятвенных заверений. Его он применяет без разбору — и к фригольдеру с доходом в сорок шиллингов, и к тайному советнику; таким способом ему нередко удается обмануть или позабавить легковверных и честных людей и, так или иначе, добиться своей цели.

Сегодня он открыто лишает вас должности, потому что вы не принадлежите к его партии, а назавтра, встретив, призовет вас, как ни в чем не бывало дружески обнимет за плечи и с величайшей непринужденностью и фамильярностью сообщит, чего его партия добивается в парламенте, попросит вас присутствовать на заседании и уговорить друзей, чтобы и они пришли, хотя превосходно знает, что как вы, так и ваши друзья — его противники в том самом деле, о котором он ведет речь. При всей нелепости, смехотворности и грубости сего приема он не раз добивался успеха: некоторым людям свойственна ненужная застенчивость, и, застигнутые врасплох, они не умеют отказать; к тому же редкий человек не таит в душе какие-нибудь надежды или опасения, а потому остерегается доходить до крайности с влиятельными особами, даже когда для этого имеется достаточно поводов. Он спустил свое состояние, пытаясь разорить одно королевство, и нажил новое, преуспев в разорении другого. Обладая изрядным природным умом, великолепным даром слова и весьма изящным остроумием, он обычно худший в мире собеседник: его мысли целиком заняты распутством или политикой, так что говорит он исключительно о любодействе или делах, а богохульства не сходят у него с языка. Чтобы наслаждаться первым, он пользуется услугами своих фаворитов, единственный талант которых — потешать его светлостью рассказами о всех известных в городе распутствах. В деловом отношении он, говорят, весьма ловок там, где нужно пустить в ход интригу, и, по-видимому, целиком перенес на общественные дела присущий ему в юности талант к любовным интрижкам. Чтобы придать вес своей любви, иной тщеславный юнец, с риском сломать себе шею, карабкается в полночь через стену или лезет в окно к простой девчонке, к которой мог бы свободно войти через дверь при полном свете дня. Так и его светлость — то ли упражнения ради, то ли ввиду особых преимуществ для своей политики — прибегает к самым темным, опасным и извилистым тропам даже в тех простых делах, которые с успехом решились бы без затей или независимо от его вмешательства все равно пошли бы своей чередой.

С безразличием стойка сносит он любовные похождения своей супруги и считает себя вполне вознагражденным рождением детей для продолжения рода, не утомляя себя обязанностями отцовства. Им владеют три страсти, редко

Джонатан Свифт

соединяющиеся в одном лице, ибо, свойственные различным темпераментам, они естественно исключают друг друга. Это — жажда власти, жажда денег и жажда удовольствий. Иногда они овладевают им поочередно, иногда все вместе. С тех пор как он прибыл в Ирландию, он, по-видимому, с наибольшим увлечением предается второй, и не без успеха; менее чем за два года своего правления он, по самым скромным подсчетам, нажил сорок пять тысяч фунтов, половину обычным путем, половину — благоразумным.

Помнится, он сказал одной даме, что не было случая, когда бы он отказался дать обещание или же сдержал оное, но в отношении ее (она просила о пенсии) клялся сделать исключение. Однако и это обещание он нарушил и тем самым, должен признаться, обманул нас обоих. Однако прошу не смешивать простое обещание со сделкой, ибо в последнем случае его светлость, разумеется если условия сулят ему выгоду, будет неукоснительно их соблюдать.

Таков характер его светлости...

Джонатан Свифт

Эссе из журнала «Исследователь»

№ 14

9 ноября (четверг), 1710 г.

E quibus hi vacuas implent sermonibus aures,
Hi narrata ferunt alio, mensuraque ficti
Crescit, et auditis aliquid novus adicit auctor.
Illic Credulitas, illic temerarius Error
Vanaque Laetitia est, consternatique Timores
Seditioque repens dubioque auctore Susurri.¹



ступая настояниям друзей, я решаюсь нарушить замысел, к осуществлению которого приступил в предшествующем выпуске, и посвятить нынешний рассуждению об искусстве политической лжи. Отец лжи, говорят нам, дьявол, и сам он от начала был лжецом, так что ложь неоспоримо давнишнее изобретение. Более того, он впервые использовал ее с чисто политической целью: подорвать власть своего государя и подбить треть его подданных на ослушание. За что и был низвергнут с небес, где (как сказано у Мильтона) занимал должность наместника огромной западной провинции, и впредь оказался вынужденным упражнять свои таланты в более низких пределах среди других падших духов, а также заблудших душ, коих,

¹ Уши людские своей болтовнею пустой наполняют.
Те переносят рассказ, разрастается мера неправды;
Каждый, услышав, еще от себя добавляет рассказчик.
Бродит Доверчивость там; дерзновенное там Заблужденье,
Тщетная Радость живет и уныния полные Страхи;
Там же ползучий Раздор, неизвестно кем поднятый Ропот.

Пер. С. Шервинского.

(Овидий. *Метаморфозы*, М., 1977, с. 56—61.)

вербуя к себе в соратники, продолжает обольщать и поныне и, надо думать, вряд ли прекратит сие занятие, пока, прикованный цепью, не будет заточен в преисподней навечно.

Но хотя ложь есть порождение дьявола, тем не менее постоянные ее совершенствования, по-видимому, в значительной мере лишили его, как и многих других славных изобретателей, чести считаться отцом собственного детища.

Кто первый возвел ложь в искусство и применил в политике, история умалчивает, хотя я употребил достаточно старания, дабы навести о том надлежащие справки. А потому я буду рассматривать ложь применительно к нынешним временам — точнее, к тому, как она оказала себя за последние двадцать лет в южной половине нашего острова.

Когда, если верить поэтам, боги ниспровергли титанов, земля в отместку произвела на свет последнее свое чадо — Молву. А толкуется этот миф так: когда утихают мятежи и смуты, в народе обильно распространяются слухи и ложные известия. Иными словами, ложь служит последним прибежищем проигравшей мятежной партии, низменной, как все земное. Новое время внесло в старинное искусство лжи существенные добавления: ныне применяют ее, не только чтобы завоевать и удержать за собою власть, но и чтобы отомстить, потеряв. Не так ли животные используют одно и то же орудие — зубы, — добывая пищу, когда голодны, и кусая тех, кто их задевает.

Политическая ложь ведет свое начало от разных родителей, а потому мне хотелось бы, войдя в некоторые тонкости, указать на ряд обстоятельств, связанных с ее генеалогией и рождением. Иногда ложь рождается из головы получившего отставку государственного деятеля, который передает свое дитя черни, чтобы та его вынянчила и выпестовала. Иногда она появляется на свет убогим недоноском и лишь благодаря непрестанному уходу обретает вид, а порою ее производят в полной форме, которая от ухода все больше утрачивается. Нередко она рождается обычным младенцем, который со временем набирает вес и силу, а иной раз является в жизнь созревшей и налитой, а потом все убывает и усыхает. Иногда она знатного рода, иногда — семья биржевого маклера. Порою, выдираясь из лона, орет во все горло, а бывает, дает о себе знать только шепотом. Я знаю ложь, что шумит сейчас на полкоролевства и из гордости и величия отрекается от собственных родителей, а помнится, было время, когда изли-



Джонатан Свифт

валась она тихим шепотом. И в заключение добавлю: если ложь рождается без жала, то является мертворожденной, а если со временем лишается оно, то тут же умирает.

Немудрено, что малютке, само рождение которой происходит при столь удивительных обстоятельствах, уготована необычайная судьба. И действительно, вот уже двадцать без малого лет выступает она духом-хранителем правящей партии. Она может без боя, а иногда и проиграв сражение, завладеть королевством, она раздаёт и отнимает должности, может сделать из слона муху и из мухи слона, годами председательствует в избирательных комитетах, может отмыть черного кобеля добела, прославить святым безбожника и патриотом — распутника, сообщить чужеземным министрам важные сведения, а также содействовать поднятию и падению акаций любого государства. Сия богиня летает с

огромным зеркалом в руках, ослепляя толпы, и от того, как повернет его, зрят они благо в собственной гибели и гибель в собственном благе. В этом зеркале лучшие друзья наши видятся нам в одеждах, усеянных королевскими лилиями, в папских тиарах, с цепями, четками и деревянными башмаками у пояса, а злейшие враги предстают украшенными эмблемами свободы, достоинства, терпимости и умеренности, с рогом изобилия в руках. Если два ее огромных крыла не пропитаны влагой, они, как у летучих рыб, повисают в бездействии, а потому она беспрестанно купает их в нечистотах, а взмывая, брызжет ими людям в глаза и при всей стремительности своего полета вынуждена, дабы пополнить запасы грязи, вновь и вновь в нее окунаться.

Не раз приходило мне на мысль: что если бы природа дала нам второе зрение и могли мы видеть ложь воочию, как шотландцы — духов. Сколь увлекательно мы проводили бы время в нашем городе, наблюдая, как сонмы лжи всех видов, размеров и оттенков жужжат над головой иного соотечественника, словно слепни над лошадиной мордой в разгар лета, или как полчища лжи кишат в Биржевой аллее днем в таких несметных количествах, что затмевают свет и вытесняют воздух, или как тучи лжи заполняют каждый клуб недовольной знати, откуда ее без числа и счета отправляют на выборы.

Политического лжеца отличает от других, наделенных тем же свойством, существенная черта: он должен обладать короткой памятью, дабы в ежечасно меняющихся обстоятельствах уметь высказывать мнения, обратные собственным, или отстаивать любое из двух противоположных, соображаясь с расположением лиц, с которыми он общается. Известно, что, описывая добродетели и пороки рода человеческого, желательно иметь в виду какое-нибудь известное лицо, которое могло бы служить примером либо того, либо другого. Я всегда неуклонно следовал этому правилу, и сейчас воображение рисует мне некоего великого человека, знаменитого помянутым даром, постоянное упражнение в котором на протяжении двадцати лет снискало ему репутацию величайшего в Англии ума по части обдeldывания всяческих славных дел. Превосходство его гения состоит исключительно в неистощимых запасах политической лжи, каковую он поминутно пускает в ход и, тут же забывая, что кому сказал, сам же себя опровергает. Его мало заботит, правда ли

в его речах или фальшь, интересуется же лишь одно: что в данный момент и в данном обществе выгодно ему утверждать, а что отрицать. Если же вы вознамеритесь перехитрить его, толкуя каждое сказанное им слово, подобно снам, наоборот, то, верите вы ему или нет, все равно не доберетесь до истины и останетесь обманутым. Единственное верное средство — принимать его речи за поток бессвязных звуков, напрочь лишенных смысла. Тогда по крайней мере вас не будет бросать в трепет — что иначе легко могло бы случиться — при залпах божбы, которыми он начинает и кончает каждое свое предложение. Но хотя он постоянно клянется Богом-отцом и Богом-сыном, я считаю несправедливым обвинять милорда в нарушении клятвы: ведь он неоднократно, не обинуясь, публично доказывал миру, что не верит ни в того, ни в другого.

Найдутся, пожалуй, люди, которые скажут, что подобный талант, столь часто упражняемый, а посему широко и печально известный, вряд ли может приносить пользу его обладателю или партии. Как же они ошибаются! Редкая ложь отмечена печатью своего создателя, и любой заядлый враг правды может пускать ее тысячами, не будучи уличен в авторстве. К тому же как у самого низкопробного писаки всегда сыщутся читатели, так и у заведомого лжеца — охотники ему верить, а ведь часто достаточно, чтобы ложь хотя бы час почиталась за истину, и дело сделано, а больше ничего и не надобно. Молва летит на крыльях, правда, прихрамывая, плетется вослед, и когда людям открывается обман — поздно: время ушло, маневр удался, лживое слово врезалось в память. А потом махи кулаками после драки — все равно, что человек, нашедшийся с ответом, когда спор уже закончен и компания разошлась, или врач, сыскавший верное средство для больного, когда тот уже умер.

Принимая в соображение, что многие от природы склонны лгать, а людские скопища — верить, не знаю, право, как мне быть с известным изречением, которое так часто любят повторять: «Правда всегда торжествует». Разве здесь, на нашем острове, не находились мы чуть ли не все эти двадцать лет под воздействием учреждений и лиц, в чьих интересах и принципах было развращать наши нравы, затемнять наш разум, истощать наше богатство, чтобы со временем уничтожить все уложения наши, как церковные, так и светские? И вот мы очутились на краю бездны, но,

постоянно вводимые в заблуждение, не умели различить, кто нам враг, а кто друг. На наших глазах львиная доля капиталов, принадлежавших нации, уплывала в руки тех, кто по своему рождению, образованию и заслугам мог притязать лишь на ливреи. Меж тем как другие, кто, обладая именем, достоинством и положением, мог бы умножить славу и успехи нашей Революции, были отодвинуты в сторону как опасные и бесполезные, мало того, их клеветнически ославили якобитами, людьми с деспотическими принципами и наемниками Франции. Правда, которая, как говорят, покоится на дне колодца, оказалась, по-видимому, заваленной там грудой камней. Я помню, как виги без конца жаловались на то, что большая часть землевладельцев не на их стороне, и как немногие мудрые люди видели в этом дурной знак. Мы знаем, что, хотя двор и кабинет были на стороне вигов, они насилу удерживали большинство, пока не набрали на превосходное средство: влиять на захолустные местечки и побеждать на выборах, пуская в ход могущественные аргументы, почерпнутые в Сити. Но к каким бы хитроумным уловкам и маневрам ни прибегали сии джентльмены, все это было принуждением и насилием. И когда народу стало ясно, что его обычаи, религия и даже сама монархия в опасности, он, как мы видели, решительно воспользовался первой возможностью, чтобы вмешаться. Но о том, каково значение сей резкой перемены в умонастроении нации, я расскажу, подробно и полно, в одном из следующих выпусков, где попытаюсь открыть глаза всем обманутым и обманывающимся и доказать им, что они напрасно надеются или показывают вид, будто имеют дело лишь с кратким умопомешательством черни, которое не сегодня, так завтра пройдет. Я же полагаю, что причины, симптомы и следствия свидетельствуют о явлении совсем иного рода и что происшедшая в стране перемена послужит великим примером, подтверждающим изречение, приведенное мною выше: «Правда (пусть иной раз и поздно) всегда торжествует».

— Medioq; ut limite curras,
Icare, ait, moneo: ne, si demissior ibis,
Unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat ¹.



В

последние годы — что и говорить — ни в чем так не нуждается Англия, как в печатном издании, подобном тому, каким должна быть сия газета и какой я, приложив к тому все усилия, коль скоро сочтут их полезными, намерен ее сделать, не принимая никакого участия в ожесточенной вражде ториев и вигов. Принимая во внимание, сколь часто представляют у нас и людей и события в превратном свете, крайне необходимо, дабы чья-то беспристрастная рука взяла на себя труд дать правильный, по возможности, ход мыслям жителей нашего королевства, что доселе ни разу не предпринималось, а если кто и брался за сию задачу, то лишь лица, по всем статьям наименее пригодные для ее исполнения.

Мы живем в государстве, где власть монарха ограничена, следуем догмам и уложениям превосходнейшей церкви, но, увы, разделены на две партии, каждая из которых притязает на ревностную приверженность нашей религии и нашему образу правления, отличаясь друг от друга единственно средствами служения оным. Опасности, от коих мы вынуждены обороняться, подстерегают нас с двух сторон: с одной — фанатизм и отступничество от нашего символа веры, а также анархия в управлении под именем Республики, с другой — папизм, порабощение и Претендент, угрожающие нам из Франции. И вот, чтобы питать и направ-

¹ — Полетишь серединой пространства!

Будь мне послушен, Икар: коль ниже ты путь свой направишь,
Крылья вода отягчит, коль выше — огонь обожжет их.

Пер. С. Шервинского.

(Овидий. *Метаморфозы*, с. 203—205.)

лять наши чувства касательно сих важнейших предметов, мы располагаем, с одной стороны, двумя скудоумными, невежественными борзописцами, фанатиками по ремеслу — я имею в виду издателей газеты «Обозрение» и газеты «Наблюдатель». С другой стороны — неким священником из неприсягнувших, чья личность и характер, ученость и здравый смысл, проявляемый в суждениях о других предметах, несомненно, заслуживают ему уважение и добрую славу. Однако газета «Репетиция» и все его остальные политические памфлеты даже пагубнее поименованных первых двух. Ибо люди в своем большинстве не знают, что им говорить или думать, не прочитав назидания в текущих еженедельных листках, и нет хуже беды, когда о том, в чем состоит их долг, они узнают из подобного рода источников. И каково бы ни было мнение некоторых джентльменов, я полагаю, что первые названные мною выше светила причинили своим соотечественникам немало зла, ибо псевдоавторитетная манера одного и плоский юмор другого столь нетерпимые для разумного уха, вполне отвечают уровню огромного числа низших разрядов человечества. Что же до издателя «Репетиции», помянутой здесь, то и он, выпуская ее, был не менее вредоносен для многих лиц более высокого положения, которые, будучи не хуже его образованы и далеко не так пристрастны, могли бы судить по собственному разумению.

Именно это и побудило меня взять сие дело из грубых и грязных рук в свои; я хочу показать непричастной к политике и дурно осведомленной половине нашей нации, как она была с обеих сторон обманута бредовыми и нелепыми крайностями, равно далекими от истины, меж тем как путь правды широк и торен, и тем, кто ступил на него, легко по нему идти.

Далее. Только на днях принял я решение обращать как можно меньше внимания на прочие наши газетенки, исключая разве те, где злобность и лживость густо приправлены острым и бойким словом, что делает их весьма опасными. Правда, при нынешних шелкоперах, ценою от шиллинга до полпени, таковые, как нетрудно предвидеть, не часто станут появляться. Однако нынче вынужден я отступить от принятого решения хотя бы для того, чтобы сообщить моим читателям, какие меры я впредь в подобных случаях намерен принимать. Дошли до меня слухи, что газетенка, называ-

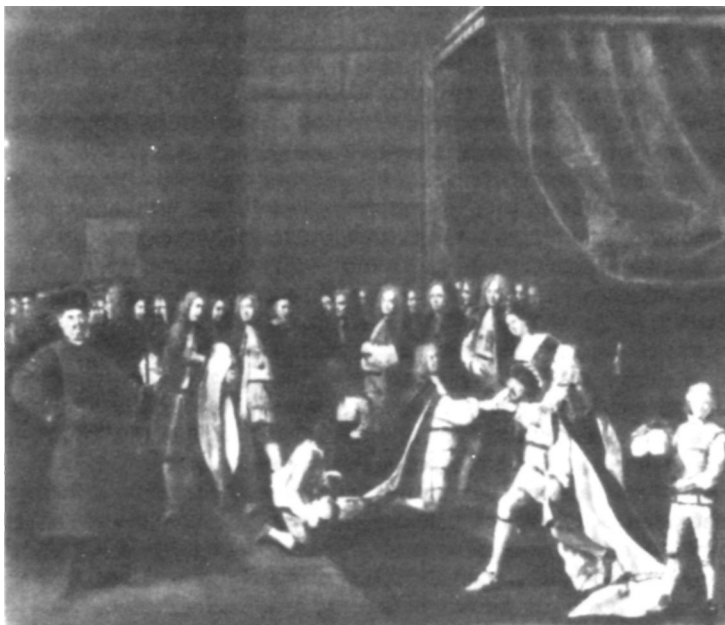
емая «Наблюдатель», на прошлой неделе дважды прошла на счет «Исследователя». Я не преминул при первой же возможности ознакомиться с ее высказываниями, и, говоря газетным языком, они дали мне повод для многих размышлений. Я с удовольствием отметил в них приемы, характерные для тех статеек, каковые их сочинители имеют обыкновение именовать «Ответами», а также ловкость, с какой бесподобный автор сих статеек владеет искусством и жаргоном, им присущим. Ввернуть там и сям несколько надерганных фраз, наименее существенных для спора, и истолковать в них нелепейшим образом каждое слово, исказив с м ы с л , — вот что, насколько мне известно, именуется «Ответом» многими пишущими, которые принадлежат к более высокому, по сравнению с сим грозным противником, рангу. Нечто подобное произвел и наш сочинитель, употребив в три раза больше слов, нежели понадобилось мне на все мои рассуждения, в чем и обнаружил громадное надо мной превосходство, а потому я ни в коем случае не дерзну вступить с ним в неравное состязание, да и впредь, зная собственный нрав, предпочту держаться в стороне, пожелав ему схватиться с противником, равным по многословию, но с перевесом по части правдивости и честности, что сильно помогло бы навсегда заткнуть этому господину рот. Не могу в этой связи не рассказать о некоем фермере-фанатике, жившем со мною по соседству. Был он великий любитель вести дебаты по вопросам религии, и среди слуг в окрестных домах только и речи было, как он переспорил самого епископа вкупе со всем его клиром. В ту пору служил у меня лакеем некий славный малый, большой охотник до чтения Библии. Я позаимствовал для него комментарии к ней, за которые он тут же засел и через месяц-другой настолько в них поднаторел, что я счел его достойным тягаться с нашим фермером. Они сходились в нескольких окрестных домах, неизменно окруженные толпой слуг и прочего люда. Нед толковал священные тексты, сообразуясь с возможностями слушателей, полно и ясно, да к тому же умел показать — даже последнему тупице, — сколь бессодержателен ученый жаргон, на котором изъясняется его противник, так что вся округа приняла сторону Неда, а фермер навсегда излечился от зуда вести дебаты.

Хуже всего в этом деле то, что подобного рода неистовые писатели, о которых речь шла выше, радеющие о своей

партии, подобны паре подстрекателей, которые, пуская в ход всяческие рассказы и клеветы, подбивают людей на перекоры и, разводя друзей в стороны, мешают им прийти к согласию, к каковому те непременно пришли бы, сойдись они вместе и побеседуй друг с другом. Ибо если бы кто-то взял на себя труд потолковать с любым разумным и честным приверженцем как той, так и другой стороны о тех вопросах, из-за которых обе партии каждодневно ломают копья, он вряд ли обнаружил бы у них существенные расхождения хотя бы по одному пункту. Мне давно хочется спросить о двух великих мужах из прежнего кабинета: как они попали в виги? Или с помощью какой фигуры речи удастся называть ториями с полдюжины других, только что занявших высокие посты в новом? Боюсь, что всякий, кому вздумается сочитать помянутые определения с теми лицами, должен будет придать им значения прямо противоположные тем, какие вкладывались в них во время Революции.

Чтобы избавиться от принятых у нас превратных мнений, необходимо, думается мне, избочивать при всяком удобном случае злобность и лживость получивших широкое хождение суждений, которые эти кретины дважды на неделе распространяют с помощью печатного станка, да еще делают из них сотни нелепейших выводов.

Например: слышал я, что почитается крайней дерзостью со стороны священников и других не имеющих сана лиц утверждать прямо или обиняками, будто наша церковь в опасности, ибо несколько лет назад было вынесено парламентом противное решение, и сама королева в своей речи открыто осудила подобного рода лживые измышления. Так-то оно так, однако сдается мне, что и тогда и сейчас, несмотря на парламентский акт, наша церковь была и продолжает быть в большой опасности, и, думаю, я и тогда мог бы сие утверждать, не нанося тем ни малейшего оскорбления ни ее величеству, ни обеим палатам. Слова королевы, коль скоро мне не изменяет память, означали, что церкви не грозит опасность со стороны ее правительства, и тот, кто говорит или считает иначе, является, по моему мнению, предателем и заслуживает быть повешенным. Но то, что и церковь, и государство могут подвергаться опасности даже при лучшем из лучших монархов, причем без малейшей его вины, — непреложная истина, в которой ни один мало-мальски знающий историю и обладающий здравым смыслом человек не станет



Королева Анна и Рыцари Подвязки

сомневаться. Мудрейший из государей может оказаться вынужденным уступить в силу собственных обстоятельств или подчиняясь мощи мятежной партии, равно как и быть обманутым ловкими и злонамеренными людьми: один-два министра, пользующиеся его особым доверием, могут поначалу руководствоваться добрыми побуждениями, но со временем, поддавшись корысти, любострастию или тщеславию, развратиться и, соблазнившись более благоприятными для удовлетворения своих страстей условиями, которые одна группа ласкателей предложила им, состязаясь с другой, зайти очень далеко, отрезав себе все пути к отступлению, и тем самым оказаться в числе тех, кто «берет с собою семь других духов, злейших себя». Это вполне может произойти! И разве не в подобном случае «не бывает для человека того последнее хуже первого»? Иными словами, не окажется ли народ, которому вначале ничего не грозило, в результате подобных действий в крайней опасности? Так надобно ли

называть нелояльным верноподданного, который, страшась пагубных последствий и подчиняясь им, не скрывает своего мнения, хотя его монарх, и с полным правом на то, провозгласил, что опасность государству и церкви проистекает не от его правительства? И надобно ли осуждать самого монарха, когда в подобных обстоятельствах он с одобрения всего народа передает правление страной в другие руки? Что же до постановления парламента против тех, кто стал бы утверждать, будто наша церковь в опасности, то (за неимением помянутого документа и невозможностью его вскорости достать) полагаю, что тут разумеется как опасность от королевского правительства, так и при нем; но если я ошибаюсь, то не знаю, какие иные опасности, кроме уже минувших или же относящихся к тем временам, могли иметься в виду и каким образом сей парламентский акт мог касаться до нынешних, — разве только господа сенаторы действовали по наитию, по крайней мере те из них, которые за него голосовали. Не вижу также преступления — разве что дурные манеры — в том, чтобы иметь мнения, отличные от тех, коих придерживается большинство в одной или обеих палатах; а в дурных манерах, каюсь, я и сам в прошедшие годы не раз был повинен, хотя надеюсь не повторять того впредь.

Другой предмет, усердно пускаемый в ход еженедельными подстрекателями, — молодой Претендент, обитающий во Франции, которому вся их свора весьма обязана своим влиянием и, надо думать, не преминет, как только сие будет в ее власти, принести свою признательность, так же как прежде была готова принести ее из любви к частым переворотам предполагаемому его отцу. Но все это — часть тайной истории, которая, надеюсь, рано или поздно станет явной, а уж если попадет в мои руки, то наверняка предстанет свету, невзирая на то, чьи уши при сем заалеют. Нынче же «претендент» нечто вроде магического слова, коим сии джентльмены безраздельно владеют: государственный секретарь пожелал уйти в отставку — не иначе как за этим стоит Претендент; королева распустила парламент — не иначе как она задумала отречься от престола и посадить на него Претендента. С полдюжины маклеров мошенничают в Биржевой аллее — и тут ищи Претендента с его сворой. Можно подумать, те, кто постоянно кричит о Претенденте, делают это с единственной целью — притупить в нас чувство опасности; или для того

распространяют о нем ложные слухи, дабы мы забыли об осторожности, и, когда он действительно нагрязнет, с их молчаливого согласия, им уже не поверили бы; иными словами, они стараются сослужить нам ту же службу, что в известной притче пастушонок своими воплями: «Волк! Волк!» Или, может быть, для того пугают нас Претендентом, что полагают, он подобен тем болезням, кои вызываются страхом. Неужели им не приходит на мысль, что нынешние министры преданы нашей государыне по крайней мере не меньше, чем иные прежние — нашей церкви? И почему не должны мы считать таким же признаком неloyальности заявление «королева в опасности», каким несколько месяцев назад почитались подобные слова касательно церкви? Предположим, что мнение, будто права королевы являются наследственными и неотъемлемыми, ошибочно. Но возможно ли, чтобы лица, преданные сей доктрине, радели об интересах Претендента? Ведь любой аргумент в пользу ее величества ослабляет его права. А то, что нынешняя наша государыня — законная наследница покойного короля и покойной королевы, сестры ее, яснее ясного выражено в парламентском акте. Разве сим не устанавливается ее наследственное право? Что еще тут надобно? Читал я некий догмат веры, изложенный не в пример менее точными и общими словами, а излагал его некий джентльмен, к чьему мнению весьма прислушиваются члены противной партии. Пойдем дальше и исследуем понятие «неотъемлемый», над которым в последнее время так насмеются некоторые авторы. Признаюсь, мне трудно понять, почему любой закон, установленный верховною властью, не может быть этой властью отменен. А посему я не стану судить о том, являются ли права ее величества неотъемлемыми. Однако позволю себе заявить: тот, кто сие утверждает, неповинен в преступлении. Ибо в Акте о престолонаследии, принятом после Революции, где наша государыня названа в числе преемников трона, есть (насколько помнится) следующие знаменательные слова: «Сему обязуемся следовать, и потомство наше, навечно». Пусть законники толкуют их и так и эдак, пусть объявляют пустой формальностью. Пусть любители поспорить утверждают, будто подобные обязательства противны самой природе управления государством. Но как не извинить простого читателя, принимающего слово в его буквальном значении, если он считает, что право, подтвержденное столь недвусмыслен-

ным образом, является неотъемлемым. Ну а если такое суждение почитается абсурдным, то не ему за это отвечать.

P. S. Когда номер уже верстался, типографщик принес мне еще два выпуска «Наблюдателя», целиком посвященных моему памфлету о лжи, и я, дав себе труд прочесть оные, убедился, что в них заключаются те же «ответы», какие были в двух предыдущих, уже помянутых мною. Вот и все, что я имею о сем предмете сказать.

№ 16

23 ноября (четверг), 1710 г.

Qui sunt boni cives? Qui belli, qui domi
de patria bene merentes, nisi qui
patriae beneficia meminerunt?¹



ынешний выпуск я использую для того, чтобы рассмотреть давно уже волновавший меня вопрос, изучая который с величайшей тщательностью я опросил ряд лиц, коих считал наиболее в нем осведомленными, и если, выражая свои чувства, позволю себе некоторую вольность, то надеюсь снискать прощение тем, что употреблю всю совестливость, какую требует от автора столь щепетильный предмет.

Я уже писал в предшествующем (тринадцатом) выпуске, что в качестве одного из благовидных возражений против недавних перемещений при дворе ее величества выдвигалось опасение нанести обиду военачальнику, который последнее время одерживает на континенте победу за побе-

¹ Кто добрые граждане? Кто на войне, кто в городе достойно служит отчизне, если не те, кто помнит благодеяния отчизны? (Цицерон. В защиту Гнея Плания, 80.)

дой. Вот уже несколько месяцев у нас усиленно работают языки и перья, с возмущением расписывая низость, вероломство и неблагодарность, которыми отплатили герцогу Мальборо за величайшие услуги, какие только подданный может оказать своему государству, — услуги, равных коим не знала история! Не преминули, конечно, мимоходом поубавить величия Александру и Цезарю, хотя они не сделали нам ничего дурного. Ну а те, кто понаторел в Плутархе, забрасывают нас примерами из прошлого греков и римлян, повинных в неблагодарности своим, не знаю уж скольким, прославленным военачальникам и полководцам. Политики же поумнее приводят памфлеты, пестрящие выдержками где из Тацита, где из Макиавелли, в которых утверждается, что обладать непомерно высокими достоинствами опасно. Если бы сии яростные вопли о неблагодарности услышал какой-нибудь чужеземец, он, не зная подробностей, невольно спросил бы, где могила несчастного полководца и удостоился ли он по крайней мере христианского погребения. Ведь его, несомненно, предали позорной смерти? Или, может быть, подвергшись суду и следствию, он едва спасся от казни? В чем его обвиняли? В государственной измене или в каких-то других преступлениях? И наверное, государь лишил его состояния, оставив умирать от голода? А когда он появился на улице, неблагодарная толпа улюлюкала ему вослед. А как насчет титулов, должностей и подарков, пожалованных ему и членам его семьи? Разумеется, у них безжалостно все отобрали? И надо полагать, ему и его солдатам, сражавшимся на континенте, платили ничтожно скудное жалованье? И государь, ограничив и урезав его полномочия, не давал ему вести войну так, как он считал это нужным? А наделен ли он вообще достаточной властью, чтобы пользоваться возложенными на него полномочиями по собственному разумению? Разве кабинет и парламент не чинят ему препятствий, ежегодно требуя подробнейший отчет? А выразил ли ему сенат хоть раз благодарность за успехи и не корил ли его публично за каждый малейший просчет? Не соизволят ли господа-обвинители ответить на любой из этих вопросов или же, на худой конец, поведать нам, в чем именно состоит наш грех неблагодарности? Ответ, боюсь, будет прост и ясен: пока наш генерал водил войска на континенте, королева распустила парламент и сменила кабинет, и при этих пагубных переменах по крайней мере две особы, близкие к генералу по

брачным узам, лишились своих должностей. Откуда только взялась столь удивительная приязнь между нашими государственными и военными властями? Уж не откажутся ли наши войска сражаться во Фландрии, коль скоро нет у них собственного Лорда-хранителя, собственного председателя Государственного совета, собственного Лорда-наместника Ирландии, собственного парламента? Как же это случилось, что в королевстве, где народ свободен, ему вдруг понадобилось, чтобы его представители были под влиянием армии или тех, кто стоит во главе ее? Кому в разумно устроенном государстве дозволяется входить с гражданскими властями в какие-либо отношения, кроме как, получая приказы, неукоснительно их исполнять!

Если полководец не пользуется у себя в армии или в своей стране тем признанием, какое следовало бы ожидать после длинного ряда побед, то это можно, наверно, приписать либо свойствам его ума, либо, пожалуй, особенностям характера. Наличие одного качества, равно как и отсутствие других, может крайне ослабить расположение народа и любовь солдат. К тому же и время наше не таково, чтобы народ создавал себе кумиров, ибо мы живем при королеве, которой отдана вся наша любовь и наше преклонение, так что военачальнику или министру, желающим снискать благоволение нации, надлежит оказывать величайшее уважение ее королевскому величеству и повиноваться исходящим от нее приказам. В противном случае никакие ссылки на великие заслуги, будь то на поле брани или в Совете, не защитят оных от всеобщей ненависти.

Прежний кабинет был тесно связан с военачальником дружеством, корыстью, деловыми союзами, общими склонностями и мнениями, чего не скажешь о нынешнем; неблагодарность, в которой повинна нация, сводится к тому, что она как один человек пожелала отставки подобного кабинета. С другой стороны, разве неизвестно всему королевству, что только из добрых чувств к генералу позволяли сим пресловутым министрам бесконечно долго оставаться у власти, пока ни у кого уже не стало сил их дольше терпеть. При всем том даже в дни наивысшего накала страстей почти не раздавалось упреков по адресу нашего великого полководца, мало того, все, казалось, по-прежнему единодушно желали видеть его во главе войск конфедерации, и лишь в случае, если бы он сам решил отказаться от своего поста, народ скорее



Дворец Бленхейм

подумал бы о том, чтобы заменить его кем-нибудь другим, нежели, отчаявшись, проиграть все дело. И вот что еще: говоря об отношении к помянутому лицу, не могу не добавить в защиту народа — даже в наш глумливый век подлинных слабостей генерала (а у какого человека их нет!) за все эти годы никто ни в памфлетах, ни в разговорах не касался, зато каждому его успеху повсеместно и щедро рукоплескали.

Неблагодарность бывает активной и пассивной, что относится и к рассматриваемому случаю. Первая — это когда государь или народ воздают за добрые услуги жестокостью либо дурным отношением. Вторая — когда добрые услуги либо вовсе не вознаграждаются, либо вознаграждаются крайне скудно. О неблагодарности первого рода мы уже говорили, теперь настала очередь поговорить о второй — проверить, как вознаградили нашего полководца и в какой мере государь или народ повинны в неблагодарности по этому пункту.

Самыми ценными наградами мы считаем те, выбирая которые даритель знает, что они больше всего придутся нам по вкусу. А посему я не стану говорить ни о герцогском титуле, ни об ордене Подвязки, каковыми королева в начале своего правления пожаловала нашего полководца, а перейду к дарам более существенным, упоминая лишь те, которыми наделяли его гласно, перед лицом всего мира. Поместье Вудсток можно, полагаю, оценить в сорок тысяч фунтов стер-

лингов. На строительство Бленхеймского дворца, еще далеко не законченного, ушло уже двести тысяч фунтов. Пять тысяч, ежегодно отчисляемые от доходов Почтового ведомства, дают на круг сто тысяч фунтов. Княжество в Германии составляет примерно тридцать тысяч. Картины, драгоценности и другие подношения иноземных государей — шестьдесят тысяч. Рента с домовладений на Пэлл-Мэлл, доходы от должности смотрителя королевских парков и прочее, за неимением точных сведений, определим в десять тысяч фунтов. Жалованье за исполнение различных обязанностей самим герцогом и его супругой (учитывая лишь явно и гласно выплачиваемое), по самым скромным подсчетам, — сто тысяч фунтов стерлингов за пять лет. Всего — многим больше полмиллиона. Даже те, смею утверждать, кто громче всех кричит о черной неблагодарности, вряд ли станут спорить, что это лишь малая сумма по сравнению с той, которая осталась неучтенной.

Единственная причина, побудившая меня привести сии цифры, — это желание убедить мир, что если мы и повинны в несправедливости, то отнюдь не так, как греки и римляне. И чтобы прояснить сей вопрос со всей непредвзятостью, я ограничу себя ссылками лишь на последних, поскольку из двух помянутых древних народов они были не в пример щедрей. В Римской империи в дни ее наивысшего расцвета победоносный полководец вознаграждался за полный разгром врага большим триумфом и, возможно, статуей на Форуме, а также жертвенным быком, расшитой тогой для публичных выходов, лавровым венком, монументом с подобающей надписью, иногда пятьюстами или тысячью медных монет, которые чеканились в честь победы (каковые, коль скоро они прославляли военачальника, мы причислим к его доходам), и, наконец, хотя далеко не всегда, триумфальной аркой. Таковы награды, которыми, насколько помнится, жаловали триумфатора, когда, завоевав могущественное королевство, он возвращался из похода, ведя за своей колесницей самого короля с семьей и знатью в цепях и превратив поверженное государство либо в римскую провинцию, либо, на худой конец, в зависимую страну, повязанную с империей кабальным союзом. Из всех перечисленных наград только две, на мой взгляд, были для военачальника реальной прибылью: лавровый венок, который делался и посылался ему за общественный счет, и праздничная тога (правда, мне так и

Виги и торы

не удалось выяснить, кем она оплачивалась — Сенатом или самим военачальником). Тем не менее мы будем придерживаться более широкой точки зрения и ниже учтем все истраченные на него деньги, как если бы он положил их себе в карман. Согласно этим расчетам, мы отведем для каждого случая по колонке: слева — благодарность Рима, справа — неблагодарность Британии.

| Благодарность Рима | L ¹ | S ² | D ³ | Неблагодарность Британии | L | S | D |
|---|----------------|----------------|----------------|---|------------------------------|---|---|
| Благовония, глиняный горшок для воскурения оных | 4 | 10 | 0 | Вудсток Бленхейм Отчисления от доходов Поч- тового ве- домства | 40 000 200 000 100 000 | 0 | 0 |
| Жертвенный бык | 8 | 0 | 0 | Милденхейм | 30 000 | 0 | 0 |
| Расшитая тога | 50 | 0 | 0 | Картины, дра- гоценности | | | |
| Лавровый венок | 0 | 0 | 0 | и прочее | 60 000 | 0 | 0 |
| Статуя | 100 | 0 | 0 | Рента с домо- владений на Пэлл-Мэлл | 10 000 | 0 | 0 |
| Монумент | 80 | 0 | 0 | Жалованье за исполнение различных обязанностей | 100 000 | 0 | 0 |
| Тысяча медных монет по пол- пенса | 2 | 1 | 8 | | | | |
| Триумфальная арка | 500 | 0 | 0 | | | | |
| Триумфальная колесница (по расценкам нынешнего экипажа) | 100 | 0 | 0 | | | | |
| Непредвиден- ные расходы во время три- умфа | 150 | 0 | 0 | | | | |
| Итого: | 994 | 11 | 10 | | 540 000 | 0 | 0 |

¹ L (от лат. librae) — фунты. — *Прим. перев.*

² S (от лат. solidi) — шиллинги. — *Прим. перев.*

³ D (от лат. dinarii) — пенсы. — *Прим. перев.*

Таков итог явных прибылей, полученных той и другой стороной, и, если у римского военачальника были какие-то побочные доходы, их — хотя они с большой трудностью поддаются подсчету, да и только увеличили бы разность в балансе, — вполне можно сбросить со счетов, принимая во внимание, что все золото и серебро, полученное в виде откупных и контрибуций, все драгоценности, захваченные в ходе войны, выставлялись во время триумфа напоказ, а затем передавались Риму на общественные нужды.

Итак, выходит, что в целом мы в своем наихудшем виде не так плохи, как римляне в своем наилучшем. К тому же, боюсь, те, кто особенно рьяно кричит о неблагодарности, сильно ошибаются насчет последствий, которые, по их мнению, должны проистечь из подобных жалоб. Помнится, есть у Сенеки изречение: «*Multos ingratos invenimus, plures facimus*»¹, т. е. в мире много неблагодарных, но мы плодим их больше, оценивая собственные заслуги по непомерно высокой шкале и умаляя стоимость получаемых нами наград. Когда предъявляемый счет превосходит разумные пределы, его либо оспаривают, либо урезают вдвое. Знал я некогда двух джентльменов, накопивших много взаимных счетов, и один из них постоянно наседавал на другого, требуя уплаты значительной суммы, а когда подвели итог с обеих сторон, оказалось, что с него самого причитается несколько сотен фунтов. Пожалуй, если бы объявили, что каждый человек может подать счет за свои заслуги, оценивая оные по самым низким, с его точки зрения, расценкам, какая огромная сумма стояла бы в этом счете и сколько островов не меньше нашего пошло бы с молотка, чтобы все эти счета оплатить! Я основываюсь в этом мнении на практике лиц, коим случается оплачивать себе самим оказанные услуги, причем, смею утверждать, им даже в голову не приходит взять хотя бы на фартинг больше, чем положено по их расчетам. Приведу еще один пример. Некая леди из числа моих знакомых положила откладывать из своего ежегодного содержания двадцать шесть фунтов на непредвиденные расходы, вверяя эти деньги своей камеристке с тем, чтобы та по мере надобности представляла их хозяйке или оплачивала ее распоряжения. И вот спустя восемь лет, когда произвели точный подсчет,

¹ О благодетелях. 1, 4



Джон Черчилль, герцог Мальборо

выяснилось, что камеристка расходовала четыре фунта в год, а остальные двадцать два опускала себе в карман. Ну а если, предположим, речь пошла бы не о двадцати шести, а о двадцати шести тысячах фунтов?! Из чего вы можете судить, как высоко ценятся нынче заслуги, особенно там, где своя рука владыка.

Quas res luxuries in flagitiis, avaritia
in rapinis, superbia in contumeliis
efficere potuisset; eas omnes se hoc uno
praetore per triennium pertullisse
aiebant¹.



Приступив к изданию сей газеты, положил я себе говорить в ней только о событиях, а личностей не касаться. Не могу припомнить, удалось ли мне исполнить мое намерение, да и не имею желания в том разбираться, предоставляя это делать тем крохоборствующим моим недоброжелателям, кои испытывают недостаток в предметах для критики. Я же пришел к такому заключению: писать — все равно что строить. И тут и там после всех планов и замыслов мы неизбежно обманываемся в своих расчетах и вынуждены хвататься за первый попавшийся материал, какой бы ни попал под руки, лишь бы не разладилось дело. К тому же, смею сказать, события, о коих мне приходится писать, столь нерасторжимо скреплены с личностями, что только Время — отец забвения — способно отделить одно от другого. Позволю себе привести некоторые параллели. Предположим, я пожаловался бы, что на прошлой неделе моя карета, запряженная очень смиренными лошадьми, чуть было не опрокинулась на ровной, хорошо убитой дороге. Мои друзья беспременно тотчас предъявили бы обвинение Джону, зная, что не кто иной, как он, держал в руках вожжи в тот день. Предположим далее, я вдруг, к величайшему своему смятению, обнаруживаю, что неиз-

¹ В три года одного его наместничества они испытали всё, на что способно сластолюбие по части разврата, жестокость по части мучений, алчность по части грабежей, высокомерие по части оскорблений.

Пер. В. А. Алексеева.
(Цицерон. Дивинация против Квинта Цецилия, 3.)

вестно каким образом оказался по уши в долгах, хотя твердо знаю: арендаторы мои платят ренту исправно, я же доходов своих не проживаю. Услышав это, мой друг, несомненно, посоветовал бы мне прогнать мистера Старолиса — сборщика моих доходов — и заменить его другим. Если, исправляя должность мирового судьи, я поведал бы приятелю, что выдаваемые мною ордера на арест и предписания о заключении в тюрьму постоянно заполняются совсем не так, как надобно, из-за чего я уже имел несчастье лишиться свободы честного человека и отпустить на волю негодяя, мой друг порекомендовал бы мне прежде всего перестать полагаться на Чарлза и Гарри, двух моих клерков, не только, по его мнению, невежественных и своевольных, но еще и спесивых молодчиков с весьма дурными наклонностями. И если бы я к тому же посетовал, что мои арендаторы не дают мне покоя, то и дело затеявая ссоры и свары, он, несомненно, предложил бы мне рассчитать Билла Двоеженца, которому я доверил управление своими поместьями. И, наконец, случись между моим соседом и мною недоразумение, ибо он не получил отправленного ему письма, что, скажите на милость, прикажете делать, как не задать трепку дрянному путанику — злобной каналье, взявшемуся оное доставить?

То же относится и к ведению общественных дел, коль скоро их вершат поспешно или своевольно, корыстно, невежественно или несправедливо, и достаточно упомянуть факты, пока они еще свежи в памяти, чтобы тем самым намекнуть на имеющие к ним касательство личности, как если бы мы полностью назвали их имена.

А посему вспомнился мне некий способ, часто практикуемый, при почти полной гарантии безопасности и с изрядным успехом, писателями-сатириками. Как-то: заглянув в историю, подобрать там персонаж, обладающий сходством с лицом, которое мы хотели бы описать. А поскольку нам не отказано в праве по мере надобности менять, добавлять или смягчать некоторые обстоятельства, то, думается мне, только при большом невезении и недостаточной сноровке можем мы не добиться желаемого результата. Однако, зайдя на днях в кофейню и заглянув в один из наших политических еженедельных листков, обнаружил я, что нашелся сочинитель, который сим ходом уже воспользовался: мне как раз попался на глаза столбец, где описывается некий господин, мало-помалу возвысившийся (если мне не изменяет память)

до коннетабля Франции и обвенчанный с очень надменной и властной особой. Причислив автора к друзьям нашей «клики» (ибо под таким учтивым иносказанием принято у нас выводить королеву и ее кабинет вкупе с большинством духовенства и девятьюдесятью нашего королевства), я сказал сидящему подле меня джентльмену, что, хотя мне совершенно ясно, какие лица имеются в виду, все же некоторые частности в характере супруга я затруднился бы признать, описание же дамы полагаю верным и точным. Но по-видимому, я ошибся, приписав то, что прочел, совсем иной паре лиц, нежели те, в кого метил сам сочинитель.

И вот, дабы избежать подобной осечки, я потратил немало времени на чтение Ливия и Тацита в надежде найти историческое лицо, которое совмещало бы в себе должности и звания. Но среди худших из худших так и не обнаружил ни одного, кого мог бы уподобить моему герою, не нанеся оскорбления памяти древних римлян, а посему вынужден я обратиться к Туллию. Поскольку же он излагает факты только как оратор, я счел за лучшее пойти по его стопам и сделал выборку из шести его речей против Верреса, сохранив присущую им форму обвинения. Правда, помнится, мой младший брат по перу, почивший месяца два назад, подарил миру речь Алквиада против афинского пивовара, а поскольку мне теперь доподлинно известно, что пива в Афинах никто не варил, то и выходит, что вся эта речь, или по крайней мере добрая ее половина, не более как фальшивка. Различие между мною и моим покойным братом состоит в следующем: у него Алквиад говорит много больше, чем тот на самом деле сказал, у меня Цицерон — много меньше. Сей Веррес был в течение трех лет римским правителем в Сицилии, и, когда по истечении того срока вернулся в Рим, сицилианцы умолили Цицерона предьявить ему в Сенате обвинение в государственных преступлениях, на что тот согласился, выступив против Верреса с несколькими речами, извлечения из которых я честно перевел и ниже предлагаю вниманию читателей.

«Господа сенаторы!

Некоторое время не только в Риме, но и у соседних с нами народов господствовало превратное мнение, будто, сколь бы ни провинился человек, владеющий изрядным богатством, Сенат его не осудит. Но как бы усердно ни распространяли сие мнение, бросающее на вас, господа сенаторы, позорную

ть, мы отдаем на ваш суд Кая Верреса, чья жизнь и дела вызвали всеобщее осуждение, хотя он и надеется — о чем не раз открыто заявлял, — что благодаря своему богатству будет вами оправдан. Творя над ним суд, вы имеете возможность изболочить повсеместно распускаемые слухи, восстановить доверие к правосудию, утраченное по вине прежних решений, и вернуть себе любовь граждан Рима вкупе с признанием жителей соседних государств. Я отдаю на ваш суд, господа сенаторы, человека, разграбившего народную казну, поправшего законы и справедливость, нанесшего бесчестье Сицилианской провинции и явившегося причиной ее разорения. Если, вынося ему приговор, вы поступите по справедливости и с должной строгостью, то тем самым подтвердите значение ваших полномочий и поставите их на ту основу, на которой им надлежит быть. Если же несметные его богатства сумеют умалить священный трепет и правдолюбие, подобающие столь великому и грозному собранию, я, со своей стороны, скажу так: пусть взимают убытки с тех, на ком их надлежит искать, и пусть не говорят, будто преступник не был предан суду или не нашлось никого, кто предъявил бы ему обвинение. Сей Веррес, господа сенаторы, публично заявил: «Пусть боится обвинений тот, кто ворует лишь себе на жизнь и пропитание; я же награбил столько, что хватит подкупить многие тысячи, а в мире нет ничего, что нельзя было бы купить». Выбейте из-под него сию опору, и он останется ни с чем. Ибо какое красноречие способно обелить человека, чья жизнь запятнана бесчисленными грязными пороками, человека, которого давно уже признал виновным весь мир? Не будем касаться ни до гнусностей и непристойностей, замаравших его юность, ни до продажности при исполнении ранее возлагавшихся на него обязанностей, ни до вероломства и безбожия, ни до чинимых им несправедливости и притеснений. В Сицилии он оставил такие неизгладимые следы своих злодеяний, учинил там за время своего правления такое чудовищное разорение и опустошение, что теперь ничто не вернет сию провинцию в прежнее ее состояние, и даже долгие годы правления многих хороших правителей едва ли помогут вновь стать такой, какой она была. На протяжении трех лет его правления сицилианцы не только не пользовались добрыми законами нашей Республики, но и своими, и даже общечеловеческими. Нынче житель Сицилии владеет только тем имуществом,

какое почему-либо не прельстило сластолюбия и алчности правителя или которым, переутомившись и пресытившись поборами, он попросту пренебрег. Всем, что оказалось в пределах его полномочий, он распоряжался по собственному произволу, а с вернейшими подданными поступал как с врагами. Ни одно благопристойное ухо не способно выдержать рассказ о его чудовищных оргиях, а многие так и не уберегли от его любострастия ни жен своих, ни дочерей. И, полагаю, среди тех, кому знакомо имя Веррес, вряд ли найдется человек, который не знал бы о его гнусностях и преступлениях. Мы отдаем на ваш суд, господа сенаторы, расхитителя народного достояния, развратника и прелюбодея, осквернителя алтарей, врага религии и всего, что священо для человечества. В Сицилии он торговал должностями в судах и приказах, назначениями в опекунский совет и государственный совет, и даже в самом храме продавая места тому, кто давал за них дороже, и таким образом наградил на этом острове сорок миллионов сестерциев. Не могу удержаться, чтобы не рассказать вам, господа сенаторы, как препроводил он свой день: утро отводилось им на взимание взяток и продажу должностей, остальное время — на попойки и разврат. Неприличие его застольных бесед вопияло к небесам, позоря достоинство данного ему сана, — вопли, брань, скабрёзности. Не могу также не упомянуть одной подробности: в священный день — день, отданный всеобщей молитве о сохранности и благоденствии нашей Республики, — этот человек, занимающий высокий пост правителя Сицилии, вопреки всем приличиям и пристойности, всем законам божеским и человеческим, повелел ввечеру отнести себя в паланкине к некоей замужней женщине, известной своим распутством. Уж не думаешь ли ты, о Веррес, что огромные полномочия в управлении Сицилией были возложены на тебя для того, чтобы данной тебе властью мог ты преступать все преграды, воздвигаемые законом, благопристойностью и долгом, считая достояние других людей своим, не оставляя ни одного дома, который не был бы жертвой твоего разбоя и бесчинства?» и т. д.

Сей отрывок, признаюсь по чести, стоил мне больших усилий, нежели он того, по-моему, заслуживает, а единственная польза от него та, что я убедился в невозможности — разве только прибегая к сочинительству и вымыслу — проводить параллели между развращенностью древних и

нынешней. Например, мне ни разу не доводилось читать о законе, лишающем силы все ранее принятые, — законе, по которому человек мог безнаказанно совершить преступление в конце июня, за каковое неминуемо был бы повешен, соверши он его 1 июля, о законе, по которому закоренелые преступники могут уйти от наказания, если только останутся у власти достаточно долго, дабы объявить совершенные ими преступления неподсудными за давностью лет или же, слегка затушевав свои дела и отодвинув рассмотрение их на необходимый срок, подвести под амнистию, хотя объявившие ее вовсе того не желали. Любой не лишенный разума купец непременно всполошится, узнав, что слывающий хитрецом и пройдохой малый, за которым остались непогашенными давние счета, хлопчет о прощении ему всех долгов. И когда я размышляю о подобных уловках, то не удивляюсь, что те, кому пришло на мысль заставить парламент очистить их от старых грехов, теперь боятся, как бы новая перемена власти не очистила им карманы от награбленных денег. Что же, если бы удалось придумать такое средство, которое чистило бы только те карманы, куда деньги попали путями несправедливыми, оно, возможно, нашло бы себе изрядное применение.

21 декабря (четверг), 1710 г.

№ 20

*Pugnacem scirent sapiente minorem.*¹



Р

ешив продолжить в нынешнем выпуске разговор о предмете, вернуться к которому побуждает меня некое недавнее происшествие, нахожусь я в большом затруднении, ибо предмет сей — солдаты и армия А поскольку материя эта никак не связана с родом моих занятий, я буду обращаться с ней со всей возможной осторожностью.

¹ [Знают, что] задиричивый мудрого ниже.

(Овидий. *Метаморфозы*, XIII, с. 354.)

Пер. С. Шервинского.

Общеизвестно, что военное искусство, преобразуясь из века в век и почти в каждой известной в мире стране, претерпело значительные перемены. Существует, однако, несколько положений, до него касающихся, которые остаются неизменными, и разумный человек не может с оными не согласиться.

Во времена Древней Греции и Рима армии этих государств состояли из граждан, не бравших платы за ратный труд, ибо они сражались за кровное свое дело, и посему война обыкновенно оканчивалась за один поход, а если длилась дольше, то на зиму воины возвращались к своим различным занятиям и ничем не отличались от прочих жителей страны. В средние века европейские королевства и княжества были сугубо военными формированиями, тем не менее они в основном следовали тому же принципу. Ограничусь в качестве примера Англией. Всем, кто владел землей, дарованной королем, надлежало помогать ему в войне, снаряжая определенное число ратников из людей, пользовавшихся их землями на условиях небольшой ренты и воинской службы. Платы за нее не полагалось, и, когда война заканчивалась, они возвращались к своим наделам. Известно, что Уильям Руфус отбыв в Нормандию, где вел с братом войну, приказал собрать и доставить туда из Англии двадцать тысяч воинов, коими намеревался пополнить свою армию. Однако, заключив мир прежде, нежели они успели отплыть, он милостиво разрешил им разойтись по домам, взяв с каждого по десять шиллингов откупного, что составило в целом весьма солидную, по тем временам, сумму.

Если рассматривать жителей королевства как большую семью, а государя как отца ее, то совершенно ясно, что наемные войска суть слуги, вооруженные им либо с целью держать в страхе детей своих, либо для того, чтобы защищать их от захватчиков, тогда как семья, обремененная иными занятиями, предпочитает, дабы не бросать в небрежении дела свои, нанять защитников, заплатив им из полученных ею доходов. Обычай делать участие в войне ремеслом, равно как держать наемные войска, проистекает, по-видимому, в Европе из двух источников. Первый — узурпация власти, когда снискавший широкое признание деятель, уничтожив в стране свободу и захватив в свои руки власть, вынужден был, дабы закрепить ее за собой, окружать себя наемниками, державшими народ в узде. Так в древности действовали тираны, правившие в большей части греческих госу-

дарств; так же три-четыре века назад вели себя, как поведал об этом Макиавелли, властители итальянских княжеств. Второй источник следует искать в больших королевствах или республиках, которые, покорив себе далекие провинции, были вынуждены, опасаясь восстаний туземного населения, размещать там войска. Так в давние времена поступали Македония, Карфаген и Рим, а ныне Венеция и Голландия, равно как и большая часть европейских королевств. Таким образом, наемные армии в свободном государстве, будь то монархия или республика, нужны ему, по-видимому, либо для того чтобы сохранять за собой завоеванные страны (число которых им вряд ли разумно слишком умножать), либо для ведения военных действий в отдаленных пределах.

Для последнего случая — а в настоящее время он представляет для нас особый интерес — существует несколько правил, которым все мудрые правительства неизменно следовали.

Первым упомяну следующее: ни одно частное лицо, каковы бы ни были его достоинства и заслуги, не должно получать полномочия верховного военачальника пожизненно. Если же, вопреки неблагоприятности такого поступка, государь согласится передать их в одни руки, то пусть уж (дабы не терять понапрасну время и не лить без надобности кровь) отдает заодно и корону. Римляне в пору наивысшего расцвета и совершенства своей государственности имели обыкновение назначать военачальником одного из вновь избранных консулов, посылая его сражаться против самого грозного врага, а прежнего отзывали нередко еще до очередных выборов и, коль скоро он того заслуживал, отправляли начальствовать в другой провинции, продлевая его полномочия когда на год, а когда и на два. И если бы Эмилий Павел, или даже сам Сципион, осмелился бы, оказав давление, добиться от Сената пожизненного назначения, то пал бы жертвою народного недоверия. Правда, Цезарь (между которым и одним нашим полководцем была недавно, хотя и с некоторыми оговорками, проведена параллель) добился все же продления своих полномочий в Галлии на пять лет и впоследствии стал пожизненным диктатором, т. е. пожизненным военачальником, тем самым обретя волю и силы полностью уничтожить свободу Рима. Но к этому времени римляне были уже не те: тяжкие пороки разъедали их

благонравие и стремление к порядку. Тем не менее в них еще сохранилось достаточно высокого духа, ибо, когда Цезарь, находившийся в Галлии, потребовал, чтобы его избрали консулом, ответом ему было: пусть явится в Рим собственной персоной, снимет с себя военачалие и *petere more majorum*¹.

Вполне может статься, что, добиваясь пожизненных полномочий, военачальник действует так без корыстного умысла, а либо по подстрекательству друзей или, возможно, врагов, либо ради высокой чести подобного положения, не имея в виду никаких пагубных перемен. В подобном случае мудрый государь попросту откажет ему в сих притязаниях, не выказывая даже знаков неудовольствия. Но сама такая просьба преступна уже по одной своей природе и должна быть как таковая занесена в государственные анналы, дабы впредь никому не было повадно ее повторять.

Второе правило, коему необходимо следовать свободной стране, ведущей войну, состоит в том, что военные власти должны находиться в полном подчинении у гражданских, ни под каким видом не допуская наималейшего давления на последних или же вмешательства в их распоряжения. Военачальник и его армия суть слуги, нанятые гражданскими властями, чтобы действовать по их указаниям и в пределах отведенных ему полномочий, широких или малых, какими правительство сочло нужным сего военачальника наделить, ибо и он, и его солдаты щедро оплачиваются прибылями и почестями. Вся система управления армией в корне чужда той, которая существует в светских учреждениях, поставленных исполнять законы; и коль скоро найдется сенатор, который, соблазнившись обильным вознаграждением, пожелает занять военный пост, пусть на время исполнения одного сложит с себя все иные обязанности. Я не знаю людей других званий, которые были бы столь же склонны, как военные, обрушиваться на каждого, кто осмеливается коснуться их ремесла. Стоит им услышать в кофейне, как кто-либо из нас, статских, посетует, почему-де там-то или там-то не одержали победы, или вздохнет по поводу того, что, взяв такой-то город, потеряли на этом больше людей и денег, чем он того стоит, или же скажет, что вот-де вновь упустили случай вступить с неприятелем в бой, как военные тотчас объяснят нам, часто с полным на то основанием, что

¹ Добивается должности по обычаю предков (лат.).

мы вторгаемся не в свое дело, и, перечислив все до единой наши ошибки в военной терминологии, в каковой мы ничего не смыслим, докажут это яснее ясного. И на этом дело не кончится, ибо они еще с величайшим презрением пройдутся на наш счет: не нам-де, сидящим дома в покое и безопасности, прилепившись к своим каминам, притязать на право судить о военном деле, о коем мы знаем лишь из книг и судим, исходя из общих умозрений. Меж тем, судя по тому, какую славную, говорят, долю внесли в сию науку презренные книжники, коим привелось оказаться на полях сражений, наука сия отнюдь не принадлежит к столь уж глубоким и трудным. Впрочем, даже если в том, что утверждают военные, было бы достаточно веса — как, возможно, оно в немалой мере и есть, — то и это ничего не меняет: все равно эти джентльмены не имеют никаких прав притязать на вмешательство в дела кабинета, каковые либо выше, либо шире пределов их служебных обязанностей. С тем же успехом могли бы они притязать на установление порядков в торговле, на решение философских вопросов, посредничество в собраниях духовных лиц, ведение дел в английском суде, а также прилагать свои дарования к рассмотрению государственных дел, особенно по части выбора министров, которые, заранее можно сказать, никогда не будут так дурно выбраны, как тогда, когда это будет происходить с благословения военных. Бесконечно число примеров, сколь пагубными оказались подобные шаги, предпринимавшиеся едва ли не во всех странах и во все века. Приведу из них лишь два: один из истории Рима, другой — Англии. Первый — это действия Цезаря, когда вместе со своими легионами явился он в Вечный город, дабы навести порядок в Сенате, и с тем свобода Рима окончилась навсегда. Второй относится к великому мятежу против Карла I. Когда король и обе палаты уже пришли было к соглашению касательно условий мира, офицеры армии (как повествует о сем Ледлоу) ввели в Палату общин караул и, потребовав список ее членов, насильно удалили из зала заседаний всех, кто был против суда над королем. Несколькими годами позже, когда армия установила свою власть и Англией стали управлять генерал-майоры, разве не оказались мы свидетелями потрясающих примеров их искусства в политике? Подобные грозные радетели о благе народном обыкновенно идут на вмешательство в дела правления по двум побуждениям. Первое — то, что двигало

Цезарем и Кромвелем, в каковом упаси меня господь кого-либо подозревать или винить, ибо и второе — когда стремятся оставить у власти только тех, кто стоит за бесконечное продолжение войны, не допуская возвышения других, готовых, по их мнению, употребить возможные средства, дабы добиться заключения долгого и почетного мира, — уже достаточно пагубно.

В третьих, поскольку в нынешний век в армиях склоняются в сторону большей человечности и более упорядоченного отношения друг к другу и к мирному населению, нежели в прежние времена, несомненно надобно взять за правило поддерживать в солдатах сей новый дух, без которого они вскоре превратятся в дикарей. С этой целью было бы разумным запретить, среди прочих дурных забав, обычай пить за погибель и вечные муки в геенне огненной кого бы то ни было из ныне здравствующих лиц.

Подобные безрассудные поступки вместе с некоторыми идеями, вбиваемыми в юные головы, и без того воспламененные молодостью и вином, легко могут разжечь пожар безумия и мятежа в целом лагере. Сколь редко уста их возносят молитвы, сколь часто извергают богохульные слова! Это даже не назовешь атеизмом, скорее поношением веры, столь угодным дьяволу, — поношением, которое иной, не лишенный здравого смысла атеист с презрением отвергает. Дошли до меня слухи, что прошлой осенью кое-где вошло в моду пить за погибель и вечные муки (сопровождая подобные тосты безобразными выходками) нового кабинета и всех тех, кто приложил руку к падению прежнего, иными словами, тех лиц, которым ее величество сочла возможным вверить правление государственными делами; причем не обошлось без намеков и на саму королеву. И если правда, что эти оргии сопровождалась весьма туманными клятвами в верности некоему полководцу (который, кстати, не сомневаюсь, пришел бы от них в ужас), нельзя не задуматься над тем, к каким последствиям могут привести подобного рода поверия, если дать им распространиться. Я, со своей стороны, могу только пожелать, чтобы ради чести нашей армии, равно как самой королевы и ее кабинета, применили бы против сей заразы действенные средства тогда же и там, когда и где она завелась. Если дать людям с подобными принципами проповедовать их в армии, закрепив за их военачальником, человеком честолюбивым и тщеславным, его пост пожизненно,

нам очень скоро придется распрощаться и с парламентом, и с кабинетом, будь то новый или прежний.

Мне только искренне жаль, что подобное происшествие случилось в конце войны, ибо в интересах прежде всего джентльменов, занимающих в армии различные посты, вести себя таким образом, чтобы побудить правительство обеспечить им сносное содержание, когда в их услугах уже не будут нуждаться. Не стоит ли им поразмыслить о том, что их образование не дает большого выбора занятий в мирной жизни? Тощий кошелек не позволит им оставаться на стороне партии, которую постигло падение, а отсутствие должного веса и дарований не даст возможности помочь ей подняться. Они будут зависеть от государя и членов парламента, к сердцу которых вряд ли найдут пути, провозглашая анафему кабинету, назначенному самой королевой и полностью отвечающему чаяниям народа. Кое-кто из их собратьев, пожалуй, истолкует сей злополучный случай как неопровержимое доказательство того, что политика не дело солдат, она не в их натуре. Однако в ходе военных действий некоторые лица возвысились до высоких рангов, получив право распоряжаться тысячами людей, и теперь весьма склонны перенести свои прерогативы в статскую жизнь, появляясь в различных обществах с таким видом, будто командуют полками, и позволяя себе такого рода манеры, с какими им лучше было бы расстаться во время короткого перехода в Харидж. Вспоминается мне диалог из Лукиана. Перевозя через Стикс одного из предшественников сих персон, повелел ему Харон скинуть броню и богатые одежды, но тот все равно оказался слишком тяжелым. «Эй, — говорит Харон, — сбрось еще свою спесь и наглость, да заодно цветистые речи и бахвальство, ибо все это тебе на той стороне реки не понадобится». Вот так-то. Если бы сей парад военного величия не выходил за положенные ему пределы, это было бы куда полезнее ее обладателям и куда менее оскорбительно для их сограждан.

Parva momenta in spem metumq;
impellunt animos¹.



людям, особенно сангвинического темперамента, свойственно предаваться надеждам, и среди различных перемен в ходе общественных событий надежды эти редко не имеют под собой почвы; даже в безысходных обстоятельствах, когда, казалось бы, нет никаких оснований на что-либо рассчитывать, они тем не менее склонны делать вид, будто не все еще потеряно, и стараются заставить противника думать, что располагают неизвестными ему ресурсами. Именно такую позицию заняли в последние месяцы те, кого, за неимением лучшего выражения, мне приходится называть членами поверженной партии. С момента ее падения помянутые джентльмены тешат себя надеждами, действительными и мнимыми. Когда убрали графа Сандерленда, они надеялись, что ее величество не пойдет на дальнейшие изменения в составе кабинета, и имели дерзость исказить ее слова, адресованные иноземным державам. Они надеялись, что не найдется человека, который осмелится бы предложить роспуск парламента. Когда же произошло и это, да к тому же еще и некоторые перемещения при дворе, они попытались нанести удар по государственным кредитам. Они также надеялись, что нас постигнет разгром за границей и мы будем вынуждены, дабы как-то выпутаться из тяжелого положения, от всего отречься и начать все сначала на продиктованных ими условиях. Но из всех их надежд, действительных и мнимых, нет более бредовой, нежели та, с которой они сейчас, по-видимому, особенно носятся, а именно:

¹ И страх, и надежда порождаются малым (лат.).

великая перемена в государственных делах совершилась-де единственно потому, что народ вдруг помрачился в уме, но, дай только срок, снова войдет в разум — у людей откроются глаза, и они, поостыв и протрезвев, увидят подлинную правду, поняв, как чудовищно их обманули! Вполне вероятно, что немногие наиболее прозорливые среди сих суемудрствующих отдадут себе отчет, насколько подобные чаяния тщетны. Что же касается до остальных, то даже умнейшие из них, по-видимому, никогда не умели трезво судить о склонностях народа, что и послужило главной причиной, ускорившей их падение. Ибо несомненно, если бы им хватило ума отгадать, какое русло изберет народ, они ни за что не пошли бы против течения и не выступили с известным обвинением. А посему я вывожу заключение, что в главных вещах они безнадежно слепы, отчего и тешат себя несусветным вздором: сейчас-де народ Англии помешался рассудком, но не сегодня-завтра вновь войдет в разум.

И вот ради пользы столько же противников наших, сколько и друзей, я позволю себе кратко исследовать сей вопрос, показав, каковы причины и симптомы умопомрачения целой нации и в чем отличие оно от естественных ее склонностей и стремлений.

Не кто иной, как Макиавелли, заметил, что народ, коль скоро дать ему возможность решать свои дела самому, редко когда ошибается по части собственных своих интересов; люди искренне любят те уложения, при которых родились, и не желают перемен, разве только под крайним давлением. Однако их можно обмануть, для чего существуют многие способы. Сколько раз бывало в Греции, а иногда и в Риме, что те самые граждане, которые споспешествовали свержению тирании, затем не только не возрождали попранные ею уложения, но ввергали народ в еще худшее и более позорное рабство. Сверх того, существенные перемены оказывают на государства действие, сходное с тем, какое гроза производит в жидкости: вся муть подымается на поверхность — самая низкая чернь оказывается во главе государства и, дабы удержаться у власти, спешит выставить знатные роды и иных приверженцев прежнего правительства врагами нации. Другое испытанное средство для обмана народа — содействие новым таинствам и поклонение новым богам якобы с целью очищения религии. Не говоря уже о таком приеме, как лживые сообщения о внешних опасностях, угрожающих

стране из-за рубежа, которые часто служат для того, чтобы помешать народу справиться с внутренними врагами. Благодаря этим и другим сходным маневрам вкупе с глубоким падением нравов и бездеятельностью или продажностью должностных лиц удавалось иногда довести народ до такой степени умопомрачения, что все здание отменно налаженного правления разваливалось на куски. Но какой бы силой ни обладало сие искусственно вызываемое безумие и к чему бы ни побуждало человеческую природу, при мудром и твердом государе оно быстро само себя изживало, затихая, как море после бури, вслед за чем проявляются истинные склонности и дух народа. Как древняя, так и новая история полны примеров, подтверждающих все вышесказанное. И здесь, на нашем острове, мы были свидетелями длительного умопомрачения народа, которое, поддерживаемое, словно одурманивающими средствами, тысячью уловок, привело к уничтожению наших уложений. И все же ненависть истощилась, настроениям, разжигающим ее, пришел конец, и, прежде чем узурпаторы успели соорудить новые ковы, народ, вдруг излечившись от безумия, вернул себе свои уложения мирным путем.

Из изложенного мною выше нетрудно заключить, является ли последняя перемена в расположении народа следствием нового умопомрачения или избавлением от оногo. Не вижу также доказательств в пользу того, что сия перемена, с какой стороны ни возьми, обнаруживает хотя бы малейшие умопомрачения, даже ежели я ошибся в ее описаниях. Общепризнано, что нет лучшего способа верно оценить расположение народа, как подсчитать, за кого отданы на выборах по графствам голоса, а на последних выборах пять шестых избирателей высказали полное одобрение нынешним переменам, и это при том, что двор, никоим образом не желая использовать свое влияние, не произвел никаких перемещений в адмиралтействе и почти никаких в армии, да и иные способы воздействия также нигде не применялись. Свободные, никем не вынуждаемые приветствия, поступившие недавно изо всех концов королевства, ясно показывают, какой путь избран народом и по каким мотивам. Другим неопровержимым доказательством явились выборы в Палату общин от округов Лондона, которые вопреки всем предположениям оказались неблагоприятными для Английского банка и Ост-Индской компании. Сверх того, и сами виги

всегда признавали, что большая часть землевладельцев держит сторону ториев. Следственно, нельзя не сделать заключения, что нынешняя перемена, независимо от того, насколько она хороша и разумна, согласна с духом народа и его расположением.

Тем не менее мы беспрестанно слышим, как сторонники бывших правителей серьезно и решительно заявляют, что нынешний кабинет ни под каким видом не удержится у власти. Те, кто это утверждает, если только сами тому верят, основываются, надо полагать, в своих предсказаниях на убеждении, что беззаконие, чинившееся при бывших министрах, окончательно утвердилось и пустило такие крепкие корни, и, каковы бы ни были усилия честных людей, им не вернуть прежний порядок вещей. Или же за двадцать лет дурного правления господя суемудрствующие так привыкли принимать черное за белое, что забыли, в чем суть наших уложений, и теперь рассуждают так, словно наша монархия и Революция начались совместно. Но народ в своем большинстве мудрее их и, делая свой выбор, показал, что понимает, в чем суть наших уложений, и что желает вернуть им прежнюю форму; если новые министры сумеют сие осуществить, они будут достойны удержаться и удержатся у власти, а не сумеют — пусть отправляются по стопам своих предшественников. Но, думается мне, нетрудно предсказать, чем займется свободно избранный, без угроз и подкупов, парламент, когда ни один человек не будет страшиться потерять место за то, что свободно отдал свой голос.

Но кто они — эти злопыхатели, вещающие повсюду о том, что нынешнему кабинету не удержаться у власти? Не иначе как те, кто боится, удержишься он у власти, быть призванным к ответу; или же те, кто, заняв должности, от которых отстранили более соответствующих им людей, теперь с полным на то основанием полагают, что их могут выставить за дверь, заместив особами, поистине достойными, ибо, возможно, понадобится произвести некоторые перемены, чтобы дела и занятия наши могли беспрепятственно развиваться; или же, наконец, биржевая шушера — маклеры, усердно распускающие такого рода слухи в надежде на падение акций, которые станут с выгодой скупать их дружки.

Тем не менее подобные надежды терпимее, когда их выражают открыто и прямо, нежели когда преподносят в

виде и под предлогом опасений. Кое-кто из помянутых джентльменов взял себе моду, попав в соответствующее общество, сокрушенно покачивать головой и вопрошать, чем же все это кончится? Они-де изболелись душой за нацию: ведь совершенно ясно, что в сложившихся обстоятельствах невозможно сохранить государственный кредит; остается молить бога, чтобы все это как-нибудь обошлось, неважно в тех или иных руках, к тому же очень, очень подозрительно уж не стоит ли за всем этим Претендент! Все это как нельзя более напоминает поведение иных людей у постели больного друга, в чьей смерти они заинтересованы, — поведение, которое мне не раз приходилось наблюдать. Напрасно врачи уверяют, что не приносят вреда своим искусством, что симптомы улучшились, а лекарства оказывают должное действие; друзья остаются безутешны. «Конец его близок, — перешептываются они между собой, — ему уже не подняться, смерть витает у него за спиной, а этот лекарь мне с самого начала не нравился». Но вот больной поправляется, и радость их так же фальшива, какова была их скорбь.

Даже сангвиник из сангвиников, полагаю, не стал бы ожидать, что свершившаяся перемена может обойтись без дурных последствий — в ничтожной мере по сравнению с хорошими. Однако совершенно очевидно, что первых оказалось много меньше, да они и не столь существенны, чем те, какие ожидали, — со страхом наши друзья, с надеждой — враги как внутри страны, так и за ее пределами. Средства, которые возрождают силы в недужном теле, поначалу причиняют ему больше страданий, нежели сама болезнь, но тот, кто слишком медлит с их применением, обрекает себя на верную смерть. Сейчас акции упали, а займы, говорят, поступают медленно. Но помимо того, что те или иные невзгоды должны были на нас обрушиться, независимо от перемены правления, помимо того, что любая перемена, будь то к лучшему или к худшему, уже по причине своей внезапности неизбежно сказывается на кредитах, в данном случае существует еще одна причина, столь же явная, сколь и неблагоприятная. Когда партия вигов держала бразды, те, кого именуют ториями, не придерживались обыкновения выражать свой протест, играя благополучием нации, а от всего сердца содействовали общему делу. Ныне же картина изменилась: члены поверженной партии действуют из противоположных принципов, не стесняясь, заявляют, что поприверженат свои капи-

талы, и предпочитают оставаться в стороне, в чем по данному пункту оказались в одном лагере с папистами и якобитами. Что, спрашивается, стало бы со всеми нами, если бы те, кто нынче составляет большую часть нации, действовали подобным образом в годы правления прежнего кабинета? Действовали бы так, пока кое-кто еще не успел заполучить в свои руки богатство, выжатое из землевладельцев, а теперь, пользуясь этим, позволяет себе попираť интересы королевства.

Вот все, что я счел возможным сказать по данному поводу, безо всяких намеков на кого-либо; впрочем, я и прежде это очень редко делал, лишь тогда, когда речь шла о людях, столь известных своей развращенностью, что никакая огласка не могла уже им повредить. К тому же, поскольку подобный дар мне очень мало по вкусу, я предпочитаю писать о предметах, для которых в нем чаще всего нет нужды. Я открываю людям глаза на то, к чему приводят тщеславие и алчность, мздоимство и продажность, безнравственность и безбожие, и даже те, кто наименее сведущ в том, что творится на свете, легко понимают, куда это все отнести. Не то чтобы я придавал большой вес недовольству лиц, ополчившихся на меня за мои памфлеты: кому же из тех, кто обвиняет меня во всех грехах, неизвестно, что первым начали войну писатели противной стороны? Не говоря уже о бесстыдных пасквилях давних лет, открыто нацеленных против отдельных лиц, разве мало выходит нынче еженедельных листков, полных грубой брани, поносящей нынешних министров, где их имена обозначены первой и последней буквами, дабы ни у кого не возникло наималейшего сомнения, о ком там идет речь. Не мешало бы показать сим бумагомарателям, что у нас нет недостатка ни в решимости, ни в материале, чтобы нанести по ним ответный удар, и посему — единственно с этой целью — я последую их примеру, коль скоро они окончательно меня выведут из себя. Правда, с тою разницей, что, какое бы обвинение я им ни предъявил, общее или частное, оно будет непогрешимо справедливо, основано либо на общепризнанных неоспоримых фактах, либо на сведениях, в которых я твердо уверен.

И в заключение. Считая необходимым публично признаться в любой совершенной по моей вине ошибке, покорнейше прошу читателей простить мне весьма значительную оплошность, допущенную мною при сообщении о некоем

происшествии, о котором в одном из предыдущих выпусков было сказано, что оно касается до собора в Глостере. Бездна погрешностей в двух словах! Ибо, как мне с тех пор стало известно, не до собора, а до церкви, и не в городе Глостер, да и не в графстве, а в епархии. Смею заверить, что если что-либо из мною напечатанного вызвало бы впредь равные по важности возражения со стороны читателей — пусть даже самого низкого состояния, — я не премину им ответить.

№ 26

1 февраля (четверг), 1710 г.

Ea est autem Gloria, laus recte factorum, magnorumque in Republicam meritorum: quae cum optimi cujusque, tum etiam multitudinis testimonio comprobatur ¹.



Меня все время не покидает мысль, как выгодно положение писателя, ратующего за дело поверженных. Мне вспоминается проповедник из числа фанатиков, который решил было перейти в лоно англиканской церкви, но по зрелом размышлении отказался от сего намерения, рассудив, что лепта, приносимая взысканными благодатью божией, — деньги куда более легкие и приманчивые, нежели выжатая из прихожан десятина. Он, несомненно, поступил разумно, а случаи эти являют собой парал-

¹ Но слава — это хвала за справедливые деяния и великие заслуги перед государством; она утверждается свидетельством как любого честного человека, так и большинства.

Пер. В. О. Горенштейна.
(Цицерон. Первая филиппика, 1, 29. — В кн.: Речи. М., 1962, т. 2, с. 281.)

лель. Если вы пишете в защиту побежденной (поверженной) партии, вам определяют вознаграждение как человеку нужному; все, что от вас требуется, — это задирать и лаять тех, чье перо служит противной стороне; и ваша партия как один человек, без сомнения, будет прославлять вас и носить на руках. Вы можете утверждать и отрицать что угодно, не заботясь об истине или правдоподобии, ибо возражать вам — пустая трата времени. Сочувствие публики чаще всего на вашей стороне; и вы притязаете на репутацию человека честного и бескорыстного: ведь вы не оставили друзей в беде. А если им потом посчастливится вновь подняться наверх, за вами окажется гора заслуг — прочный фундамент, чтобы построить на нем состояние. Сверх того, вы всегда с головой обеспечены материалом: каждый тащит вам свою долю, хотя правды там, естественно, куда меньше, чем лжи. Не станем говорить о несравненном удовольствии возводить клеветы на власти предержавшие и, затаившись в уголке, упиваться тем, что совершил такой подвиг.

Совсем иное дело с нами — писателями, добровольно взявшимися служить процветающему кабинету, который пользуется полным доверием королевы и любовью народа за то, что не преследует ни темных целей, ни опасных намерений, а постоянно и всеми силами печется о подлинных интересах как первой, так и последнего. И по этой причине такому кабинету редко когда требуется или желанна наша помощь; мы можем писать и писать, доколе не опостылеем миру, но это не даст нам и надежды на теплое местечко или пенсию. Сверх того, нам отказано в общепринятом преимуществе, вытекающем из принадлежности к партии: безусловном превознесении наших творений ее приверженцами. Читатели с нашей стороны не дают нам ни малейшего спуска, и им так же трудно угодить, как если бы мы выступали против них, и наши газеты расходятся лишь сообразно своим достоинствам. К тому же и назначение усилий тех, кто пишет для поверженной стороны, много выше, нежели наши: их писания подобны сердечным каплям для умирающих, которые надобно принимать постоянно, меж тем как наши, заимствуя выражение из Евангелия, — всего лишь «пища для младенцев». Во всяком случае, все, на что я могу притязать, — это открывать глаза несведущим и живущим вдали от событий, тогда как их задача — поддерживать дух целой партии.

Могу ли я, придерживаясь подобных мнений, сердиться

на сих джентльменов за то, что они, не переставая, ополчаются на меня в печати: что ж, в этом они главным образом черпают темы и к тому же находят для себя подходящее занятие. Не примите за позу или, того хуже, за презрение к ним то, что я воздерживаюсь от ответа. При сложившихся обстоятельствах мы выступаем каждый на своем поприще. Моя забота — обличать злоупотребления прежнего кабинета и тем самым разрушать заблуждения несведущих о событиях и людях; их — прикрывать, насколько сие возможно, фиговыми листками изъяны своих друзей. Я излагаю известные мне факты и представляю свои доводы, и больше мне сказать нечего; их задача — отрицать и опровергать, предоставляя миру судить, кто прав. На их месте я, без сомнения, постарался бы прежде всего разнести «Исследователя» в пух и прах, так что не могу не одобрить такой план действий. К тому же у них, что и говорить, есть и другая причина без устали бросаться на мою газету: они во всеуслышание печатно отнесли ее авторство на счет одного на редкость остроумного джентльмена — человека, снискавшего в мире большое и весьма заслуженное признание как своими поэтическими произведениями, так и дарованиями на общественном поприще. Они оказались достаточно умны, чтобы сообразить, какой вес придаст их деятельности хула и брань, слетевшие с такого пера, и посему употребили все виды подстрекательства, какими обыкновенно пользуются прозябающие в неизвестности доктринеры, которые рады погреться в лучах славы знаменитого противника. Каким же тонким чутьем обладают сии пронизательные критики, берясь обнаружить автора по стилю и образу мыслей! Излишне также упоминать, с какой справедливостью и порядочностью использовали они все избитые непристойности, дабы очернить газету, а затем швырнуть наугад всю грязь в человека, совершенно к ней непричастного и повинного разве в том, что он слишком благородно относится к своре, главари которой обходятся с ним совсем иначе.

Забота о благополучии и добром имени столь почитаемого всеми джентльмена в конце концов побудила меня, в ущерб собственным интересам и склонностям, известить сих разгневанных джентльменов о том, кто *не является* автором «Исследователя». Ибо, согласно моим наблюдениям, это заблуждение уже начало распространяться, а я предпочту пожертвовать честью, которую снискал изданием этой газе-

ты, нежели допустить, чтобы неразумные головы приписывали достопочтенному джентльмену занятие, которого он, возможно, имел бы основание стыдиться. За всем тем я торжественно обещаю никогда впредь не беспокоить упомянутых защитников, предоставив им полную возможность в голос вопить на «Исследователя», коль скоро они или их клика находят в этих воплях облегчение, как находят его все страждущие, например мужчины — при подагре, женщины — при родах.

Должен признать, однако, что я и сам обязан им одной мыслью, которую постараюсь развить, правда, с иной стороны. Со времени падения прежнего кабинета то и дело попадают мне на глаза тьма листков, в которых поют ему славословия, подражая, надо думать, тем, кто пишет Жизни великих людей, где за датой смерти сразу же следует перечень их совершенств. Когда я увидел злополучный набор взятых наобум добродетелей, то подумал, что составители сих панегириков перемешали имена на манер жребиев, брошенных в шапку, предоставив тянуть их своей клике и друзьям. Крассу достались щедрость и признательность; Фульвии — смиренность и кротость; Клодию — благочестие и справедливость; Гракху — верность государю; Цинне — любовь к отечеству и конституции и тому подобное. Или, дабы покончить с сей аллегорией, в последнее время мне сплошь и рядом доводилось видеть, как ловкие наемники превозносят всех без разбору министров из низложенного кабинета за те самые качества, которых, по признанию их же почитателей, им как раз и не доставало. Может быть, занимая высокие посты, наши герои сняли с себя груз добродетелей и прибрали под замок, а теперь, оказавшись не у дел, снова ими украсились? Но если они и прежде ими блистали, то, без сомнения, под плотным слоем величия, ни разу не давая знать миру об их существовании, тем паче — влиянии.

Однако почему бы нынешнему кабинету не обзавестись пером, которое хвалило бы его так же, как хвалили прежний? Вот я и решил выступить в этом качестве, и, пожалуй, мои суждения о новых министрах — суждения человека, им никогда не славословившего, — окажутся более иных беспристрастны. Уже полгода, как я по собственной воле взялся защищать их интересы, сумев с помощью королевы и большей части — в девять десятых — жителей ее королевства отбить нападки сброшенной народом клики ненавист-

ных политиканов с целой сворой борзописцев во главе. Мои же подзащитные настолько далеки от мысли наградить меня за оказанные им услуги, что и по сей день не удосужились справиться у типографщика, кто я такой. А ведь были годы и кабинет, при котором лицо, вполнину столь же достойное и значительное, получило бы с полсотни посулов и обещаний, а в недавнем времени и пенсию, из коей по крайней мере первая четверть была бы честно выплачена. А посему позволю себе поддаться обиде и, хваля тех, кто нынче стоит у кормила власти, указывать также и на их недостатки.

Можно ли сыскать человека более выдающегося в своем роде занятий, нежели нынешний Лорд-хранитель печати, или же более известного в Палате общин красноречием и непревзойденными талантами? Даже враги его вряд ли станут отрицать, что он полностью соответствует той высокой должности, которую ныне украшает! Но за всем тем приходится признать, что он круглый невежда по части полигамии как в умозрительном, так и в практическом смысле; что не знает, как обращать разумного человека в сумасшедшего; не принадлежит к вольнодумцам и к тому же не обрел в себе смелости оказать покровительство какой-либо атеистической книге, поскольку, будучи высшим советником монарха, является ревнителем королевской совести. Тем не менее должен сказать, что в моих глазах сии недочеты не могут существенно запятнать, как это кое-кому хотелось бы, его доброе имя.

Тот, кто нынче стал Лордом-президентом Тайного совета, происходит от великого и знатного отца, а не от черни самого низкого пошиба. Многие годы возглавляя казначейство, он предпочитал обогащать государя, а не себя. Будучи на вершине монарших милостей и всеобщего почета, он пожертвовал высочайшей в государстве должностью, чтобы жить по велению совести и чести. Всегда был тверд во всем, что касается верности и религии, ревностно отстаивал прерогативы короны и охранял свободы народа. Но за всем тем лучшие друзья его вынуждены согласиться, что он не исповедует ни деизма, ни социанианства, никогда не беседовал с Толандом, дабы раскрепостить и расширить свой разум, избавив от вреда, нанесенного неправильным воспитанием, а также не сумел достичь того совершенства в любовных интригах, когда, желая без помехи владеть женой, делают банкротом и сажают в тюрьму ее мужа.

Нынешний министр двора всегда отличался острым умом и значительными познаниями, отменно умудрен и опытен в государственных делах, с самого начала предан подлинным интересам народа; трудно найти другое лицо, во всех отношениях более подходящее, для выражения достоинства высокой должности, на которую он назначен. Однако по части ораторского искусства уступает своему предшественнику.

Герцог Шрусбери сыграл большую роль в успехе нашей Революции, в служении которой не жалел ни жизни, ни состояния. Обладая многими завидными качествами, всегда пользовался любовью народа, но по части обходительности и приятности, а также пронзительности в политике, приходится сознаться, оставляет желать лучшего.

Мистер Харли удостоился чести трижды кряду быть избранным спикером Палаты общин; первым дерзнул возродить забытый в последние годы обычай обращаться к государю с почтением, положенным его высокому титулу. Несмотря на бремя многих обязанностей, лежащих на его плечах, в частной беседе непринужден и прост; широко образован сам и широкой рукой помогает и содействует образованию; неустрашим от природы и благодаря сознанию собственной честности бесребреник; неустанно печется об интересах государя и государства, несмотря на препоны. Дальновиден, умеет предусмотреть последствия хода вещей, что позволяет ему справляться с любыми трудностями. Надежен в дружбе и незлопамятен во вражде, готов забыть заведомые обиды не только ради общего блага, но и ради самой обычной приязни или заступничества. Тем не менее, вынужден признать, и он не чужд человеческих слабостей: самые горячие его почитатели не станут отрицать, что он не мастер ни в карты, ни в кости, а в скачках так и вообще ничего не смыслит. И еще: спасая миллионы народных денег, не задумывается над тем, скольким достойным соотечественникам он помешает нагреть на них руки. Есть и еще одно обстоятельство, которое, без сомнения, никак нельзя ему простить: он любит собирать у себя за столом служителей церкви и обходится с ними как с джентльменами.

Милорд Дартмут — человек большой учености, благоразумен, благожелателен, благороден, отличается добродетельностью и размеренностью в частной жизни, но страдает существенным недостатком, как-то: обращается со своими

клерками с большей учтивостью, нежели иные государственные деятели в его звании обходились с королевой.

Опуская остальных, я хотел бы заключить сию характеристику нынешнего кабинета несколькими словами о мистере Сен-Джоне, который, с юных лет обратив данные ему природой таланты и достигнутые искусством совершенства на ведение общественных дел, снискал себе — в век, когда человечество поглощено в основном пустяками и глупостями, — признание при дворе и в парламенте. Нельзя, однако, не пожалеть, что он доньше так и не приобрел вид человека занятого и важного, а также не постиг начал высшей премудрости — умения быть недоступным. К тому же он явно так и не познал науки о том, как надобно пользоваться книгами, и вместо того, чтобы умножать их число на полках, зачитывает чуть ли не до дыр. Брал бы пример с некоего великого мужа из числа моих знакомцев, который знает иную книгу по корешку лучше, нежели друга в лицо, хотя ни разу не имел дела с первой, с последним же встречается изо дня в день.

№ 44

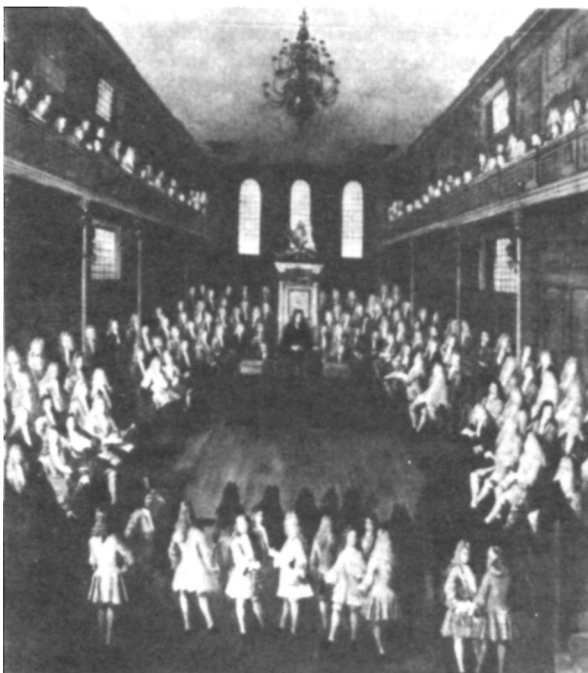
7 июня (четверг), 1711 г.

Magna vis est, magnum nomen,
unum et idem sentientis senatus¹.



Всякий, кому памятны бурные обвинения и клеветы, искусственно раздуваемые страхи и подозрения, гнусные измышления касательно отдельных лиц и событий, вдохновлявшиеся и раздувавшиеся главарями и приспешниками некой партии при отставке прежнего кабинета и роспуске парламента, не может, любя свое отечество, не испытывать огромного удовлетворения —

¹ Велико могущество, велика слава единодушного в своих решениях сената.
(Цицерон. Третья филиппика, 32.)



Заседание Палаты общин

пусть даже с примесью некоторого негодования — при виде того, что желания и предсказания иступленной клики ни в чем не сбылись, а усилия ее ни к чему не привели. Все это крайне напряженное время ушло на восстановление прерогатив государя и свобод его подданных, на исправление прежних злоупотреблений и пресечение возможности новых, на штопанье старых прорех, обеспечение уплаты долгов, восстановление духовенства в его правах и заботу о нуждах церкви. И все это не вызвало ни одного из тех бедствий, на которые кое-кто рассчитывал, притворно вздыхая и ужасаясь.

Что до меня, то, должен признаться, при том шуме и спектаклях, которые устраивала оппозиция, я почитал сии трудности почти непреодолимыми, думая, что только крайняя необходимость могла оправдать столь решительный шаг.

Однако, когда мудрый государь стоит во главе достойного кабинета и свободно избранного Сената и все вместе служат подлинным интересам отечества, они являют собой огромную силу, и никакие интриги какой бы то ни было клики не могут ей противостоять. Добавим к сему еще один сильный аргумент, который наши противники провозгласили главным и справедливейшим из всех существующих, — *Vox Populi*¹, столь неоспоримо поддерживавший ту же сторону. Хотелось бы надеяться, что, когда отстраненные от власти политики всерьез призадумаются, они в конце концов придут к заключению, что пора утихомириться и поберечь свое суемудрие до лучших времен.

Приятно видеть, что те, кому мы главным образом обязаны сим шумом, кто внушал нам страхи, грозил опасностями, произнося зловещие пророчества, дабы запугать союзников, воодушевить французов и вселить ужас в несведущих соотечественников, пользовались теми же суждениями, которые сами же и распространяли, доказывая, что смена кабинета опасна и несвоевременна. Но когда нужно вымести сор, то чем насущнее такая необходимость, тем больше при этом подымается пыли, если же дом разваливается, то, производя ремонтные работы, увы, неизбежные, не обойтись без шума и непременно причинишь беспокойство соседям. Что же касается до ликования, охватившего Францию, коль скоро там и впрямь торжествовали, услышав о наших переменах, то радость французов основывалась на тех же надеждах, какие питали виги, утешаясь тем, что перемены в кабинете и парламенте неизбежно вызовут в стране хаос, увеличат наши разногласия и разрушат доверие к нам, в чем, смею думать, и те и другие на сегодняшний день уже разуверились.

Теперь, когда долгая, затянувшаяся из-за ряда обстоятельств и некоего непредвиденного происшествия сессия парламента подходит к концу, отдадим хотя бы малую долю справедливости этому замечательному собранию, перечислив несколько из великих, совершенных им на службе королеве и народу дел, каковые я ниже упомяну в том порядке, в каком они возникнут в моей памяти.

Из-за дисконта банкнотов, всегда считавшихся самыми

¹ Глас народный (*лат.*).

надежными из всех незыблемых ценностей, государственный кредит стал резко падать. Нынешний Лорд-казначей, а в то время член Палаты общин, предложил ввести такую меру: поднять стоимость их до номинальной, обеспечить оплату в звонкой монете, что было незамедлительно принято и остается в силе по сей день.

Британские колонии Невис и Сент-Кристофер были жестоко разграблены французами: все дома сожжены, плантации начисто уничтожены, а многие жители угнаны в плен. За последние годы они не раз тщетно обращались к нам за помощью. Парламент, отнеся их положение к случаям, требующим вспомоществования и милости, предоставил несчастным 100 000 фунтов в виде своего рода возмещения за перенесенные ими страдания.

Воспользовавшись Законом о натурализации, ряд лиц, коих голос нации уполномочивает меня назвать ее врагами, пригласили сюда множество чужеземцев различных вероисповеданий, которые получили в народе прозвище «палатинцы». Не будучи обучены никакому делу или ремеслу, они предпочитали не работать, а нищенствовать; не только заполнили наши улицы, но явились разносчиками заразных болезней, вследствие чего мы потеряли втрое больше коренных жителей, нежели приобрели чужеземных. Палата общин, дабы противостоять сему злу, провела билль об отмене Закона о натурализации, но он, к величайшему удивлению большей части англичан, не прошел через Палату лордов. В связи с этим я вынужден признать справедливыми упреки, брошенные мне одним из моих противников: в одном из предшествующих выпусков я выразил надежду, что помянутый закон будет отменен, чего, увы, не произошло. Тем не менее Палата общин позаботилась о том, чтобы значительное число сих чужеземцев отправилось восвояси, а приглашение их рассматривалось бы впредь как вредный для государства акт.

Введение избирательного ценза, лишаящего права быть избранными в парламент тех лиц, которые не владеют — непосредственно или же по наследству, дарственной и т. п. — земельной собственностью, является, пожалуй, надежнейшей из всех когда-либо предлагавшихся гарантий по сохранению наших уложений, которым в противном случае грозит опасность в недалеком будущем стать игрушкой в руках финансовых воротил. А поскольку львиная доля нало-

гов взимается либо с самой земли, либо с возвращенных на ней плодов, то будет лишь справедливым, чтобы лица, в чьей собственности она находится, распоряжались и тем, какая часть от получаемых с нее доходов шла на нужды общества. В противном случае подобные накопители смогут беспрепятственно взваливать на чужие плечи бремя, до которого сами не коснутся и пальцем.

Многие годы государственный долг, по причине нерадивости и продажности чиновников, ведавших национальными доходами, неукоснительно возрастал, а прежние министры, подобно беспечным гулякам, проматывающим отцовское состояние, были столь далеки от мысли об уплате его, что так и не решились подсчитать нужную сумму. Теперь же, как обнаружил парламент, оказалось, что тридцать пять миллионов вообще никак не обоснованы, а долг, лежащий на военно-морском ведомстве, ничем не обеспеченный, достигает девяти миллионов. Бывший министр финансов — человек, наделенный необыкновенными талантами в общественных делах, — предложил создать фонд для обеспечения уплаты долга, что ныне получило силу закона и, по-видимому, послужит к величайшему возрождению и утверждению кредита королевства. Мало того, наши законодатели назначили ревизоров для выявления имевших место злоупотреблений общественными деньгами и пресечения оных впредь.

Я уже упоминал — в одном из предшествующих выпусков — о решении парламента начать строительство пятидесяти новых церквей в Лондоне и Вестминстере, для каковой благочестивой и благородной цели создан особый фонд. Но, говоря о благочестивых деяниях, было бы несправедливым умолчать о том, с каким тщанием Государственный казначей относится к религии, распространяя свои заботы о ней и на соседнее королевство: так, несколько месяцев назад он склонил ее величество пожаловать ирландскому духовенству право на первые плоды и десятину, как ранее, что общеизвестно, добился его для духовенства Англии.

Акт о торговле в Южных морях, предложенный тем же лицом, чьи мысли постоянно и с неизменным успехом обращены на благо родной страны, с большой вероятностью обеспечит, если только будет надлежащим образом выполняться, большие выгоды нашему королевству и покроет неувядаемой славой нынешний парламент.

Я мог бы продолжить сие перечисление, упомянув также законы против чрезмерного увлечения азартными играми, пресечение скандальных мошенничеств с лжесмотрами гвардии, тщательное и действенное расследование Палатой общин ряда грубейших злоупотреблений. Я мог бы указать на справедливые и нелицеприятные решения по делам о махинациях на выборах — решения тем более знаменательные, если учесть примеры из недавнего прошлого и естественное желание за него расквитаться. Я мог бы рассказать, с какой радостной готовностью члены нынешнего парламента идут на огромные субсидии, с каким единодушием противостоят всем ухищрениям, предпринимаемым злобной и хитрой кликой, об их искреннем служении королеве и, наконец, об обращении Палаты общин к ее величеству, свидетельствующем о высоком духе и решимости этого благородного собрания залечить все язвы, нанесенные нам за длительное время дурного правления.

Не лишено вероятности, что, положившись на память, я опустил многие важные подробности; к тому же пределы моей газеты не позволяют мне притязать на большее, нежели самое общее и далеко не совершенное представление о том, как достойно сие великое собрание распорядилось доверием, оказанным ему свободно избравшим его народом; а также и о том, на что мы можем надеяться и уповать, вверив себя благочестию, мужеству, мудрости и верности безупречных патриотов, объединившихся в такое время, когда открыты все возможности для проявления их величайших способностей и дарований.

Засим, я полагаю, главная задача, которую я ставил себе, предпринимая сии выпуски, полностью мною выполнена. Большая часть англичан теперь окончательно убедилась, что, сменив кабинет и парламент, королева поступила в высшей степени мудро. Что при прежнем кабинете совершались всякого рода вопиющие злоупотребления, а в свое время предпринимались опаснейшие шаги против нашего государственного устройства. Нынешние же министры, по мнению всего королевства, прямо и честно исполняют свой долг перед королевой и отечеством, и даже злейшие враги не могут обвинить их во злодействе, алчности, тщеславии, надменности, чванстве или пагубных воззрениях на религию или правление.

Что до меня лично, то ничтожные шавки, которые посто-

Джонатан Свифт

янно набрасываются на все, что я пишу, причиняют мне не больше вреда, нежели глумливые гаеры-рабы, которые в старину сопровождали триумфальную колесницу, напоминающую полководцу, что и он не убежит тлена, — правда, все это была одна лишь видимость, несколько не прерывавшая и не портившая ему торжества. Тем не менее, если эти неукротимые критики преследуют меня со сходной целью, они ее уже достигли, ибо ничто так не тлит душу, как сознание того, что принадлежишь к одному виду с существами, способными, к стыду и позору человеческой природы, изрыгать столько непристойностей, несусветного вздора, лжи и наглых наветов.

Джозеф Addison

ЭССЕ ИЗ ЖУРНАЛА «ФРИГОЛЬДЕР»

№ LIV

Понедельник, 25 июня 1716 г.

— Tu, nisi veteris
Debes ludibrum, cave
Nuper sollicitum quac mihi tadium
Nunc desiderium,
curaque non levis.

Hor.¹



два ли не вся английская нация разделяется на вигов и тори, ибо немного найдется таких, кто держится в стороне, не приемля ни одного из сих именований. Казалось бы, мы вправе счесть, что всякий член сообщества, уверенно принимающий воззрения той или этой партии, глубоко их исследовал, обдумал и убедился в их превосходстве над принципами партии отвергнутой. Однако мы знаем, что большая часть наших сограждан послушна лишь предрассудкам, внушенным воспитанием, либо личным пристрастиям, либо уважению к тем, кто в сердце своем, быть может, и не разделяет мнений, прилежно внушаемых толпе. Более того, многие приверженцы одной из партий, несомненно, оказались бы согласными с противником, если бы им удалось выразить истинные свои чувства и высказать собственное мнение.

Однако разумному человеку следует вникать в воззрения, согласно коим он действует, и потому я выберу здесь несколько соображений, наиболее важных, дабы показать,

¹ Берегись! Ведь ты будешь

Только ветра игралищем.

О недавний предмет помысла горького,

Пробудивший теперь чувства сыновние.

(Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 62.)

что программа, связанная с именем вигов, превосходит достоинством программу тори.

Все станет ясным, когда мы подумаем о том, что получится, если мы доведем и те, и другие воззрения до крайнего предела. Сравнив наихудшие их последствия, мы убедимся, какие из них менее вредны и губельны. Рассмотрим же мнения обеих партий так, как они представляются противнику. Тори полагают, что виги ведут нас к пресвитерианству и республике, виги — что тори ведут нас к католицизму и деспотии. Предположим, что обвинения эти верны; что же предпочтительней для здравомыслящего человека — пресвитерианство и республика или папизм и власть тирана? Конечно, крайности эти ужасны, и все же не в равной мере: обе они омерзительны всякому, кто почитает государственность и любит нашу страну; но если бы одна из них стала неизбежной, кто не предпочтет рабству чрезмерную свободу и вере, ложно толкующей самые основы христианства, веру, отличную от нынешней лишь в частности?

Кроме того, вспомним нашу историю и поглядим, какая из этих программ приносила стране больше славы и благоденствия. Обратившись к правлению Елизаветы и Якова I (которых некий бесстыжий француз именует королем Елизаветом и королевой Яковией), мы увидим, что в первом случае возобладало воззрение вигов, во втором — воззрения тори. Елизавета смиряла католических государей, поддерживала голландцев, помогала французским протестантам и способствовала тому, чтобы Реформация смогла противостоять папизму во всей Европе. Преемник же сей королевы способствовал возвеличению короля-католика, порвал с голландцами, терпел усиление французов до той поры, когда уже поздно было что-либо сделать, и, наконец, предал короля Богемии, хотя этот государь, приходящийся дедом нынешнему нашему монарху, мог распространить протестантство по всей Германии. Нужно ли говорить о том, насколько разнились в эти царствования слава Англии, сила ее и торговля? Сравните к тому же, как повлияли на судьбы стран и протестантства король Карл II и король Вильгельм (всякий знает, какая из программ возобладала при каждом из них). Не стану связывать воззрения тори с тем, что творилось в царствование Якова II, если сами они не сопоставят воззрения вигов с незаконной властью Оливера; удовлетворимся тем, что правления эти ненавидимы и обличены разумными

и добронравными членами обеих партий. Однако имеется недавний пример, который будут с великой скорбью вспоминать и современники наши, и потомки; я говорю о влиянии тех и других воззрений во времена королевы Анны. Сколь славной была Англия перед всей Европой, когда возобладали виги! Сколь жалкой была она, когда верх брали тори!

Поговорю и о том, что воззрения вигов предпочтительней, когда речь идет о связи нашей с иноземцами. Протестантские государства Европы можно смело назвать беспристрастными судьями в споре обеих партий и благосклонными к нам, англичанам, ибо и мы — страна протестантская; но они всегда рады успеху вигов. Государства католические, презирающие и поносящие нас, как оплот ереси, ликуют, когда, в свой черед, власть берут тори. Пускай же всякий, кто лишен предрассудков и предубеждений, со всею честностью спросит себя, не разумны ли деяния партии, видящей в голландцах искренних друзей и союзников, вспомнив при этом, что они исповедуют протестантство, помогали нам в трудное время и, наконец, нимало не мыслят взять над нами власть. Пускай он подумает и о том, разумнее ли тори, ведущие столь крепкую дружбу с католической страной, которая жестоко гнала наших братьев по вере, пыталась век за веком завоевать наш остров и поддерживала дурного государя, хотя он сам отрекся от престола, а прежде того пытался лишить нас гражданских и религиозных свобод.

Сравним, наконец, плоды, какие приносят воззрения обеих партий здесь, среди нас, и в том, что касается короля, и в том, что касается народа.

Во-первых, поговорим о короле. Виги неизменно исповедовали лишь то повиновение ему, какое согласно с нашими уложениями, и соответственно действовали; тогда как тори, действуя ровно так же, мыслили иначе, признавая повиновение безоговорочное, что послужило соблазном, а после — привело к гибели тех, кто это принял. Не забудем и о том, как твердо и ревностно поддерживали виги будущую власть протестантской династии, другими словами — нынешнего короля. Я никогда не слышал, чтобы виг был виновен или заподозрен в попытках препятствовать такому престолонаследию или изменить его, когда оно уже вошло в силу. Надеюсь, изображение это заставит умолкнуть тех, кто, укоряя вигов, приписывает им склонность к республиканскому правлению или неповиновению королю.

Во-вторых, поговорим о народе. Каждому известно, что законы, в наибольшей мере споспешествующие счастью и благоденствию подданных, всегда принимал парламент, который враги его считали послушным лишь вигам, и кабинет министров, где заседали члены этой партии. Весьма примечательно, что тори вынуждены прибегать к сим законам в поисках защиты и убежища и косвенно воздают честь программе своих врагов, считая ее плоды более благотворными для счастья наших сограждан, чем свои собственные.

Надеюсь, я не должен напоминать о том, что повторяю едва ли не в каждом листке, а именно — что я нимало не считаю большую часть тори врагами нынешнего правления, под вигами же разумею лишь тех, кто верен нашим уложениям, как церковным, так и гражданским. Мы вправе полагать, что и те, и другие искренне преданы и стране, и вере, а разделением своими обязаны либо обстоятельствам, либо случайностям дружбы, но не существенным различиям взглядов.

№ XIX

Пятница, 24 февраля 1716 г.

Pulchrum est bene facere republicae,
etiam bene dicere haud absurdum est.

*Sall.*¹



же немало лет писатели, принявшие действия и цели кабинета, пришедшего к власти, имеют обычай разъяснять народу разумность победивших начал и оправдывать поведение всех тех, кто действует согласно оным. По сей причине побежденная партия может считать истинной удачей, если подобными делами занима-

¹ Прекрасно — достойно служить государству, не менее важно достойно говорить о нем. *Пер. В. О. Горенштейна.*
(Саллюстий. Сочинения. М., 1981, с. 6.)

ются те, кто нападает лишь на самые ее воззрения, не отличая отдельных лиц и не стремясь выискать среди них предмет осмеяния или глумления. Такой образ действий достоин всяческой хвалы, ибо писатели, нередко ставящие тягу к славе выше общественного блага, теряют множество случаев блеснуть остротой ума или польстить злонравию читателя.

Если кто-либо полагает, что та или иная партия ведет страну к гибели, весьма похвально и доблестно обличить ее в указанном выше духе. Многие казуисты указывают нам, что в честной битве следует стрелять по скоплениям людей, не целясь в отдельных лиц; точно так же и в словесном бою недостойно, на мой взгляд, метить в того или иного человека, выбирая его слабости мишенью своей злобы. В башне миланского замка можно увидеть ядро с надписью: «Маршалу де Крэки», которое и сразило означенного военачальника. Писатель, мечущий насмешки в великого человека, должен быть судим ровно так же, как пушкарь, проявивший себя в столь неблагоприятном действе.

Снова и снова видим мы, как разнятся самым духом своим виги и тори; особенно же явственно это в сатирических писаниях, изданных каждою из партий. У тори, однако, есть хотя бы одно оправдание: поскольку им не найти мало-мальски весомых аргументов, опровергающих воззрения противника, приходится (если не отказаться от спора) нападать на лица. Когда не можешь переспорить врага, проще всего оклеветать его; когда не можешь выставить в глупом виде его мнения, выстави в гнусном виде его самого.

Во времена предыдущего царствования партия эта с особенным тщанием издавала «Исследователь». Читателю его представил сам государственный секретарь, перевозносивший дарования авторов, пользу самого замысла и благотворнейшие последствия, коих следовало ожидать. Судя по слухам, писали в «Исследователе» те, кто славился среди тори как умом, так и политической прозорливостью, распространяли же его по всей нашей стране с особым усердием, не щадя затрат. Казалось бы, в подобном издании будут соблюдены по меньшей мере правила приличия и чести. Но нет; мы увидели, как славнейших наших сограждан, оказавших за несколько лет до того неоценимые услуги родине, гнали и травили одного за другим. Ни благородство нрава, ни привилегии пола не спасли их от немилости. Неудобные прелаты

изо дня в день подвергались публичному осмеянию; высокопоставленных дам клеймили, не скрывая имен, за поступки, которые, будучи ложью, ничем не подтверждены, да если бы и были правдой, оказались бы невинными. Мертвых, и тех не пощадили. Не могу не заметить, что среди стихоплетов, сочинявших эпиграммы, и прочих, им подобных, вошло в обычай упражняться в острологии, выказывая себя приверженцами Высокой церкви, тогда как на деле сочинители эти насмеялись над святынями откровения. Кто не видел эпиграмм, направленных против первых, уже опочивших наших богословов, где самая соль была в том, чтобы представить их в пламени преисподней? Радетели о благе отчизны, чья память должна быть священной для потомков, представлены ведущими речи в аду. Поистине ужасно и повторить столь гнусные образцы острологии, способные исполнить лишь трепетом и страхом всякого, кто верует в вечную жизнь. Меня поражает, что читатели, именующие себя христианами, радостно приемлют это бесовское глумление, как бы довольные той судьбою, на которую обрекли их врагов недостойнейшие писаки. Остроловцев такого рода можно уподобить глупцу из притчи, который, бросая огонь, стрелы и смерть, говорит: «Я только пошутил».

Дабы не погрешить против справедливости, я должен признать, что трезвые и разумные члены означенной партии были глубоко оскорблены лично враждою и травлей, которые с такою легкостью извергали клеветники прошедшего царствования, равно как и кощунственными нападками, которые мы видим по сию пору. Что же до авторов сих сочинений и до их восторженных почитателей, им следовало бы спросить себя, возместит ли слава доброго сына англиканской церкви вопиющий недостаток милосердия, самой сути христианства? Недурно бы поразмыслить и о том, как благодаря подобным способам спора яд беспрепятственно проник в души невежественных и слабых, умножил их ярость против своих же сограждан и едва ли не уничтожил в них добрые чувства, присущие всем людям.

В начале сего листка я говорил, что цель его — оспорить доводы как прямых врагов нынешнего правительства, так и большей части той партии, кто доводы эти защищает. Даже в столь яростных нападках следует придерживаться определенных правил, кои помогли бы убедить, а не рассердить тех, кто с тобою не согласен. «Исследователь» же отказывает и в

имени англичанина, и в имени христианина всякому, кто придерживается иных мнений; для него все они — безбожники, отступники или хотя бы деисты, да еще и особая нация, которую он требует уничтожить или, когда он в добром духе, изгнать из родной страны. Нередко противникам внушали, что близится расправа, и потому самая пора готовиться к ней, поскольку сим несчастным остается печься лишь о том, чтобы умереть достойно. Словом, «Исследователь» как бы не ведал различия между победою и разрушением.

Издание наше до сих пор велось на основе иных правил и будет придерживаться их впредь, если партия, с коей мы имеем дело, не вынудит нас к иному с собой обращенью; ибо там, где целят в отдельных людей, уже нет закона, воспреещающего ответный удар. Пока же мы продолжим спор в том благородном духе, какой столь примечателен у римлян, которые, завоевав страну, не истребляли ее огнем и мечом, но включали в свою империю, дабы даровать ей благополучие под тем же началом, что и они сами.

№ XXII

Понедельник, 5 марта 1716 г.

Studiis rudis, sermone barbarus,
cogitatione celer.

*Pat.*¹



Радая о чести его величества и благе правления, мы вынуждены заметить, что злейшие их недруги принадлежат к тому сословию, которое обычно зовется «охотниками на лис». Поскольку многие из них не получили образования, которое дало бы им возмож-

¹ В науках невежда, варвар в спорах, в натиске скорый. *Пер. М. Ф. Дашковой, А. И. Немировского.* (Патеркул. Римская история. — См.: Вестник древней истории, № 3, 1984, с. 218.)

ность предаться торговле, земледелию или военной службе, я не убежден, что они приносят пользу и служат украшением стране, в которой живут. Если подобные люди смогут поколебать установление, созданное мудрейшими законами и поддержанное славнейшими умами, это послужит вечным укором всем, кто занят политикой. Предрассудки и заблуждения, отделяющие от прочих добрую часть нашего дворянства, обитающего вдали от городов и питающегося весьма извращенными толками, нелегко вообразить тому, кто никогда не беседовал с представителем этого рода.

Дабы читатель смог представить себе сих сельских политиков, я, без дальнейших предисловий, перескажу беседу, которую мне не так давно довелось вести с одним из них. Направляясь в самую глубь страны, я заметил часа в три пополудни, что впереди меня едет верхом сельский джентльмен, рядом же бежит спаниель. Чтобы познакомиться с сим дворянином, я заговорил с ним, как водится, о погоде, и оба мы согласились в том, что она суховата для ранней весны. Однако попутчик мой прибавил, что хорошей погоды не бывало со времен Революции. Я несколько удивился столь необычной мысли, но прерывать его не стал, пока он рассказывал мне, какою прекрасной погодой наслаждались соотечественники наши в царствование Карла II. Затем я позволил себе заметить, что не совсем понимаю, каким образом в дурной погоде может быть повинен король, и, не дожидаясь ответа, спросил, чью усадьбу видим мы неподалеку, на холме. Собеседник поведал мне, что она принадлежит оголтелому фанатику, м-ру Имярек, и прибавил: «Вероятно, вы слышали о нем, он из Охвостья». Я и впрямь знал, по слухам, об упомянутом джентльмене, но заверил моего спутника, что тот, насколько мне известно, добрый сын англиканской церкви. Попутчик мой удивился. «А у нас говорили, — сказал он, — что при покойной королеве он дважды отстаивал пошлину на французский кларет». Слова эти, естественно, привели нас к обсуждению тогдашнего парламента, и спутник мой уверенно изрек, что с тех времен, как на престол взшел Вильгельм, не было ни одного хорошего закона, кроме закона об охоте. Вознамерившись выслушать его до конца, я не стал ему противоречить; и он продолжал: «Не гнусно ли, что достойных людей берут под стражу, дабы они не могли действовать согласно совести? Но чего же и ждать от своры сукиных сынов!» Пока он разглагольствовал с пре-

великой страстью, собака его убежала, дабы справить нужду в кустах, немного поодаль. Мы остановились и стояли до той поры, пока ему не удалось подозвать ее свистом, после чего он стал восхвалять ее, вполне резонно, поскольку спаниель этот и впрямь был очень хорош в своем роде; однако высшим его подвигом хозяин считал то, что однажды он чуть не искушал учителя-диссентера. Расписывая подробности сего деяния, попутчик мой качался в седле от смеха, я же понял, что собака стала ему после этого особенно дорога и, по собственным его словам, снискала уважение всех честных людей округи. Веселие прервал почтальон, затрубивший в рожок, после чего мой собеседник крепко его обругал, но все же отъехал в сторонку. «Должно быть, — сказал я, — почта везет вести о Шотландии. Хорошо бы почитать новую газету». «Сэр, — возразил мой спутник, — не в моих правилах верить печатной болтовне. Мы узнаем о нынешних событиях разве что из писем Джона Дайера, да и те я читаю более ради слога, чем ради новостей, ибо, вынужден признать, пишет он неплохо. Но не удивительно ли, что нам приходится сражаться против сторонников англиканской церкви вместе с голландцами и швейцарцами, не признающими королевской власти? Нет, сэр, иноземцы никогда не обретут у нас благорасположения, куда им до нашей разумности и нашего великодушия!» Признаюсь, я не ожидал, что новый мой знакомец припишет себе именно эти качества; но, услышав, что он столь ревностно обличает иноземцев, спросил, доводилось ли ему путешествовать. Он отвечал, что не видит в путешествиях проку, ибо научись на чужбине разве что особой манере езды, французской тарабарщине да неприязни к безоговорочному повиновению, и добавил, что едва ли встречал путешественника, который не предал бы своих правил и не потерял охотничьей выправки. «Что до меня, — сказал он, — и я, и сам отец мой всегда стояли за повиновение полное и не покоримся правителю, пользующемуся службой тех, кто не приемлет этих взглядов. Кстати, где вы думаете заночевать? — спросил он (вдали виднелся небольшой городок). — Если вы сообразовали присоединиться ко мне, я мог бы порекомендовать вам недурного хозяина. Человек он веселый, зажиточный, в три объёма, а уж такого верного сына Высокой церкви не найдется по всей дороге». Мне захотелось увидеть этот столп веры, а также насладиться подольше беседой моего попутчика, и я охотно согласился

поставить на эту ночь наших лошадей в одно стойло. Когда мы, бок о бок, проезжали улицами городка, я ознакомился со свойствами тех, кто встретился на пути. Тот оказался гнусным псом, этот — щенком, кто-то — подлецом, кто-то — невежей, и все именованя эти означали, что носитель их голосовал за вигов на прошедших выборах. Членов же своей партии дорожный мой товарищ отличал приветливым кивком и, обращаясь по имени, осведомлялся о здоровье. У постоянного двора он громко засвистел, и хозяин, узнав его по свисту, не замедлил явиться. Они долго шептались втайне от меня, однако нетрудно было понять, что дела идут далеко не так, как они бы хотели, ибо хозяин то и дело озадаченно почесывал затылок. Раскормился он, надо сказать, до немалых размеров, приверженность же церкви выражалась в багрянце его лица, ибо он что ни час восславлял ее, выпивая с новыми постояльцами. Посещать храм он не мог за недостатком времени, но, как сообщил мне на ухо мой друг, разгромил во главе изрядной толпы два, если не три молитвенных дома диссентеров. Пока готовился ужин, мой спутник поведал о благоденствии данного графства, вызванного тем, что здесь «нет ни единого пресвитерианина, кроме епископа». Словом, я понял по его речам, что от приходского священника он узнал немало о политике, но никак не о религии, ибо вся его набожность сводилась к гнушению пресвитерианами. Мне посчастливилось увидеть хороший образчик его религиозных убеждений: заметив за окном бедную и немощную старушку, он обратил на нее мое внимание и, когда она прошла, сообщил мне, что жители округа почитают ее за ведьму, он же склонен поверить даже в то, что она — из пресвитериан.

Когда подали ужин, спутник мой увидел баранью лопатку, лежащую перед нами, и, вдохновившись ею, провозгласил здравицу Англии, которая стала бы счастливейшей страной на свете, если бы только мы жили сами по себе. Вслед за этим он принялся рассуждать о вреде торговли, лишаящей нас того, что нужно нам самим, а также позволяющей своре выскочек сравняться богатством с древнейшими нашими родами. Тут он честно признал, что никогда не жаловал договоров и союзов с чужеземцами. «Безопасность британцев, — сказал он, — в деревянной нашей ограде, и мы не боимся никого, даже если нас тронут, когда ополчение распушено». Я отвечал, что почитаю английский флот не меньше, чем он,

но не пойму, как набирать экипаж и содержать его, не спешествуя мореплаванию и торговле. Он пылко возразил, что заморская торговля погубит Англию, и доказать это нетрудно. Я охотно услышал бы его доводы, но он удовольствовался тем, что повторил слова свои с еще большим пылом, присовокупив к ним два-три проклятия лондонским коммерсантам и не забыв при этом управителей банка. После ужина он спросил, люблю ли я пунш, и велел немедленно принести чашу. Обрадовавшись случаю показать исподволь всю полезность торговли, я сказал, что из всех пяти составных частей сего напитка лишь одна вода берется в Англии; лимоны же, коньяк, сахар и мускатный орех прибыли из-за моря. Это немного смутило его, но хозяин, слышавший нас, поддержал своего единомышленника, заметив, что нет лучшего питья, чем английская водица, если подбавить к ней солоду. Попутчик мой весело рассмеялся и пригласил хозяина выпить с нами. Мы засиделись за пуншем допоздна и, не прекращая полезной беседы, помянули добрым словом многих неизвестных мне обитателей графства (если верить моим сотрапезникам — величайших государственных мужей) и нескольких жителей Лондона, превозносимых до небес, как величайшие мудрецы, хотя другие обитатели сего града, насколько мне известно, почитают их отменно глупыми. Когда наступила полночь, приятель мой, вычитавший в календаре, что сейчас полнолуние, велел подать лошадей, внезапно решив ехать домой (усадебя его находилась всего в трех милях от города), ибо припомнил, что не может уснуть нигде, кроме собственной кровати. На прощанье он сердечно пожал мне руку, весьма довольный тем, что ему посчастливилось высказать свои взгляды и вразумить столь ярого противника своей партии.

Джон Арбетнот

ИСКУССТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЖИ

**Предложение
издать весьма любопытный трактат
в двух томах ин-кварто,
озаглавленный
ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ;**

**или
Искусство политической лжи
с кратким изложением
первого тома
названного трактата**

В настоящее время сдано в печать любопытное сочинение, озаглавленное *Ψευβολογία πολιτική*, или *Искусство политической лжи*, состоящее из двух томов ин-кварто. Предлагается:

I. Если автор получит надлежащее поощрение, он предполагает вручить первый том подписчикам к началу ближайшего зимнего триместра.

II. Цена подписки на оба тома равняется четырнадцати шиллингам; из них семь надлежит уплатить при подписке и остальные семь — при вручении второго тома.

III. Те, кто подпишется на шесть экземпляров, получат седьмой экземпляр бесплатно, что снизит цену одного тома до шести шиллингов.

IV. Имена и адреса подписчиков будут напечатаны полностью.

Дабы поощрить столь полезное начинание, мы сочли уместным ознакомить публику с содержанием первого тома в изложении человека, который усердно и досконально изучил рукопись.

Искусство политической лжи



В предисловии автор излагает несколько весьма справедливых рассуждений о происхождении искусств и наук: он отмечает, что первоначально они представляют собой разрозненные теоремы и практические приемы, которые имеют хождение среди знатоков и открываются только *filii artis*¹ до тех пор, пока не появится некий великий гений и не сведет эти разрозненные части в единую стройную систему. Так обстояло дело и с благородным и полезным искусством *политической лжи*, которому, после того как оно обогатилось в наш век несколькими *новыми открытиями*, уже не пристало коснеть в грязи и небрежении, но надлежит занять подобающее место в *энциклопедии*, особенно в такой, которая служит источником познаний для искусного политика. Автор рассчитывает стяжать немалую славу в грядущие века, поскольку он первый отважился на подобное предприятие; по той же причине он уповает, что читатели простят несовершенства его труда. Он просит всех, у кого есть приличествующие дарования или какие-либо открытия в этой области, сообщить ему свои мысли, заверяя их, что в своем труде он почтительно на них сошлется.

¹ Сынам (детям) искусства (*лат.*).

Первый том состоит из одиннадцати глав.

В *первой* главе своего превосходного трактата автор философически рассуждает по поводу природы *человеческой души* и тех ее свойств, которые делают ее восприимчивой ко лжи. Он считает, что душа по своей природе подобна *плоскоцилиндрическому рефлектору*, или зеркалу; плоская ее сторона была сотворена всемогущим Богом, но впоследствии дьявол придал другой стороне цилиндрическую форму. Плоская сторона представляет предметы, как они есть; а цилиндрическая сторона, согласно законам катоптрики, неизбежно представляет истинные предметы ложными, а ложные предметы истинными; при этом цилиндрическая сторона, обладая *значительно большей поверхностью*, захватывает *большую часть* видимых лучей. На этой цилиндрической стороне человеческой души и основано все искусство и достижения *политической лжи*. Далее, в этой главе автор переходит к рассуждениям о свойствах ума, а именно об его особом пристрастии ко всему *злому и чудесному*. Склонность души к злобе проистекает из себялюбия или из удовольствия считать других людей более дурными, низкими или несчастными, нежели мы сами. А представление о *чудесном* возникает из душевной лени или неспособности возбуждаться и восторгаться чем-либо простым и обыденным. Установив качества ума, на которых основано названное искусство, автор переходит

Во *второй* главе к исследованию *природы политической лжи*, которую он определяет как *искусство заставить народ уверовать в спасительную неправду ради некоей благой цели*. Он называет ложь *искусством*, дабы отличить ее от правды, для которой, по всей видимости, *искусства* не требуются; таковым, однако, он считает исключительно *измышление*, ибо, по сути дела, необходимо куда больше искусства, чтобы заставить народ поверить в спасительную правду, нежели в спасительную неправду. Далее он переходит к доказательству существования спасительной неправды и приводит множество примеров как из дореволюционного, так и из послереволюционного времени и наглядно показывает, что мы не могли бы так долго вести войну, не прибегая к таким *спасительным* неправдам. Он приводит правила подсчета стоимости *политической лжи* в фунтах, шиллингах и пенсах. Под *благом* он подразумевает отнюдь не то, что таковым является на самом деле, но то, что таковым пред-

ставляется мастеру искусства политической лжи и служит достаточным основанием для его действий. Наконец, он подразделяет общее понятие блага на *bonum utile, dulce et honestum*¹. Он показывает вам, что существует *политическая ложь* смешанного рода, включающая в себя все три разновидности, что *utile* в основном господствует в районе Биржи, а *dulce* и *honestum* в *вестминстерском* конце города. Один распространяет ложь, чтобы продать или купить *товар* с большей выгодой для себя, другой — потому, что почетно служить *своей партии*, а третий — потому, что приятно *отомстить*. Разъяснив некоторые термины своего определения, он переходит

К третьей главе, где разбирает вопрос о *законности политического лганья*, каковое он выводит из истинных и достоверных принципов, исследуя различные права человечества на *правду*. Он показывает, что люди вправе ожидать *частной* правды от своих соседей и *хозяйственной* правды от членов своей семьи, что им не следует терпеть обмана со стороны своих жен, детей и слуг; но они не имеют никаких прав на *политическую* правду; с таким же основанием народ мог бы претендовать на то, чтобы каждый стал помещиком и владел большим имением, как и на то, чтобы ему говорили правду о делах правительства. Автор весьма рассудительно устанавливает различие *доли* людей в предмете правды соответственно различию в их способностях, достоинствах и занятиях, и показывает нам, что дети едва ли имеют какую-либо долю вообще, вследствие чего им крайне редко говорят правду. Следует признать, что в этой главе автору приходится разъяснять некоторые мнимые трудности и толковать тексты *Писания*.

Четвертая глава полностью посвящена вопросу: является ли *право чеканки политической лжи правительственной монополией*? Автор, будучи истинным другом *английской* свободы, решает вопрос отрицательно и весьма остроумно опровергает все доводы противной партии, утверждая, что коль скоро способ правления в *Англии* имеет некоторую примесь демократичности, следовательно, право измышления и распространения *политической лжи* частично принадлежит и народу, чья упорная привязанность к этой справедливой

¹ Благо полезное, приятное и почетное (*лат.*).

привилегии совершенно очевидна и за последние годы проявлялась с величайшим блеском; что добрый народ *Англии* зачастую и не имеет никаких иных средств сбросить надоевшее министерство или правительство, кроме как воспользоваться этим своим несомненным правом; что обилие *политического лганья* является верным признаком подлинной *английской свободы*; что, поскольку министры используют некоторые приемы для поддержания своей власти, постольку вполне разумно, чтобы и народ употреблял то же оружие, дабы защитить себя и свергнуть их.

В пятой главе автор разделяет политическую ложь на несколько *родов* и *видов* и сообщает правила *измышления, распространения* и *размножения* некоторых их разновидностей. Он начинает со *слухов* и *libelli famosi*¹, относящихся к репутации человека, облеченного властью; здесь он отмечает обычную ошибку, заключающуюся в том, что во внимание принимается только одна разновидность, а именно *уменьшающая*, или *клеветническая*, тогда как на самом деле существуют три разновидности: *уменьшающая, прибавляющая* и *переносящая*. *Прибавляющая* дает великому человеку большую славу, чем та, какую он обрел, дабы он смог лучше послужить некоему благому делу или назначению. *Уменьшающая, или клеветническая*, есть ложь, которая отнимает у великого человека славу, принадлежащую ему по праву, из опасения, как бы он не применил ее в ущерб населению. *Переносящая* есть ложь, которая переносит заслуги от одного человека к другому, более достойному, или переносит виновность с истинного виновника на лицо, менее достойное. Автор приводит несколько примеров блистательного применения всех трех родов, особенно в последнее время, когда встречалась необходимость во имя общего блага *передать доблесть и подвиг* одного человека другому или многим людей — одному человеку; более того, при благоприятных условиях слава победы, одержанной в сражении одним лицом, может быть присвоена другим, которое даже не командовало в этом деле. Спасение или разорение народа может быть приписано лицам, которые не участвовали ни в том, ни в другом. Автор призывает всех джентльменов, практикующих ложь, упражняться главным образом во лжи

¹ Пасквилей (*лат.*).

переносящей, ибо, коль скоро самое существование предметов и событий очевидно и не нуждается в доказательствах, вполне достаточно представить публике *мнимого* их создателя или *мнимую причину*, что не слишком затруднительно, учитывая доверчивость людей, от которых скрыты в большей своей части секретные пружины вещей.

Далее автор сообщает некоторые правила применение *прибавляющей* лжи, а именно: когда кто-то приписывает некоему лицу что-то, ему не принадлежащее, следует рассчитывать так, чтобы ложь не совсем противоречила известным качествам этого лица. Например, не годится утверждать, будто *французский* король присутствует на протестантских сборищах или будто он возвратил, подобно королеве *Елизавете*, излишек налогов своим подданным. Не годится настаивать на том, что *император* выдал своим войскам двухмесячное жалованье вперед или что *голландцы* уплатили больше своей доли. Не следует делать одного и того же человека одновременно ревностным поборником постоянной армии и народной свободы, или атеиста — защитником церкви, или распутника — исправителем нравов, или горячего и слабоумного вертопраха — рьяным сторонником системы воздержания. Но если уж совершенно необходимо придать некоему лицу какое-либо неподходящее доброе качество, автор советует не делать этого сразу *extremo gradu*¹. Например, не нужно утверждать, будто бы пресловутый скряга вдруг щедро пожертвовал на благотворительность пять тысяч фунтов; для начала вполне хватит двадцати или тридцати фунтов. Не следует сообщать, будто человек, известный неблагодарностью к своим благодетелям, вознаградил бедняка за какую-то добрую услугу, совершенную тридцать лет назад, но можно допустить, что он был признателен за услугу лицу, которое способно услужить ему еще раз. Молодчик, чья личная храбрость весьма сомнительна, не должен сразу же обращаться в бегство целые эскадроны, но можно допустить, что он отличился в мелкой потасовке или пустил бутылку в голову противника.

Непозволительно утверждать, что великий человек, известный своим презрением к религии, проводит целые дни в молельне; но вы без опаски можете сообщить, что он

¹ В высшей степени (*лат.*).

способен пристойно высидеть до конца богослужения. Великому человеку, о котором никто не слышал, чтобы он добровольно уплатил кому-либо законный долг, не следует приписывать внезапно возмещение убытков многим тысячам обманутых им людей; для начала ему достаточно дать двадцать фунтов другу, потерявшему его вексель.

Автор устанавливает такие же правила для *уменьшающего*, или *клеветнического*, рода лжи: она не должна совершенно противоречить качествам, которыми, предполагается, обладают затронутые особы. Так, например, отнюдь не соответствует здравым правилам *псевдологии* сообщение, будто бы благочестивый и набожный государь пренебрегает молитвой и распространяет ересь; однако о милосердном государе вы можете сообщить, что он простил преступника, который того не заслуживал. Вас ждет неудача, если вы объявите, будто бы великий человек, прославленный своей бережливостью ради общего блага, расточает государственные деньги; но вы можете спокойно рассказывать, что он их утаивает. Вы не должны уверять, что он берет взятки; но вы можете открыто порицать его медлительность в платежах; потому что хотя и то и другое — неправда, но последнее возможно, а первое — нет. О чистосердечном и великодушном министре вам не следует говорить, будто он замешан в интриге против своей страны; но вы можете утверждать с известным правдоподобием, что он завел интрижку с одной дамой. Автор убеждает всех лжецов-практиков в необходимости отнестись к этим правилам с полной серьезностью: из-за невнимания к ним многие неправды последнего времени оказались мертворожденными или недолговечными.

В *шестой* главе он разбирает *чудесное*, под которым разумеет нечто, выходящее за обычные пределы вероятия. В применении к народу оно подразделяется на два вида: **τὸ φοβερόν** или **τὸ θυμοειδέος**, *устрашающая* ложь и *вдохновляющая*, или *одобряющая*, ложь, из коих обе весьма полезны в соответствующих случаях. Относительно **τὸ φοβερόν** он устанавливает несколько правил, из которых одно гласит, что не следует слишком часто показывать населению страшные предметы, дабы они не стали привычными. Он указывает, что совершенно необходимо раз в год запугивать *английский* народ *французским* королем и *Претендентом*; однако остальные двенадцать месяцев этих медведей нужно строго держать на цепи. Несоблюдение такого весьма

существенного правила и страдание *букой* по всякому пустячному поводу привело в последние годы к необычайному безразличию среди простонародья. Что же касается *вдохновляющей*, или *ободряющей*, лжи, то он устанавливает следующие правила: она не должна слишком далеко выходить за обычные пределы вероятия; ее следует разнообразить, и нельзя упрямо настаивать на одной и той же лжи; *обещающую*, или *предсказывающую*, ложь не следует ограничивать слишком *кратким сроком*, не то ее создатели испытывают стыд и замешательство, когда увидят вскоре, что их опровергли. Опираясь на эти правила, автор исследует благонамеренную, но злополучную ложь о победе *над Францией*, которая распространялась около *двадцати лет* подряд и повторялась с такой упрямой настойчивостью, что под конец износилась окончательно и была отвергнута.

Что касается *τὸ τερατοειδές*, или *поразительной* лжи, то здесь он имеет добавить немного: разве только, что ее кометы, киты и драконы должны быть *соразмерными*, а ее ураганы, бури и землетрясения — находиться как можно дальше, куда нельзя доехать верхом за *один день*.

Седьмая глава целиком посвящена вопросу — *какая из двух партий достигла большего совершенства в политической лжи?* Автор признает, что иногда больше верят одной, а иногда — другой, но что среди членов обеих имеются величайшие мастера этого искусства. Он приписывает их слабый успех за последнее время тому, что они переполнили рынок и пустили в продажу слишком много дрянного товара сразу: при избытке червей крайне трудно поймать пескаря на удочку. Он предлагает каждой из партий для восстановления утраченного доверия некий проект, который, однако, кажется несколько фантастичным и не отличается той здоровой рассудительностью, какую автор проявил в остальных частях своего труда. Проект заключается в том, чтобы партия согласилась продавать в течение трех месяцев кряду только чистую правду, что обеспечит ей доверие на протяжении шести месяцев последующего лганья. Он признает, однако, что считает почти невозможным найти подходящих людей для воплощения этого проекта в жизнь. В конце главы он жестоко осуждает безрассудство партий, поручающих торговлю своей ложью мерзавцам или бездарностям, вроде большинства современных писак, которые, несмотря на сильную склонность и пристрастие к своей профессии, по-

видимому, совершенно невежественны в правилах *псевдологии* и нимало не достойны столь высокого доверия.

Остальную часть главы автор посвящает некоторым выдающимся талантам, появившимся в последние годы и проявившим особую склонность к *чудесному*. Он советует этим многообещающим молодым людям отдать свою изобретательность на службу отечеству, ибо постыдно ныне расточать свои дарования на бесконечные травли лисиц, скачки, подвиги смелости в управлении экипажем, в прыжках, беге, или заглатывании персиков, или выдирании зубов целыми челюстями, с тем чтобы их почистить, и т. п., в то время, когда страна столь нуждается в их помощи.

Восьмая глава представляет собою проект объединения нескольких мелких корпораций лжецов в единое общество. Излагать этот план полностью было бы слишком утомительно. Главное заключается в следующем. Это общество должно состоять из руководителей всех партий; ни одну ложь не следует пускать в оборот без их одобрения, так как они лучше всех могут судить о наличном спросе и о том, какой род лжи требуется; к такой корпорации должны принадлежать люди всех сословий, занятий и вероисповеданий; *τὸ πρέπον* и *τὸ εὐλογον*, то есть *приличие* и *правдоподобие*, должны соблюдаться елико возможно; помимо вышеупомянутых лиц, в общество должны входить все подающие надежды таланты города (из коих великое множество обретается в различных кофейнях), путешественники, знатоки искусств и коллекционеры, охотники на лисиц, жокеи, стряпчие, престарелые моряки и солдаты из госпиталей *Гринвича* и *Челси*. Обществу, учрежденному таким образом, следует предоставить монопольное право распоряжаться ложью; в его передней должны постоянно находиться несколько лиц, обладающих огромным запасом легковесия, — порода, бурному произрастанию которой весьма способствуют местная почва и климат; автор полагает, что достаточное число их может быть набрано около *Биржи*; они должны пускать в обращение то, что другие чеканят; ибо никто не распространяет ложь так охотно, как тот, кто сам в нее верит. Общество должно взять за правило измышлять одну ложь, а иногда и две ежедневно; причем при отборе следует обращать большое внимание на погоду и время года; ваша *φοβερὸν*, или *устрашающая*, ложь оказывает могучее воздействие в *ноябре* и *декабре*, но не в *мае* и *июне*, если

только в это время не дуют восточные ветры. Под страхом уголовного наказания никто не смеет говорить о чем-либо, кроме лжи данного дня; общество должно содержать при дворе и в других местах достаточное число шпионов, которые будут поставлять идеи и темы для измышлений и иметь связь со всеми городами, где есть рынки, для распространения своей лжи. Если же будет замечено, что кто-либо из членов общества краснеет, или меняется в лице, или опускает необходимое обстоятельство при сообщении лжи, то его следует с позором исключить из общества и объявить неспособным. Кроме распространения громогласной лжи, следует еще составить из наиболее способных членов общества тайный комитет слухов. Здесь автор делает отступление и восхваляет *партию вигов* за их верное понимание и правильное использование *пробной лжи*. *Пробная ложь* подобна *пробному заряду* артиллерийского орудия и применяется при испытании легковерия. Такую же роль, полагает он, выполняет в Римской церкви догмат пресуществления: те, кто его проглотит, смогут наверняка переварить все остальное; поэтому *партия вигов* поступает благоразумно, испытывая легковерие народа посредством грубого обмана, дабы иметь возможность судить, какую нагрузку сможет оно выдержать в дальнейшем. В конце главы он предостерегает руководителей партий от веры в собственную ложь, что привело недавно к пагубным последствиям, когда некая благоразумная партия и некая благоразумная нация стали обе соизмерять свои действия с ложью собственного измышления. Причины этого он видит в чрезмерных усилиях и рвении, с коими применялось названное *искусство*, в неистовом пыле речей, которыми они убеждали друг друга, будто то, чего они хотят и что выдают за истину, действительно является таковой. Подобная беда случалась со всеми партиями. *Якобиты* постоянно страдали от нее; но в недавнее время *виги*, кажется, даже превзошли их в этой дурной привычке и слабости. В конце главы автор прилагает *календарь лжи* соответственно различным месяцам года.

Девятая глава посвящена вопросам *скорости* и *продолжительности* лжи. Что касается *скорости* движения, то, как утверждает автор, она почти невероятна; он приводит несколько примеров, когда ложь передвигалась быстрее, чем почтовая карета; *устрашающая* ложь имеет чудовищную скорость и делает свыше десяти миль в час; *слухи* обраща-

ются в узком кругу, но чрезвычайно быстро. Автор утверждает, что некоторые явления, связанные со скоростью лжи, нельзя объяснить, не допустив возможности *синхронизма* и *комбинаций*. В отношении *продолжительности* лжи он говорит, что существуют самые различные сроки, начиная от часов и дней и кончая веками; что некоторые виды лжи, подобно насекомым, умирают и затем возрождаются в иной форме; что хорошие мастера, подобно людям, строящим на земле, взятой в краткосрочную аренду, могут точно рассчитать продолжительность лжи сообразно своей цели, дабы она продержалась точно положенное время, и не дольше.

Десятая глава посвящена отличительным признакам лжи: как узнать, когда, где и кем она выдумана? *Голландский, английский и французский* товары значительно отличаются один от другого: *биржевая* ложь — от лжи, отчеканенной на другом конце города. Требуется огромная рассудительность при учете места, где намечено обращение различных разновидностей; самая жалкая и грубая работа пригодна для *Уоппинга*; существует несколько кофеев, имеющих свой особый отпечаток, в котором легко разберется опытный знаток. Все великие люди имеют личный почерк, отличающий их ложь. Автор говорит, что благодаря длительному изучению и практике он стал столь сведущим в этом вопросе, что стоит только показать ему любую ложь, как он сможет сказать, чье клеймо она носит, и сам великий человек не рискнет возражать ему. *Лживые обещания* великих людей узнаются по объятиям, лобзаниям, похлопыванию по плечу, улыбкам, поклонам, а *ложь при изложении фактов* — по умеренной божбе.

Всю *одиннадцатую* главу автор посвящает одному простому вопросу: *что лучше противопоставлять лжи — правду или другую ложь?* Он говорит, что, учитывая большую протяженность *цилиндрической поверхности души* и небывалую склонность большинства людей в последние годы верить лжи, он считает наиболее подходящим противодействием лжи — другую ложь. Например, если вдруг сообщат, что Претендент находится в *Лондоне*, то не следует возражать на это, говоря, будто он никогда не бывал в *Англии*; но нужно настаивать, что, по свидетельству очевидцев, он дошел только до *Гринвича* и затем повернул обратно. Точно так же, если бы распространился слух, что одно видное лицо умирает от некоего недуга, вам не следует говорить истину,

Виги и торы

утверждая, что это лицо здорово и никогда не страдало этим недугом, но надо сказать, что оно постепенно исцеляется от него. Так, недавно один джентльмен утверждал, что договор с *Францией*, имеющий целью распространение папизма и рабства в *Англии*, был подписан *15 сентября*, на что другой отвечал весьма рассудительно: он не противопоставил лжи правду и не сказал, что такого договора нет, но сообщил, что, по имеющимся у него достоверным сведениям, многие пункты договора еще не согласованы.

Содержание второго пункта тома этого превосходного трактата будет сообщено в следующий раз.

IV

ПОРАЖЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Джонатан Свифт

О ГРАЖДАНСКОМ ДУХЕ ВИГОВ И ПР.



Не могу без некоторой зависти и справедливой обиды на прямо противоположные действия победившей партии обращаться мыслью к великодушию и приязни, с каковыми вожди и ведущие члены рвущейся к власти клики обходятся с каждым, кто поднимает в их защиту свое перо. Поведение сих покровителей тем паче похвально, что они одаряют милостями почти *gratis*¹, если кто-либо из их приспешников способен нацарапать памфлет, большего от него не требуется — ни остроумия, ни стиля, ни аргументации. Пусть только ваш опус удовлетворяет нуждам данного момента, и вы получите солидное и верное вознаграждение, получите наперед, ибо каждый член партии, умеющий читать и располагающий шиллингом, подпишется на него заранее, так что несколько тысяч экземпляров разойдутся среди их друзей по всей стране. Pamфлет будет объявлен восхитительным, возвышенным, неоспоримым и послужит оживлению затухающего шума и клеветы на королеву и ее министров, проторяющих якобы дорогу папизму и Претенденту.

Из всех пишущих радетелей сей стороны мне на память приходят лишь трое сколько-нибудь значительных, какими

¹ Бескорыстно (*лат.*).

являются «Летучая почта», мистер Дантон и автор памфлета «Кризис». Репутация первой понесла, по-видимому, существенный урон в связи с внезапным уходом «единственного поистине самобытного автора», мистера Ридпата, которого «Голландская газета» провозгласила «одним из самых блестящих перьев» Англии. Мистер Дантон более и лучше других начитан, нежели два остальных, а также обильнее в своей продукции. Тем не менее, занявшись изучением других, весьма разнообразных предметов, он, мне кажется, в последнее время обратил свои таланты на политику. Его знаменитый трактат, озаглавленный «Вья или Ничто», нельзя не признать самым метким и задиристым из всех, какие появились с той стороны после смены кабинета. Трактат этот — язвительнейшая сатира на Лорда-казначея и лорда Болингброка, и я не перестаю удивляться, почему среди наших друзей до сих пор не нашлось никого, кто бы потрудился на нее ответить. Признаюсь, поначалу я разделял мнение нескольких знатоков, решивших по манере и стилю, что сие произведение принадлежит острому перу графа Ноттингема, и я до сих пор склонен думать, что своим окончательным видом оно обязано его руке. Третье и главное лицо в сем триумvirate — автор «Кризиса», который, хотя, вероятно, и уступает «Летучей почте» в знании света и политическом опыте, а мистеру Дантону — в едком остроумии и многообразной начитанности, отличается тем не менее рядом качеств, достаточных, дабы считать его писателем более высокого ранга, нежели двое других, если бы только он правильно употреблял и располагал слова, справлялся с правилами грамматики, а также полагал заботиться о получении необходимых сведений касательно того предмета, о коем намеревается писать.

Оставляя в стороне похвалы и поощрения, которые щедро расточались сочинителям и произведениям в двух первых случаях, я коснусь ниже лишь чрезвычайного благоволения, оказанного в последнем. Несколько месяцев подряд в «Англичанине» и других изданиях печаталось объявление о том, что в должное время будет опубликован памфлет «Кризис», который откроет всем нам глаза. Его предполагалось печатать по подписке ценою в один шиллинг. Это несколько против правил: обыкновенно подписка испрашивается для книг, идущих по высокой цене, или же таких, на широкую продажу которых обыкновенным порядком вряд ли прихо-

дится рассчитывать. Сообщалось также о содержании памфлета, в котором только извлечения из парламентских актов о престолонаследии должны были поглотить большую часть страниц — по крайней мере на девять пенсов из шиллинга, а на политические рассуждения автора оставалось места всего на три пенса, так что ничего поразительного или решающего от сей затеи ждать, собственно, не приходилось. Но труд сей нужно было написать, усердного автора поощрить, а потому не поскупились заказать несколько тысяч экземпляров. Но и этого показалось мало, и, когда мы уже было рассчитывали получить наши книги, дело вдруг застопорилось и радевшие за него выдвинули новые требования, заявив, что «Кризис» только тогда увидит свет, когда все дамы, подобно мужчинам, выразят свою неприязнь к Претенденту. К Претенденту, который находится в расцвете молодости, к тому же, говорят, хорошо собой и обладает умом ровно в таком объеме, какой не мешает удовлетворять желания прекрасного пола. Хотелось бы мне, чтобы сей памфлет предварял печатный список подписавшихся на него прелестниц, ибо тогда шевалье мог бы воочию убедиться, сколь бессмысленно претендовать на корону там, где он не может претендовать даже на любовницу.

В положенное время дошло до нас первое известие: длинная вереница герцогов, графов, виконтов, баронов, баронетов, эсквайров, просто джентльменов и прочих господ потянулась к Сэму Бакли, издателю «Кризиса», за предназначенным им грузом, каковой, доставив домой, они переправляли десятками и сотнями в различные графства, дабы укрепить волю и умы своих друзей к предстоящей сессии. Спросите любого из них, читал ли он сей опус? Ответом будет — нет, но зато они разослали его куда только можно в надежде, что он принесет замечательные плоды. Ведь это — памфлет, и памфлет, говорят, направленный против кабинета; дальше — тирана о рабстве, Франции и Претенденте, а больше ничего и не нужно! Сей памфлет убедит колеблющихся, подкрепит сомневающихся, просветит несведущих, воодушевит горластых — даже если в него никто не заглянет. Я слышал от людей, понаторевших в торговле, что автор и продавец сего двенадцатипенсового труда извлекут из него больше прибыли, нежели получили от издания любого фолианта за последние двадцать лет. Кто же из нищей писательской братии откажется работать у таких хозяев, которые платят

наперед, забирают, не торгуясь, товару, сколько им предложено, и при этом не дают себе труда посмотреть — ни до, ни после сделки, — то ли им вручили.

Желая показать исключительную щедрость сих благодетелей, не могу придумать лучшего способа, как рассмотреть само изделие. Ибо тут мы легко обнаружим, что оно с самого начала предназначалось служить делу клики главным образом поднятым вокруг него шумом, количеством экземпляров и самим заглавием «Кризис». Все произведение состоит из титульного листа, посвящения служителям церкви, предисловия, извлечений из известных парламентских актов и десятка страниц сухих рассуждений самого автора касательно действий королевы и ее министров, каковые у его коадьюторов — графа Ноттингема, мистера Дантона и «Летучей почты» — уже давно представлены в куда более ясном свете.

Когда в папистской стране очередной шарлатан кричит: «Чудо! Чудо!», им руководствует отнюдь не намерение или надежда обратить еретиков, а совсем иная цель — утвердить заблуждающуюся чернь в ее ошибочных мнениях, и вопли сии раздаются, не пробуждая желаний выявить обман. Точно так же и виги поднимают у нас крик «Памфлет! Памфлет! "Кризис!" Кризис!» отнюдь не с тем, дабы переубедить противников, а для того, чтобы поднять дух сторонников, подтянуть отставших и беззастенчивым трезвоном сплотить свои ряды — так сгоняют и сбивают в рой пчел, гремя по меди.

Никакого иного действия от сего как нельзя более кстати появившегося трактата так же невозможно себе представить, как и ожидать, — и это станет ясно из нескольких простейших рассуждений касательно отдельных его частей, в каковых нагромождено столько глупостей, лживых утверждений и нелепых предположений, что по количеству они не уступают числу строк.

Когда уличный разносчик сует вам в руки сей памфлет, первые слова, которые вы видите, — «кризис» или «рассуждение» и т. д. Свидя дает четыре толкования слова «кризис», каждое из которых вполне годится и для «Письма к бейлифу из Стокбриджа», принадлежащего нашему автору. Далее, часть, называемая им «рассуждением», содержит всего две страницы, предваряющие двадцать две выписки из парламентских актов; что же касается до двенадцати последних страниц, то они значатся в титуле под отдельным подзаго-

ловком, а именно: «Несколько своевременных замечаний об угрозе престолу со стороны папистского наследника». Обращает также на себя внимание строка на титульном листе, утверждающая, что «престолонаследие установлено предшествующими актами». Право, мне никогда не доводилось слышать о таком парламентском акте, который не предшествовал бы вводимому им в действие закону, разве что в двух случаях: когда графу Страффорду и когда сэру Джону Фенвику отрубили голову. Далее, «Рассуждения, основанные на истинно подлинных документах». Выражение сие заимствовано автором памфлета у другого писателя, который, надо полагать, понимал значение этих слов, но наш джентльмен употребил их вовсе не к месту и, смею заметить, сам относительно них заблуждается, ибо ворох извлечений из парламентских актов никак нельзя назвать «рассуждением», к тому же, полагаю, он списал их не с «истинно подлинных документов», каковые, сдается мне, хранятся в Тауэре, а с обычных печатных изданий. Ничего существенного, скорее всего, за всем этим не кроется, разве только выказано великодушие наших противников, кои поощряют писателя, не способного сочинить даже титульный лист согласно правилам и здравому смыслу.

Затем следует «Посвящение» англиканскому духовенству, первые же абзацы которого не имеют себе равных по скромности и смыслу. Обращаясь к священникам англиканской церкви, наш автор сообщает им, что дал «объяснение актам о престолонаследии», каковое «предлагает их вниманию и заклинает отнестись о них с похвалой в своих писаниях и проповедях, обращенных к соотечественникам», о чем ниже просит их «из должного уважения к их силе и влиянию». Перед нами прямой образец политики вигов, которые диктуют духовным лицам, что им проповедовать. Юрисдикция архиепископа Кентерберийского не распространяется за пределы подчиненной ему области, но автор «Кризиса» назначает себя генеральным викарием над всеми священниками англиканской церкви. Епископы в своих посланиях и речах, обращенных к клиру, не идут дальше увещаний, но сей сочинитель «заклинает» всех священников англиканской церкви «отнестись с похвалой в своих писаниях и проповедях» о его «объяснении закона», принятого в нашей стране. Хотелось бы мне знать, кто поставил его толкователем законов нашей страны, а затем в благовре-



«Старый Претендент»

ные спросить, по какому праву он диктует духовенству «отнести с похвалой» с кафедр и в печати о его «объяснениях»

Он наставляет духовенство: «Два обстоятельства отдают людские души в их руки», первое из коих — образованность, второе же — десятина. Говоря о последнем, не могу не предположить, что оно, пользуясь латинским выражением, приведено *ad invidiam*¹, ибо автору «Кризиса» превосходно известно, что в Англии духовенство не пользуется ни десятой, ни даже двадцатой долей поземельных доходов. Впрочем, если следовать сим путем, то надобно заключить, что лендлорду принадлежат девять десятых души народа. Об этот камень наш автор постоянно спотыкается, стоит ему

¹ Чтобы возбудить зависть (*лат.*).

устремиться за пределы собственных познаний. Со времени окончания университета он сохранил зыбкую память о словах, но наполовину утратил их значение и теперь сочетает одно с другим не по смыслу, а по звучанию, совсем так, как некий малый прибавал карты в кабинете своего господина: одни — боком, другие — верхом вниз, руководствуясь тем, как они лучше ложились на панель в обшивке.

Я отдаю себе отчет: знание грамматики не столь уж важно для успеха дела, которое сей автор защищает, и если бы в том, что ему заблагорассудилось высказать, предстал бы поборник разума и истины, я сам с готовностью на многое закрыл бы глаза. Но, когда потратив тьму усилий, я обнаруживаю смесь из ненависти и лжи, одобренных заведомым вздором, во мне, состязаясь, вспыхивают презрение и возмущение: по какому праву это чадо невнятицы берет на себя роль «Нравоучителя», «Опекуна», «Англичина», «Толкователя наших законов» и «Наставника нашего духовенства»?

Сей сочинитель, который с недавних пор то ли сам возжелал, то ли, получив приказание, подражает епископу Сарумскому, в потугах изобретательности открыл старинный способ внушать людям самые черные мысли под видом предостережений и, будучи в высшей мере хитроумным последователем достопочтенного прелата, стал упрекать священников в том, что они-де «сеют среди своей паствы опасения в угрозе им самим и их уложениям со стороны лиц, в подобных замыслах неповинных». И тут же невольно признается, что замысел его памфлета как раз в том и состоит, чтобы «посеять в народе опасения в угрозе» со стороны нынешних министров, кои, мы полагаем, являются столь же неповинными по крайней мере лицами, как и вышеупомянутые.

Что сказать о памфлете, где злоба и ложь в каждой строке вопиют об ответе, а нескладность и нелепицы не заслуживают такового?

Надевая на себя личину неизменной и нерушимой почтительности к духовенству, наш автор хотел бы уверить нас, что те листки «Болтуна» или «Зрителя», в которых весь священный чин постоянно подвергается хуле и поношениям, не имеют до него никакого касательства. Позволю себе обратиться к тем, кому знакомы его избитый стиль и скудное воображение: разве это не грубейшая ложь? Был ли случай, когда он, пытаясь передвигаться без помочей или же плавать без пузырей, тут же не споткнулся бы или же не пошел ко

дну? Разве не выступает он в той же роли в своей газете «Англичанин», единственным и безраздельным автором которой, по всеобщему признанию, является? А как насчет письма за собственной его подписью касательно Моулсворта, защищая которого он нанес оскорбление всему клиру Ирландии?

Мудрое правило гласит: коль скоро священник — не законник, не ему проповедовать повиновение властям, а посему: не ему проповедовать воздержание, коль скоро он — не лекарь. Перечитайте все написанное сим сочинителем, а затем найдите такое духовное лицо, которое было бы менее него сведуще в уложениях Англии; удостоверьтесь в огромном числе вопиющих ошибок, уснащающих его последние опусы, в коих тщится он рассуждать о сем предмете.

Священники, как он полагает, усвоили свои представления о власти и повиновении, противные нашим законам, «из помпезных идей о величии империи и покорности абсолютным императорам». Какое грубейшее невежество — ниже уровня школьника с его Lucius Flógus: Римская история, преподаваемая юнцам, охватывает немногим более восьми столетий, причем ее авторы всюду прививают любовь к республиканским принципам, а их рассказы о девяти из двенадцати первых императоров Рима учат нас с омерзением отворачиваться от тиранов. Греки в этом отношении пошли еще дальше, о чем известно каждому, кто читал их труды или слышал извлечения из них. Это послужило Гоббсу основанием выдвинуть прямо противоположное положение, а именно: что чтение сочинений по истории Рима и Греции, написанных при республиканском правлении, давало ложное представление о монархии и внушило молодым людям в Англии превратные политические взгляды. Вывод, сделанный Гоббсом, в какой-то мере справедлив, меж: тем как то, что преподносится нам в памфлете «Кризис», выдает лишь результат глубочайшего невежества.

Угодно ли знать, какую программу прочит наш автор для обучения молодых джентльменов? Извольте. Им надлежит денно и ночью штудировать те парламентские акты, извлечениями из которых является памфлет, и, «если бы сие было сделано в благовременье, Англия не оказалась бы в нынешнем своем состоянии, а каждый ее житель, появившийся на свет после Революции, был бы с такими познаниями поборником наших прав и свобод».

Вот вам и проект, как извлечь еще денег из «Кризиса» да засадить за него университетских наставников! И я полностью согласен с нашим автором: если бы последние двадцать лет наши студенты были бы заняты тем, чем положено, «Англия не оказалась бы в нынешнем ее состоянии». Но, увы, среди молодых аристократов и джентри развелось слишком много умников, поднабравшихся политических идей в кофейнях да крамольных клубах (хотя если бы эти юнцы посвящали время, проводимое в Оксфорде и Кембридже, серьезным занятиям, то недовольная часть жителей нашего королевства «не оказалась бы в нынешнем ее состоянии») или давших убедить себя, что несколько парламентских актов о престолонаследии важнее всех других «гражданских установлений». Кстати, мне до сих пор не приводилось слышать, чтобы парламентский акт по какому-то отдельному вопросу можно было бы назвать гражданским установлением.

Наш автор отводит чуть ли не целую страницу, дабы сообщить духовенству, что они совершили бы прямое клятвопреступление, призвав сюда Претендента, от которого отреклись, и мудро напоминает им о принесенной присяге, не допускающей оговорки или разночтений, чтобы они, того и гляди, не сочли, что, приняв Претендента и став папистами, тут же освободятся от данной ранее клятвы.

Сей честный, благовоспитанный и хитроумный джентльмен и сам, говоря по совести, знает, что в Англии не найдется и десяти священников (исключая неприягнувших), которым — куда больше, нежели ему самому! — не претила бы даже мысль о том, что нами может править Претендент. Тем не менее он подбирает ядовитые плевки епископа Сарумского и, заглотив их и разбавив собственной слюной, извергает вновь из себя. Не откажу себе в удовольствии вообразить, какой ответ священный клир в лице одного из его членов отписал бы сим досточтимым советчикам.

Достопочтенный милорд и джентльмен!

По поручению всего духовенства приношу Вам благодарность за добрый Ваш совет; если бы мы знали о каких-либо преступлениях, от коих Вы так же свободны, как и мы от тех, которые Вы призываете нас избегать, то ответили бы на Ваше послание в стиле и манере, по возможности близких Вашим. Однако, дабы совет Ваш не остался втуне, в особен-

ности в той его части, которая относится до Претендента, мы желаем Вам адресовать его более подходящим лицам. Поищите их среди главарей Вашей клики — разузнайте, кто из них был причастен к заговору, имевшему целью вернуть трон покойному королю Якову, и получил от него прощение за его подписью и печатью; порасспросите, кто с тех пор не перестает сообщаться с его так называемым сыном и ради тщеславия, алчности, ненависти и мести готов отдать ему трон ценою веры и свободы своей страны. Изыдите же с миром, милорд, прихватив с собой ученика Вашего, и да не коснутся больше нашего слуха сии лицемерные намеки, ибо в противном случае королева и ее министры, которые до сих пор удовлетворялись пресечением тайных козней Вашей клики, сочтут, наконец, себя вынужденными полностью их разоблачить.

Правда, автор наш, питая к духовенству глубокое уважение, не «намекает» прямо, будто они в самом деле таили дурные намерения, он только «намекает», что они дают «чересчур много поводов» для подобных «намеков».

Позволю себе, пользуясь случаем, очистить кое-какие из «намеков» нашего автора от банальностей и синтаксических ошибок и пролить свет на самую их суть. В «Посвящении духовенству» оных полным-полно — ведь наш автор пожелал слепить его из смеси желчи и лести, а стеснив себя таким образом, вынужден то укорачивать абзацы, то так их располагать, что один затемняет другой. Итак, предположим, что я уже совлек с них покров благовоспитанности и добрался до скрытого смысла. О чем же вещает он духовенству? Что благосклонность к ним королевы и ее министров не более как маска; что на суде над Сэчвереллом необоснованные крики «церковь в опасности» ввели народ в заблуждение; что священникам, «как людям разумным и благородным», надлежит разъяснять сие своей пастве, и пусть каждый знает, что истинный умысел ныне властей предержащих и в сем случае, и во всех последующих состоит в том, чтобы обеспечить победу «папизму, Франции и Претенденту», да к тому же поработить «всю Европу вопреки законам нашей страны, власти парламента, вере народов и промыслу божию».

Не могу взять в толк, почему духовенству «как людям разумным и людям благородным» (ибо наш автор обращается к ним именно так, а не как к людям, облаченным

священническим саном) не полагается знать, когда им грозит опасность, дабы иметь возможность самим смекнуть, откуда она приближается и кто способен встать на их защиту. Вполне возможно, что замысел уничтожить сих джентльменов и был выношен тайно, однако, когда он созрел, враги их развили столь бурную деятельность перед лицом всей нации, что тайное стало явным даже самой низкой черни, которая только и ждет повода поднять бунт. С другой стороны, может ли сей автор или же любой другой мудрейший член его клики назвать хотя бы одно уложение нынешнего кабинета, которое каким-либо образом содействовало внедрению Претендента или ослаблению права Ганноверской династии на английский престол? Оцените же разумность преподносимого сим джентльменом совета: при бывшем кабинете духовенство, джентри и простой народ постоянно испытывали страх за безопасность нашей церкви, тем не менее почиталось величайшим преступлением «внушать народу подобные страхи». Разговоры об опасности престолонаследия со стороны наследника-паписта, которые автор «Кризиса» ведет по поводу каждого шага, предпринимаемого нынешним кабинетом, заведомая ложь, клевета, сочиненная и распространяемая теми, кто сам в нее не верит, и принимаемая за истину теми людьми, которые ненавидят уложение нашей церкви и государства, сиречь иступленной кликой, готовой перевернуть небо и землю, лишь бы вновь дорваться до власти, пусть даже ценою гибели собственной страны. Тем не менее наш автор призывает духовенство толковать своей пастве о мнимой опасности, нарушая общественное спокойствие внушением подобных высосанных из пальца домыслов [...]

Этак, пожалуй, любой вертопрах в кружевных брыжах, завсегдаятай кофеен, способный нацарапать заглавие памфлета, будет судить и рядить о наших уложениях с не меньшим знанием дела, нежели сей в высшей степени глубокомысленный сочинитель, и так же от всей души костить духовенство, которое лезет-де в политику, ничего в ней не смысла. Знал я немало сих бойких политиканов, рассуждающих — хотя у них еще молоко на губах не обсохло — на все излюбленные среди ораторов их клики темы и способных с помощью дюжины ученых слов приводить блестящие доводы, которые сверкали бы на страницах «Кризиса», чей автор набрал свои скудные познания в тех же кругах и

изложил их, черпая доказательства из тех же запасов.

Однако мне все же остается неясным, адресуется ли сей джентльмен ко всему духовенству Англии или же лишь к той небольшой его части (вряд ли достаточной в случае перемен, дабы восполнить естественную убыль «подвижников-епископов», которых он восславляет), каковая разделяет его взгляды, да и среди них лишь к тем, кто проживает в Лондоне и его окрестностях, что, вероятно, сведет их число в лучшем случае примерно к полдюжине. Я склонен считать верным последнее, ибо он, обращаясь к ним, говорит, что они окружены «просвещенным, состоятельным, хорошо осведомленным джентри, которому ведомо, с какой непоколебимостью, самоотверженностью и милосердием сии епископы стояли за дело народа и каким оскорблениям и пр. подвергались, защищая правое дело». Под выражениями «дело народа» и «правое дело» наш автор понимает дело партии вигов, выступающих против королевы и верных ей слуг. А посему, надо полагать, под «просвещенным, состоятельным, хорошо осведомленным джентри» он понимает Английский банк и Ост-Индскую компанию вкупе с остальными купцами и горожанами в пределах Лондона, столь сильно настроенных против церкви и короны, что в последнее время крамольный дух взял в них верх даже над соображениями собственной выгоды. Ибо пусть обрывает всю остальную Англию и убедится, что ни духовенство, которое «окружено», ни джентри, которое его «окружает», знать не знают о достоинствах упомянутых епископов и к тому же стоят за совсем иное «правое дело», о чем, надеюсь, вскоре открыто будет заявлено в обращении к обоим состояниям.

И уж вовсе ни к чему было нашему сочинителю предрекать, с каким презрением и насмешкой станет обращаться с духовенством его клика, как только окажется у власти. Полагаю, что это высокочтимое сословие очень мало заботит, как смертельные их враги собираются с ними обращаться, если Богу будет угодно наслать на нас за наши грехи столь роковую беду, каковую, позволю себе надеяться, и духовенство, и миряне постараются совместными усилиями предотвратить. И я немало утвердился бы в сей надежде, если бы мог составить мнение о пророческом даре нашего автора (каковой многие охотно приписывают людям его темперамента), вещающего, что «шум и ярость не всегда будут сходить за рвение». Однако какое иное рвение сей джентльмен и

остальные члены его клики имели случай выказать? Если их истошные вопли и есть «шум», нам остается только прислушиваться, с какой стороны он раздастся. А если подстрекательство, брань, злобная ложь и клевета являются плодами «ярости», то достаточно прочитать памфлеты и газеты, выпускаемые сторонниками его партии, или заглянуть в их клубы и кофейни, дабы обрести суждение о самом древе, порождающем сии плоды [...]

Таким образом, одолев «Посвящение», перехожу к рассмотрению «Предисловия», и, поскольку оно наполовину состоит из цитат, с ним удастся скорее справиться. Правда, весьма неблагоприятно со стороны сочинителя пользоваться своим невежеством и злобой одновременно, ибо это задает критику двойную работу. Все равно что прибегать к софистике — скажем, к приему, именуемому логиками «двумя средними посылками», решительно недопустимыми в одном и том же силлогизме. Сочинитель с дурной головой и развращенным сердцем — едва ли по силам одной паре рук, как наемная кляча, изъезженная и злобная, которая, едва передвигая ноги, норовит лягнуть на каждом повороте.

Наш автор начинает свое «Предисловие» рассуждением о возникновении власти и природе гражданских установлений, представляя нечто такое, что, я уверен, не мог бы вообразить себе никто из писавших о государственном устройстве от Платона до Локка. Позвольте мне привести дословно первый абзац сего «Предисловия»: «Мне ни разу не приходилось видеть, как постепенно остывала, обретая порядок, разъяренная толпа, но мысль о ней подсказала мне идею происхождения власти и природы гражданских установлений. В подобном случае какой-либо выдающийся человек с величавой внешностью или иными качествами, истинными или мнимыми, внезапно пробуждал у собравшейся толпы благосклонность и чувство доверия, и тогда, объявив ему причину своих разногласий, толпа представляла дело на его суд».

Некий поэт, никогда не покидавший пределы Англии, изображая какое-нибудь событие, любил уподоблять его другому, которое могло произойти уж никак не ближе, чем в Ливийской пустыне, и начинать описание словами: «Итак, увидел я...» Подобный вымысел можно, думается мне, извинить поэтической вольностью, хотя Вергилий поступал не в пример скромнее. Но сей абзац, начинающий рассуждения

мистера Стила и рисующий картину, выдаваемую им за собственное наблюдение, есть не что иное, как жалкое, исковерканное переложение шести строк из помянутого выше поэта, звучащих примерно так: «Когда среди огромного сборища подымается дух возмущения» и т. д., «Тогда, если толпа видит мудрого, степенного человека» и т. д. Вергилий, живший вскоре после падения Римской республики, где то и дело вспыхивали мятежи и смуты и где ораторское искусство имело огромное воздействие на народ, употребил сравнение, а мистер Стил, воспользовавшись его поэтической аллегорией, выдает ее за реальный факт и описывает в такой манере, как если бы сам видел сию картину сотни и сотни раз, да еще возводит на ней свою систему происхождения власти. Когда у нас в Англии собираются мятежные толпы (что в последнее время случается совсем не часто), наш государь усмиряет их не с помощью ораторов, а принимает иные, куда более действенные меры. Однако у мистера Стила толпы собираются в некоем отвлеченном месте — там, где нет никакого правительства и где их «ярость» и страсти остужаются неким джентльменом, о чьих великих качествах народ уже заранее наслышан. Подобное сборище, видимо, одним махом появилось прямо из-под земли, так же как пользующийся у него беспредельным влиянием господин упал прямо с неба, ибо не собираются толпы там, где нет никакой формы правления, и не могут они заранее знать о достоинствах и добрых качествах выдающегося человека. А посему сей влиятельный человек, который умеет постепенно «остужать» разъяренные «толпы» и к которому они обращаются, необходимо оказывается либо явным, либо «тайным тираном». Сей «тайный тиран», как я понимаю, есть Брентфордский король со своей переодетой гвардией, и, когда он умирает либо естественной смертью, либо от удара по голове, либо низлагается с престола, народ «спокойно принимает необходимые меры, совершенствуя то, что было принято при тираническом правлении». Это, как по всем правилам сообщает наш сочинитель, и «есть, по-видимому, разумное с точки зрения здравого смысла» решение. Иными словами, именно это он и называет «идеей о происхождении власти и природе гражданских установлений». На что я с грустью скажу: пусть покажут мне две строки подряд из любого автора, где бы встретилось подобное нагромождение невежества в истории и непонимание человеческой природы и политики вкупе с

незнанием простейших правил как логического мышления, так и стиля.

Сии глубокие размышления предназначены, по-видимому, лишь для того, чтобы ввести несколько цитат в поддержку законности сопротивления властям. Но, помилуйте, что общего между сопротивлением и наследованием престола Ганноверской династией и почему писатели-виги беспрестанно притягивают одно к другому? Не иначе как ненависть к королеве и ее министрам навела их на мысль возвести ее преемника на престол, устроив еще одну революцию. Однако благовидно ли выдавать случаи крайней необходимости за общепринятые принципы поведения, которыми мы всегда должны руководствоваться? Не лучше ли сим джентльменам иногда проповедовать и общее правило — повиновение, нежели всегда лишь исключение из оно-го — сопротивление? Коль скоро первое есть неизменное требование всех законов, как божеских, так и человеческих, а необходимость второго все еще подвергается сомнению.

Не стану касаться выдержек, приводимых мистером Стилом в подтверждение законности сопротивления государям, кроме одной, выхваченной им из речи нынешнего Лорда-канцлера, которую тот произнес в защиту доктора Сэчверелла: «Существуют особые случаи — случаи крайней необходимости, — каковые подразумеваются, хотя и не оговариваются общим правилом (повиновения)». Эти слова, предельно ясные сами по себе, мистер Стил доводит до бессмыслицы, и, если бы к таковой прибег любой другой автор, я заподозрил бы его в намерении очернить наивеличайшего из всех людей, когда-либо занимавших, вернее, украшавших высокую должность Лорда-канцлера. Но, зная истинную цену перу мистера Стила, удивляюсь не столько тому, как он истолковал цитату, сколько тому, что вообще привел ее в подлинном виде. Когда зришь, с какой учтивостью он обходится с лордом Харкуртом, невольно начинаешь подозревать, не скрывается ли за этим злой умысел. Мистер Стил называет его светлость «величайшим человеком» и «наивеличайшим авторитетом из всех ныне здравствующих», помещая в общество генерала Стэнхопа и мистера Ходли, — короче, пользуется самым действенным способом, дабы погубить его во мнении любого умного и порядочного человека. Могу лишь сказать лорду Харкурту в утешение, что расточаемые ему сим автором похвалы насквозь пронизаны доктриной

сопротивления и так называемыми истинно революционными принципами, и коль скоро милорд не выкажет желания признать в мистере Стиле своего толкователя, он вполне может надеяться вновь заслужить честь быть оклеветанным вместе со своей государыней и другими верными ее слугами.

Теперь мы подошли к самому «Кризису», и вот перед нами две страницы, так сказать, введения к тем извлечениям из парламентских актов, которые составляют основное содержание памфлета. Введение сие начинается с определения автором понятия свободы и переходит в панегирик сему великому благу — панегирик, составленный из бессвязных обрывков, подобно школьному сочинению на избитую общую тему, которые нынче любой человек накропал бы без особого труда. Но наш политик, взявшийся переиначивать все старые добрые сентенции на новый лад, настряпал лишь тьму грамматических ошибок и всяческих нелепиц. Вот те великие истины, кои он жаждет навязать читателям: «Свобода — лучшее, что есть на свете», или «Без свободы человек сам себе не хозяин», или «Хорошо быть здоровым, хорошо быть сильным, но еще лучше — быть свободным!», или «Человек не может быть счастливым, если он не свободен делать то, что велит ему душа», или «Знатные мужи любят свободу, и простолюдины тоже любят свободу», даже женщины и дети тоже любят свободу, и нельзя им лучше угодить, как позволив делать то, что угодно. Если бы мистер Стил удовольствовался изложением сих и подобных истин в столь же удобопонятных выражениях, я сумел бы так или иначе установить, в чем мы с ним согласны, а в чем расходимся. Но послушаем, как он развивает сии положения. «Мы не можем испытывать удовольствие и удовлетворение, принуждая себя сдерживаться, если не сохраняем то бесценное благо, кое именуем свободой. Под свободой же, как мне желательно быть понятым, я разумею счастье человека жить в согласии с самим собой» и т. д. «Истинная жизнь человека состоит из препровождения ее согласно его собственным естественным чувствам и добронравным склонностям». «Человек в своей сути становится хуже иного вольного существа, когда его склонности и страсти не управляются велениями собственной души». «Без свободы наше благосостояние (как и все прочее) может оказаться в зависимости от воли тирана, который воспользуется им на нашу погибель и погибель наших близких». Если среди сих сентенций найдется хоть одна,

которая не грешила бы грубейшим образом против истины, здравого смысла или грамматики, я готов признать их все неопровержимыми. В первой, не говоря уже о педантизме всего высказывания, преподносится явная чушь. Среди каких народов мира можно найти человека, который будет «испытывать удовольствие и удовлетворение, принуждая себя сдерживаться»? Во второй: ему «желательно быть понятным», и он «разумеет», то есть ему желательно, чтобы разумели, что он понимает, или чтобы поняли, что он понимает. В третьей: «...жизнь человека состоит в препровождении» жизни. В четвертой утверждается, что «люди в своей сути становятся хуже, когда их страсти не управляются велениями их собственной души», то есть нечто прямо противоположное наставлениям всех моралистов и законодателей, которые единодушно полагают, что человек должен держать свои страсти в подчинении у разума и закона; законы же не имеют иного назначения, как исправлять наши дурные наклонности. Что же касается до последней: «Наше благосостояние пагубно для нас самих и наших близких, когда сие угодно тирану», то пусть ее автор сам истолкует, какой здесь смысл.

У меня неостанет слов, дабы воздать хвалу нашим предкам, передавшим нам в наследство благо свободы, не могу, однако, понять, каким образом, «заплатив за нее своей кровью и богатством», они все же «поскупилась на усилия», ибо не знаю, что может быть щедрее, нежели отдать свою кровь и богатство ради других. Впрочем, постойте, меня, кажется, осенило! Я понял, что мистер Стил имеет в виду: наши предки потому «поскупилась», что ради блага потомков пожертвовали лишь собственным богатством, меж тем как мы расточили и богатство самих потомков — правда, будут ли они нам благодарны и посчитают ли, что мы сделали это ради сохранения их свободы, придется предоставить судить им самим.

Я доподлинно знаю — хотя и не мог бы представить тому доказательства перед верховным судьей в Вестминстер-холле, — что под «врагами наших уложений» мистер Стил, «как ему желательно быть понятным», понимает Лорда-казначая со всеми остальными членами кабинета. Под «теми, кто становится тем бездейтельнее, по мере того как с каждым днем усиливается опасность нашей свободы», разумеются

тории, а под «честными людьми, коим надлежит, как и подобает честности, высоко держать голову», понимаются виги. Полагаю также, что он был бы на меня в большой обиде или почел бы скудоумным, истолкуй я его как-нибудь иначе. Следственно, согласно его разумению, выходит, что четверо главных наших государственных мужей, да и весь кабинет (исключая архиепископа Кентерберийского) суть «враги нашей формы правления, искусно и открыто посягающие на наши уложения», а ныне «пустившиеся во всяческие интриги и подлые козни, дабы подорвать незыблемость парламентских актов», обеспечивающих престолонаследие за Ганноверским домом. Первым и злоименитейшим из сих преступников является Роберт Харли, граф Оксфорд, государственный казначей, который почитается главой министерства. Второй — Джеймс Батлер, герцог Ормонд, который, командуя армией, замыслил воспользоваться оной, дабы открыть сюда путь Претенденту. Третий — Генри Сен-Джон, виконт Болингброк, государственный секретарь которого, вероятно, надобно подозревать, в постоянной переписке с двором в Бар-ле-Дюке, подобно тому как покойный граф Годолфин имел письменные сношения с Сен-Жерменом. И дабы не утомлять читателей, сообщаю, что в памфлете упомянут еще мистер Бромли и иже с ним, которые, каждый в своей области, споспешествуют той же цели. Вот каковы мнения о нынешнем кабинете мистер Стил и его клика, руководимая ее главарями, всеми силами стремятся навязать английскому народу, а страдает ли при этом честь, мудрость и справедливость королевы, которая, зная по долговременному опыту, каковы дарования и неподкупность нынешних министров, сама и согласно желанию всего народа призвала их себе на службу, я решать не берусь. Подобное обвинение против лиц, облеченных столь высоким доверием, заслуживает, на мой взгляд, хотя бы одного доказательства, которое бы это обвинение подтвердило. А если бы среди лиц, годных служить престолу, не подвергая его опасности быть захваченным Претендентом, не нашлось бы иных, кроме именуемых вигами, положение о престолонаследии, решенное в пользу Ганноверского дома, было бы и в самом деле в весьма плачевном состоянии, ибо чуть ли не девять десятых жителей королевства, в особенности землевладельцев, высказались бы против сей достославной династии.

Теперь я дошел до извлечений из парламентских актов,

которые не стану трудиться сличать с оригиналами, ибо, полагаю, их для мистера Стила сумели точно переписать. Мне только кажется, что против того, кто владеет патентом на печатание оных, вполне можно возбудить судебное преследование по обвинению в посягательстве на чужую собственность, но входить в обстоятельства сего дела не моя печаль.

После двадцати двух страниц цитирования парламентских актов наш автор «просит дозволения повторить историю и ход заключения Унии», по поводу чего мне хотелось бы сказать несколько слов.

«Сие дело, — уверяет нас мистер С т и л , — безуспешно предпринималось некоторыми предшественниками ее величества», хотя я не помню, чтобы о нем когда-либо даже помышляли, разве что Яков I и покойный король Вильгельм. Правда, мне доводилось читать, что первый из сих государей сделал робкие шаги в сторону союза между двумя королевствами, но его попытки были с негодованием и презрением отвергнуты англичанами. И, как сообщает историк, даже при всей развращенности и продажности его двора и Парламента они не стали и слушать о столь позорном предложении. Я нигде не обнаружил, чтобы кто-либо из последующих государей, правивших до Революции, вернулся к сему проекту, ибо вряд ли к тому можно было найти мало-мальски разумную причину или надобность. Бьюсь об заклад, что не найдется человека, который сумел бы назвать хотя бы одно преимущество, которое могло бы ожидать Англию от сего союза.

Но к концу правления покойного короля Вильгельма, опасаясь, что ни он, ни принцесса Анна не оставят потомства, вернулись все же к предложению об объединении двух королевств, тем паче что Шотландия не утвердила престолонаследие за Ганноверским домом, а оставила за собой право на собственное решение в надежде обрести на этом свои выгоды. И тогда сочли, что крайне опасно предоставить этой части острова, населенной бедным и свирепым северным народом, свободу признать над собой власть другого короля. Тем не менее многие оказали сопротивление сему союзу, которое удалось превозмочь лишь несколько лет спустя после восшествия на престол ее величества, когда некий министр, ныне уже покойный, то ли по недомыслию, то ли из продажности, провел в парламенте акт, позволявший шотландцам приоб-

ретать оружие. Вот тогда-то Уния и стала настоятельной необходимостью не столько для того, что она могла принести нам существенное благо, сколько для того, чтобы избежать почти неминуемое зло, и в то же время для того, чтобы спасти голову незадачливого министра, у которого на этот случай хватило ума воспользоваться первой же возможностью и заручиться всеобщим прощением с помощью акта об Унии, ибо иными средствами он не мог, наблюдая приличия, получить оное для себя одного. Помнится, обсуждая сие событие лет шесть назад с весьма почтенным государственным мужем, принадлежащим к противной партии, к тому же ревностным сторонником Унии, услышал я от него откровенное признание, что единственной причиной заключения оной послужила необходимость, вызванная неудачными маневрами графа Годолфина.

Следственно, я готов согласиться со справедливостью замечаний автора «Кризиса» по двум пунктам: во-первых, касательно того, что Уния была необходима, по крайней мере по причине, названной выше, а именно: союз сей предотвращал правление на нашем острове двух государей, чего Англия ни под каким видом не могла допустить и что привело бы к войне на столько лет, сколько потребовалось бы для обуздания шотландцев. Во-вторых, что было бы опасно разорвать Унию, в особенности в нынешних обстоятельствах, когда за границей обретается Претендент, который, надо полагать, не упустил бы возможности сим воспользоваться. Ввиду этого меня немало удивило, когда прошлым летом среди нескольких пэров, кои прежде были рьяными поборниками Унии, а иные даже более всех на ней выгадали, так выиграл партийный дух, что они, не задумываясь о последствиях, стали в Палате лордов требовать ее расторжения, меж тем как другие, поначалу крайне ей противившиеся, ратовали за ее сохранение по мотивам, только что мною изложенным, о каковых автор «Кризиса» также не преминул упомянуть.

Однако, когда он уверяет нас, что «англичанам надобно с тем большим тщанием заботиться о сохранении Унии», приводимые им доводы выдают его с головой. «Прежнее шотландское королевство, — заявляет он, — обладало столь же многочисленной знатью, как и Англия». И в самом деле обладало, чему мы обязаны великим и неизбежным злом, принесенным Унией в силу тех основных положений, на которых

она ныне зиждется. Шотландская знать и впрямь столь многочисленна, что доходы всей страны едва ли могли содержать ее соответственно достоинству принадлежащих ей титулов, и, что бесконечно хуже, знати сей несть и не предвидится переводу до скончания света, ибо в каждом роде, за редким исключением, есть законный наследник. Мне представляется такая параллель: некоего высокородного джентльмена убедили жениться на женщине отнюдь не знатной и без гроша за душой, и вот ее друзья доказывают, что она ничем не ниже своего супруга, ибо привела в его дом родни и прислуги не меньше числом, нежели то, какое в нем застала. Шотландия обязана платить налоги из расчета одно пенни за каждые 40 пенсов, взимаемых с Англии; она посылает в Палату общин тринадцатую часть представителей; каждый второй шотландский пэр пользуется всеми привилегиями наравне с английскими, исключая право заседать в Парламенте, и даже, обладая равно высоким титулом, может претендовать на старшинство над теми, кто в будущем будет введен в этот титул. Пенсии и жалованья за исправление должностей, положенные ныне обитающим среди нас шотландцам, намного превышают ту сумму, какую их знать когда-либо расходовала у себя на родине, меж; тем как денег, которые они получают от своего народа, с трудом хватает, чтобы оплатить всех числящихся у них на гражданской и военной службе. Я мог бы назвать нескольких шотландских джентльменов с громкими титулами, которые изо всех сил старались делать вид, будто крайне жаждут расторжения Унии, хотя всех их доходов до ее заключения недостало бы на скудное содержание уэльского мирового судьи, зато после они сколотили такое состояние, какое иному шотландцу, не покидавшему своей родины, никогда даже и не снилось [...]

Кому не известно, что в последнее время виги не упускали случая как в своих писаниях, так и в высказываниях объявить Претендента законнорожденным. Посему мне показалось странным, что наш автор изо всех сил старается доказать противное, извлекая на свет все имевшие некогда хождение побасенки и различные столь же достоверные доказательства, почерпнутые из фуллеровских историй. Однако мистер Стил, надо полагать, действует не без указаний свыше, начальствующие же над ним сочли в нынешних обстоятельствах необходимым — по причине, им одним известной, — изменить свои распоряжения. Хотелось бы

только, чтобы, давая указания по вопросу, является ли установление престолонаследия в пользу Ганноверского дома неизбежным или нет, они выражали бы их яснее, ибо я уже говорил, что на первых страницах наш автор отвечает на сей вопрос отрицательно, а на следующих высказывает мнение прямо противоположное. «Не верю, — говорит он, — что найдется британец настолько неразумный, чтобы отказывать своему народу в праве, которым намного шире пользуются в других государствах». И тут же: «...несправедливо, чтобы Британия была лишена привилегии обеспечивать собственную безопасность, отсекая лишь те ветви королевского древа, кои угрожают ей уничтожением, меж тем как другие нации, не задумываясь и по менее значительным причинам, идут несравненно дальше» — и, приведя примеры тому из истории Франции, Испании, Сицилии и Сардинии, добавляет: «Неужели Великобритания, которой под силу сажать правителей на чужие троны, не имеет силы ограничить право на собственный?» Даже не верится, что сей муж совета, способный «воздать честь» сэру Томасу Хэнмеру, может быть повинен в таких несусветных несообразностях! «Автор «Поведения союзников», — сетует он, — осмелился говорить, правда обиняками, об изменении в престолонаследии». Автор «Поведения союзников» пишет дело и выражает свои мысли на правильном английском языке, чего автору «Кризиса» не дано понять. Первый полагает, что «было бы ошибочным приглашать в поручители нашего престолонаследия иностранную державу, ибо сие лишило бы парламент права изменять наше престолонаследие, возникни такая необходимость в будущем, без согласия того государя или той державы, которые были бы избраны поручителем». Что ж, если написать, что парламент не имеет сего права, есть государственное преступление и если мистеру Стилу кажется странным, что Британия может быть лишена сей привилегии, то разве не преступление говорить о том, что в будущем может возникнуть необходимость ограничить право на престолонаследие, как это однажды уже произошло?

Когда мистер Стил «размышляет о множестве великих и могущественных преград престолонаследию в виде законов, присяг и пр.», он «полагает», что «с ними все наши страхи улетучатся». Я тоже так полагаю, при условии, однако, что будет зачеркнут эпитет «великих»: я не раз слышал о «великих переменах», «великих празднествах», даже «вели-

ких путаниках», но представить себе воочию «великую преграду», как ни стараюсь, не могу. Впрочем, пусть так оно и будет, ибо «мысли», по-видимому, «не дадут ему покоя, пока он не сумеет полностью в них разобраться, а пока задается рядом вопросов». И поскольку сам ответить на них не может, я постараюсь в меру своих возможностей ему помочь. Первый вопрос: «Каковы признаки длительной безопасности?» Отвечаю. Признаками безопасности королевства или иного государства являются прежде всего хорошие законы, а также хорошее их исполнение. Первыми мы превосходно обеспечены, но по части последнего крайне неблагоприятны. Второй вопрос: «Что сейчас на уме и на сердце у наших людей в Англии?» Если под словом «наших» мистер Стил разумеет себя и своих единомышленников, то мысли и желания у них самые богомерзкие: ждут не дождутся смерти королевы; готовы прибегнуть к любым средствам, лишь бы утолить свое тщеславие и жажду мести; окончательно забыли, что такое правда, закон, религия, милосердие, совесть и честь. Третий вопрос: «В чьих руках находится власть за рубежом?» На сей вопрос следует, конечно, отвечать так: король Людовик XIV правит Францией, король Филипп V (в результате совета и признания вигов) — Испанией и т. д. Однако если под властью разумеет деньги, то в Европе у герцога Мальборо, по слухам, в наличии больше денег, нежели у всех христианских государей, вместе взятых. Правда, промыслом господним капиталы эти оказались запертыми в сундуке, ключ от которого недоступен его тщеславию, и в этом наше спасение. Четвертый вопрос: «Является ли наше разделение — политическое, а не естественное — нашей силой?» Полагаю, что нет. Но оно является залогом нашей силы, ибо, будучи «неестественным», вернее, противоестественным, не может длиться долго и, следовательно, показывает, что единение — основа всякой силы — нам более по естеству. Пятый: «Имеет ли для нас значение, у кого из государей в Европе самый длинный меч?» Не столь уж большое, коль скоро нам под силу связать сему правителю руки или вложить в соседские крепкий щит. Или если наш меч так же остер, как его длинен. Или если его принудят перековать меч на орало. Или если сей меч окажется в руках младенца или станет предметом борьбы двух соперников. Шестой: «Не может ли случиться так, что мощная длань, раздающая короны и королевства в Европе, со временем



Королева Анна

попытается дать и нам короля?» Если под «мощной дланью» наш автор понимает Францию, то пусть она дает нам столько королей, сколько угодно, мы сей дар от нее не примем. И откуда только наш разумник черпает свои сведения? Наверное, даже его братец Ридпат мог бы припасти для него что-нибудь получше. Какие такие короны и королевства раздала Франция? Испания была отдана ее нынешнему государю согласно волеизъявлению ее прежнего короля в соответствии с злосчастным Договором о разделе, авторов коего Англия, надеюсь, не скоро забудет. Сицилия была подарена ее правителю королевой Англии. Так же, по сути, и Сардиния. Франция действительно однажды «дала» королю Польше, но поляки не пожелали его принять. А посему сей вопрос явно задан мистером Стилом *in terrorem*¹ без знания подлинного положения вещей. Седьмой: «Не могут ли воз-

¹ Для устрашения (*лат.*).

никнуть новые претенденты на английскую корону?» Могут. И чего доброго, даже целая дюжина. А от них со временем народится уже и сотня. Нам же ничего не останется, как разделяться с ними по мере наших возможностей. Когда капитану Бессусу прислали пятьдесят вызовов сразу, он взмолился, говоря, что не может драться больше чем на трех дуэлях в день. «Если этот Претендент потерпит к р а х , — сетует наш писатель, — у французского короля есть в запасе целый ряд других — герцогиня Савойская, ее сыновья, дофин, приходящийся ей внуком». Что ж, представим себе, что Шевалье де Сен-Жорж опочил и герцогиня Савойская стала претенденткой на английский трон. Но тогда ей пришлось бы распротиться со своим мужем, ибо его высочество (мистер Стил пока еще не произвел герцога Савойского в короли!) является союзником британской королевы. То же относится и к ее сыновьям. Не знаю, право, как быть с дофином, если тот, паче чаяния, взойдет на французский престол прежде, чем ему приспееет возможность притязать на корону Англии. Я очень сомневаюсь, что его удастся убедить покинуть собственное королевство, — разве только он даст на то согласие по причине его чрезмерной близости к Англии.

Однако «несколько лет назад герцог Савойский уже изъявил, исходя из права своей супруги, притязания на английскую корону, а поскольку сей государь обладает большими дарованиями и находится в тесном союзе с Францией, сие сильно увеличивает наши страхи касательно наследника-паписта». Но разве, смею спросить, нынешний или какой-либо иной кабинет повинен в изъявленных сим государем притязаниях? Уж не опить ли его опиумом, дабы он лишился своих дарований? Или, может быть, мы вольны помешать ему вступать в союз с любым государем, состоящим в мирных отношениях с нашей королевой? Уж не послать ли нам убийц, которые заколют или отравят всех государей, исповедующих католицизм и когда-либо, по праву родства, притязавших на английскую корону? Чего, во имя всевышнего, могут они добиваться? Что требовать? Предположим, дофин был бы уже совершеннолетним, королем Франции и главным наследником-папистом английской короны. Что с того? Разве нашими законами он не исключен из престолонаследия? А обязан ли он им подчиняться? Отвечаю. Разве наша королева не имеет равных прав на корону Франции? Но она исключена из французского престолона-

следия по законам Франции, по которым женщина не наследует престол, хотя нам не обязательно их признавать. И разве не в нашей власти исключить из престолонаследия женщины, как исключила их Франция? Если подобные притязания послужат причиной войны, разве в человеческих силах ей помешать? Но наше дело — правое и справедливое, поскольку либо английские короли бесосновательно устранены от владения Францией, либо дофин, хотя он и ближайший их родственник, не имеет законных прав на английский престол. И плох будет тот государь, на защиту которого девяносто девять из ста его подданных не станут душой и телом против подобного Претендента-католика.

Я потому пространно отвечал на седьмой вопрос, что невольно принимал в соображение все дополнения, которые наш автор мог бы впоследствии сделать касательно данного предмета. Восьмой и последний вопрос, им себе предложенный: «Возможно ли, чтобы папизм и властолюбие были нам добропристойными и тихими соседями?» Тут мне не удастся его удовлетворить, ибо сам я на той улице, где они обитают, никогда не бывал и ни с одним из их друзей ни разу не беседовал, знаю только, что они пользуются дурной репутацией. А вот поведали мне — и известие сие верное, — что властолюбие переселилось на новое место и теперь проживает дверь в дверь с расколом, и вместе они задают такие попойки, от которых не знает покоя вся округа, ибо всю ночь напролет там буянят и бесчинствуют.

На сем я заканчиваю ответы на восемь «нелегких вопросов», которые мистер Стил предложил самому себе, дабы «удовольствовать всех британцев» и доставить каждому случай «окинуть беспристрастным оком то, что происходит в Европе вообще и в Британии в частности».

Перечислив значительные события в действиях союзных армий под предводительством принца Евгения и герцога Мальборо, мистер Стил с горечью в душе отмечает, что «британскому полководцу — сколь непостижимо сие не покажется потомкам! — не позволили воспользоваться плодами славных его трудов». Десяти лет пользования «плодами», по видимому, было недостаточно, хотя более «плодоносных» кампаний не знал еще ни один полководец. Тем не менее я не теряю надежды, что потомки не останутся в полном неведении, но, напротив, некоторая забота о славе ее величества и добром имени верных ей слуг все же будет проявлена.

Беспристрастный историк, возможно, откроет миру (а грядущий век легко поверит тому, чему найдет подтверждение в собственном сердце), что горстка усердствующих в распрях наглых отщепенцев своим корыстолюбием и властолюбием чуть было не погубила Англию, продолжая разорительную войну вместе с союзниками, ради которых мы сражались, но которые отказывались нести справедливую долю тягот, в чем им сии джентльмены из личных целей всячески потворствовали. Что они обходились с лучшей и добрейшей на свете королевой с наглостью, жестокостью и неблагодарностью (чему наш историк сможет привести достаточно примеров). Что, тщаась усилить свою клику, они споспешествовали лицам и принципам, чуждым нашей религии и формам правления. Он пояснит, по каким причинам помянутый полководец вкупе с первым министром соблазнились встать во главе сей клики вопреки собственным воззрениям, которые прежде неизменно провозглашали. Он приведет множество причин, вызвавших необходимость удалить в отставку пресловутого полководца и его соратников, кои, зная, что народ против них, боялись с окончанием войны потерять власть.

Сей историк не обойдет вниманием интриги герцога Мальборо, пытавшегося добиться пожизненных полномочий верховного военачальника, и в то же время не преминет отдать должное некоему джентльмену, занимавшему в те годы высокую должность в суде, который (что я ставлю ему в заслугу) увещевал герцога, когда тот обратился к нему за советом, не брать на себя подобных полномочий. Познакомившись с этими и многими другими примерами, которые время извлечет на свет, потомки вряд ли сочтут уж столь непостижимым, почему сей великий муж был отстранен от должности, и скорее задумаются, отчего не отстранили его ранее.

Но тут мы вступаем в весьма широкую область. А посему я предоставляю потомкам черпать сведения у историков, зарекомендовавших себя более сведущими, нежели автор «Кризиса» или этих строк, сам же продолжу сообщать нынешнему веку отдельные факты, которые наш великий оратор и политик полагает приемлемым — то ли по природной своей слепоте, то ли умышленно закрывая на правду глаза — нещадно извращать. Он утверждает, будто во время кампании под предводительством герцога Ормонда, «как только Великобритания договорилась с Францией о

кратком перемирии, о чем было объявлено военачальникам, английские войска, находившиеся в гуще неприятельских армий, бросили союзников на произвол судьбы». На самом деле все происходило наоборот: британская армия оказалась бесчестнейшим образом покинутой союзниками, хотя герцог Ормонд и граф Страффорд употребили все усилия, дабы убедить их этого не делать. Герцог получил указание не вступать в военные действия ввиду того, что со дня на день ожидалось отречение испанского короля. Сие было известно как имперским, так и голландским полководцам, но они предлагали, чтобы именно в подобных обстоятельствах герцог Ормонд затеял стычку с французами, имея целью расстроить шаги, предпринятые королевой для заключения мира. Разве уверенность в том, что Дюнкерк останется в наших руках, не стоила неуверенности в исходе сей битвы? Да вся кампания, коль скоро ею руководил герцог Мальборо, даже при подобном исходе, даже обойдись она в тысячи жизней и миллион-другой фунтов стерлингов, была бы провозглашена блестяще законченной! К тому же в том, что английский военачальник — равно как и голландские полномочные представители — отказался от сражения, в котором не видел выгоды, не было решительно ничего нового. Когда в свое время герцог Мальборо вознамерился взять в осаду Бушен, а представители Штатов жаждали, чтобы он дал сражение, хотя и не сумели, сколь ни старались, его к тому понудить, так что один из них, разъярившись на английского полководца, тотчас стал сторонником мира, я что-то не припомню, чтобы здесь раздавались негодующие голоса, клеймившие герцога по этому поводу. С другой стороны, когда французы захватили Дуэ, после того как союзники бросили герцога Ормонда, принц Евгений крайне настаивал на сражении, говоря, что второй такой возможности конфедерации уже не представится. Однако мосье — полномочный представитель Штатов, взяв слово, резко ему возразил, и принц Евгений вынужден был отступить. Так почему же отказ герцога Ормонда дать сражение — отказ, на который он пошел во исполнение прямого указания королевы и с целью получить Дюнкерк, — следует считать более предосудительным, нежели такой же поступок герцога Мальборо, совершенный им без соответственного приказанья и соответственной выгоды? Или, может быть, за голландским представителем следует признать больше власти, нежели за военачаль-

ником ее величества королевы Великобритании, действующим согласно непосредственным указаниям своей государыни?

«Император и империя, — с восторгом вещает мистер Стил, — продолжают войну!» А может ли его императорское величество ее продолжать? И если да, то, следственно, с Великобританией последние десять лет поступали, прямо скажем, странно. Как, помилуйте, могло случиться, что из тридцати тысяч имперских солдат, сражавшихся в Италии при взятии Турина, его императорское величество оплачивал только четыре? А если ему не под силу продолжать войну, так зачем же на это идти? Ответ прост: война наносит удары не по собственным его владениям, но только по имперским князьям (которых он вполне согласен подставлять). К тому же его министры денно и нощно ждут смерти королевы, полагая, что сие даст событиям новый поворот и вновь на старой основе раздует пожар европейской войны. Известно, что министры австрийского двора публично называли причину, по которой столь упорствуют против заключения мира: они надеются на внезапные перемены в Англии. А тем временем рассказни о том, будто союзники бросили императора одного, помогут — как у нас, так и в Голландии — поднять шум против королевы и верных ей слуг.

«Нет преступления утверждать (коль скоро сие правда), — заявляет мистер Стил, — что в нынешних обстоятельствах династия Бурбонов стала опаснее, ибо получила новые основания притязать на всемирную монархию и больше возможностей для торговли в Европе, нежели имела до войны».

«Нет преступления утверждать, коль скоро сие правда...» На этот раз я не стану оспаривать выдвинутого им положения. Но коль скоро это ложь, то утверждаю: тот, кто распространяет подобные заведомо крамольные измышления, заслуживает виселицы. Кого разумеет мистер Стил под «династией Бурбонов» — королей Франции и Испании? В таком случае я отрицаю то, что им сказано, ибо он представляет дело так, будто у этих государей одни и те же интересы и планы, меж тем как во всем христианском мире нельзя найти двух монархов, более противоположных. Он повторяет давнюю глупую клевету, столь же часто используемую против заключения мира, сколь часто опровергаемую. Увы, борзописцы, пишущие для своей клики, пользуются огром-

ным преимуществом: они пишут без страха, без разума, совести и должных знаний, распространяя ложь, мы же — те, кто их уличает, — вынуждены приводить для каждого случая опровергающие аргументы. После чего они в первом же следующем памфлете продолжают возводить свои клеветы, не обращая ни малейшего внимания на все, что было нами сказано, дабы вывести их на чистую воду. Может быть, под «династией Бурбонов» мистер Стил понимает только нынешнего короля Франции? В таком случае, если считать его утверждение справедливым, то сей государь не иначе как имеет своим пособником дьявола. Или же пусть бы лучше деньги и кровь, отданные нами за десять лет наших побед над ним, оставались в кошельках и жилах подданных его величества.

Однако нашего автора легче поймать за руку, когда он высказывается не по общим вопросам, а по частным. И посему я продолжу исследование его сообщений о последних. Так, хотелось бы мне, чтобы он спросил голландцев — ибо кому же об этом знать, как не им, — почему они отдали Траербак имперским войскам? Ибо что касается до королевы, то совета ее величества на сей счет не испрашивали, сколько бы политиканы из кофейни Баттона, от которых мистер Стил черпает свои сведения, ни уверяли нас в обратном.

Мистер Стил утверждает, будто «французы сами, нагло и самоуправно, приступили к разрушению Дюнkerка». Однако губернатор этого города и те джентльмены, коим поручено было за этим делом проследить, единодушно заявляют, что все происходило как раз наоборот: все распоряжения тех, кто уполномочен ее величеством, были в точности выполнены, к тому же и укрепления теперь уже разрушены. Осмелюсь и далее опровергнуть мистера Стила: если от уничтожения дюнкеркских укреплений так долго воздерживались, то лишь для того, чтобы устранить некоторые трудности, возникшие в связи с Договором о границах, который налагает на нас известные обязательства, и последующий ход событий показал, что было только благоразумно не спешить с этим делом, пока все трудности не были преодолены. Нельзя было трогать ни мол, ни гавань, из которой еще не вывели суда, что по причинам, вызванным важной государственной тайной, было сделано лишь два дня назад. Кто «внушил» нашему автору «подозрения, что мол и гавань вообще не будут разрушены»? На что еще он тут намекает?

Уж не на то ли, что министры получили взятки, чтобы наиболее важная часть работ осталась невыполненной? Или на то, что Претендент не сегодня-завтра начнет оттуда вторжение в Англию? Или что королева, стакнувшись со своими министрами, мешает осуществиться добрым последствиям мира, поступая так с единственной целью — утратить любовь народа и поставить под угрозу свою персону?

Не стану изобличать другие факты, привести которые мне ничего не стоит, но о которых ни одному честному человеку нет никакой нужды знать; рискну, однако, утверждать, что и мол и гавань в Дюнкерке будут полностью разрушены, и осмелюсь также предречь, что мистер Стил и его клика будут по-прежнему делать вид, будто они этому не верят.

Обидно — что и говорить, — когда вашей королеве не дают разрушить город так и таким образом, как ей бы того хотелось, и мистер Стил, коему непременно нужно сделать это по-своему, очень гневается на французов, притязавших заняться сим делом на свой манер, и все же он к ним несправедлив. Что до меня, то, на мой взгляд, их христианнейший король куда больше годится нашей королеве в друзья, нежели мистер Стил или кто-либо иной из его клики. Сверх того, не будем забывать, что Людовик XIV как-никак монарх и к тому же ей родственник. А посему, если я был бы членом Тайного совета и меня спросили бы, которому из сих двух прирожденных джентльменов должно распоряжаться разрушением Дюнкерка, я отдал бы предпочтение первому, ибо, полагаю, мистер Стил в качестве члена своей партии куда больший искусник по части разрушений внутри родной страны, нежели за рубежом.

Несравненно большую опасность для равновесия в Европе и успехов британской торговли представляло бы вторжение императора в Италию, нежели вторжение Франции в Империю, а то, что его императорское величество не чужд подобных мыслей, ни для кого в мире не секрет. И хотя мало что найдется сказать в оправдание многих действий французского короля, тем не менее даже худшие из них не идут в сравнение с самоуправством императора, продолжающего удерживать за собой Милан, в полном противоречии с его собственной клятвой и ясно выраженными положениями Золотой буллы, которые обязывают его отказываться от любых ленных владений, могущих ему достаться, ибо в противном случае со временем все они попали бы в его руки.

Я никак не мог догадаться, на кого это недавно намекал мистер Стил, когда писал про «мощную длань, раздающую короны и королевства в Европе». Теперь мне стало ясно — он разумел не чью-то длань, а собственную. Он отдал испанскую корону Франции, дозволил Франции же ближайшей весной вторгнуться с двумястами тысячами солдат в Империю, пожаловав ей же имперские прерогативы. Итак, прощай свобода: отныне Европа будет французской! Правда, чтобы все это сбылось, необходимо, чтобы столицу Австрии — резиденцию его императорского величества — посетила чума, от которой бы император умер, и тогда все вышеозначенное прошло бы как по маслу.

Почему бы и мне в свою очередь, набравшись смелости, не отдать кому-нибудь скипетр на манер мистера Стила? Отдам-ка я Империю курфюрсту Саксонии, буде нынешний император не оставит потомства и при условии, что виги убедят сына, дабы заполучить Империю, принять католичество, как некогда сумели убедить в том отца, дабы он мог заполучить королевство. А если сей государь не понравится, что ж, отдам Империю не ему, а курфюрсту Баварии. Неважно — тот или другой, смею надеяться, что христианский мир меня поддержит, независимо от того, что сплин, выдаваемый за политику, продиктует автору «Кризиса».

«Рассказывая о положении дел в Европе», мистер Стил замыслил доказать миру, что из-за продажности министров ее величества европейские страны влекут на путь рабства. Он направляет свой взор прежде всего на Португалию, которая «на протяжении всей войны снабжала нас золотом в обмен на шерстяные наши изделия, ныне же пользуется лишь кратким перемирием, да и то до тех пор, пока каталонцы не сложат оружия, после чего Испания сможет возобновить свои давние притязания на эту страну». И конечно же, как только Португалия будет поработана Испанией, она вместе со всей остальной Европой попадет в ненасытное чрево Франции. Но пока сие еще не произошло, давайте посмотрим, нельзя ли малой толикой правды облегчить положение сего злосчастного королевства. Да, португальцы пользуются лишь кратким перемирием, но благодарить за это им остается только самих себя, ибо они слишком поздно присоединились к договору; а за то, что они слишком поздно присоединились к договору, пусть благодарят вигов, чьим ложным реляциям они по слабости своей поверили. Тем не

менее королева добровольно взяла на себя обязательство защищать их от Испании, пока не будет заключен мир, а по заключении оного им будут предложены условия, которые самих португальцев удовлетворят.

Упомянув каталонцев, мистер Стил тут же восклицает: «Кто может без слез говорить о каталонцах?» Кто? Да я, например, — ибо мистер Стил поведал столько печальных историй, в коих нет ни единого слова правды, что притупил бы во мне чувство страха, и теперь даже худшее из худшего, о чем он мог бы рассказать, не повергнет меня в трепет. Его иеромиады касательно каталонцев сводятся к следующему. Во-первых, «они были втянуты в войну посулами морских держав», под каковыми разумеются Англия и Голландия. Правда, голландцев, к которым мистер Стил полон самых дружеских чувств, он в этом не винит. Во-вторых, «они были брошены союзниками и предоставлены мщению разгневанного государя». В-третьих, «они всегда выступали против как самой особы, так и интересов сего государя», который ныне стал их королем. Наконец, «сколь ужасная судьба уготована тем, кто в глазах господ нашего окажется их погубителями». И если истолковать сей намек так, как того желает мистер Стил, в погубели каталонцев должно винить нынешний кабинет ее величества.

Порою мне по доброте душевной хочется думать, что сей писатель не всегда сознает, какую чудовищную ложь он извергает, — то ли его глаза затуманены склонностью видеть все в черном свете, то ли ему недостает здравомыслия выбрать толковых поставщиков известий. Утверждать, будто «каталонцы были втянуты в войну посулами ее величества», можно будет, не нарушая пристойности, разве что лет через пятьдесят, когда ни одного свидетеля сих событий, способного опровергнуть такое утверждение, уже не останется в живых. На самом деле, только получив заверения герцога Гессенского и других, что Каталония не сегодня-завтра восстанет, и по их прямой просьбе королева согласилась послать туда войска. Когда же из-за неожиданного происшествия — пожара артиллерийского склада, вызванного взрывом снаряда, — Барселона была взята, каталонцы действительно восстали, хотя прежде, как и все другие испанские провинции, подчинились Филиппу и присягнули ему в верности. После заключения мира между испанской короной и Британией королева, дабы выручить императора и спасти

его солдат, включила в договор особый пункт, предусматривающий нейтралитет по отношению к Италии, а также возможность для его величества вывести из Каталонии свои войска, при условии, что каталонцам будет даровано полное прощение, а их честь, достоинство и достояние не будут ущемлены. Однако император не стал соблюдать нейтралитет и практически не ушел из Каталонии, ибо, отозвав оттуда главные силы, оставил там много офицеров и солдат, которые теперь побуждают упрямых каталонцев продолжать восстание, всячески им помогая. Король Филипп — что правда, то правда — вернул каталонцам не все их привилегии, к коим они неизменно прибегали лишь с одной целью — черпать вдохновение для новых восстаний, зато дал им те же привилегии, что и своим кастильским подданным, в частности свободу торговли, дозволение исправлять должности в Вест-Индии, каковыми они прежде не пользовались. Сверх того, королева оставила за собой право испрашивать для них дальнейшие льготы, в чем христианнейший король не мог ее не поддержать, ибо его католическому величеству крайне хотелось урезать те привилегии, которые послужили им поводом для восстания, а ранее служили поводом для присоединения к Франции. «Сколь ужасная судьба должна быть уготована в таком случае тем», кто помешал каталонцам принять благоприятные для них условия, предложенные их государем! И тем, кто, вполне сознавая, что неспособен снарядить хотя бы один корабль в помощь каталонцам, продолжает и сейчас подстрекать их на собственную погибель, суля поддержку и содействие.

На этом я заканчиваю свои возражения против представленного мистером Стилом обзора европейских дел, из которого он выводит Всемирную французскую монархию и угрозу Британии со стороны не знаю уж скольких претендентов-папистов. Его размышления о политике стоят приводимых им фактов. «Мы не можем, — заявляет он, — не отметить, что государь, более всех, судя по последним договорам, любезный французскому королю, есть, очевидно, герцог Савойский». На редкость справедливо! Ибо всем, что сей правитель получил после заключения мира, он целиком обязан ее величеству, воздавшей ему по заслугам как верному и полезному союзнику. Не преминем и мы отметить, что ни по одному пункту не было так трудно добиться согласия Франции, как по вопросу о границах владений герцога Савойско-

го — границах, на которых настаивала королева.

Он «стал самым могущественным государем в Италии». По мне, так лучше он, нежели император. «Он, как полагают, вступил в тайный и тесный союз с Бурбонской династией». Сие из числа тех фактов, приводимых нашим автором, коим я в высшей степени склонен верить, поскольку он наверняка тут ничего не знает, а следственно, вполне возможно, глаголет истину.

Я, по правде говоря, полагал, что со стороны Италии нам не угрожают папистские наследники: уж слишком много шума вызвало намерение послать туда Претендента! Однако кто знает, в какие широты их занесет. Герцог Савойский тем более опасен, что переезжает в Сицилию. Это «увеличивает наши страхи» оттого, что он будет «слишком далеко», а Шевалье де Сен-Жорж «слишком близко». Итак, «завоюет» ли Франция Германию или же «будет жить с нею в мире и согласии», в любом случае «мы и Голландия» окажемся отданы «на милость Франции», у которой за спиной полный колчан претендентов, дабы пускать их в нас, как только помрет Шевалье де Сен-Жорж [...]

Не могу признать несчастьем, как это утверждает мистер Стил, что «получившие у нас хождение изменнические книги против престолонаследия в пользу Ганноверской династии почти не обратили на себя внимания большей части народа», ибо вижу в этом знак того, что большая часть народа всей душой расположена к этой прославленной династии. Однако считаю большим злом, что эти «получившие у нас хождение» крамольные книги — книги, явно направленные против королевы и ее правительства, против уложений нашей церкви и государства, против религии в целом, — «не обратили на себя внимания большей части» властей предрержащих, но расследовать, чье это упущение — тех, кто заседает в Вестминстер-холле или в Уайтхолле, — не моя забота. В глубине своей совести мистер Стил знает, что «сомнения по поводу Претендента» обронены одним из членов его партии. Что же касается до неprisягавшего священника, которому поручили опубликовать книгу «О наследственном праве» под девизом *Summum jus*¹, то сей бедняга вместе с целой оравой детишек заперт в общей камере вонючей тюрьмы, где

¹ Высшей законности (*лат.*).



Генри Сен-Джон, виконт Болингброк

умирает с голоду и заживо гниет среди воров и карманников. Я не видал ни помянутой книги, ни ее издателя, но хотел бы задать вопрос «одной-единственной в мире особе»: как мог он — тот, кто так часто пил здоровье низложенного короля... да еще на коленях... Но подобные превращения естественны и заурядны, так что я не стану беспокоить его, добиваясь ответа.

Да, сложнее всего на свете дело взял на себя мистер Стил: оглашать измышления своей клики и вдобавок представлять их миру как «новые опасения касательно престолонаследника-паписта». Могу заверить его, что ни одного верноподданного ее величества нимало не заботит, переменит ли веру Претендент, — разве только в той мере, в какой мы желаем всем людям избрать истинную религию. Однако постоянные охи и вздохи по сему поводу весьма помогают поддерживать

шум и служат темой, на которую мистер Стил может без конца разглагольствовать, доказывая, как мало можно полагаться на подобные «обращения», или же перечисляя жестокости папистов, или же повторяя все те же соображения, когда собственные, когда епископа Сарумского, о пагубных последствиях, ожидающих Англию, буде нас вернули бы в лоно католической церкви.

Но поскольку сей писатель, по мнению его знакомцев, принадлежит к разряду тех, кого французы именуют *journalier*¹, страх и отвага посещают его сообразно погоде в нашем неустойчивом климате. Я склонен полагать, что две последние страницы его «Кризиса» написаны в «солнечный день». Закрываю же сие по общему их тону и по неосторожному утверждению, которое — если только наш автор стоит на нем так же твердо, как я, — должно разом опрокинуть все его «опасения касательно престолонаследника-паписта». «Несмотря на раскол в нашей нации, — утверждает он, — те, кто стоит за Ганноверскую династию, обладают *неизмеримым* преимуществом в числе, богатстве, отваге, военном искусстве и гражданских делах перед теми, кто защищает противоположную сторону. Сверх того, у нас есть законы, и законы, говорю я, на нашей стороне. Законы, говорю я, законы». Изящный повтор! Но, на мой взгляд, неуместный: ибо, если уж придавать чему-то особое значение, то — народному большинству, без которого, полагаю, наши законы не имели бы должного веса, хотя и они обеспечивают нам немалую долю безопасности. А коль скоро то, что утверждает мистер Стил, правда, как оно и есть, хотя утверждает сию правду мистер Стил (ибо я допускаю, что даже большая часть его партии настроена против Претендента), — престолонаследник-папист нам не грозит, разве только подобная опасность будет создана рвением лучших и злобностью, алчностью или честолюбием худших членов помянутой партии. А не будь этого, Британия была бы способна отстоять свой престол от посягательств любых врагов, как внутренних, так и внешних. Главные внешние опасности, которые перечисляет мистер Стил, относя их на счет последствий якобы до крайности неудачного мира, заключенного королевой и одобренного парламентом, были бы, вероятно, неизбежны при любом мире, исключая разве тот

¹ Журналист (фр.).

случай, когда бы среди прочих проектов, равно исполнимых, мы предусмотрели бы такой, по которому всем папистским родственникам нашего королевского дома перерезали бы глотки.

Что ж, по собственному признанию автора «Кризиса», неизмеримо больше числом и владеют большими средствами те, кто выступает за престолонаследие в пользу Ганноверской династии. Престолонаследие в пользу этого дома установлено, подтверждено и обеспечено рядом законов, а неоднократные заявления ее величества и присяга, принесенная всеми ее подданными, налагают как на нее, так и на них обязательства блюсти эти законы. Это-то и обеспечивает нам безопасность, такую безопасность, какую требует сие важное дело. Тем не менее, согласно воззрениям вигов, как излагает их мистер Стил, всего этого недостаточно и без дальнейшего содействия автора «Кризиса» и его клики Закон о престолонаследии будет нарушен, Претендент водворен на английский трон, а в Англии восторжествует папизм.

Каковы же те гарантии безопасности, которые наши противники предлагают вместо перечисленных? Клуб политиканов, где главенствует Дженни Мэн; памфлет «Кризис», написанный мистером Стилом; сообщество жуликоватых маклеров, цель которого подорвать кредит; известие о смерти королевы; чучела Претендента, которые некий доблестный пэр дважды пронзил шпагой; речь автора «Кризиса» и, подведем итог, безграничная свобода поносить королеву и тех, кого она избрала служить себе.

На этом я положил закончить самое отвратительное дело, за какое когда-либо брался; мне легче было бы написать три тягуче-многоречивых памфлета, нежели опровергнуть измышления и нелепости сего одного. Однако в прошлую среду зашел ко мне типографщик, держа в руке очередное изделие того же автора, озаглавленное «Англичанин; последний выпуск сего издания и т. д.», и сбил меня с толку. Он хотел, чтобы я прочел этот выпуск и по достоинству его оценил в отдельном памфлете, от чего я решительно отказался. Однако, вчитавшись в упомянутые листы, я убедился, что в них содержатся главным образом оскорбительные выпады против Тоби, кабинета, «Исследователя», духовенства, королевы и газеты «Почталъон», а с другой стороны, выражается вполне справедливое недовольство теми, кто отважился сказать хоть слово против главарей пресловутой клики, которой

ее величество дали отставку. Автор листка также предлагает, чтобы «награды и должности распределялись поровну между вигами и ториями»: ибо если первые «не получают своей доли и части в царстве Давида, то и не желают быть ему долгие подданными». Далее, мистер Стил утверждает, что «ее величество целиком соблюла меморандум мосье Тюгэ против разрушения Дюнкерка», отмечает с величайшим удовлетворением, сколько пользы принес уже Англии памфлет «Кризис». *Non nobis Domine, non nobis, etc...* ...Наш достопочтенный автор позволяет нам надеяться, что оставит сочинительство, «дабы пользоваться покоем и счастьем», и кончает «Посланием к другу при дворе». Судя по тому, что он величает адресата «старинным другом» и тому подобное, полагаю, речь идет о ком-то, равном ему по положению, среди каковых у его партии и в самом деле больше друзей, чем хотелось бы видеть. В послании сем утверждается, будто нынешние министры выросли не в лоне англиканской церкви, а лишь недавно перешли в нее из пресвитерианской. По поводу чего мне остается только сказать следующее: какой слепой должна быть злоба человека, изобретающего заведомую ложь с целью очернить вышестоящих, да еще такую ложь, которая, будь она правдой, ничем не умалила бы их достоинства. И в заключение он, от своего имени и имени других недоброжелателей, выставляет три требования. Первое — чтобы «гавань в Дюнкерке была полностью разрушена». Второе — чтобы «Великобритания и Франция, объединив свои силы против чрезмерного самовластья герцога Лорренского, вынудили Претендента убраться из Бар-ле-Дюка». Третье — «чтобы его величество, курфюрст Ганноверский, милостиво соизволил удостоверить перед всем миром, что между ним и английским двором царит полное согласие, и сделал бы это в столь же ясных и определенных выражениях, в каких не преминула заявить о том ее величество, когда со своей стороны возгласила о дружеских отношениях с сим домом».

Касательно первого из означенных требований возьму на себя смелость возвестить, что оно будет выполнено. Однако пусть и мистер Стил вкуче со своими братьями по духу обещает, что как скоро те, кому сие дело поручено, доложат о его завершении, они изволят им поверить или же доставят свидетелей, способных сие опровергнуть. Что до второго требования, то не могу предречь, вступит ли ее величество в

Поражение победителей

войну с герцогом Лорренским, дабы «вынудить его прогнать» Претендента, но полагаю, если парламент сочтет нужным по этому поводу к ней обратиться, королева побудит сего государя выслать Претендента из своих пределов. Последнее требование, хотя оно и выражено в виде пожелания, носит столь наглый и крамольный характер, что я не стану его касаться: в нем автор памфлета обвиняет ее величество во лжи, провозглашенной с трона перед парламентом, и отказывается верить ее слову, пока курфюрст Ганноверский не подтвердит истинность того, что она торжественно провозгласила.

Не могу с сим писателем не согласиться: пусть противники его не берут на себя труд узнавать, кто он по рождению, воспитанию или состоянию! О том, кто в подобных выражениях пишет о своем государе, коему лично столь многим обязан, не стоит справляться, является ли он *прирожденным джентльменом*, тем более является ли он *человеческим существом*.

Джонатан Свифт

НЕСКОЛЬКО НЕПРЕДВЗЯТЫХ МЫСЛЕЙ
О НЫНЕШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ

Май — 1714



Каковы бы ни были мысли и дела прожженных политиков, им никогда не убедить разумную часть человечества в том, что самый простой, короткий, легкий, безопасный и законный путь к благой цели менее приемлем, нежели прямо противоположный тому во всех или хотя бы одном из помянутых свойств. Я не раз слышал от выдающихся министров, что политика — не более как здравый смысл, а поскольку это был единственный случай, когда они говорили правду, то это был и единственный случай, когда им вряд ли хотелось, чтобы я им поверил. Бог даровал человечеству, в существенном его числе, способность внимать доводам рассудка, когда их понятно излагают, и, будь то в их воле, люди охотно подчинялись бы власти разума. Во все века государи, особенно прославившиеся таинственным умением властвовать, в конце концов убеждались в том, что дурно распорядились собственным покоем или благополучием и счастьем своего народа, да и потомство не сохранило о них благодарной памяти, как, скажем, о греческих олигархах Лиандре и Филиппе, римском императоре Тиберии, Людовике XI Французском, папе Александре VI и его сыне Цезаре Борджиа, королеве Екатерине Медичи, Филиппе II Испанском и многих других. Не меньше найдется примеров и среди министров, снискавших себе

известность в качестве ловких интриганов, чья политика рождала главным образом ропот, распри и волнения, которые, как правило, приводили к позору и краху того, кто их породил.

Я могу извлечь из памяти только три случая, когда в государстве — я имею в виду государство, где король пользуется повиновением и любовью своих подданных, — можно почитать необходимыми таланты подобных мужей. Первый — при переговорах о мире; второй — при согласовании интересов своей страны с интересами живущих окрест народов, а также при наблюдении за различными ходами, предпринимаемыми соседями и союзниками для сохранения должного равновесия сил; последний — при управлении партиями и кликами у себя дома. Правда, касательно первого случая я часто слышал мнение, что здравый смысл и неуклонное следование поставленной цели приводят к лучшему результату, нежели все хитросплетения, которые некий выдающийся иноземный дипломат любил саркастически называть «душой переговоров». Во втором случае, несомненно, требуется обладать глубокой мудростью и доскональным знанием всех внешних и внутренних обстоятельств; за всем тем не вижу и здесь необходимости в иных талантах, кроме основательности и сноровки, которые потребны в ведении любых важных дел. В последнем случае, то есть при управлении партиями, есть, пожалуй, больше оснований использовать дар к низкой политике, особенно когда поднимается буря против двора и власти предрежущей, что, однако, редко происходит при должном правлении, преследующем подлинные интересы народа. Но здесь, в Англии (а я не тшусь устанавливать законы правления для всех времен и народов), где государь и министры, духовенство, основная часть землевладельцев и большая — народа, по всей очевидности, придерживаются одних взглядов и принципов, мне трудно представить себе положение, при котором стоящим у кормила власти могут открыться возможности проявлять свой дар по части тайн и интриг, разве что они сами сочтут удобным таковые для себя создать.

Если верить искушенным в ведении различных дел людям, у двора много меньше секретов, нежели это принято считать, и, полагаю, величайший его секрет именно в том и состоит, что у него их почти нет. Ибо источники великих событий, как и великих рек, бывают столь мутны и

ничтожны, что ради чести и славы лучше, когда они остаются скрытыми. А посему министры мудро предоставляют толковать свои поступки людям, достаточно далеким от себя, и сии разумники нередко возводят их в целые системы, которые не только легко заглатываются завсегдатаями кофеен, но и служат пищей для памфлетов нынешнего века, а возможно, явятся материалом для мемуаров и исторических сочинений в век грядущий.

По правде говоря, даже лица, весьма близкие ко двору и, надо полагать, в немалой степени прикосновенные к управлению государственными делами, склонны делать неверные заключения о причинах и мотивах иных действий, в коих сами принимали участие. Изъясняя некое положение и предлагая высказать свое мнение по его поводу, великий министр умалчивает о существенных подробностях, определяющих значение сего дела; в результате он пренебрегает вашим суждением, не находя в нем для себя проку, и тут же делает вывод, что лучше полагаться только на собственное разумение. Таким образом, он множит тайны и недомолвки в отношениях даже с теми людьми, с коими надлежит ему действовать в полном согласии и взаимном доверии, а миру предлагает убедиться в том, что, каков бы ни был затронутый предмет или событие, все было заранее предусмотрено, продумано и приведено в исполнение благодаря мастерскому ходу в его политике.

Я мог бы привести бесчисленное множество примеров, почерпнутых из собственной памяти и опыта, когда событие, отнесенное на счет ловкости и оборотистости того или иного министра, было на самом деле вызвано чьей-то нерадивостью, слабостью, прихотью, необузданностью или чванством, либо, в лучшем случае, естественным ходом вещей.

Во время нынешней сессии парламента некий весьма умелый джентльмен, оказавший в большой чести у власти предержажей, крайне усердствовал, стараясь внушить нам, будто при недавних раздорах при дворе, разросшихся до такой степени, что они уже ни для кого не были тайной, одна сторона отстаивала свою правоту с величайшим тактом, меж тем как другая вела себя весьма неприглядно. В подтверждение сего он рассказывал весьма доказательные истории, основанные на характере и нравах причастных к спорам лиц, включая и королеву, хотя знает о них не более прочих. Мне он поведал одну подробность, придав ей отменное правдопо-

добие, так что, изложи он ее на бумаге, сочинение его сошло бы за превосходный образец тайной истории. Я же убежден, имея на то серьезнейшие основания, что исход упомянутых раздоров, особенно в том, как они сказались на отношениях при дворе и в Палате лордов, был отчасти вызван совсем иными причинами, отчасти же общим состоянием дел, а потому при данном стечении обстоятельств дело не могло закончиться иначе, какие бы злосчастные последствия это ни несло для будущего.

Слышал я однажды, как некий врач с глубокой убежденностью утверждал, что вылечил тьму больных от губельной лихорадки и столько же от черной оспы; на самом же деле девять из десяти выздоровевших спасли от смерти крепость природы и здоровья, меж тем как пользоваться их случилось нашему лекарю.

Поскольку дознаться до первопричин и мотивов одних происшествий крайне трудно, а забыть подробности других крайне легко, то нет ничего мудреного в том, что они доходят до публики в весьма превратном толковании снедаемых любопытством пытливых голов, которые исходят в основном из домыслов, а берясь рассуждать о государственных делах, непременно попадают впросак, ибо ищут причины слишком глубоко.

А так как мне ведомо, сколь многие на сем спотыкаются, то и я, пытаясь обнаружить первопричины политических событий, исходя из догадок и предположений, вероятно, также неизменно ошибался, и, должен сознаться, это сильно умерило мое преклонение перед так называемой *Anglia Imperij*¹, о которой позволю себе сказать: чем меньше правительство оной себя окружает, тем, безусловно, и лучше.

Говоря все это, я отнюдь не задаюсь целью поубавить число талантов, потребных тем, кому доверено управлять государственными делами. Напротив, я не знаю другой области человеческой деятельности, где так необходимы все возможные добродетели и где отсутствие хотя бы одной из них ощущается столь незамедлительно и всеобъемлюще. Нет такой добродетели, украшающей великого министра, от которой общество не выигрывало бы, и нет такого порока,

¹ Государственной тайной (*лат.*).

ему присущего, от которого бы оно не страдало. За последние четыре года я не раз был свидетелем того, как малейшее упущение в соблюдении приличий оказывалось почти роковым для важных предприятий, кои с трудом удавалось затем спасти от провала. Лицу, стоящему у кормила власти, надлежит быть человеком рассудительным от природы, свободным даже от тени корыстолюбия и мздоимства, иметь отменные природные и приобретенные способности, любить своего государя и отечество, быть преданным уложениям церкви и государства. Но и этого далеко не всегда бывает достаточно. Мне приходилось видеть, как все эти достоинства не в состоянии были возместить их обладателю несколько примешавшихся к ним пустых несовершенств, которые даже не стоят упоминания и которые так же легко исправить, как и назвать.

Я никогда не считал, что репутация крайне скрытного человека говорит в пользу министра, ибо это заставляет подчиненных быть такими же скрытными, как он, и, следовательно, служит причиной того, что ему непременно будут представлять людей и факты в искаженном свете. Чрезмерная скрытность сочетается, по общему мнению, с теми происками и хитросплетениями, которые в глазах черни делают человека великим политиком, зато другие, не знаю, заслуженно или нет, считают его ловким пронырой — талант, так же разительно отличающийся от подлинного умения управлять, как качества, потребные стряпчему, от способностей искусного адвоката. Сверх того, я отнюдь не убежден, что обыкновение громоздить тайну на тайне не приводит в конце концов к уничтожению взаимной доверенности и сообщительности, необходимым в известной мере между всеми, кто причастен к управлению государственными делами. Ибо, как мне не раз приходилось наблюдать, затруднения, вызванные разногласиями среди тех, кому надлежит отдавать распоряжения, имели не менее дурные последствия, нежели те, какие могли бы произойти от разглашения тайны. Сдается мне, что, когда возводят здание, проект его рождается в одной-единственной голове; каменщикам достаточно получить приказ обтесать камни до указанной формы и установить в указанном месте, но подрядчики должны знать замысел в целом, без чего они просто не сумеют отдавать приказания. Я, право, не могу назвать лучшего признака, определяющего хорошего министра, нежели умение правильно, со-

образно склонностям и способностям, использовать людей, и считаю как нельзя более прискорбным, что так мало возможностей осуществлять сие в нынешних обстоятельствах, когда многие, примкнув к той или иной клике, предпочли устраниваться от дел, двор же оказался во власти нетерпения тех, кто спешит подороже продать свой голос или влияние. Впрочем, не слишком ли многим они сей товар предлагали и насколько такой пример опасен, а торг пагубен, мне придется предоставить разбираться кому-либо другому.

Состояние наших дел за последние четыре года в известном свете вряд ли может вызвать восхищение. Устав от алчности и наглости, порочной политики и пагубных принципов бывших своих министров, королева, зная, что чувства ее разделяет большая часть королевства, призвала на службу нации иных людей, которые, по признанию их врагов, отличались способностями, по крайней мере равными их предшественникам, но чьи интересы повелевали им (пусть даже вопреки собственным склонностям) действовать сообразно принципам, которые полностью согласуются с уложениями нашей церкви и государства, происхождение же и родовое наследие сих мужей обеспечили им влияние среди народа, а сами они (я говорю о главных фигурах) давно уже были связаны между собой крепчайшими узами дружества. Но, несмотря на все сии преимущества, а также на поддержку большей части землевладельцев и почти всего младшего духовенства, нынешний кабинет не раз, как мы видели, оказывался в самом тяжком положении и чуть ли не на краю гибели вместе с доверенным его попечению делом церкви и государства, а в настоящую минуту, когда пишутся эти строки, я не могу засвидетельствовать, что его власть, вернее, ее долговременность зиждется на сколько-нибудь прочной основе. Вину за создавшееся положение я отношу не столько на счет козней и происков его врагов, природной мягкости королевы или противодействий, чинимых отдельными недоброжелателями при дворе, сколько на счет собственных промахов, причины и следствия каковых, полагаю, вполне очевидны.

Ничто не вызывало у меня большего гнева, нежели введение кабинета, который, придя к власти с помянутыми мною выше преимуществами, с самого начала занял в Палате лордов, где имел большинство голосов, оборонительную позицию и вместо того, чтобы призвать к ответу ряд лиц,

как это ожидалось, расточал время, без конца упуская возможность творить добро единственно потому, что упорствующая клика не прекращала своих нападков. И дерзость эта со стороны врагов двора вдохновлялась различными происшествиями, за каждое из которых, полагаю, в ответе должны быть только сами министры.

Во-первых, шатия политиканов, известная под именем «непостоянных», никогда не была столь многочисленной и деятельной, как после великой перемены при дворе. Многие из тех, кто делал вид, будто всей душой сочувствует принципам, коими руководствовалась королева и новые слуги, либо устранялись, являя крайнее равнодушие к тому, от чего зависел успех всего дела, либо прямо переметнулись на сторону врага. Все это было результатом несправедливого и, пожалуй, подчеркнутого недоверия к тем, кто стал у кормила власти.

Я превосходно помню, как в первый год правления нового кабинета среди так называемых высоких тори или духовенства (особенно тех, кто впоследствии раздувал страхи насчет Претендента и с яростью ополчался на мирный договор и торговлю с Францией) поднялся достаточно внятный ропот по поводу того, что замещение приверженца противоборствующей партии идет недостаточно быстро. Я помню также те различные толкования, какие давались сему факту — в том числе и теми, кто хорошо знал двор изнутри. Одни полагали, что королева пошла вначале на великую перемену с единственной целью — прибегнуть в будущем к какому-либо примирительному маневру, дабы согласить враждующие партии; и, думается мне, сие предположение имело под собой достаточно оснований. Другим казалось, что должности не замещаются для того, чтобы поддержать надежду у большего числа их алчущих, нежели возможно удовлетворить. Такой ход с тех пор и поныне почитается очень искусной политикой, потому что, по всеобщему мнению, никакими силами не удалось бы держать в узде полчища искателей мест, если отнять у них надежду. Третьи оказались в своих объяснениях еще утонченнее, рассуждая, что было бы неразумно и небезопасно полностью подавлять противодействие противной стороны, ибо, поскольку в силу самой природы вещей английский парламент никак не может обходиться без партий, менее опасно терпеть клику, уже вызвавшую неприязнь народа, нежели получить себе на голову

новую, которая могла бы образоваться. В подтверждение сего говорилось, что огромное большинство в Палате общин тяготеет к Высокой церкви и уже существует некое сообщество под названием «Октябрьский клуб», имеющее целью подчинить себе кабинет. Наконец, в качестве неоспоримого довода в пользу постепенных перемен ссылались также на опасность такого положения, когда на государственных постах окажется сразу слишком много неопытных людей. К тому же, считали они, отстранение от должности или участия в комиссии, ведающей налогами или торговлей, толкового чиновника единственно потому, что он придерживается иных взглядов на управление страной, чревато опасными последствиями.

Тем не менее ни одно из этих оправданий не могло, разумеется, сойти среди тех, кто принимает лишь доводы здравого рассудка. Во-первых, все маневры по достижению сотрудничества в делах государства, как и в делах церкви, они считали химерическими и неосуществимыми. Во-вторых, в людях жил еще дух, рожденный судом над доктором Сэчвереллом; они не столько жаждали занять государственные должности, сколько видеть изгнанными с них своих врагов, дабы лишить оных возможности чинить зло. Далее, также утверждалось, что всеобщая погоня за должностями возникла главным образом потому, что они очень долго оставались незанятыми и были обещаны чуть ли не каждому, кого полагали способным творить добро или расправляться с врагами. В-третьих, страх перед возникновением еще одной партии в случае, если нынешняя оппозиция будет полностью подавлена, казался народу, в особенности при сложившемся ныне положении дел, непозволительной жертвой — жертвой безопасностью нации духу политики, принимая в соображение, как много нужно было сделать и как, возможно, мало времени было на это отпущено. К тому же разделение Палаты общин на «партию двора» и «партию страны» — зло, которого они, по-видимому, боялись, — никогда не представляло собой опасности для хорошего кабинета, всерьез радеющего о подлинных интересах и уложениях своей страны. Касательно же опасений, что «партия двора» получит в Палате общин большинство, то и они оказались напрасными: двор едва смог получить необходимое число голосов по многим важным пунктам. А Октябрьский клуб, поначалу казавшийся некоторым политикам такой серьезной угрозой,

явился впоследствии поддержкой для тех, кто его опасался. Также общеизвестно, что большая часть лиц, оставшихся на должностях от прежнего кабинета, открыто обвинялась в несоответствии и мздоимстве, не говоря уже об их предосудительных взглядах в вопросах религии и внутренних дел, так что хуже их было бы трудно кого-либо найти. К тому же ссылками на то, что тот или иной чиновник, известный своими партийными пристрастиями, оставлен на службе по причине исключительных способностей, пользовались, по общему мнению, недопустимо широко, применяя их чуть ли не ко всем должностям, хотя для многих из них требовалось не больше талантов, нежели для исполнения обязанностей церемониймейстера двора. Таким образом, сие последнее оправдание крайне медленных перемен, предпринятых для обезоружения врагов короны, можно было считать более благовидным, но менее основательным, нежели все предыдущие.

Менее всего я ищу здесь случая осуждать решения и действия нынешнего кабинета. Его безопасность и интересы явно нерасторжимы с безопасностью и интересами народа, а входящие в него министры — люди неоспоримых способностей, не замаранные даже тенью подозрения в алчности и мздоимстве; и ничто так не свидетельствует в их пользу, как страх и ненависть, которые внушают они противной стороне. При всем том совершенно очевидно, что за последние два года приверженность к ним друзей все больше остывает. Их сплошь и рядом бросают или терзают упреками, причем в самых тяжелых для них обстоятельствах. Их доброе имя не раз подвергалось крайне безжалостному и несправедливому поношению в разнузданных и оголтелых выступлениях ораторов обеих палат, меж тем как их ближайшие друзья, и даже те из них, кому надлежало разделить с ними позорящие обвинения, не проронили ни слова в их оправдание.

Когда я, рассуждая сам с собой, допытываюсь, чем могли нынешние министры дать повод своим друзьям для холодности, неверности и недовольства, мне тут же приходят на память разнообразные слухи, соображения и подозрения насчет замыслов двора, которые последние три года кем только не перемальвались. Я имею в виду не только домыслы, рождающиеся в кофейнях или сочиняемые какой-нибудь кликой, но и заключения (зачастую весьма превратные), выводимые людьми мудрыми и благопристойными, кто

по своим достоинствам и положению не мог не понимать причин, движущих жизнь страны, и в чьей власти было одобрить или заклеить правительство перед народом. А посему я осмеливаюсь утверждать, что все помянутые недовольства со всеми вытекающими из них пагубными последствиями возникли — так не ко времени — из-за отсутствия должной сообщительности и согласия. Каждому человеку нужен свет на всю длину предназначенного ему пути; своя степень доверенности есть для любой должности; даже мелкий полицейский чин — констебль — не станет исполнять свои обязанности с охотой и умом, если лишить его той доверенности, какая принадлежит ему по праву. Главная пружина в часах не видна глазу, но она сообщается с каждым мельчайшим колесиком часового механизма, и только так обеспечивается точный ход. Но когда к скрытому, таинственному образу действия прибегают в случаях, когда в том нет никакой надобности, в отношениях с теми людьми, кто сообразно своим постам рассчитывает на большую откровенность, сие неизбежно вызывает подозрение в тайных умыслах, каковых любой человек, почитая их наихудшим злом, более всего страшится. Те, кто наиболее горячо защищал интересы церкви, опасались, что если будет образовано правительство из представителей обеих партий, то в него от обеих сторон войдут лица с умеренными воззрениями. Другие боялись даже худшего: как бы подобное сотрудничество не вернуло к действию прежние, изжившие себя принципы вместе с приверженными им людьми. Кое-кто разыгрывал крайнее беспокойство по поводу того, к кому перейдет престол, якобы подозревая намерение возратить его тому господину, который, кем бы он ни был, претендует на корону по праву наследования. Нашлись и такие, особенно в последнее время, кто, напротив, высказывал мнение, что притязания Ганновской династии непомерно раздуваются кое-кем из власть имущих без ведома королевы или... И хотя эти обвинения слишком невразумительны, чтобы быть справедливыми (а у меня есть веские основания быть уверенным, что ни одно из них не было таковым), тем не менее их сознательно допускали, умеряя тем самым расположение народа поддержать стоящих у кормила правления — расположение, в котором они столь нуждались в трудных обстоятельствах, вызванных долгими запутанными переговорами о мире, каждодневно растущим долгом и пустой казной.

Однако следствия подобного негласного образа действия на том не кончились. Ибо недавние раздоры среди первых лиц при дворе (раздоры, которые в последнее время послужили развлечению завсегдаев всех кофеен), по-видимому, возникли из того же источника, и слишком большая скрытность одной стороны, как и слишком большая обида другой (если верить слухам, а сведениями более верными я не располагаю), раздули пламя вражды до такой высоты, что о примирении уже не могло быть и речи. И коль скоро это правда, то нет печальнее примера унижения человеческой природы: зреть, как в людях — в иных обстоятельствах совершенных — привычки и страсти берут верх над кровным их интересом, дружеством, честью и личной безопасностью вместе с безопасностью отечества, а возможно, и милостивейшей на свете государыни, вручившей его их попечению. Команда корабля, затеявшая свару во время бури или в виду подошедшего на пушечный выстрел врага, — лишь слабый образ сего рокового безумия, о котором я и так, по мнению кое-кого из моих читателей, уже слишком много сказал, хотя вряд ли можно сказать об этом достаточно.

Со времени злополучной ссоры измена друзей и утрата общего признания приобрели такие размеры, что мне трудно представить себе, каким образом наши министры удержались бы еще столько недель, если разнообразные их противники сумели бы договориться о том, как их свалить. И тот факт, что они все еще невредимы, подобен, пожалуй, случаю с человеком, оставшимся в живых единственно потому, что ему дали два противодействующих яда одновременно. Однако если прежде клевета сочинялась без связи и разбору, то теперь она приобрела адреса: согласно нынешним слухам, одни министры жаждут вернуть к власти изгнанную партию, другие — призвать Претендента.

Разве кое-кто не требовал, чтобы мы слепо доверились их уму, талантам и добрым намерениям, склонившись перед заслугами в деле великой перемены при дворе, коей четыре года назад были они единственной пружиной? Разве не домогались другие большей доли в управлении ходом событий, нежели принадлежало им по праву, а получив отказ, не стали вымещать свои обиды с куда большим рвением, нежели то допускала личная дружба и безопасность нации? Наконец, разве многие, отстоявшие на более далекое расстояние от трона, но равно пользовавшиеся если не доверенно-

стью двора, то его дарами, не были порою чересчур назойливы и навязчивы, чересчур требовательны и настойчивы? Разве те, кому их предпочитали, не предавались беспрестанно отчаянию с тем, чтобы затем на этом отчаянии сыграть? И разве не было среди них таких, кто отказывался от своих друзей и принципов в предвидении опасностей, виной которым были их собственная нестойкость и честолубие, кто теперь лелеет надежду, что их недовольство послужит основой благосклонности в случае предполагаемой перемены? Таковы эти и многие другие столь же немудреные вопросы и размышления, с которыми, вполне возможно, я на сегодняшний день уже несколько опоздал. И все-таки в целом я убежден, что, прояви мы больше единодушия и меньше хитроумия, мы справились бы со всеми нашими трудностями, и в этом не было бы никакого чуда. Но еще Тацит заметил, что одни люди слишком высоки духом, чтобы заниматься государственными делами, меж тем как другие слишком низки.

Не покажется ли крайней дерзостью со стороны человека моего звания поучать стоящих у кормила, каким курсом им идти? Мне достаточно приходилось бывать при дворах, дабы знать, какого низкого мнения придерживаются великие мира сего о разумении большей части человечества — настолько низкого, что в любой другой области, требующей умственных усилий, их сочли бы беспросветными педантами. И все же мне придется высказать свои соображения по сему вопросу, без чего все вышеизложенное утратило бы всякий смысл.

К чему стремится и чего желает народ, пожалуй, лучше знают не министры, а совсем другие лица. Есть два чрезвычайно важных требования, на которых большая часть жителей нашего королевства настаивает особенно горячо и единодушно. Первое: чтобы Англиканской церкви были полностью обеспечены все ее права, полномочия и привилегии, чтобы все учения о власти, ею отвергнутые, были отклонены, все схизмы, секты и ереси осуждены и поставлены в должное подчинение в той мере, в какой это допускает мягкость наших уложений. Чтобы открытых ее врагов (под каковыми я разумею прежде всего диссентеров всех мастей и оттенков) не облакали даже малейшей властью, гражданской или военной, а тайным ее противником — сиречь вигам, ревнителям Низкой церкви, республиканцам, умеренным и прочим — не оказывалось благоволения при дворе, разве что

они заслужили бы оное чистосердечным раскаянием и обращением на правильный путь.

Если бы эти три года сие требование строго выполнялось во всех его частях и было бы объявлено непреложным решением двора, можно было с уверенностью сказать, что той клике, которая все это время имела возможность широко противодействовать и наносить оскорбления правительству, пришел бы конец. Мне превосходно известно, что некие умники тщатся доказать, будто при нашей форме правления наличие нескольких партий весьма полезно, и я уже имел случай кое-что по этому поводу сказать, так же как и выслушать тьму праздных мудрствований. Здесь я, однако, не стану сей вопрос обсуждать: если кому-то заблагорассудилось играть со змеей, пусть по крайней мере выберет такую, которая наименее коварна, ибо даже на вид раздавленная, она может оказаться достаточно живучей, чтобы ужалить насмерть. Так что, на мой взгляд, рискованно заигрывать с означенной кликой, и уж во всяком случае в нынешних обстоятельствах. Во-первых, потому что ее принципы и действия были прежде пагубны, а нынче стали весьма опасны для уложений нашей церкви и государства; во-вторых, потому что члены сей клики, крайне раздраженные потерей власти, исполнены яда и ярости, а в своем неистовстве и злобе готовы уничтожить всех и вся. Но главное потому, что, пустив в ход обман и прочие уловки, они сумели внушить преемнику престола, что только им он и может доверять. Вот почему, чем скорее и решительнее мы лишим их возможности действовать, тем лучше. Ибо Англия никогда не избавится от опасных притязаний сего зловредного сброда, пока его сила и влияние не будут настолько подавлены, чтобы даже сама корона, даже при поддержке богатых смутьянов, не могла избрать в Палату общин злонамеренное большинство.

Необходимый шаг на этом важнейшем пути — провести чистку армии, в особенности в тех ее частях, которые посменно охраняют особу государыни, ибо среди их офицеров есть множество таких, кто больше пригоден караулить монарха, преданного суду, нежели восседающего на троне. Рука Провидения до сих пор хранила ее величество, хотя — и во сне и в пути — она окружена врагами; но, как учит нас религия, не следует искушать Провидение, а доверять столь бесценную жизнь тем, кто своим поведением и речами

Поражение победителей



Битва при Уденарде. Гобелен

прилюдно доказали, что им не терпится зреть ее конец и что они безвозбранно сразу же станут орудием мести как своих покровителей, так и собственной, — опасная затея. Можно ли забывать, с каким удовольствием означенные джентльмены (следуя примеру во главе их стоящих) встретили известие о болезни королевы в Виндзоре, как буйно его выражали и какие угрозы рассыпали, заявляя, что откажутся повиноваться своему командиру, если болезнь окажется роковой! И вряд ли, думается мне, так уж неблагоприятно предположить, что в сей злополучный день во власти разъяренной клики окажется, к немалой ее радости, отточенный клинок, которому она с величайшей снисходительностью позволит оставаться вне ножен, пока не избавится от самых грозных своих врагов. Что и говорить, печальная перспектива — знать, что в тот самый час, когда богу угодно будет обрушить на нас тяжелейшее из всех испытаний, те, кто получает плату как защитники граждан-

ской власти, охотно ринутся совершать любой акт насилия, какой шайка величайших ненавистников наших уложений сочтет нужным им поручить.

Второе важнейшее требование — обеспечить протестантское престолонаследие в пользу Ганноверской династии, которой мы отдаем предпочтение прежде всего потому, что сему достославному роду выпала честь смешаться с королевской кровью Англии и что он является ближайшей ветвью той нашей венценосной линии, которая порвала с папизмом. Требование это обладает тем преимуществом перед первым, что обе партии открыто признают протестантское престолонаследие благом для потомства, расходясь лишь в средствах достижения оно. Но по этой причине и получилось, что, на словах воплощая единодушное желание нации, оно оказалось неисчерпаемым источником для клеветы, соперничества, подозрений и смут.

Подстрекаемый любопытством, я спросил нескольких знакомцев, приверженных противной партии, действительно ли они или их вожди подозревают, что нынешние министры замышляют нарушить Акт о престолонаследии в пользу Претендента или какой-либо иной особы. Одни тут же ответили отрицательно, другие хотя и были того же мнения, но не преминули оговориться — они-де не знают, что может произойти с течением времени и ввиду новых подстрекательств. Третьи, напротив, хотели бы, чтобы ответ их сочли положительным, заявляя, что убеждены в подобных кознях, но не смогли представить на сей счет скольконибудь вразумительных оснований. С другой стороны, некое достаточно значительное лицо заверило меня, что, будучи все эти четыре года в весьма близких и постоянных дружеских сношениях с великими людьми из приближенных ко двору, он ни разу, даже в часы откровенных бесед, когда людям свойственно держать себя наиболее свободно, не слышал ни единого слова, выражающего недовольство утвержденным порядком престолонаследия, хотя сии джентльмены, бывало, и сокрушались о том, что лживые донесения их личных и всего королевства врагов не могли не запасть в душу преемника. Касательно же круга моих знакомцев могу с полной уверенностью сказать, что, исключая священников, отказавшихся присягать новым монархам по убеждению, я встретил лишь двоих, кто, по-видимому, тяготился какими-то сомнениями по поводу ограничительных условий каса-

тельно престолонаследия. Все это, полагаю, позволяет с полной беспристрастностью заключить, что число жаждущих видеть на троне сына отрекшегося от престола монарха крайне незначительно. Сверх того, по-моему, нетрудно обнаружить, что никто так не страшится любой попытки со стороны Претендента восстановить свои мнимые права, как католики в Англии: им слишком дороги их свобода и имущество, дабы желать возвращения Претендента на французских штыках и в море крови; к тому же, если он переменит веру, положение их не изменится, а в случае его падения они первыми подвергнутся жесточайшим гонениям.

Что касается до сего самозванного государя, то за ним значится немало разнообразнейших недочетов. В глазах простого народа он — ребенок, которого некогда из авантюрных побуждений пытались навязать нации его родители и их фанатические советники, положившие много усилий, дабы воспитать его, вопреки существующим в нашей стране уложениям, в ненавистном идолопоклонстве; всосанное с молоком матери и вошедшее в плоть и кровь в зрелые годы, оно имеет над ним чрезвычайно большую власть, и даже мистер Лесли не мог бы ее поколебать, а притворное обращение — ход слишком грубый и вряд ли сойдет в Англии после всего того, что здесь видели и пострадали вслед за подобной комедией, разыгранной его отцом. К тому же, говорят, сей молодой человек не блещет умом и слаб здоровьем. Молодые французские принцы всегда обращались с ним весьма презрительно даже во время войны, а теперь он и вовсе лишился милостей французского двора и вынужден жить как бы в изгнании на небольшое пособие. В Англии его никто не знает: он покинул ее в пеленках, из друзей его отца почти все давно умерли, а те, что еще живы, либо дряхлые старцы, либо прозябают в бедности. Со времени Революции прошло без малого двадцать шесть лет, и большая часть тех, кто сейчас состоит при дворе, заседает в парламенте или занимает государственные должности, были тогда юнцами, учившимися в школах или университетах; эта великая перемена, считают они, произошла в те времена, за которые они никакой ответственности не несут. Даже самые крайние тори теперь рассуждают так: нынешний образ правления существовал еще до того, как они обрели способность разумно мыслить, не они приложили руку к свержению бывшего короля и не им отвечать за это преступление, если даже

считать его таковым. Корона наследуется в соответствии с законом, существующим столько, сколько они себя помнят, — законом, устраняющим всех папистов от наследования престола, и им неизвестны никакие иные правила, которым они должны были следовать. Они полномочны оспаривать права на титул Вильгельма III не более, нежели Вильгельма I, ибо суд обоим — История. Они воспитаны в догмах беспрекословного повиновения, непротивления и наследственного права царствующего государя, каковые полагают совершенно необходимыми для сохранения существующего порядка вещей в церкви и государстве, а также для передачи трона Ганноверской династии, и, признав на него права кого-либо иного, должны были бы вырвать сии догмы из собственной души. Таковы, насколько могу судить, политические воззрения всех истинно честных людей в возрасте сорока лет и младше, с которыми мне довелось в последние годы водить знакомство, и хотя далеко не все в их взглядах мне нравится, тем не менее я убежден, что они ставят протестантское престолонаследие на куда более прочную основу, нежели непродуманные проекты тех, кто объявляет себя ревнителями так называемых революционных принципов. Не стоит также, пожалуй, забывать, что в годы величайшей разнузданности нашей прессы, когда священная особа королевы ежедневно подвергалась оскорблениям в сеющих смуту листках и песенках, против Ганноверского дома ни разу не появилось даже единого мало-мальски нелестного намека, какие бы возможности ни открывали иному разнузданному хвату пера невоздержанность и болтливость кого-либо из министров.

Все вышеизложенное заставляет меня полагать непреложной истиной, что престолонаследие в наших королевствах настолько прочно обеспечено за достославной Ганноверской династией, насколько это только возможно, — присягой всех лиц, занимающих государственные должности, самими принципами тех, кто принадлежит к так называемой Высокой церкви, взглядами народа в целом и, наконец, ничтожеством той особы, которая притязает на корону по праву рождения, а также скудостью помощи, какую он может ожидать от иноземных государей или своих приверженцев внутри Англии.

Тем не менее рьяные ненавистники королевы, успев с помощью своих лазутчиков втереться в доверие Ганновер-

ского дома, а своими действиями приобрести влияние над несколькими его малосведущими, дурно воспитанными посланцами, убедили курфюрста в необходимости иметь дальнейшие гарантии, с каковой целью его высочество прислал сюда меморандум. Главный вопрос состоит в том, как, дав разумное удовлетворение его высочеству, в то же время не нанести урон (что бесконечно существеннее) чести и спокойствию королевы, чье мирное царствование, особенно в нынешние времена, стократ важнее для нас, нежели наследование Ганноверской династии. Суть меморандума его высочества, насколько помнится, сводится к следующему: ему угодно, чтобы один из членов его семьи поселился в Англии, пользуясь положенным отпрыску королевского рода содержанием, остальным же были бы дарованы подобающие титулы, как то велит древний обычай. В меморандуме не уточнено, кого именно из своей семьи курфюрст желал бы видеть приглашенным к английскому двору, а если бы и было, то, полагаю, ее величество сочла бы сие предметом собственного выбора; и поскольку старая курфюрстина недавно скончалась, я склонен предположить, что английский народ почтительно согласится доставить удовольствие своей монархине, коль скоро ее величество сочтет для себя возможный пригласить сюда, на определенных условиях, старшего внука нынешнего курфюрста, положив сему принцу назначенное парламентом содержание и пожаловав ему титул.

Все это, как совершенно очевидно, предпринимается без какой-либо на то необходимости и единственно ради ложных сомнений предполагаемого наследника трона, а посему английский народ ожидает (говоря языком мистера Стила), что ее величество впредь не будут с сей стороны беспокоить — ни возможностью каких-либо визитов, ни требованиями письменных приглашений, которые она не сочтет нужным посылать. Английский народ также ожидает, что будет положен конец всем приватным сношениям между Ганноверским двором и главарями некой здешней партии, а его высочество не замедлит провозгласить, что полностью удовлетворен действиями ее величества, заключенными ею мирными и торговыми договорами, ее внешними союзами, выбором министров и в особенности ее милостивым согласием внять его просьбам. Что во всех подобающих тому случаях он не преминет в полный голос объявлять свое неодобрение

смутьянам любых мастей, их принципам и прежде всего той партии, которая под предлогом и видимостью защиты его интересов не перестает сеять раздоры в нашем королевстве. И последнее: чтобы он засвидетельствовал доброту королевы и справедливость английского народа, сделавших все возможное, дабы обеспечить его семье наследование английскому престолу.

Впрочем, для меня до сих пор остается загадкой, почему Ганноверский двор, всегда, как на каменную гору, полагавшийся на приверженность, принципы и посулы партии Низкой церкви, до сих пор не постарался, как это обыкновенно делается, переманить на свою сторону тех, кого изображают его врагами; тем паче, что мнимые сии враги неоднократно делали попытки сближения с ним, пользуются полнотою власти, составили то самое уложение, благодаря которому его достославный дом может притязать на английский престол, единодушно отвергли Претендента, занимают высокие государственные посты и составляют большинство в обеих палатах, не говоря уже о том, что их поддерживает сама королева вместе с подавляющим числом землевладельцев и горожан по всей Англии. Такая сила способна не только воспрепятствовать, но и всемерно содействовать престолонаследию. И поскольку предполагаемый наследник столь бесконечно уверен в благорасположении той противной партии, которая главной причиной своего недовольства публично провозгласила существующую якобы опасность для его будущих прав, ему, пожалуй, имело бы смысл подумать о том, чтобы сделать шаг в сторону налаживания добрых отношений с теми, кто обладает реальной властью. Вряд ли его так называемые друзья могли бы осудить его за стремление защитить свой титул или же, сохранив хоть каплю порядочности, взять оную защиту на себя.

Однако почему бы курфюрсту не исходить в своих действиях из соображений, прямо противоположных тем, какие обыкновенно предполагают? Почему бы, думается мне, не предположить, что его высочество превосходно осведомлен об обеих партиях и убежден: истинного сына Англиканской церкви никакими доводами не заставить отступить от принципов верности государю или забыть обязательства, наложенные присягой. Что именно на такого рода людей он намерен положиться, с другими же, зная подлинную цену их убеждениям, позволяющим из своекорыстия и тщеславия по



Кадоган и Мальборо

любому поводу забывать свой долг, лишь поддерживает хорошие отношения. И если сия догадка верна, то его высочество, несомненно, придерживается очень высокого мнения о министрах, кои под страхом крайнего недовольства преемника престола и при непрестанных угрозах со стороны бесноватой клики, к которой одной он якобы благоволит и мнениями которой полностью руководствуется в своих суждениях о делах и людях Британии, неуклонно продолжают исполнять возложенные на них обязанности.

Но вернемся к нашему основному предмету. Присутствие среди нас юного принца вряд ли, думается мне, даже в какой-то мере несовместно с благоденствием королевы. Ему не грозит опасность изменить своим правилам или обесславить свое имя из-за дурных наперсников и сотоварищей. Он не может оказаться во главе крамольного клуба или интриги, как и в окружении наемного сброда, что дало бы повод льстецам кричать о его популярности. Он не будет сгорать от нетерпения, каковым слабость человеческого рода наградила, увы, всех будущих наследников. Никто не станет подслуживаться к нему, перенимая немецкие обычаи и моды в одежде и поведении, и вряд ли кому предостанется случай уверять, будто его выхода по утрам ожидает не в пример больше народа, нежели теснятся в передних покоях Сен-

Джеймского дворца. Добавим к сему преимущества воспитания в правилах нашей религии, наших законов, в наших обычаях, формах правления, весьма отличных от тех, с которыми он расстанется, что в свою очередь, возможно, сослужит добрую службу его отцу, коль скоро суждено этому государю будет пережить ее величество.

Покойный король Вильгельм, который, вступив в брак с английской принцессой Марией, вряд ли мог питать скольконибудь серьезные надежды на престол и даже весьма шаткие на то, что станет мужем королевы (у герцога Йоркского была тогда молодая жена), изрядно знал наш язык и обычаи и часто посещал придворную часовню своей супруги; я тем охотнее это отмечаю, что от души желал бы, чтобы подобное расположение духа завладело и Ганноверским двором, ибо какому же государю может быть приятно вдруг усваивать новые понятия или разговаривать со своими подданными через переводчика.

Иной желчный или же вьедливый читатель, возможно, пожелает развить сей вопрос, не преминув спросить, как же нам быть, если, паче чаяния, сия подвизающаяся у нас вредоносная партия сумеет так оплести Ганноверский двор, что сможет и впредь сеять там недоверие, неприязнь и неловкость в отношениях к королеве и ее министрам, побуждать к таким требованиям, которые никоим образом нельзя будет считать приемлемыми, и, одновременно являясь приближенными ее величества, завязывать тесные связи с ее врагами.

Ответ, полагаю, будет прост. При любых разногласиях нет вернее шага, как предъявить противной стороне возможно больше обвинений. Если бы ее величество пожелала пойти на те или иные уступки, о коих поминалось выше, чтобы покончить с опасениями, искусственно возбуждаемыми в уме предполагаемого наследника, и развести его с помянутой кликой, которая, по общему мнению, вводит его в заблуждение, она сделала бы все возможное для царствующей особы и даже сверх того, на что согласился бы любой другой государь, а посему была бы чиста перед богом и людьми, каковы бы ни были последствия ее усилий. Разумная часть тех, кто ныне выступает против двора, впредь, надо думать, окажет себя более умеренной; и если бы, приняв опрометчивое решение, вручить гражданскую и военную власть тем из них, кто привержен существующим уложениям, то потворство со стороны преемника престола незначительной кучке, какая

после сей меры останется, за счет неизмеримо более многочисленной и значительной части его подданных, вряд ли послужило бы к его спокойствию и выгоде. Не могу также взять в толк, каким образом религиозные и политические принципы подобной партии окажутся столь для него привлекательными: во-первых, потому, что Лютер и Кальвин, сдается мне, расходились во взглядах не меньше, нежели двое любых других реформаторов, а во-вторых, потому, что немецкий курфюрст, скорее всего, отнесется с недоверием к людям, полагающим, будто они могут без конца урезать королевские права.

Но предположим — единственно на этот раз — нечто почти невероятное: что курфюрст решительно отказывается поддерживать сколько-нибудь доверительные отношения с нынешним кабинетом и всеми, кто разделяет его принципы, почитая их за врагов и противников передачи ему престола; что он не желает сближения с самой королевой, разве только на условиях, которые, скорее всего, она сочтет несовместимыми со своей безопасностью и честью, продолжая возлагать все свои надежды и доверие на партию недовольных. В таком невероятном случае нам, полагаю, остается желать, чтобы, когда бы новый государь ни вззошел на престол, переменна, им предполагаемая, была бы произведена им самим, а не уполномоченными лицами. Ибо, по моему мнению, статья, предоставляющая преемнику престола право назначить любое негласное число регентов в добавление к семи, указанным в Акте о престолонаследии, подразумевала, что подобный Тайный комитет не будет включать в себя лиц, чья взаимная вражда и противоположные принципы свели бы на нет усилия остальных. Покойный король Вильгельм, чье возведение на престол встретило куда больше возражений, нежели права на него преемника ее величества могли когда-либо вызвать, на несколько лет передал управление королевством в руки верховных судей, хотя Англия находилась в состоянии войны и отрекшийся от престола монарх предпринимал многократные попытки вторжения. А посему вполне можно предположить, что регенты, назначенные парламентом при переходе престола наследнику, смогут обеспечить мир и порядок в течение нескольких недель его отсутствия. Однако та единственная причина, почему преемнику престола было дано право выбирать себе негласных наместников, состояла в том, что таким образом исключались все

Джонатан Свифт

возможности требовать приглашения сюда кого-либо из его дома при жизни ее величества; вот отчего мне трудно понять, какие аргументы может привести курфюрст в пользу обоих своих требований.

И в заключение. Единственный путь обеспечить безопасность наших уложений в церкви и государстве, а следовательно, и самого протестантского престолонаследия, — это урезать возможности наших внутренних недругов в той мере, в какой сие согласуется с мягкостью наших законов. И если это не будет немедленно сделано, то нетрудно указать тех, на кого английский народ должен будет возложить вину. Ибо мы полностью убеждены, что после сообщений, полученных ее величеством о ликовании и непристойных выходках всей помянутой клики во время ее последней болезни, она настолько же согласна лишиться ее всякой возможности чинить дальнейшее зло, насколько только того может пожелать каждый из ее самых рьяных и верных подданных.

Дэниел Дефо

ПРИЗЫВ К ЧЕСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ



полагаю, что наконец-то наступило время, когда и глас умеренности может быть услышан. Дотоле споры были столь шумны, а человеческие предрассудки и страсти столь неодолимы, что бесполезно было бы и мне, и всякому иному пускаться в спор или пытаться разьяснять свои поступки. Единственно по сей причине средь бесконечных поношений и упреков, безосновательных проклятий и неслыханных угроз, терпя величайшие обиды и несправедливости, я хранил молчание, тогда как лица, имеющие меньше доказательств своей невиновности, нежели я, взывают к окружающим и тшятся оправдаться.

Я слышу громкие призывы покарать виновных, но мало кто заботится о том, чтоб оправдать невинных. Я уповаю, люди, склонные судить нелицеприятно и сохранившие достаточно христианских чувств, имеют веру или хотя бы надежду, что мыслящее существо не может уронить себя настолько, чтобы действовать, не сообразуясь с той или иной причиной, и захотят, чтобы я не только встал на свою защиту, но и представил им самые убедительные доводы, какие позволяет дело; тогда, услышав несправедливые упреки, они могли бы заступиться за меня.

Что же касается людей пристрастных и намеренных

такими и оставаться, дабы не изменить понятию о справедливости, как ее толкуют нынешние партии, то возражаю я не им — пусть говорят, что им заблагорассудится, я возражаю против них самих. Их действия не согласуются ни с правдой, ни с рассудком, ни с верой, они противны и тому, как следует вести себя христианам, и тому, что нам предписывает благопристойность, и посему не подобает с ними спорить — их нужно либо разоблачать, либо вычеркнуть из памяти. А против тех ударов, какие могут для меня отсюда воспоследовать, я знаю средство, имя коему — презрение и равнодушие к клевете, ибо она не стоит моего внимания. Я также не стал бы тратить время и устаивать ее ответа, если бы не имел на то особые причины, которых коснусь в своем месте.

Ежели бы меня спросили, зачем я так поспешно выпускаю в свет это опровержение, я бы привел следующие причины, хотя есть много и других немаловажных.

1. Я нахожу, что слишком долго прожил в положении *Fabula Vulgi*¹, вынося бремя всеобщей клеветы, и, если я не представлю беспристрастным людям подлинный и честный рассказ о своих действиях, дабы они судили о сем предмете сами в ту пору, когда я не смогу уже держать ответ за свои действия, я не исполню свой долг ни перед истиной, ни перед своей семьей, ни перед самим собою.

2. Приметы бренности и немощь, доставленная мне скорбями и тяготами жизни, указывают мне, что малая, ничтожно малая полоска суши отделяет меня от океана вечности, куда мне вскоре предстоит последнее отплытие, и я хочу по чести рассчитаться с этим миром, прежде чем покину его, чтоб ни чужие действия, ни моя худая слава не помешали моим наследникам, душеприказчикам, распорядителям и правопреемникам мирно владеть отцовским наследием.

3. Я опасаясь также, что тот не слишком яркий свет веротерпимости и умеренности, который ныне изливается на нас, будет сиять недолго — мне бы хотелось ошибиться, Бог свидетель, — и люди, неспособные воспользоваться дарованными Господом благами умеренности даже под властью лучшего в мире государя, доведут дело до крайностей и своим безудержным рвением вновь разожгут былую злобу и вражду, которые, как уповали мудрейшие и лучшие мужи,

¹ Притчи во языцех (лат.).

утихли навсегда с благословенным воцарением Его Величества.

Я издавна придерживался мнения, которому не изменил и ныне, что лишь умеренность способна даровать мир и спокойствие нашему отечеству; позволю себе утверждать — если Его Величество простит мне это дерзновение, — что даже королю нужно с умеренностью пользоваться властью, дабы изведать радости правления, и, доведись Его Величеству — вопреки его известной склонности — опираться на неумеренных советников, это бы, несомненно омрачило названные радости, даже при том условии, что не сказалось бы на незыблемости его положения. Ибо ни для какого справедливого государя не может быть ни счастья, ни безопасности, ни удовольствия, как я полагаю, в том, чтобы повелевать народом, разделившимся, распавшимся на фанатичные, враждующие партии. Так опытный моряк с великим мужеством одолевает бурю и смело устремляется в бушующее море, однако радость странствия он обретает не в опасности, а в свежем, чистом ветре и в тихих водах, и тем, кто думает иначе, следует вспомнить следующее речение:

Qui amat periculum periibat in illo¹.

Дабы достичь благословенного покоя, в котором, по моему суждению, заключено спасение *Британии*, мы все должны исходить из него в своих действиях, и тот, кто сможет указать нам целительное средство к достижению сего, заслужит имя врачевателя отечества. Да будет мне позволено заметить, что *возобладание одной из партий* не принесет стране покоя! Но равновесие должно его нам дать. Иные выступают в пользу первого, с великим пылом призывая к карам, кровавой мести и расплате за все, что довелось им испытать. Если, не ведая, какого они духа, они считают, что следует держаться этого пути, пусть попытаются, я же уверен, что им не миновать погибели, которую я ожидаю для них с сего часа, ибо она уже при дверях.

Долгие годы я заявлял себя врагом любой поспешности в государственных делах и много раз пытался показать, что безудержное рвение бывало пагубно даже для тех, кто слушал его голос. Но это, разумеется, не означало, что и стране оно всегда только вредило, — так, неосмотрительность

¹ Кто любит опасность, от нее и погибнет (*лат.*).

короля Якова II, о чем я многократно заявлял печатно, была спасением для всех нас, а если бы он соблюдал умеренность и осторожность, мы бы погибли — *Faelix quem faciunt*¹.

Однако в ту пору, когда я призывал к умеренности, вы были чересчур воспламененны, чтобы внимать какому-либо увещанию, услышите ли вы меня сейчас, не знаю и посему повторяю: я опасуюсь, что нынешнее перемирие партий продержится недолго.

Вот почему я полагаю, что мне пора поведать о себе и о своих прошлых действиях, и намерен со всею ясностью и краткостью, какие мне доступны, рассказать историю тех нескольких многострадальных лет, когда по своему ли почину или по воле иных лиц я состоял на государственной службе.

Деловые неудачи удержали меня от дальнейших занятий торговлей; помнится, году в 1694-м купцы, с которыми я вел переписку за границей, и несколько иных у нас в отечестве предложили мне превосходное место торгового посредника в Кадиксе — в Испании. Но Провидение, избрав меня орудием иного дела, внушило мне тайное отвращение к разлуке с Англией, вследствие чего я отклонил наивыгоднейшие предложения, требовавшие моего отъезда, и свело с влиятельными лицами страны с тем, чтобы я советовал правительству пути и средства по отысканию денег на нужды начавшейся тогда войны. Вскорости — в ту пору я был за семьдесят миль от Лондона — я получил без всяких просьб со своей стороны предложение быть учетчиком по сбору оконного налога, каковым я и состоял, пока мои наниматели оставались в своей должности.

Как раз в то время вышел из печати прескверный, мерзостный памфлет, написанный плохими виршами и принадлежавший перу некоего мистера Татчина, поименованного сие творение «Иноземцы», где автор, занятия и положение которого мне не были тогда известны, ополчался на особу короля, а после и на всю голландскую народность. Осыпав Его Величество обвинениями в тягчайших преступлениях, от коих содрогнулся бы и худший недруг государя, памфлетист завершал все сказанное гнуснейшей кличкой «иноземец».

Сие сочинение исполнило меня неистового гнева и побу-

¹ Зд.: Счастлив, не прилагая усилий (*лат.*).



Вильгельм III

дило написать в ответ одну безделицу, которая была встречена всеобщим одобрением, гораздо большим, нежели я ожидал — я имею в виду «Чистокровного англичанина». Как благодаря сему творению Его Величеству стало известно мое имя, как я был ему представлен, взят на службу и после не по заслугам награжден — все это не имеет касательства до моего нынешнего дела, и если я об этом и говорю, то потому лишь, что никогда не упускаю случая выразить величайшее почтение, какое испытываю к блаженной памяти славнейшему и лучшему из королей, который удостоил меня чести и привилегии именовать себя не только государем, но и госпо-

дином и был ко мне забываемо добр и оскорбление памяти которого я никогда не допускал, если при том присутствовал, как не намерен допускать и впредь. Будь он жив, он не позволил бы, чтоб совершились все те несправедливости, какие мне довелось узнать.

Но, покарвав нас за грехи, Господь призвал его к себе. Ради самих виновных я бы желал забыть, сколь неблагодарность, которую он испытал в стране, обязанной ему своим спасением и окончательным освобождением, по воле Провидения приблизила его кончину. И если я тут вспоминаю о прошедшем, то только чтобы побудить виновных иначе отнестись к тому, кто наделен такой же добротой и великодушием и кто нам ныне дан в монархи Господом и конституцией, в противном случае защитник праведных властителей воздаст неблагодарному народу по заслугам за обиды государей и свергнет его в раздоры и беспорядки, к которым он влечется сам по своему безумию.

И я не могу не посоветовать всем виновным, справедливо выражающим сегодня радость по поводу воцарения нашего нынешнего государя, оглянуться на прошлое и вспомнить, кто первый, указав им путь к Ганноверской династии, склонил оставить в стороне папистскую родню из герцогов Савойских и Орлеанских, признать неоспоримое право парламента вводить ограничения в порядок передачи трона и утвердить прославленное положение Акта о престолонаследии, гласящее, что благо протестантского королевства не допускает возведения на трон государя-католика. Пусть не сочтут за труд припомнить, кто первый обратил их мысли к потомкам-протестантам из Ганноверского дома, и если на нашем троне восседает ныне протестант, то вслед за самим Господом мы тем обязаны королю Вильгельму. Нет надобности вспоминать во всех подробностях, как он исполнил это дело, как собственной персоной побывал в курфюршестве Ганноверском при дворе в Целле, как, возвратившись в Англию, не оставлял это своим особым попечением и, претворяя в жизнь задуманное, сам объявил народу славное имя Ганноверов и побудил парламент принять необходимое постановление, чем так надежно преградил дорогу Претенденту, что самые злокозненные планы якобитов не могли свершиться. Акт о престолонаследии, последовавшие вслед за тем другие парламентские акты, а также Уния с Шотландией, скрепившая сие решение навечно, доставили большое удовлетворение

всем, кто знал и понимал случившееся, и освободили от страха перед Претендентом всех опасавшихся его прихода и резко против него настроенных. Свою уверенность, неоднократно мною выраженную, что якобиты никогда не смогут посадить на трон своего идола, я черпал из Акта о престолонаследии, что покажу в дальнейшем, и это мое убеждение было подтверждено бесчисленными последствиями сего Акта, которые я изложу далее.

Я отвлекаюсь от предмета изложения, но из простого чувства справедливости не могу не воздать должное славы памяти короля Вильгельма, и если мы считаем благом правление нашего нынешнего государя, то нам со всею неизбежностью за это следует благодарить почившего государя, трудом которого мы столь обязаны сегодня. С не меньшей легкостью Его Величество способен был направить наши помыслы в иную сторону, к иным ответвлениям королевского дома, давно претендовавшим на престол. Какой король не согласился бы ради такой короны наставить своего потомка в духе протестантской веры? Но государь, который пекся о грядущем благе своих подданных и видел далеко вперед, насколько это в силах человеческих, монарх, который понимал, что Англией не может править не ведающий жизни юноша и протестантское исповедание нежего укреплять тому, кто перешел в него по политическим соображениям, король, который знал, что тот, кто испытал французское влияние и обучился тонкостям французской политической игры, не есть достойный страж британских прав и вольностей, этот король направил взор на ту династию, владеющую ныне нашим тронном, которая претендовала на него не только по праву кровного родства, но прежде всего и главным образом потому, что, принадлежа к самым ревностным поборникам протестантской веры, была способна противостоять папизму и числила среди своих потомков множество достойных и многообещающих наследников, которые сумели бы принять корону и выдержать бремя правления народом, не пользующимся славой самых смиренных подданных.

Не стану говорить, делает ли честь все происшедшее проницательности короля Вильгельма, ибо сие не панегирик, а лишь заслуженная дань блаженной памяти моего господина и короля, из уст которого я часто имел счастье слышать слова великого удовлетворения тем, что ему удалось столь успешно завершить труды во исполнение Акта о престолона-

следии; найдя достойного преемника, он говорил, что и во всей Европе нет другого государя — я привожу его слова так, как они были сказаны, — столь же достойного короны Англии, как курфюрст Ганноверский. И можно утверждать, не прибегая к лести, что, если упования Его Величества исполнятся лишь отчасти, винить нам должно будет лишь самих себя — мы бы могли доставить королю гораздо больше радостей правления, Бог свидетель, чем он узнал при жизни.

Когда по смерти короля наследницей провозгласили королеву, горячие головы как одной, так и другой партии, почтя, что власть теперь у них в руках и что все прочие зависят от них, стали пускаться на немыслимые крайности и позволять себе такие действия, что, как всегда бывает с неумеренными, кончили раздорами и потеряли почву под ногами.

Хотя Ее Величество желала покровительствовать партии высокоцерковников, погибель остальных, не состоявших у нее на службе, отнюдь не входила в ее намерения, и вскоре, напуганная необузданностью этой партии, она отвернулась от них и приклонила слух к умеренным советам тех, кто лучше понимал, в чем состоит добро страны и королевы.

В сем перевороте пала партия Эдварда Сеймура — так назывались тогда высокоцерковники, — из-за чего иные высокопоставленные лица примкнули к вигам, к коим ранее не принадлежали, и так возникло деление на старых и на новых вигов, которое стараниями первых было доведено до столь высокого накала, что привело к падению и тех, и других.

Однако я слишком отклонился в сторону и возвращаюсь к собственной истории. В то время, когда происходили все эти события и разгоревшаяся ярость крайних тори достигла своего предела, я написал памфлет, чтоб защитить диссентеров от злобы и безумия этой партии, за что и пал ее жертвой. Какую справедливость и какое милосердие они мне оказали, хорошо известно и не нуждается в напоминании.

Сие введение подводит меня к обстоятельствам, кои предопределили все мое дальнейшее участие в делах общественной важности и кои в должной мере объясняют причины моего служения лицам, возложившим на меня слишком серьезные обязанности, чтобы я мог тому не подчиняться, даже если и не одобрял их действий. Мне представляется необходимым показать, в чем я соглашался, а в чем не соглашался с членами бывшего правительства, в каких их начина-

ниях участвовал, а в каких нет. И все, что склонны к беспристрастному и милосердному суду, смогут, взвесив сказанное, составить обо мне более снисходительное мнение.

Не стану порицать тут обхождение со мной людей, из-за которых я пострадал, и вспоминать, как они отвратились от меня в моих бедствиях, хотя и сознавали, что я служил их делу. И я упоминаю это только вследствие необходимости сообщить вам, что как раз в то время, когда, покинутый друзьями, удрученный горем, оставивший семью на пороге нищеты, я находился в Ньюгетской тюрьме, мне передали слова одного влиятельного лица, мне прежде незнакомого и известного лишь с виду и понаслышке, как всем известны знатные особы, являющиеся в дни торжеств перед народом. Не взвесив до конца всей важности услышанного, переданного мне изустно и заключавшего в себе вопрос: «Чем я могу быть вам полезен?», я не стал прибегать к услугам посланца, но, поразмыслив, взялся за перо и ответил на этот добрый и великодушный вопрос евангельской притчей о слепце, следовавшем за Господом. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил его Спаситель. И, словно удивившись сему вопросу, тот сказал: «Ты видишь, что я незряч, и спрашиваешь, чего я прошу у тебя?» Так и я в моем несчастье отвечаю: «Чтобы мне прозреть, Господи».

Мне не пришлось ходатайствовать о помиловании. С описанного дня прошло четыре месяца, которые я провел в тюрьме, не получая более известий, но, как выяснилось позже, мой благородный покровитель поставил себе целью представить мое дело королеве и отыскать пути для моего освобождения.

Я касаюсь здесь этих событий, ибо не склонен забывать, сколь многим я обязан милосердию королевы и моего первого покровителя.

Когда Ее Величеству было доложено мое дело и известна стала правда, я получил случай познать все великодушие и сострадание государыни. Прежде всего, Ее Величество заявила, что дело было передано некоему лицу, от коего она не ожидала такой суровости ко мне. Слова эти, возможно, покажутся иным моим читателям досужей выдумкой; такими бы они и были, если бы далее не воспоследовали убедительные доводы, ибо Ее Величеству благоугодно было весьма подробно расспросить меня о моих обстоятельствах и

моем семействе и передать через посредство милорда Годолфина значительное вспоможение моей жене и детям, а также и некую сумму, которую мне доставили в тюрьму, чтобы я оплатил штраф и все расходы по своему освобождению. Пусть мои недруги решают, достаточный ли это повод, чтобы пойти к такому лицу на службу.

Так зародилось во мне чувство долга по отношению к Ее Величеству и чувство неизменной благодарности по отношению к моему первому покровителю.

Порядочные люди всегда способны к благодарности и отвечают преданностью на добро, но оказаться вдруг благодетельствованным человеком незнакомым, к тому же знатным и влиятельным, а после этого монархиней, от чьих прислужников ты пострадал, — вообразите мысленно себя в подобном положении, и вы поймете, мог ли я впоследствии действовать во вред такой монархине и такому покровителю. Как укоряла бы меня совесть, как заливала бы лицо краска стыда, узри я в собственной душе неблагодарность к человеку, который вызволил меня из беды, и к монархине, открывшей для меня врата темницы и снизошедшей до помощи моей семье! Пусть каждый, ведающий, что есть твердость убеждений, долг благодарности и чести, поставит себя на мое место и скажет, мог ли я поступить иначе.

Мне предстоит добавить несколько подробностей касательно взятых мною обязательств, после чего я перейду к тому, что совершил и чего не совершал в сем деле.

Избавив меня от бедствия, Ее Величество не ограничилась этим выражением милосердия, но по своему великодушию взяла меня на службу, вследствие чего я удостоился чести исполнить несколько почетных, хотя и тайных поручений, которые были на меня возложены через посредство моего покровителя, занявшего в ту пору одно из первых мест в управлении государством.

При исполнении всех этих поручений, порою сопряженных с большими тяготами и опасностями, мне посчастливилось заявить себя с наилучшей стороны, к большому удовольствию особ, которым я служил, так что лорд-казначей Годолфин, чью память я всегда и неизменно чтил, соблаговолил и впредь оказывать мне покровительство и ходатайствовать за меня перед королевой, даже тогда, когда из-за злосчастливого разрыва наступило охлаждение между ним и моим первым покровителем, каковую историю мне кажется

уместным рассказать. Поскольку я не допускаю тут несправедливости в отношении кого-либо, я полагаю, что никого тем не обижу.

Когда после сего злосчастливого разрыва государственный секретарь был отрешен от должности, я полагал, что и моя служба окончена, ибо в подобных случаях с уходом столь влиятельными персони уходят все, кого ему угодно было выдвинуть. Преисполнившись решимости разделить судьбу человека, которому обязан был столь многим, я прекратил дела, какие выполнял обычно по заданию лорда-казначая.

Заметив это, мой великодушный покровитель сказал мне с полной откровенностью и в самых милостивых выражениях, что мне не следует так поступать и что лорд-казначей использует меня для исполнения одних лишь государственных поручений, причем согласных моим собственным убеждениям. «К тому же служите вы не ему, — сказал он мне, — а королеве, которая была к вам столь великодушна. Прошу вас, действуйте, как вы привыкли, а я не истолкую сего дурно».

После чего я направился к его светлости лорду-казначею, который принял меня весьма любезно и заметил с улыбкой, что давно меня не видел. Я без утайки рассказал, что усомнился, вследствие злосчастливого разрыва, угоден ли я его светлости. «Ибо я знаю, — сказал я, — что вместе с влиятельными лицами в отставку обычно удаляются и те, что им служили. Поскольку его светлости известно, сколь я обязан своему прежнему покровителю, я опасался, что мои услуги более не угодны милорду». «Ничуть не бывало, мистер Дефо, — отвечивал мне лорд-казначей, — я почитаю человека за порядочного, пока он не докажет мне противное».

После чего я являлся к его светлости как обычно, но, преисполнившись решимости не подавать повода к возможным подозрениям, будто я сообщаюсь со своим прежним патроном и благодетелем, я более трех лет не посещал его, не писал ему писем и не имел никаких иных сношений, и он столь ясно понимал мои мотивы и одобрял столь непритворно мою неукоснительную честность, что не поставил мне сего в вину.

Последствием вышеупомянутого свидания явилось то, что милорд Годолфин по своему великодушию не только вновь представил меня королеве, почтившей меня дозволе-

нием поцеловать ей руку, но и получил согласие Ее Величества на то, чтоб мне и впредь выплачивали содержание, которое ей угодно было мне назначить в знак благодарности за некую работу, исполненную мною с большой опасностью для жизни — я действовал тогда, как гренадер, идущий на приступ, — и которое было некогда испрошено для меня моим первым покровителем и выдано мне по щедрости нашей государыни. Во время этой второй аудиенции Ее Величество со свойственной ей добротой изволила заметить, что довольна моей прежней службой и поручает мне другое дело, весьма хорошее, которое мне растолкует лорд-казначей. После сих слов я удалился.

Призвав меня к себе на следующий день, милорд Годолфин сообщил, что направляет меня в Шотландию и дает на сборы три дня. Так я попал в Шотландию. В чем состояла моя служба и как я исполнял ее, не место обсуждать здесь, и не в моих правилах предавать огласке то, что надлежит держать в секрете. Замечу лишь, что поручение мое было из тех, какие королям не стыдно возлагать на подданных, а подданным не стыдно исполнять. Как ведомо тому, кто облечен сегодня высшей властью в государстве после короля и наследника, я сделал, что мне было назначено, и его светлость, кажется, не выражал неудовольствия моим участием в том деле, о чем, как я надеюсь, он и ныне помнит.

Я вспоминаю это только для того, чтоб показать, какого рода обязательства имел я перед государыней и прежде всего — перед моим первым покровителем, ибо полагаю, что, даже не одобряя временами их намерений, я был не вправе нарушать их волю. А заходил ли я в своих поступках далее того, чего требовали обстоятельства, должно быть само собой понятно.

Сказав достаточно о том, в чем состояли мои обязательства и кто облек меня доверием, могу прибавить лишь, что редко подданного и государя соединяют узы более тесные и редко частное лицо стоит к министру ближе, нежели был я. К тому же я всегда придерживался мнения, что честный человек не может быть неблагодарен к тем, кто его облагодетельствовал.

Однако не подумайте, будто я тащусь здесь оправдать сознанием долга перед королевой или каким-либо иным лицом поступки, сами по себе предосудительные.

Ничто не причинит мне большего урона, нежели такое

толкование моих слов, и посему прошу вас оказать мне справедливость и дать веру следующему моему заявлению: я упоминаю лишь те свои обязательства, которые требовали нежелательных для меня действий, а не бросаю вызов и не оспариваю мнение тех, по отношению к кому я сознавал свой долг, хотя порою и не разделял их взглядов. Меня не оправдает никакое чувство долга, если я стану называть зло добром, а добро злом. Однако ничто не поколеблет моей уверенности в том, что я имею право почитать себя защитником всего, что, как мне кажется, заслуживает защиты, и обходить молчанием то, что мне не представляется таковым.

Ежели это преступление, я признаю себя виновным, и пусть рассказ о вышеупомянутых поручениях послужит если не к оправданию моей особы, то хотя бы к смягчению выносимого мне приговора. У некоего человека был отец, повинный во многих беззакониях, и беззакония сии были противны его сыну, но все же невозможно ожидать, что сын дерзнет избличать отца. Мне кажется, что в этом деле я такой же сын. Даже сыновний долг не мог бы довлеть сильнее, нежели тот, что был на меня возложен. Хоть признаю, что для противной стороны дело это не таково.

Сие побуждает меня подтвердить все вышесказанное и в свете вышеупомянутых моих обязанностей изложить, что я на самом деле совершил и чего не совершал.

По общему суждению, провозглашаемому столь уверенно, что мне не стоит якобы и возражать, я взят был на работу бывшим лордом-казначеем графом Оксфордом во время последних раздоров по поводу государственных дел, чтобы служить ему своим пером или, по выражению моих недругов, писать по его указке, или под его диктовку, или по его приказу и тому подобное, используя тайные сведения, переданные мне им или его пособниками, и получать за это плату, или жалованье, или содержание от милорда.

Умей я лучше передать словами то, что подразумевают эти люди, клянусь вам, я бы это сделал.

Кому-то это все покажется невозможным. Но раз иные люди утверждают сие с такой решимостью, им следовало бы найти весомые улики, вскрыть те или иные обстоятельства, сыскать людей, которым что-либо известно, но говорить, что тайны оберегались слишком тщательно, все равно, что ничего не сказать или признаться, что тайны сии остались

нераскрытыми. Тогда чего же стоят все их непререкаемые утверждения? Ведь люди честные не станут утверждать того, что доказать не могут.

По правде говоря, если бы сей поклеп имел касательство лишь до моей особы, я бы не стал о нем упоминать, ибо не вижу ничего предосудительного в том, чтобы подчиняться человеку, поставленному королевой во главе правительства. Однако сей поклеп касается и его светлости, и истина должна быть восстановлена. Независимо от того, верно настоящее обвинение или неверно, я посоветовал бы тем, кто хочет сохранить прозвание порядочного человека, задуматься, что будет, если это утверждение окажется предвзятым. Чем смогут они возместить ущерб, причиненный его светлости или иным причастным лицам? Что, если не найдется доказательств и следов сего проступка? Как можно обвинять людей на основании слухов и наветов и помогать тем, кто желает утопить в потоке грязной клеветы чужую честь и доброе имя?

Sed quo rapit impetus undae *.

В ответ свидетельствую перед потомством, что каждое слово этого обвинения есть ложь и выдумка. Страшась суда Того, пред кем предстанут все — и клеветники, и оклеветанные, со всей торжественностью заявляю, что никогда не получал инструкций, указаний, наставлений и чего-либо подобного — как бы ни называли это мои недруги — по поводу того, что мне надлежит писать, и никогда не получал каких-либо бумаг и сведений с заданием составить из них книгу, памфлет или какое-либо иное сочинение ни от вышеупомянутого графа Оксфорда, бывшего лорда-казначея, ни от какого-либо иного лица, действующего от его имени или по его приказу, с того самого времени, когда покойный граф Годолфин перестал быть лордом-казначеем. Я никогда не предъявлял его светлости какую-либо книгу, газетный листок или памфлет моего сочинения с целью внесения поправок и изменений или для получения санкций, прежде чем вышеупомянутые труды были переданы в печать и изданы.

¹ Лишь неистовству волн подчиняюсь.

Пер. С. Шервинского.
(Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта. М., 1982, с. 13).

Если кто-либо способен уличить меня в малейшем отклонении от истины, мне было бы весьма желательно услышать это из его уст, к чему я призываю и всех прочих. А если таковых нет, я обращаюсь к чести и справедливости своих злейших недругов, как сказано в названии сего памфлета, с тем, чтобы они меня уведомили, какими свидетельствами истины и совести способны они подтвердить свои упреки, и указали, чем я заслужил их.

В своих писаниях не поступался я свободой говорить согласно своим убеждениям и пользовался ею неизменно, не будучи понуждаем писать что-либо против собственного разума.

Рассказ мой подошел к тому времени, когда милорд Годолфин был отстранен от должности, и двор наш разделен самым злосчастным образом. Я посетил милорда в день его отставки и весьма почтительно испросил у его светлости совета, какого поведения мне следует держаться. На что он мне ответил, что его благорасположение ко мне и желание мне покровительствовать нимало не уменьшились, но у него нет прежней власти, и что служил я королеве, и все, что он ни делал для меня, совершалось по воле и указанию Ее Величества, и кем бы ни было лицо, наследующее его должность, для меня это не суть важно, ибо он полагает, что я буду служить по-прежнему, какие бы перемены ни совершались при дворе; мне надлежит лишь подождать, пока положение определится, и далее осведомиться у министров, какие распоряжения мне отдала Ее Величество.

Тогда же я уяснил себе и взял за правило на будущее, что для меня не суть важно, каких министров изволит назначать Ее Величество, мой долг — служить любому министерству, коль скоро его действия не противоречат благоденствию, законам и правам моего отечества. Мой долг как подданного — усердно исполнять все приказания, согласные с законом, и отклонять — с ним не согласные; правило, которому я и сам всегда следовал неукоснительно.

Тем самым Бог судил мне вернуться к прежнему моему покровителю, который с неизменной своей добротой изволил представить мое дело королеве, так что я не утратил расположения Ее Величества, хотя она и не дала мне новых поручений.

Что же касается вознаграждения, жалованья, подачки или mzды, я заверяю всех, что ничего подобного не получал,

за исключением того самого вышеупомянутого денежного содержания, которое Ее Величеству угодно было мне назначить в благодарность за поручения, исполненные мной в другой стране в ту пору, когда милорд Годолфин возглавлял правительство. Никогда вышеназванный лорд-казначей не нанимал меня на службу и не давал мне указаний и приказов предпринять то или иное действие, имевшее касательство к злосчастным разногласиям, которые столь долго изнуряли королевство и навлекли на меня так много ложных обвинений.

Я перейду к существу дела и расскажу, что я совершил и чего не совершал. Возможно, это объяснит несправедливость, доставшуюся мне в удел. Начну с опровержений — с того, чего не совершал.

Первое, что воспоследовало из злосчастных разногласий, были потоки грязи, обрушившиеся на влиятельных персон и все их действия, к какой бы из сторон они ни принадлежали. Противники использовали низкие приемы и прибегали к клевете и поношениям. Я много раз указывал в печати, что это недостойно христиан, неблагородно и не имеет оправдания. Во всех моих писаниях нельзя найти ни слова, касающегося личностей или поступков кого-либо из бывших министров. Под их началом я служил Ее Величеству, во всех делах, в которых им угодно было пользоваться моей помощью, они вели себя достойно и порядочно. Во всю свою жизнь я не сказал и не написал ни о ком из них ни одного порочащего слова, ни в чем таком не мог бы обвинить меня и самый злейший враг. Я неизменно сокрушался о происшедшей перемене в правительстве и почитал ее за величайшее несчастье для всей нации, и для меня самого в особенности. Последовавшая рознь и межпартийная вражда, вне всякого сомнения, стали для всех нас величайшим бедствием.

Второе обстоятельство, вызванное этой переменой, был мир. Никто не может заявить, будто я когда-нибудь поддерживал сей мир. В то время, когда он был заключен, я выпускал газету, в которой писал ясно и недвусмысленно (гораздо яснее и недвусмысленнее, нежели прочие) — сии неблагоприятные для меня свидетельства и ныне можно там найти, — что я не одобряю этот мир: ни тот, который заключили, ни тот, который собирались заключить, — и что, по моему суждению, оба они не принесут пользы протестантам. Мир, который я поддерживаю, не уступил бы Испании ни Бурбо-

нам, ни Австрийской правящей династии, а поделил бы сие яблоко раздора, чтобы оно больше не было угрозой для Европы и чтобы протестантские государства — Британия и Штаты — усилились и укрепились за счет торговли и мощи Испании и больше не опасались бы ни Франции, ни императора. Тем самым силы протестантов превосходили бы все европейские державы и ни французская, ни австрийская опасность более не существовала бы.

За таковой мир я неизменно выступал, в чем следовал предначертаниям короля Вильгельма в Договоре о разделе и той статье, что введена была его же доблестной рукой в начале последней войны и гласила: все, что мы завоюем в Испанской Вест-Индии, должно остаться нашим.

Сие было задумано, чтобы Англия и Голландия направили свои морские силы, весьма превосходившие французский флот, в Испанскую Вест-Индию, завоевание коей означало бы завоевание торгового пути и приток золота, обогащающего ныне недругов обеих этих стран, дабы богатство и могущество сосредоточились в руках у протестантов. К кому бы ни отошла Испания, она зависела бы от нас. Бурбоны бы удостоверились, что за нее не стоит и бороться, ибо без того, что отходит к нам, она бедна. Испанцы бы ожесточились против Франции вследствие упадка их торговли, и Франция была бы не в силах удержать их ни ныне, ни впоследствии.

Вот из чего я исходил, когда писал о мире. Не отрицаю, что по заключении его, когда о переменах больше не могло быть и речи, я счел, что наша цель — извлечь из него то лучшее, что представляется возможным, и постараться осознать: какие блага он сулит, вместо того чтоб обвинять всех, кто заключил его. Не знаю, в чем тут можно было упрекнуть меня.

В то время, когда я так высказывался, бранчливые писаки осыпали меня бесчисленными оскорблениями за то, что я проданся французам и подрядился — за плату или вследствие подкупа — защищать негодный мир и тому подобное. Они при этом исходили из того, что большинство памфлетов, печатавшихся в изобилии каждый божий день, принадлежали мне и вышли из-под моего пера, тогда как я к ним не имел ни малейшего касательства. Поистине то была величайшая несправедливость — наибольшая из всех, какие только можно было оказать мне (я позже еще вернусь к этому), под гнетом каковой я нахожусь и ныне, так что стоит

появиться какому-нибудь памфлету, стяжавшему всеобщее неодобрение, как меня немедленно обвиняют в авторстве. Подчас я узнаю, что некая книга вышла из печати лишь потому, что всюду бранят меня как ее сочинителя.

Увидев таковое отношение, я вовсе отложил перо и большую часть года писал лишь для газеты «Обозрение». Затем я долго пребывал на севере Англии, где наблюдал, с каким бесстыдством якобиты вбивают в голову простому люду хорошенькие вещи о праве и прерогативе Претендента: о том, что за благие перемены предстоят нам, если он воцарится, о том, что он перейдет в протестантство, что он преисполнен решимости оберегать наши права и подтвердить законность государственного долга, что он даст свободу вероисповедания диссентерам. Увидев, что люди начинают верить сему надувательству и с помощью таких приемов якобиты достигают своей цели, я рассудил, что лучшее, чем я могу споспешествовать делу протестантов, и лучший способ объяснить другим все преимущества протестантского престолонаследия — это предупредить людей, что их в действительности ожидает, если на престол Англии вступит Претендент. Это и побудило меня вновь взяться за перо.

И здесь мне нужно рассказать, что я на самом деле совершил. Как это ни печально, я должен заявить, что мне тут предстоит пожаловаться на самую черную, несправедливую и безбожную клевету, какую, я полагаю, не приходилось терпеть никому со времен тиранства короля Якова II. Дело сводится к следующему.

Дабы подорвать влияние вышеупомянутых посланцев Претендента, я первым делом написал небольшой трактат под названием «Своевременное предостережение».

Сия книга была написана с искренним желанием открыть глаза бедным деревенским простакам на наущения посланцев Претендента. Для каковой цели я, пользуясь помощью друзей, разослал ее по графствам Англии, особо позаботившись о северных, чтобы ее читали бедняки. И в самом деле, несколько тысяч быстро разошлись, ибо цена была столь низкой, что выручки хватило лишь на оплату бумаги и печатника, так что любой мог удостовериться: помышлял я не о выгоде, а лишь об общем благе, о том, как сохранить в народе верность протестантскому престолонаследию.

Из тех же лучших побуждений я написал вслед за означенным памфлетом два других — «Что будет, если придет

Претендент?» и «Доводы против восшествия на престол Ганноверской династии». Не может быть ничего яснее того, что я дал сии названия в насмешку, дабы привлечь внимание тех, что поддались обману якобитов, и побудить их прочитывать написанное.

Прежде чем продолжать рассказ об этих двух памфлетах, я должен здесь упомянуть то общее признание и одобрение, с которым они были встречены наиболее горячими приверженцами протестантского престолонаследия, кои разослали их по всему королевству, почитая за чтение общепольное, достойное и благодетельное, так что последовало не менее семи изданий. Перепечатали их также и в иных местах, и посему я заявляю: пожалуй мне наш ныне царствующий монарх, в ту пору курфюрст Ганноверский, целую тысячу фунтов, дабы я выступал в защиту его видов на английскую корону и показал всю гнусность и нелепость притязаний Претендента, я и тогда не мог бы написать ничего, более соответствующего этой цели, нежели два вышеозначенных памфлета.

И в доказательство того, что мне не страшен суд моих наихудших недругов, к которым я и обращаю честный сей призыв, прошу дозволить мне приводить по мере надобности кое-какие слова и фразы из сих памфлетов, понятные сами по себе и не требующие истолкования, которые не только не могли быть написаны единомышленником Претендента, но исходить могли лишь от того, кто всей душой поддерживает Ганноверскую династию.

Нет ничего ужаснее, чем оказаться меж двух партий, словно меж двух огней, когда любые твои действия приводят в возмущение обе стороны. Известно, что якобиты поносили и оные памфлеты, и их сочинителя. После того как, привлеченные названиями, на что и уповал автор, они прочли эти писания, их охватило столь великое негодование, что они отбросили книги прочь. Если бы в самом деле воцарился Претендент, меня бы ожидали бесчестие, поношения и верная смерть, иначе говоря, все те несчастья, какие только могут ожидать врага его особы и намерений.

Пусть каждый благоразумный человек вообразит себе, какое удивление я испытал, когда столкнулся со всеобщим осуждением, возбужденным против меня доносчиками, за то, что я выступаю против Ганноверской династии и написал памфлеты в пользу Претендента.

Никто в нашей стране не ощущает более острой неприязни к Претенденту и ко всему роду, к которому он якобы принадлежит, нежели я, сражавшийся с оружием в руках на стороне герцога Монмута против жестокостей и произвола его так называемого отца (короля Якова II), а после отречения последнего боровшийся и с ним, и с его партией целых двадцать лет, служивший королю Вильгельму к полному его удовлетворению, а по смерти оно, не считаясь ни с собственными силами, ни с обстоятельствами, — сторонникам революции, познавший и гонения, и разорение во времена правления высокоцерковников и якобитов, иные из которых переметнулись ныне к вигам, — нет, это невыносимо! Здесь смысл противоречит разуму, это было бы слишком чудовищно. И чтобы опровергнуть это баснословное обвинение, позволю себе привести далее кое-какие фразы из сих памфлетов, дабы и самый злейший враг, какой у меня только есть на свете, сказал, написаны ли они в поддержку Претенденту или с тем, чтобы помешать ему.

За эти сочинения я был привлечен к суду, заключен под стражу и выпущен под залог в восемьсот фунтов.

Я не возражаю здесь против этих мер, как не намерен нарекать на действия судей. Я признавал тогда и признаю и ныне, что предоставленные им сведения вполне оправдывают их решения, и мое собственное злополучное опровержение, с которым я выступил в печати в то время, когда мое дело находилось в судопроизводстве, было ошибкой, которой я не понимал и был не в состоянии предвидеть. И посему, хоть я был вправе порицать доносчиков, я был не вправе защищаться в то время и тем способом, какие я избрал тогда. Обнаружив это, я не колеблясь подал прошение о пересмотре дела и признаю, что мои судьи, хотя и имели всяческое право возмущаться, изъявив свое великодушие, освободили меня на основании моего прошения и не воспользовались ошибкой, совершенной мною по неведению, тогда как могли счесть ее обдуманной и преднамеренной.

Однако у меня, я полагаю, есть все основания нарекать на моих доносителей и на несправедливость тех из пишущих, которые во множестве своих памфлетов обвиняли меня в том, что я пишу в защиту Претендента, и обвиняли правительство в снисхождении к автору, который выступал в защиту оно. И справедливость этих джентльменов ни в чем не выразилась ярче, нежели в моем судебном деле, где

обвинение, которое они мне предъявляли печатно и публично, было представлено мне не потому, что они верили в мою виновность, а потому, что им необходимо было опозорить человека, которому они могли ответить поношением на все, что он когда-либо сказал им неугодного, благо к тому предоставлялся случай. Они протестовали против человека, а не против преступления; не будет преувеличением сказать, что они судили меня ради самого суда, как это будет дальше видно. Дело это приобрело огласку, и люди стали спрашивать, по какой причине Дефо предстал перед судом, они ведь знали, что мои книги были написаны в защиту Ганноверского дома. Мои друзья открыто возражали некоторым лицам, причастным к разбирательству, на что им те со всею откровенностью, а также и со всею бессовестностью ответствовали: им-де известно, что в книгах нет ничего предосудительного: что написаны они с иною целью, но что Дефо им навредил и потому они намерены воспользоваться случаем, чтобы его изобличить и наказать. Говорившие были не последних чинов лица, так что, если бы дело слушалось в суде, я бы представил убедительные доказательства того, что они в самом деле так высказывались.

Вот какова христианская любовь и справедливость, мною узнанная, и жалуюсь я лишь на нее.

Итак, поскольку некоторые лица предприняли попытку заклеймить меня как якобита и убедить всех несведущих и легковверных, что я переметнулся к Претенденту, — с тем же успехом они могли бы доказать, что я магометанин, — я чувствую себя обязанным представить это дело в истинном свете, чтоб люди беспристрастные могли судить сами, были ли написаны мои сочинения в поддержку Претендента или против него. И легче всего это сделать, поведав, что воспоследовало после первого доноса и что в немногих словах сводилось к следующему.

В назначенное время я предстал перед Королевским судом, где мне было зачитано наконец обвинение в совершении крупных и мелких преступлений, предъявленное мне Верховным судьей Ее Величества и изложенное, как мне потом сказали, на двухстах страницах.

Не стану объяснять, к чему сводилось обвинение, да я и не мог бы этого сделать, ибо никогда не читал его, но мне было объявлено, что мое дело будет слушаться на ближайшей судебной сессии.

Я был не столь неопытен, чтобы не понимать, что на таких процессах любое сочинение может быть представлено как клеветническое и что присяжные сочтут предъявленное обвинение доказанным, признав, что я и в самом деле написал такие книги, и суд вынесет мне приговор, который я и вообразить боялся. Посему я счел, что мне осталось лишь одно — броситься к ногам Ее Величества, чье милосердие я столько раз имел случай узнать. Я написал в своем прошении, что был весьма далек от мысли оказывать поддержку Претенденту и что при сочинении сих памфлетов мною руководило искреннее желание споспешествовать воцарению Ганноверской династии, что сии книги, почтительно представленные на суд Ее Величеству — как я их ныне представляю на всеобщий суд, — сами свидетельствуют в мою пользу. Далее я доказывал, что был злостно оклеветан теми, кто намеренно придал моим словам несвойственный им смысл, и посему, взывая к великодушию и доброте Ее Величества, молю ее даровать мне свое всемилостивейшее прощение.

Такое прощение было мне даровано не только по врожденной склонности Ее Величества к доброте и милосердию, но и потому, что она «не увидела в сем первом судебном заседании ничего, кроме сведения личных счетов», — то были собственные ее слова, произнесенные, как мне рассказывали, в государственном совете. Я нахожу, что у меня нет лучшего и более убедительного оправдания, нежели то, которое содержится в вводных строках Указа о помиловании. И да позволено мне будет заметить всем, кто не желает прекратить сей спор: им следует удовлетвориться тем, что удовлетворило самое Ее Величество. Могу их также заверить, что мне бы не было даровано сие всемилостивейшее прощение, ежели королева не взяла бы на себя труд подробно ознакомиться со всеми обстоятельствами дела, изложенными в прошении, равно как с теми словами и выражениями моих памфлетов, на которые я ссылаюсь в означенном прошении. Я приведу здесь строки из Указа о помиловании, имеющие касательство до обсуждаемого предмета:

«Ввиду того, что на прошедшую неделю Святой Троицы в нашем Королевском суде в Вестминстере наш Верховный судья представил жалобу на Дэниела Дефо, обывателя города Лондона, джентльмена, состоящую в том, что оный написал, напечатал и издал три клеветнических сочинения,

из каковых первое, именуемое «Доводы против восшествия на престол Ганноверской династии и Рассуждение, сколь много отречение короля Якова, если дать веру законности такого действия, нарушило бы виды Претендента на корону»; второе, именуемое «Что будет, если придет Претендент, или Некие соображения о преимуществах и истинных последствиях восшествия Претендента на престол Великобритании»; третье, именуемое «Ответ на вопрос, о коем никто и не помышляет: что будет, если королева умрет?».

Ввиду того, что оный Дефо в поданном им на высочайшие имя прошении изъясняет, что хотя он, движимый искренним желанием споспешествовать Ганноверской династии и упреждать людей о вредных умыслах Претендента, коего он почитал всегда за лицо враждебное нашей священной особе и правительству, действительно издал означенные памфлеты, и хотя названия, а также иные речения, как то всегда бывает свойственно сатирическим писаниям, могут быть извращены и истолкованы вопреки общему смыслу сих книг и вопреки истинному намерению автора, проситель почтительно, со всей торжественностью заявляет, что во всех вышеупомянутых сочинениях он руководился искренним и единственным желанием, в насмешку восхваляя Претендента, в самых сильных и красноречивых выражениях изобличить истинные его намерения и пагубные последствия восшествия его на трон, что, как почтительно уверяет нас проситель, может быть полностью подтверждено к полному нашему удовлетворению самими сочинениями, в коих соответствующие речения имеют совершенно ясный смысл. В них Претендент восхваляется как лицо, способное взять под свое начало права всех своих подданных и даровать им привилегию носить деревянные башмаки, избавить их от забот по выборам в парламент, а знать и джентри — от всех случайностей зимних поездок, как и от расходов на таковые вследствие применения более законного способа правления, каковой состоит в абсолютном подчинении его воле; укрепить законы за счет введения доблестной постоянной армии; немедленно возместить весь государственный долг, прекратив оплату ценных бумаг и закрыв казну; покончить со всеми религиозными разногласиями, обратив всех верующих в папизм, либо предоставив им свободу обходиться без всякого вероисповедания. Таковы были подлинные слова, содержащиеся в сих книгах, написанных просителем с единственным

и искренним намерением разоблачить и, сколько было в его силах, воспрепятствовать целям Претендента. Вопреки чему, к великому удивлению просителя, сии его намерения были превратно поняты, а вышеозначенные сочинения превратно истолкованы как написанные в поддержку Претендента, вследствие чего против просителя возбуждено в настоящее время судебное преследование. Каковое преследование, буде оно продлится, приведет просителя и его семью к полному разорению. Посему, почтительно заверяя нас в чистоте своих помыслов, проситель вверяет себя нашему милосердию и почтительно просит даровать ему наше милостивое и полное прощение. Принимая к сведению все вышеизложенное и рассмотрев все обстоятельства сего дела, мы в нашем снисхождении даруем...»

Пусть всякий беспристрастный человек решит, не был ли я злостно оболган в этом деле, ибо в газетах меня ежедневно поносили и обвиняли в написании предательских памфлетов в пользу Претендента; более того, в иных из сих изданий осуждали королеву за то, что она даровала прощение сочинителю, писавшему в поддержку Претендента.

Я нахожу, что это мне было бы уместно жаловаться на то, что я первый человек, принужденный испрашивать прощение за книги, написанные в пользу Ганноверского дома, и первый, кого все эти лица всегда желали погубить за выступления против Претендента. Ибо если какое-либо сочинение было написано с искренним желанием вызвать у людей глубокое отвращение и неприязнь к Претенденту и, более того, если какие-либо сочинения и в самом деле послужили этой цели, и послужили весьма успешно, то это были мои книги. И я прошу сейчас лишь оказать мне столько справедливости, чтоб честные люди высказались по поводу сих книг, одоблив либо осудив их, а не основывались на том, что было злонамеренно извлечено из них и превратно истолковано. Пусть мне напомнят хоть единственное слово, написанное или сказанное мною, где проскользнула бы хоть тень неуважения к протестантскому престолонаследию или к кому-нибудь из лиц, принадлежащих Ганноверскому дому, или где есть хоть одно слово, какое можно было бы почтить полезным для дела или особы Претендента, и, отклонив помилование Ее Величества, я отдам себя в руки правосудия с тем, чтобы меня покарали, как я того заслуживаю.

Перед всеми, честно и открыто я призываю своих злей-

тих недругов назвать какое-либо мое сочинение, припомнить какое-либо мое выступление или действие, в коих содержалось хотя бы одно-единственное непочтительное или неодобрительное слово, сказанное о протестантском престолонаследии или о лицах, принадлежащих к августейшему семейству, равно как и одно-единственное дружественное слово, коим я отозвался бы об особе, умыслах или друзьях Претендента.

Если они могут сослаться на что-либо подобное, пусть выйдут и скажут об этом, я их выслушаю. Обещаю со своей стороны отказаться от всех жалоб, помилований и оправданий и вверить себя правосудию.

Позволю себе большее и брошу вызов: пусть они докажут, что я водил знакомство, дружил или вступал в беседы хотя бы с одним якобитом. Испытывая отвращение и к самим этим людям, и к их планам, я всеми силами старался всегда избегать их общества.

И поскольку ничто мне так не отвратительно, как пребывание среди якобитов, ничто не могло доставить мне большее горе, нежели обвинения и упреки, сделанные мне публично, в том, что я совершил наиболее ненавистный для меня проступок. И самое тут грустное, что поводом для обвинения послужили те мои действия, какие я совершал движимый искренним намерением показать обратное.

Таков мой нынешний удел, и остается лишь принять его смиренно и спокойно как волю Провидения и, исполняя заповедь, прощать своих врагов и молить Бога о поступивших со мной по злобе, чему я давно выучился.

Я рассказал здесь коротко историю своего помилования и уповаю, люди беспристрастные со мною согласятся, что вновь спасенный по милосердию и великодушию Ее Величества от жестокости своих неумолимых недругов и от разорения, грозившего мне вследствие бесчеловечного и несправедливого судебного преследования, я был обязан ощутить лишь еще больший долг перед Ее Величеством.

На сем кончаю историю своего долга перед Ее Величеством и перед моим первым покровителем. Все последующее постараюсь изложить со всей возможной ясностью, дабы мои слова нельзя было истолковать превратно, ибо предвижу нападки тех, что не намерены оказывать мне справедливость. Я слышу громкий шум, производимый теми, что жаждут наказать виновных, но, я уже упоминал об этом

выше, никто не говорит ни слова в оправдание невинных. Со мною поступают так, словно не только я, но и враги мои не держатся христианской веры, ибо у них нет доброй воли ни доказать выдвинутое против меня обвинение, ни выслушать мои оправдания, что есть самая большая несправедливость на свете.

Предвидя, как поймут мое признание о долге перед влиятельными лицами мои недруги, я решаюсь дать им преимущество, которого они и сами себе пожелали бы, и говорю заранее, что никакие обязательства перед королевой или перед каким угодно покровителем не могут оправдать того, кто действует в ущерб своей стране, идя против своих воззрений и совести, изменяя своим прежним заявлениям.

Надеюсь эти мои слова предвосхитят те обвинения, которые могли бы обрушиться на мою голову, и мне лишь остается показать, виновен я или невинен, что я и сделаю со всей возможной ясностью и краткостью.

В мою задачу не входит обсуждение действий королевы и ее министров, мне надлежит ответить на вопрос, что делал я, а не они. Хотя я придерживаюсь о сих лицах совсем иного мнения, нежели многие, однако для пользы нынешнего спора должен принести их в жертву и допустить справедливость всего, что им приписывает самая злобная молва (с которой я на деле не согласен), самый ядовитый сочинитель и автор самых клеветнических памфлетов и сатир. Посему я остаююсь здесь на излюбленных их недругами обвинениях и попреках, какими их повсюду осыпают.

1. Одни-де заключили позорный мир, бесчестно нарушили соглашение, предали союзников и продали нас французам.

Помилуй Бог, чтоб это было правдой, как заявляют нам в печати, но важно мне сейчас не это, а важно, каково было мое собственное участие во всех этих событиях. Я не писал в поддержку мира, пока он не был заключен и не оправдывал его по заключении, пусть мне покажут хоть одно мое слово, не подтверждающее это. Касаясь данного предмета в «Обзрении» с гораздо большей откровенностью, чем многие, я заявлял в ту пору, когда сей договор готовился, что не одобряю этот мир, как и не одобряю все те соглашения, что были заключены после Договора о разделе и не учитывали благо протестантов, будь то Утрехтский или предшествующий Гертуденбургский договор.

Не отрицаю, что, когда Утрехтский договор был заключен и ничего уже нельзя было переменить, я в самом деле говорил, что наша цель и наш долг состоят в том, чтоб обратить его ко благу и извлечь из него как можно больше выгод для торговли судоходства и всего, что только можно. Все это я говорю и ныне. Я полагаю, что долг наш состоит скорее в сем, нежели в нареканиях на то, что мы уже не в силах изменить. Мои наихудшие враги могут обвинить меня лишь в следующем. После того как мир был заключен и Голландия и император отделились от нас, я высказал свое мнение по поводу того, что с неизбежностью должно было последовать за этим разрывом, а именно: со всею неминуемостью он должен был повлечь за собой войну двух вышеозначенных стран с Англией или Францией. Любой, кто разбирается в политике, легко бы предсказал, что отход от нас Голландии не мог закончиться ничем иным. Если бы союзники одержали победу над Францией, они из чувства мести напали бы на нас, и те же самые соображения, какими мы руководствовались, заключая мир, заставили бы нас его поддерживать, чтобы избежать слишком серьезных последствий для французов.

С другой стороны, я говорил, что, если бы Франция победила Голландию, нам непременно бы пришлось — разве что Франция воспользовалась бы своей победой лишь в той мере, в какой это дозволялось договором, — возобновить войну с ней. И посему, коль скоро мы заключили мир, нам надлежало сделать это вместе с союзниками и вынудить Францию пойти на те условия, которые бы их удовлетворили.

Мой способ рассуждения был либо столь мало понят, либо столь много извращен, что на меня посыпались бесчисленные обвинения в печати, будто я призываю к войне с голландцами, хотя я не писал и даже в мыслях не держал ничего похожего. Но это лишь безделица в сравнении с тем, сколь гнусно я был оклеветан.

Как бы то ни было, мне хочется сказать о мире следующее: хорош он или плох, у нас, можно сказать с уверенностью, есть все основания радоваться за Его Величество царствующего государя, который, восходя на трон, застал в стране мир, и, так как у французского монарха руки связаны договором, он не может, не допустив самого грубого нарушения его, внести сумятицу или что-либо подобное в спокойное

и безмятежное владение короной нашим государем, как бы того ни хотелось некоторым.

Я нимало не сомневаюсь, что даже если бы война была в разгаре, мы и тогда сумели бы сберечь корону для нынешнего государя — ее единственного законного владельца, но думаю, что это было бы не столь легко, бескровно и неоспоримо, как произошло ныне благодаря миру — сие есть то единственное, что я в нем ценю.

Далее я перейду к общему возмущению тем, что министры поддерживают Претендента. Свое суждение я выскажу со всей серьезностью и прямою, с какой всегда высказывался в таких случаях: если они его и поддерживали, я этого не замечал и не имел причины давать тому веры. Одно я могу свидетельствовать твердо: даже если то было так, я никогда не принимал участия в подобных действиях и ни от кого из министров, с коими я имел удовольствие быть знакомым или беседовать, не слышал ни слова, сказанного в поддержку Претендента, но многожды удостаивался чести слышать, как они заявляли, что не имеют ни малейшего намерения препятствовать воцарению Ганноверской династии.

Мне могут возразить, что тем не менее они могли держать сторону Претендента; может, и так, но это уже не имеет до меня касательства, ибо защищаю я не их, а самого себя. Поскольку мне никто не предлагал оказывать подобные услуги, я продолжаю утверждать, что не верю, будто сие когда-либо входило в их намерения, и мог бы подтвердить это различными соображениями, чего не стану делать по несущественности этих доводов для моего рассказа. Но даже если бы они и были в сем повинны, с меня довольно и того, что сам я никогда ни в чем похожем не участвовал и никогда, ни словом, ни действием, ни помышлением, не согрешил против протестантского престолонаследия и воцарения Ганноверской династии. А если министры в сем повинны, я этого не видел и не подозревал.

Когда возникла необходимость уличить людей, и впрямь поддерживавших Претендента, это оказалось бедствием для министерства. Члены бывшего министерства, когда их обвиняли в покушении на церковь и в том, что они поддерживали, объединялись и вступали в сговор с диссентерами, в ответ говорили: «Да, мы поддерживали диссентеров, но ничего для них не сделали» (и, кстати сказать, так оно и было). Точно так же отвечали нынешние министры: «Да, верно, мы использо-

вали якобитов, но ничего для них не сделали».

Но об этом к слову. Обе партии, оправдывая то, чего они оправдать не в силах, ссылаются на необходимость. Мне бы хотелось, чтобы они обе избегали необходимости творить зло. Ибо это, несомненно, худшее оправдание на свете, и используют его обычно, чтобы оправдать все самое худшее.

Я всегда сокрушался о том, каким бедствием — я это понимал — было для бывшего министерства то, что они нанимали на службу якобитов. Это, конечно, дало его врагам отменный повод обвинить всех членов кабинета в том, что они поддерживают Претендента. Но тут не было среднего пути. Виги не дали им удачно отступить, и не дали ни малейшей возможности предпринять другие шаги иначе как с риском полного уничтожения. Они отважились пойти по этому пути в надежде, что наконец останутся одни, без той и без другой партии, но в этом они, разумеется, ошиблись.

Однако у меня есть все основания думать и поныне, что Ее Величество никогда не отступалась от Ганноверской династии. Коль скоро мне никто и никогда не предлагал и не требовал сделать что-либо противное видам Ганноверской династии, можно ли обвинять меня в тайных умыслах других людей, даже если они у них и были, хотя я и по сю пору твердо верю, что таковых не было?

Я вижу, что иные лица весьма склонны убеждать всех людей на свете, будто все, поддерживавшие бывшее министерство и состоявшие на службе у бывшего министерства или у королевы, поддерживали Претендента.

Бог свидетель, что это не так, я думаю, что можно не трудиться возражать на это. О себе же могу сказать твердо, что это ложь и всем это известно. Я полагаю, что сама та легкость и безболезненность, с какой Его Величество был коронован, противоречит сим наветам, кои служат, по моему, лишь одной цели — внушать ненависть ко всем, кто сохранил чувство долга и почтения к покойной королеве.

Подданный далеко не всегда властен над поступками своих монархов и не всегда может спросить, каких людей те понимают, какие партии приближает к себе. Так пусть они не нарушают конституцию, пусть они правят по закону, чтобы тот, кто им служит, не был замешан ни в одном противозаконном действии и чтобы от него не требовали ничего не совместимого с правами и законами его страны. Если же

правда не восторжествует, удел того, кто служит королю, окажется печальнее удела того, кто нанят к частному лицу.

Ни в чем таком я не повинен; во всю свою жизнь, служил ли я королеве или ее министрам, я ни в чем не изменил протестантскому престолонаследию и законам и правам моего отечества — никто не может упрекнуть меня ни в чем подобном.

Я никогда не видел, чтобы королева или кто-либо из ее министров прибегли к произволу, пренебрегли законом, нарушили правосудие или применили насилие в какой-либо части управления, до которой я имел хоть самое малое касательство.

Если я в чем и провинился перед вигами, то только в том, чего не делал, — я не участвовал в громких поношениях королевы, министров и их действий. И если в этом состоит мое преступление, то признаю я две вины.

1. Я никогда не понимал, по какой причине их недовольство дошло до такой крайности.

2. В тех же делах, где, как говорилось выше, я понимал, что заставляет меня сокрушаться и сетовать, и где я не мог ни поддержать, ни присоединиться к свершавшемуся, как это было с якобитами и с миром, на мне лежал долг молчания, которое и прошу простить мне.

Я держу самого высокого мнения об особе моего покровителя и шлю ему самые горячие пожелания благоденствия, на какие только способны подвигнуть меня любовь и признательность. Я всегда верил в то, что он искренне печется о благе протестантской веры и нашего отечества, и буду чрезвычайно опечален, ежели сие окажется неверным. Я должен повторить вновь, что он всегда и во всем предоставлял мне полную свободу полагаться на собственное мое суждение и никогда не понуждал меня писать что-либо или избегать чего-либо, никогда не навязывал мне свою волю и ни в чем не ограничивал, никогда не видел в глаза ни одного моего сочинения, прежде чем оно выходило из печати. И обвинение, будто я писал под его диктовку, есть величайшая клевета, какую только можно измыслить. Если из-под моего пера вышло что-либо вредное, несправедливое или лживое, он не имел к тому ни малейшего касательства, и честность повелевает мне заявить, что вина за то лежит на мне.

Но если обвинение, будто он руководил моими писаниями, есть поклеп, возводимый на вышеозначенное лицо, то обвинение, будто я писал для него за плату или за мзду, есть

клевета на мою особу. Со всею искренностью, торжественностью и серьезностью, какие только могут быть присущи христианину, я заявляю, что, кроме денежного содержания, упоминавшегося мной выше и назначенного мне по воле Ее Величества в ту пору, когда у власти находился милорд Годолфин, я не получил ни от бывшего лорд-казначея, ни от какого-либо иного лица, действовавшего по его приказу или с его ведома, ни фартинга, ни того меньшей суммы и приписываемое мне корыстолюбие, якобы привязывавшее меня к его светлости, не помогло мне взыскать долг, причитавшийся мне от другого кабинета. И да поможет мне Господь !

Ничто не понуждает меня делать настоящее заявление. Услуги, которые были мной оказаны и в благодарность за которые Ее Величество изволила назначить мне денежное содержание, известны лицам, возглавляющим нынешнее правительство. В прошедшие годы иные из них высказывали мнение, коему, надеюсь, не изменили и ныне, что я не обманул доверия и великодушия Ее Величества. Успехи, которых я достиг, исполняя порученное, как ни были они малы, высоко ценились сими высокопоставленными лицами и всей страной, как ценятся и ныне. Я даже удостоился чести услышать, что их никогда не забудут. Когда человеку приходится расплачиваться за почтение, которое он сохраняет к особе своей бывшей государыни, оказавшей ему великое покровительство, это великое несчастье, какое может постигнуть любого из нас. И если я впаду в немилость по той причине, что в прошлом выказывал повинование Ее Величеству, я назову это своей бедой, а не виной.

Сказанное вновь возвращает меня к уже упоминавшемуся бесчинству, которое мне доводится терпеть и которое, я полагаю, никому не докучало более, нежели мне. Суть же сводится к тому, что за каждую клевету, за каждый памфлет, буде он окажется глуп, злобен, грубого или опасного содержания, вину возлагают на меня и всюду объявляют автором такого сочинения. И бесполезно мне бороться с сей несправедливостью, начни я возражать ей с самой великой серьезностью, даже присягни, что не имею прикосновенности к какой-либо книге или газетному листку, и поклонись, что я в глаза их не видел, мне все равно не поверят.

Торговцы на улицах, политики в кофейнях пускали мое имя в оборот, да по такой цене, что всякий бы лишился терпения. Один громил стиль, другой бранил неудобное ему

слово, третий кричал, что книга плохо напечатана, и все это с такою громогласностью, что бесполезно было спорить.

Желая положить конец сему бесчинству, я заявил публично, что все свои сочинения намерен печатать за собственною подписью, но это ничего не изменило — со мною обходились, как и прежде. Тогда я решился вовсе отложить перо на время, но увидел, что и это втуне. Две книги, недавно вышедшие из печати, были приписаны мне единственно по той причине, что, уступив просьбе печатника, я просмотрел в них два листа, как помнится, написанные в поддержку некоему лицу, каковое, в чем меня заверили, не имело к тем книгам ни малейшего касательства и не знало об их существовании, пока они не вышли в свет.

Сие мне, видно, на роду написано, и остается лишь сетовать на учиняемую мне несправедливость, какую более всего я испытал из-за «Легчайшего способа».

На меня пало грозное обвинение, будто я являюсь автором и издателем газеты «Торговец», — сначала изложу обстоятельства сего дела, а потом выскажусь по существу.

Когда меня попросили выразить свое суждение о торговле с Францией, я в самом деле заявил, как многажды заявлял в печати в прошедшие годы, что нам следует вести свободную торговлю с Францией, ибо я полагаю, что сие нам выгодно, какового мнения я держусь и ныне. Известно, что писалось мною для «Торговца», и, если бы мне приходилось отвечать на основательные обвинения, а не на личные выпады, я мог бы защитить любые строки «Торговца», принадлежащие моему перу. Но говорить, что «Торговец» был моей газетой, не соответствует истине, я никогда не был его издателем, никогда он не был моей собственностью, никогда не оплачивал я расходы на его печатание, никогда не получал выручки от его продажи, как и не получал никакой оплаты или вознаграждения за написанное, и не имел власти помещать туда, что мне было бы желательно. Вся брань пала на меня лишь потому, что хулители мои не знали, на кого другого наброситься. А когда узнали, то перешли не к доказательствам, а к угрозам и очернительству. Стали вспоминать мне беды и обстоятельства моей жизни, прибегая к таким выражениям, какие христианам не пристало употреблять, а джентльменам выслушивать на свой счет.

Я полагал, что каждый англичанин имеет право высказаться по такому поводу, как торговля, ибо сие не затраги-

вает личностей, и как и всем прочим, мне не возбранялось прибегнуть для сего к газете. Не знаю, когда и как лишился я такого права, неотъемлемого для любого англичанина. Не знаю также, почему из-за выступления такого свойства, сделанного мною безвозмездно, все эти авторы могут называть меня негодяем, мерзавцем, предателем и иными порочащими меня именами.

Я всегда придерживался мнения, которому не изменил и ныне, что если бы мы вывозили шерсть из Франции, а туда ввозили бы готовый товар, платя умеренную пошлину, то всем преимуществам, каких добилась Франция в суконном производстве, пришел бы конец — они бы ничего не значили и наш ущерб от них со временем стал бы совсем ничтожным.

Я полагал прежде и полагаю ныне, что девятая статья договора о торговле была введена для нашей выгоды, и посему мне безразлично, кто этой статьей намерен воспользоваться. Соображения мои таковы, что раз сия статья обязывает Францию открыть дверь и впустить в свою страну английские товары за умеренную ввозную пошлину, а парламенту эта же статья предоставляет право запереть наши двери, установив выгодную нам высокую пошлину, то мы ничем не будем связаны в установлении оной на французские товары, за вычетом того лишь обстоятельства, что и другие страны должны будут платить нам так же, как и Франция.

Я всегда думал, что если Франция будет ущемлена, а Англия свободна, то мы сумеем торговать с прибытком, иначе сами будем виноваты в неудаче. Таково было мое мнение в ту пору, таким оно осталось и поныне. Я бы дерзнул отстаивать его публично против кого угодно, в присутствии пятидесяти свидетелей-негоциантов и готов был бы поставить на карту жизнь ради такого дела, будь я уверен, что спор будет вестись честно. Я полагал, что нужно продолжать торговать с Францией, ибо сие принесет нам выгоду, что я и доказывал в третьем, четвертом, пятом и шестом томах «Обозрения», иначе говоря, за девять лет до появления «Торговца». Никто тогда не находил, что рассуждать так — преступно, и почему сегодня это стало подлостью, ведомо лишь Богу. Я продолжаю думать то же самое, и никто меня не принудит думать иначе, разве что переменятся сами обстоятельства, но если так случится, я буду в силах убедительно обосновать свое суждение.

Все, кто откликнулся на сии доводы, высказывались ли они мною или другими лицами, адресовали свои ответы одному лишь мне, по большей части облекая их в слова вроде «негодяй, подлец, мерзавец, лжец, банкрот, каналья, наемный писака, перебежчик» и тому подобное; я предоставляю судить другим, выиграли ли от сего их доказательства. И все это при том, что сами рассуждения, по большей части, были высказаны не мною, а иными лицами.

Признаюсь, если бы те книги, какие мне приписывают, были бы и впрямь все сочинены мною, я справедливо возмутил бы каждую из сторон и партий. Но величайшая несправедливость, нимало мною не заслуженная, состоит в том, что они извратили замыслы того, что в самом деле мною написано. Иначе говоря, жалуясь я на следующее.

С самых первых шагов, с которых началось мое участие в общественных делах, и вплоть до нынешнего дня я был всечасно предан благу своего отечества и ревностно отстаивал свободу и интересы протестантов. Никогда не изменял я требованиям умеренности и был решительным противником опрометчивых шагов и крайних действий, какая бы партия к ним ни прибегала. Никогда не отступался я от своих мнений, от своих устоев и от своей партии. И что бы ни говорилось о непостоянстве моих взглядов, я утверждаю, что никогда не предавал принципы революции и требование свободы и собственности, каковое положено было ей в основание.

Признаюсь также, что в те годы, когда у власти находилось бывшее министерство, я никогда всерьез не верил, что Претендент являет собой великую угрозу, и точно так же не имею веры, будто церкви грозит серьезная опасность при нынешнем министерстве. Я думаю, что кое-кто за криками о Претенденте скрывал иные политические цели, и ясно вижу, что и нынешние крики имеют точно то же назначение. В то время я свободно выражал свое мнение, как сделал это и сейчас в небольшом сочинении, посвященном сему предмету, не отданном еще в печать. Но если я доживу до его выхода, то в соответствии с задуманным укажу в нем все написанное мною, дабы моим друзьям было известно, когда меня чернят, а их обманывают.

К несчастью, все партии нашего отечества, как только они приходили к власти, начинали действовать слишком крайним образом, и едва только они показывали это свойство, как я уходил от них и полагаю, что поступал как должно

и намерен поступать так и впредь. Я приведу здесь свои разногласия с вигами, ибо от них исходит ныне обвинение, что я перебежчик и меняю стороны.

Впервые я имел несчастье разойтись со своими друзьями во мнении в 1683 году во время осады Вены турками, когда виги, говоря в общем, были за турок. Я же, зная из истории жестокость и коварство, явленные оными в их войнах, и то, что в семидесяти странах они предали забвению самое имя христианства, никак не мог поддержать такую точку зрения. Как ни был я в ту пору молод, как ни недавно взялся за перо, я решил возражать и стал писать против них, к чему, надо признаться, они отнеслись поистине сурово.

Во второй раз я отошел от своих друзей в ту пору, когда король Яков обхаживал диссентеров, задумав отменить Закон против папистов и иноверцев и Закон о присяге, с чем я никак не мог согласиться. Как в первом случае, я говорил, что по мне уж лучше, чтобы папистская Австрия погубила протестантов в Венгрии, нежели чтобы языческая Оттоманская империя сгубила всех — и протестантов, и католиков, полонив Германию, так и в сем втором случае я заявил диссентерам, что, на мой взгляд, пусть лучше Церковь Англии пустит нас по миру и разорит пенями и штрафами, нежели паписты нападут на церковь и на диссентеров и всех нас уничтожат на кострах.

Следующее расхождение во мнениях, какое вышло у меня с сими достойными джентльменами, касалось нечестивого обычая частичного единоверия, и я имел несчастье разгневать сих добрых людей скорее тем, что мои доводы были сильнее, нежели тем, что мои слова им были неуютны.

Я дожил до того времени, когда сами диссентеры столь спокойно, пожалуй, даже одобрительно относятся к любому парламентскому акту, что и не помышляют предотвращать его. Друзья их горячо протестовали против запрета на частичное единоверие, они и в самом деле поступят по дружески, если заговорят вновь об отмене сего Акта.

Еще раз я возражал достойным джентльменам, увидев их несправедливость к королю Вильгельму, о чем не стану здесь распространяться, ибо, думаю, они прозрели и тщатся ныне возместить все то, чего недодали ему при жизни.

В пятый раз я не сошелся с ними во мнениях касательно Договора о разделе, но тут многие честные люди ошибались, о чем я заявил еще тогда, и я предрек моим друзьям, что если

они будут дальше воевать, то кончат дело худшим договором. На мой взгляд, так оно и вышло, когда был заключен Гертруденбургский договор.

Шестое разногласие последовало, когда старые виги ополчились на новых вигов, и «Наблюдатель» все то время, пока продолжалась эта распря, отзывался о герцоге Мальборо и милорде Годолфине, признаюсь, хуже, чем Авель и «Исследователь», но удачи это не принесло. Я удостоился тогда чести услышать от милорда Годолфина, что служил его светлости верой и правдой, и не без пользы. Но лорд-казначей уже нет в живых, а у меня не осталось никаких свидетельств сказанного, за вычетом тех, какие можно отыскать на страницах «Наблюдателя», где меня ругают последними словами и объявляют врагом отечества за то, что я пособлял милорду Годолфину и герцогу Мальборо. Сколь часто нужно менять флаги, чтобы поспеть за эдакой сменой взглядов?

Ныне они в седьмой раз порвали со мной, и на сей раз злодейство мое состоит в том, что я не соглашаюсь верить обвинениям против королевы и против бывшего лорда-казначей и не желаю говорить о них такие же слова, какие не говорил когда-то о милорде Годолфине и герцоге Мальборо. Но я и в самом деле не мог поверить этому обвинению и посему не мог сказать ничего подобного ни о ком из них, да если б даже я всерьез тому и верил, мне и тогда бы не пристало признаваться в этом вслух по причинам, которые я уже указывал выше.

При постоянной перемене взглядов и правлений нужно быть истинным флюгером, чтобы никогда не отрываться от всех прочих, иначе с неизбежностью останешься в одиночестве, в каковом я ныне и пребываю, и за что меня обвиняют в измене собственным убеждениям, клянут якобитом и кем угодно. Бог судья всем этим людям. Если бы они вникли в обстоятельство моего дела и указали мне какой-либо мой проступок, я честно бы признался, совершал его или не совершал. Если бы они мне доказали, что я брал взятки и получал подачки и пособия, я бы ответил честно, верно это или нет. Если бы они назвали список книг, которые считают вышедшими из-под моего пера, и объяснили, почему вину за написание оных возлагают на меня, я бы признал подлинные свои ошибки, отрекшись от тех, какие не совершал. Но эти люди не желают оказывать милосердие и не желают слушать раскаяние виновного, чем нимало не напоминают

своего Создателя, оставившего свою волю в заповедях.

Я знаю, что такова участь многих, и утешаю себя тем, что не во власти сих людей творить последний суд, ибо они уготовили бы чудовищный конец всем, кто с ними не согласен. Но в день последнего суда многие люди и дела их рук предстанут в новом свете, и некоторых, что кажутся сегодня чистыми и достойными, сочтут низкими и подлыми, а некоторых, кого сегодня почитают низкими и подлыми, оправдают и раскроют им объятия. На что я и уповаю и заключаю сказанное словами из Пророка: «Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я: может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем и отомстим ему».

В «Примечаниях» мистера Пула, касающихся сих слов, есть строки, удивительно похожие на то, что мне еще осталось рассказать о моем деле, и я не могу не привести их тут.

«Пророк, — пишет мистер Пул, — изъясняет, отчего помыслил он оставить призвание свое. Слух его полнится глумлениями и поношениями бесчестящих его. Слышатся ему угрозы отовсюду, многие ищут уловить его, строят ковы. И мало что превозносятся над ним, но умышляют на него и иных склоняют к злословию. Не только чужие, но и те, кому надлежало бы умилосердиться над ним, и более всех лицемерно благоволившие искали соделать ему злое и сторожили преткновения его, не скажет ли он и не сотворит ли что нечестивое, дабы оклеветать и одолеть его, и тем утолить злобу свою. Ибо таков есть дух нечестивых, о ком Иов и Давид возносили стенания».

Сказанное подводит меня к неким особенностям моего дела, каковые позволяют уподобить его участи ветхозаветного пророка; говорю сие не из дерзостной самонадеянности и памятуя о различии, какое существует между нами.

Как только королева умерла и был провозглашен король, человеческое озлобление против меня дошло до таких крайностей, какие я не в силах описать тут. Если я пытался сказать доброе слово о состоявшемся воцарении, это объявлялось пресмыкательством, а меня называли переметной сумой. С другой стороны, хоть я и старался ни во что не вмешиваться и не написал ни единой книги по смерти королевы, очень многие сочинения провозглашались моими, а откликнувшиеся на них всечасно набрасывались и на предмет

сих книг, и на их предполагаемого сочинителя. С того дня, как высадили в стране король, я лишь однажды говорил с милордом Оксфордом и более ни разу не получал от него никакого известия, приказа или записки и не сносился с ним никаким иным способом. Однако на него обрушиваются за то, что я пишу якобы в его защиту, а на меня — за якобы написанное мной. Как ни горестно все это слышать, меня весьма поддерживает то, что я нимало не повинен в сих прегрешениях.

Я равнодушен к гневу и брани партийных приверженцев, но не могу быть равнодушен к предубежденности и ложному мнению обо мне тех, кого я почитаю за достойных людей и добрых христиан, и твердо верю, что в положенное время Господу будет угодно просветить их на сей счет. Благодаренье Богу, я всегда поступал, сообразуясь с личной добродетелью и общественным согласием и уповаю, что вследствие сего Господь восстановит меня во мнении всех здравомыслящих и беспристрастных людей. Ибо сие есть единственное мое желание, а что станется с теми, кто отличается пристрастием и несправедливостью, мне неизвестно и мало меня заботит. Но не могу тут не показать жестокость их обхождения со мною, явленную уже в то время, когда я писал настоящий трактат. Имея шестерых детей, я дал им наилучшее образование, какое позволяли мои обстоятельства и какое, надеюсь, поможет им увидеть больше участия со стороны ближних, нежели видел их отец. Я не задолжал ни единого шиллинга ни за их обучение, ни за что иное, имеющее до того касательство. Однако в «Летучей почте» недавно было напечатано, что я никогда не платил за обучение своих детей. Если кто-либо в нашем королевстве вправе взыскать с меня хотя бы шиллинг за их обучение или за что-либо, имеющее до них касательство, пусть явится и взыщет, что положено.

Такие лица не заботятся о том, какие пагубные слова они пишут и говорят, правду ли они провозглашают или ложь, им только и нужно, что осыпать меня оскорблениями, даже если сие и послужит к моей гибели. Я призываю своих злейших врагов оказать мне честь и справедливость в сих делах.

Conscia mens recti famaе Mendacia Ridet¹.

¹ Чистая совесть ее потешалась над вздорами сплетен.
Пер. С. Шервинского.
(Овидий. Элегии и малые поэмы. М., 1973, с. 311).

Поражение победителей

Дополнение издателя

Пока настоящее сочинение готовилось к печати и было доведено до сего места, с автором случился удар, вследствие чего он лишился способности писать дальнейшее, предназначенное им в свою защиту. И поскольку в сем слабом и немощном состоянии он пребывает на протяжении шести недель, не будучи в силах ни продолжать свой труд, ни вернуться к здоровью, чего невозможно ожидать в ближайшее время, друзья его сочли уместным не задерживать более выход сего сочинения. Ежели силы к нему вернуться, он сумеет продолжить предпринятое, ежели нет, то, по мнению всех, кто его знает, сие произойдет вследствие того самого обхождения, на какое он тут жалуется и какое он не вполне успел тут описать.

V

НОВЫЕ ЛЮДИ

Дэниел Дефо

ПРОТЕСТ ФРИГОЛЬДЕРОВ
ПРОТИВ БИРЖЕВЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ
НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ



Великие усилия всей нации устремлены ныне на то, дабы избрать в парламент представителей, достойных встречи с королем и годных подавать ему советы в делах великой государственной важности. Но в пору, когда нам следует избирать людей наиболее способных отправлять сию почетную должность, когда нам нужно отыскать наилучших, чтоб вверить им религию и мир всей Англии, а может быть, и всей Европы, нам досаждают своей дерзостью обе Ост-Индские компании, словно их выгоды можно поставить вровень с заботой о протестантской вере и всеобщем мире и словно те, кому дано решать от имени народа великие вопросы о войне и мире, о договорах и союзах с нашими соседями, о престолонаследии, о том, как нам сберечь протестантское исповедание, не могут разрешить незначущие споры двух торговых компаний-соперниц; На выборах вы больше не справляетесь о том, каков ваш кандидат: разумен ли, благочестив ли, честен ли, имеет ли достаток, — а лишь осведомляетесь, какую из компаний он поддерживает — старую или новую?

Если такое-то лицо выдвинуто в парламент от соседнего местечка, спрашивается, кто его выдвинул? Всем ведомо, что этот человек там не живет и не жил прежде, не держит в тех краях земли в аренде, его не знают в округе, где у него



Лондонская Биржа

не наберется даже двадцати знакомцев, но стоит вам задать вопрос, кому он служит, и вы увидите, как из-за моря, будто на крыльях, примчится вся компания, дабы, употребив влияние, каким она располагает, способствовать его избранию в парламент.

Нам недоставало бы ни времени, ни места, вздумаем мы перечислять всех лавочников, купцов, разносчиков и маклеров, коих каждая компания, снабдив их чужими слугами и усадив в кареты шестериком (которых у них сроду не бывало, Бог свидетель), отряжает из Лондона в далекие округи, дабы тамошние чересчур доверчивые обыватели из лучших побуждений и по совету своих сквайров, отрекшихся от собственного права на избрание (вследствие чьих-то неоспоримых доводов, природы коих мы не можем разгадать), избрали их в парламент.

Нам уже прежде говорили, сколь вредно сорить деньгами на обывателей таких местечек, что истинная правда. Введение надлежащего парламентского акта было мудрой упредительной мерой со стороны правительства. Всем было невдомек, чем можно возместить себе две тысячи фунтов (да что там две! — на место от Уинчелси ушло не менее одиннадцати!), истраченные на право заседать в парламенте, где чест-

ному человеку не причитается и фартинга. Но это не просто новый способ наживаться: ежели сельский джентльмен имеет столь великий вес в городке, что может от него пройти в палату общин, но не намерен этим правом пользоваться, откуда ни возьмись к нему являются какие-то молодчики, вышеозначенные биржевые маклеры, и покупают это его право за тысячу рублей. По нашему разумению, сие есть спекуляция на выборах, новейший род торговли, который мы, английские фригольдеры, считаем своим долгом развенчать в надежде, что парламент Англии наложит на него запрет. Ибо такие биржевые махинации не что иное, как новейший вид *desertio visus*¹, торгового трюкачества, столь сильно перемешанного с плутнями и надувательством, что в них не разобраться даже опытному логику. И посему для нашей конституции, а в скором времени для нашей веры и свободы, не будет ничего опаснее, чем этот торг местами в парламенте, которые, как в случае с акциями Ост-Индской компании, переходят к тому, кто больше заплатит. Благодаря такой методе сельские джентльмены, не покидая собственного дома и только переписываясь с маклерами из кофейни Джонатана и Гэрроуея, смогут сбывать по высшей ставке, сообразно спросу, место в своей округе, где они пользуются властью. А горожане и иные лица, что служат той или иной компании и полагают в том свой интерес, сумеют совершить покупку, не тратясь на дорогу и на роскошные наемные кареты, упоминавшиеся выше. Довольно будет им дойти до Биржевой аллеи, чтоб, сговорившись с маклером, заплатить за выборы, исход которых предрешит сей сельский джентльмен, иначе не видать ему ни пенни, ибо «по товару и деньги». Можно надеяться, что вследствие сей ускоренной методы и выборы, и даже сам парламент окажутся в ближайшем будущем в руках у кучки лиц и все события будут развиваться соответственно.

Банки и капиталы, в мгновенье ока учрежденные, смогут скупать у сельских джентльменов их влияние, а сами эти Джентльмены, горящие желанием, как мы упоминали выше, честнейшим способом набить карманы, охотно продадут и свое место в парламенте, и свое отечество, к чему всех более

¹ Обмана зрения (*лат.*).

склонны те из них, кому угрожает разорение.

Однако здесь есть некий парадокс, который нам никак не разрешить, хотя все мы и единоземцы, — мы не способны уяснить, что заставляет всех этих людей так страстно добиваться места в палате общин, какая там выгода? Мы знаем лишь одно: нас то и дело облагают податями, твердя, что такова воля парламента. Но мы никогда и не полагали, будто какая-либо доля наших денег отходит к выборным, мы полагаем, что наши деньги поступают к королю, хотя их сбором ведает парламент. К тому же нам известно из обращения короля по поводу созыва парламента, что он желает совещаться с выборными о делах великой государственной важности. Нам невдомек, что они могут обрести, собравшись вместе и совещаясь с королем, ведь нас убеждают, что это не оплачивается, в чем и скрывается загадка. Непостижимо, зачем так тратиться на выборы, зачем спешить за двести миль и более в Лондон, зачем задерживаться там по полугоду, если за таковые тяготы им ничего не получить! Нам часто приходило в голову, что тут скрывается какая-нибудь тайна, и, кажется, мы не ошиблись.

Ничто не объяснит сию загадку лучше, чем состязанье двух компаний за места в парламенте, и смысл сего, как представляется, таков: компания, сумевшая добиться превосходства в числе мест, надеется упрочить свое положение и подорвать влияние соперницы, из-за чего обе компании и поднимают столько шума, стараясь провести своих людей в парламент. И если поначалу мы надеялись, что дело выстоит или погибнет на основании своих истинных достоинств и потесниться доведется худшей из сторон, то ныне мы подозреваем, что хорошо бы потеснить их обе, ибо и каждая в отдельности, и обе они разом губительно влияют и на тех, кто торгует товарами, и на тех, кто их производит.

Вследствие вышесказанного нам представляется необходимым предать огласке наше возмущение такого рода действиями, и в нашем честном обращении нам бы желалось показать, что это действия обманные, порочные и пагубные, чреватые опасными для нашего отечества последствиями по нижеследующим причинам.

1. Сто или сто пятьдесят подобных представителей повиснут, по присловью, мертвым грузом на парламенте, а столковавшись, смогут провести и отклонить любое предложение и,

стало быть, судьбу наших сословий, подданных, религии и вольностей будут решать по собственному усмотрению.

2. Если верно, что тот, кто хочет покупать, надеется и продавать (а разум нам подсказывает, что так оно и есть), и если верно, что тот, кто закупил товар, намерен продавать его, дабы получить прибыль (а в это трудно не поверить, ибо иначе он теряет на покупке, лишаясь подчас и состояния, какое собирался приумножить), то, значит, это справедливо и для выборов, которые и покупаются, и продаются. Благодаря влиянию, какое обретет в палате общин собрание сих членов, все, чем мы дорожим и что мы любим: наша торговля и религия, покой нашей страны, наши задачи, наш король, наша корона, — все может обратиться в объект купли и продажи. Подложные выборы станут первым шагом, а дальше, надо думать, последует подложное голосование, ибо лицо, потратившее тысячу фунтов на право заседать в палате общин, надеется вернуть их голосуя, иначе эти денежки пойдут по ветру.

По нашему скромному разумению, подобное бесчинство дает дорогу всяким плутням, коими извечно пользовались на выборах, скупая голоса, одаривая посторонних цеховыми привилегиями, подпаивая и сверх меры потчуя округу по месяцу, а то и по два, лишь бы добиться большинства на выборах. Все эти хитрости общеизвестны. Они имели столь печальные последствия, что многие из джентри, имевшие порядочный достаток, узнали разорение и впали в горестную нищету, и посему парламент мудро принял меры, препятствующие такого рода злоупотреблениям.

Но дьявол, видимо, решившись извести нас, призвал всю свою хитрость и изобрел иное средство, десятикрат сильнее прежнего, воистину создание сатаны. Прежде благодаря всем этим тайным, недозволенным приемам в палату общин умудрялись проникать лишь изредка неподходящие особы, теперь такие лица подбираются заранее, их действия и цели назначаются заблаговременно, слухи о чем идут по городу, а в Биржевой аллее желающие бьются об заклад, какая из компаний получит перевес на следующих выборах.

Кому хватает сметки для таких подсчетов и расчетов, достанет и бесчестности, чтоб торговать своим отечеством. Обзаведясь таким могучим средством власти, как подкупные выборы, они сумеют помыкать всеми охочими до денег, как

спокон веку помыкают теми, кто покупается за мзду. Печально думать, что парламент, большей частью состоящий из подобных выборных, будет решать, кто унаследует престол. Кто бы поверил, что тот, кто больше заплатит, получит право принимать решение, кому вручать английскую корону, и наша вольность, вера, как и все святое, будут запроданы за взятки иноземцам? Чтоб одержать над нами верх, французскому монарху больше не потребуется ни содержать значительную армию, ни строить корабли, ни укреплять свой флот, коль скоро дела великой государственной важности, переданные в веденье парламента, будут обстрипываться, направляться и решаться в кофейнях Джонатана и Гэрровея по цене, какую там заломит шайка маклеров. Да и чего мы можем ожидать? Ведь тем, в чьей власти проводить людей в парламент, дано и верховодить: хозяин отдает приказ, и покупателю не стоит ссориться с маклером, иначе тот найдет себе другого покупателя, а несговорчивый останется ни с чем на следующих выборах. Таков порядок, и покупатели всегда зависят от бесчестного, продажного субъекта, именуемого маклером, который держит их в когтях и говорит, когда им подавать свой голос, когда воздерживаться, когда быть «за», когда «против», ему они и повинуются, по какой причине могут последовать бесчисленные бедствия для нашего отечества.

Тому, кто внемлет голосу и непреложным доводам рассудка, довольно вышесказанного, дабы проникнуться великим отвращением к постыдным, тайным, надувательским приемам, изобретенным биржевыми маклерами. Невыносимо видеть, как англичан дурачит горстка жалких торгашей, готовых обратить всю честную торговлю в лотерею и уподобить биржу игорному столу, засыпанному игральными жетонами, с чьей призрачною ценностью, когда они лежат там, приходится считаться как с доподлинной. Мнимая торговля будет вестись посредством плутней и мошенничества и управляться с помощью бесстыдства и глумления.

Шесть-восемь человек, вступивших в сговор и прикинувшихся, будто они скупают или распродают акции Ост-Индской компании, начнут вздывать или снижать курс акций, дабы, сообразно своей выгоде, склонить иных к их купле или продаже. Ни с истинной их ценностью, ни с положением дел в компании они не посчитаются, так что во времена убытков курс будет расти, а в пору прибыли и ожидания судов с

изрядной партией товаров курс будет снижаться, то падая до тридцати пяти, а то взлетая до ста пятидесяти фунтов. Должно быть, среди крупных маклеров не сыщется такого, который не скупил и не распродал бы подобных акций больше, чем есть в наличии у двух компаний, вместе взятых.

И потому пускай сии мошенники торгуют, жульничают и друг друга надувают, пусть оставляют с носом легковерных, но, ради бога, джентльмены, не допускайте, чтобы в их грязные руки попадали дела особой государственной важности! Не позволяйте им готовить парламентские акты и подбирать членов в палату общин, которые за них проголосуют. Если нас подстергает папистский заговор, если нам угрожает союз католических стран, давайте будем биться с ними сами, без посредников, вооружившись честными законами. Не разрешайте, чтобы нами торговали, и наши выборы, законы, вольности и земли стали предметом барыша. Многие из наших маклеров — французы, и, если таковые подкупы на выборах не прекратятся, достанет краткого обмена письмами между французским двором и кофейней Джонатана, для вящей убедительности подкрепленных луддорами, чтобы вызвать в Англии разительные перемены.

Парламент Англии — наш правящий совет. Лишь людям высших целей и несомненной мудрости, отобранным с великим тщанием, дозволено входить в сообщество, столь замечательное своей властью и влиянием, ибо оно вселяет дух в закон, и этим духом все мы направляемся по воле всеблагого провидения. Тогда как все эти купцы и маклеры, лишённые и здравомыслия, и совести, которых норовят впихнуть в палату общин, способны только расшатать и подорвать благополучие страны, и надо удивляться, что оные бесстыдные попытки не вызывают отвращения у всех наших сограждан.

Как может король выказывать доверие народу (о чем он говорит в своем последнем обращении), когда в палате общин, а он ее воображал себе собранием народных представителей, хозяйничают люди, попавшие туда посредством плутней и обмана его подданных? Как король, осуществляя ту или иную меру, предпринятую с одобрения парламента, может довериться такой палате общин, где счету нет продажным лицам, которые за взятку или за тайную подачку врагов отечества и короля с готовностью проголосуют за любое дело? Как можно будет отстоять и уберечь протестантское



У. Хогарт. Подкуп выборщика
(фрагмент)

исповедание, которому, по мнению людей осведомленных, грозит великая опасность? Как можно будет поощрять и охранять торговлю, поддерживать ее достоинства и защищать ее пороки? Как можно будет помогать усовершенствованию нравов, столь нам потребному, к какому неустанно призывает нас король? Неужто биржевые маклеры, фуражиры, портные, Ост-Индские компании и прочие, скупающие места в парламенте, лишь бы добиться полезных им самим или их партиям решений, осведомлены в делах такого рода? Готовы ли они споспешествовать общим целям, кои определяют благо нашего отечества?

Скажите биржевому маклеру, что Франция вступила в дружеский союз с Испанией или что москвиты нарушают мир; заговорите с ним о несогласиях между датчанами и герцогом голштинским или о славном укреплении, коим Фландрия ограждена от Франции; спросите его о помощи, оказанной на Рейне императору, — сие ему не интересно, чуждо его слуху (толкуй порожней бочке Божию премудрость!). Но стоит вам упомянуть Великого Могола, пиратов на Мадагаскаре, форт Св. Георгия или остров Св. Елены, как он немедля оживится и выкажет себя недюжинным политиком. Один известный маклер, и, должно статься, член парламента, весьма внимательно прослушав рассказ об избрании нового папы римского, спросил в конце концов с большою озабоченностью: «Вот и отлично, что дело завершилось, а как вы полагаете, подымутся ли акции по сей причине?» Вопрос и мудрый, и уместный! Позвольте нам ответить на него другим вопросом:

Не горько ли, скажите,
Что эти люди представляют Сити?

Вы, лондонцы, вольны подобных граждан избирать в муниципальные советы и назначать их шерифами, олдерменами — никто не возразит ни слова: вы знаете сим людям цену, а повредить они способны лишь самим себе. Но если речь заходит о парламенте, не забывайте, ради Бога, джентльмены, что на карту ставится благополучие всей страны. Хозяин вправе безнаказанно поджечь свой дом, стоящий на отшибе, но ежели сей дом стоит на улице города, владелец, надо думать, угодит на виселицу, ибо пожар и разорение грозят его соседям. Каждый в отдельности из тех, кого вы избираете в парламент, представляет ваши интересы, к чему

вы его уполномочили, а все они вместе — представляют всю страну.

Членство в парламенте дается каждому в отдельности, но право действовать дается всем сообща, и каждый член парламента представляет всех и действует во имя всех, хоть избран от одной округи.

Возможно, судьба Бристоля или Ньюкасла окажется в руках у представителя от Лондона или Кентербери — при равном счете голосов она будет зависеть от того, чью сторону он избрет. И посему Лондон не может заявить Бристолю или Ньюкаслу: «Какое дело вам, кого мы выбираем?», как и они не вправе заявить того же Лондону. Один негодный член парламента способен загубить столицу или город, округу, целую семью или отдельного обывателя, а может статься, всех их разом. И ежели столица или город, округа или отдельный подданный желают дружески предупредить и остеречь иных своих сограждан, и прежде всего тех, что угрожают благу упреждающих и благу всей страны, пускай прислушаются, пусть честно поразмыслят над своими действиями, дабы исправить содеянное.

Дерзнув разоблачить бесчестные поступки некоторых лиц, что прибегают к подкупу и взяткам ради того, чтобы пройти в парламент, мы льстим себя надеждой, что наше возмущение сочтут оправданным, ибо такие выборные станут блюсти там только собственные выгоды и выгоды своей партии, нимало не заботясь о своей пригодности для тех великих и, по словам Его Величества, особо важных дел для королевства, какими ведает парламент.

Дэниел Дефо

СОВЕРШЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ТОРГОВЕЦ

Введение



Предназначая сие наставление торговцам нашего столетия, заметим в нескольких словах, дабы предмет не расходился с изложением, кого мы понимаем под *торговцем*, а также в чем он должен быть осведомлен, чтоб удостоиться прозвания *«совершенный»*.

Слово «торговец» в разных местах толкуют по-иному, из-за чего и требуется разъяснить, что оно значит. Так, лица, проживающие в наших северных графствах или в Ирландии, решили бы, что вы имеете в виду мастерового вроде кузнеца, плотника, сапожника и прочих, каких у нас зовут *ремесленниками*. В иных местах под этим словом разумеют только тех, кто возит свой товар по ярмаркам и городам или разносит по домам, их прозывают в Англии *разъезжими торговцами*, в северных графствах — *лоточниками*, а в нашей повседневной речи они известны как *разносчики*.

Однако ж в Англии, а чаще в Лондоне, да и повсюду в южных графствах мы применяем слово «торговец» к владельцам складских амбаров и разного рода лавочникам, торгующим и в розницу, и оптом, они и именуются торговцами, или *торговыми людьми*. Таковы все наши бакалейщики, продавцы шелковой и бархатной материи, льняной и шерстяной мануфактуры, посредники от Блэквелл-холл, хозяева табачных лавок, галантерейщики, торгующие шля-

пами и мелочным товаром, владельцы модных, книжных, писчебумажных и иного рода лавок, коль скоро они не производят и не отделяют свой товар, который продают и в розницу, и оптом. Тогда как мастера, производящие и продающие товары, пусть даже и в своих лавках, суть не торговцы, а *ремесленники*, к коим относятся сапожники, литейщики, кузнецы, столяры, плотники, резчики, токари и прочие. Те мастера, что только производят или участвуют в изготовлении товаров, известны как *изготовители* или *кустари*. Сообразно надобности я буду касаться всех этих занятий, считая, что достаточно уже растолковал их и более пространных разъяснений далее не потребуется.

Помимо вышеперечисленных, в торговле заняты иного рода лица, стоящие ниже — работники, рабочие и слуги, а также стоящие ступенью выше и именуемые купцами. Заметим по необходимости, что в северных графствах и в Ирландии, как и в чужих краях, торговцы называются порой иначе: подобно тому как ремесленников и кустарей прозывают там торговцами, то и лавочников — говоря по-нашему, торговцев — зовут *купцами*, и даже лоточников называют *странствующими купцами*. Тогда как в Англии купцами именуют только тех, что ведут переписку и возят домой разные изделия и плоды земли из разных стран или все это отправляют за границу. А если сказать проще (что уместно, поскольку я пишу для тех, равно как и о тех, кто говорит попроще), то под купцами разумеют всех, кто торгует за морем. В знак уважения и для отличия от остальных торгующих лишь их, и только их, зовут купцами в Англии. Однако в настоящем сочинении я не намерен их касаться и не для них его предназначаю.

Как сами торговцы по роду своих занятий делятся на разные разряды, так и торговля делится на виды. И так же как английская коммерция намного превышает коммерцию иных держав, так и часть ее — какую мы называем отечественной или внутренней торговлей — заметно превосходит торговый оборот прочих держав, хоть многие из них, особенно Франция и Германия, изрядно больше Англии числом земель и обитателей.

Я нахожу, что это происходит по нижеследующим причинам.

1. В Англии изготовляют больше чем где бы то ни было товаров и для домашнего употребления, и для продажи в

иных странах, и все сии товары выпускаются и производятся стараниями местных жителей.

2. Англия намного больше, нежели какая-либо иная страна в мире, ввозит товаров и плодов из мест, где их выращивают и изготавливают.

3. У нас и большой флот, и больше моряков, которых мы содержим для ведения своей торговли, нежели в прочих краях Европы, а может стать, и во всей Европе разом.

А потому, помимо множества зажиточных купцов, торгующих за морем и получающих оттуда всякую продукцию, у нас в отечестве имеется немало состоятельных купцов, которых мы зовем торговцами (хоть правильнее было бы их называть владельцами складских амбаров) и у которых снабжаются купцы, плывущие за море, разнообразными товарами и изделиями Англии; у нас есть также и оптовые торговцы, которые скупают у купцов все иноземные товары, коими те снабжают, предварительно списавшись с торговыми людьми из отдаленных уголков королевства, складские амбары и хранилища, откуда все товары поступают к розничным торговцам, а от последних — в руки к покупателям, ради которых и ведется вся торговля. Таких людей я разумею под торговцами и для их пользы собираюсь напечатать это сочинение.

Дальше я перейду к познаниям и свойствам, какими должен обладать торговец, дабы удостоиться прозвания «совершенный».

1. Такой торговец должен знать не только свой особый род торговли и свое дело — сего достало б и ремесленнику, чтоб почитаться совершенным мастером, — но наш торговец должен знать всю внутреннюю торговлю Англии, дабы при перемене обстоятельств он мог открыть любое дело и торговать всем, что добывается, произрастает и изготавливается в его отечестве, и, при счастливом случае, способен был оставить прежний вид коммерции, буде ему того пожелается, ради иного предприятия, не обучаясь всему заново.

2. Помимо того, он должен знать не только всяческие разновидности товаров, но те края и местности, где они производятся или произрастают и где их можно получить из первых рук с наибольшей выгодой.

3. Ему вменяется в обязанность владеть до тонкостей всеми законами ведения переписки и денежной и меновой



Корнхилл. Район Сити (план)

торговли в любом графстве Англии, дабы иметь понятие о том, как действовать для большего прироста. Он должен знать, что покупается за деньги, а что обменивается на другой товар, когда платить наличными, а когда в кредит, что брать на комиссию от изготовителей, что продавать посредникам, что отдавать деревенским перекупщикам на комиссию, что непосредственно заказывать изготовителям и прочее. Ему должно быть ведомо, где более всего бывает всяческих товаров, где эти рынки расположены, в какое время их доходней посещать, какие ярмарки пригодны для закупок, какие — для продажи, какие — для переговоров с сельскими перекупщиками, где бы ни происходило дело: в Стэрбридже, Бристоле, Честере или Эксетере; он должен разбираться, где ведется самый лучший торг: в Беверли, Лине, Бостоне, Гейнсборо или в каком ином месте.

Дабы воспитать подобного совершенного торговца, необходимо снабдить его отличным знанием законов и правил ведения коммерции, а также описать со всей возможной полнотой английские или британские товары, на коих зиждется вся внутренняя торговля, будь то плоды земли нашего отечества или плоды усилий его обитателей. Далее следует сообщить ему, как происходит обращение товаров: где их можно найти, как доставляют в Лондон, а из Лондона в провинцию,

где закупают их по самой сходной цене и на какие ярмарки и рынки везут закупленные изделия.

Таковы ступени воспитания совершенного торговца, который постигает законы и пути ведения коммерции и узнает дело, дабы им впоследствии успешно владеть. Коль скоро он усвоит вышеперечисленное, во всей вселенной не найдется человека, более достойного имени совершенного торговца, нежели английский лавочник.

Письмо

о том, как надлежит вести торговую переписку

«Сэр, как я уже упоминал, начинающему торговцу надобно быть знатоком товаров, которые он продает, знать покупателей, которым он их предлагает, и знать купца, который делает ему поставки, но более всего он должен разбираться в приемах и законах ведения счетных книг, куда со всем возможным тщанием ему необходимо постоянно вносить записи и сальдировать счета. Полагаю, что можно больше не касаться этого предмета.

Дальше я перейду к тому, что часто почитают за безделью, хотя, на мой взгляд, это очень важное умение: я расскажу, как следует торговцу писать письма, к какому слогу прибегать, как добиваться краткости, приличной деловому человеку.

Коль скоро простота, свобода и непринужденность являют красоту и силу устной речи, то ясность, сжатость и понятность всего потребнее торговой переписке. Любителям высокопарных и трескучих фраз, что уснащают свои письма любезностями, пространными рассуждениями и цветистыми оборотами, полезней было бы писать стихи, а не вести торговлю и почитать себя за остроумцев, а не за лавочников. Взгляните, что пишет подобный молодой торговец из провинции, едва открывший собственное дело, своему лондонскому оптовому поставщику:

«Сэр, как повелели Парки и злосчастная моя звезда, я, предназначенный судьбой для лучшей доли, был определен в торговлю, но снисходительные боги сократили дни моей подневольной жизни и возвратили мне свободу. Пускаясь ныне в безбрежное море торговли, я почел приличным оповестить Вас, что тому уж месяц, как истекли два года, назначенные мне отцом для получения прав наследства, вследствие чего я приобрел дом на главной улице нашего города и

полагаю открыть там собственное дело. Посему уведомляю Вас, что мне потребны нижеперечисленные товары, каковые Вы можете доставить мне через перевозчика...»

Это велеречивое послание, для вящей красоты которого немало потрудился наш юнец, весьма довольный своим детищем, вызвало приступ безудержного смеха у его лондонского поставщика, который и не подумал доставлять ему товары, а прежде послал весть своим знакомым в тот самый город, откуда пришло письмо, в надежде справиться о личности заказчика и узнать, разумно ли иметь с ним дело, а может статься, он без долгих размышлений отправил сей образчик красноречия в ненужные бумаги.

Со следующей почтой уже знакомый нам лондонский торговец получил еще одно послание, на сей раз от другого молодого лавочника, также проживающего в провинции.

«Вследствие кончины моего хозяина я принужден немедля войти в дело и открываю лавку, не посетив заранее Лондона, где мог бы запастись недостающими товарами, и посему передаю Вам небольшой заказ в надежде, что Вы обслужите меня наилучшим образом и проследите, чтобы мне отправили отменные товары. В чем доверяюсь Вам, ибо не буду присутствовать при их отборе самолично. При сем я прилагаю чек на семьдесят пять фунтов, выписанный на мистера А, мистера Б и компанию платежом через двадцать один день по предъявлении. Благоволите принять его. В случае если отосланные Вами товары превысят вышеозначенную сумму, по получении Вашего счета я перечислю разницу незамедлительно. Пользуюсь случаем, сэр, еще раз высказать Вам просьбу отправить мне наилучшие, отборные товары по сходной цене, что я почел бы за поощрение к нашей дальнейшей переписке.

Засим остаюсь Ваш покорный слуга...»

В этом письме видна рука человека, который знает свое дело, и лондонский купец прикажет, прочитав его, своим работникам: «Потрудитесь обслужить этого юношу как следует, я узнаю в нем делового человека, он обещает стать отменным покупателем».

Итак, торговцам следует писать свои послания просто, немногословно и по существу, не допуская книжных, замысловатых и велеречивых выражений, однако и не забывая

изложить суть дела полно и в достаточных словах, без всяческой неясности и недосказанности. Я не могу никак одобрить насильственные сокращения слов, повелевающие опускать связующие выражения. Сии причуды отнюдь не прибавляют стилю красоты, а смыслу причиняют величайший вред. Всего вреднее тут не принужденность слога, которая и впрямь весьма значительна, а искажение сути. Короче говоря, что может быть вредней чудовищной бессмыслицы, которую выдают за верх здравомыслия, и что есть хуже непонятных приказаний, которые освобождают от обязательств делового человека? Вот как, к примеру, обращается к своему лондонскому корреспонденту торговец из Гулля:

«Сэр, письмо получил. В настоящее время имею сообщить Вам немного. С последней почтой отосланы счета и транспортные накладные на груз, отправленные на Ваш счет с гамбургской оказией. Последующие заказы будут выполнены незамедлительно. На здешних рынках спрос весьма понизился, продать железо более чем по тридцати семи шиллингов не представляется возможным, благоволите распорядиться, коли желаете продать его по сей цене. С одиннадцатого числа в гавани нет судов; те лондонские суда, что нынче находятся на рейде, вышли до шторма и посему, надеюсь, в безопасности. Без подтверждения не предпринимайте страховых по сему письму. Погода обещает благоприятствовать; надеюсь, что опасность миновала.

К последнему письму я приложил три векселя на сумму в триста пятнадцать фунтов, уведомите, получены ли они и учтены ли Вами, соблаговолите также записать в кредит текущего счета Вашего покорного слуги...»

Осмелюсь утверждать, что в сем послании, хотя по виду оно самого делового свойства, нет ни единого слова, которое нельзя понять и так и эдак. Так, гамбургскую оказию можно уразуметь как лошадь и как судно, которое плывет то ли из Лондона в Гамбург, то ли в Лондон из Гамбурга. Заказы, которые писавший обязался выполнить незамедлительно, могут означать то ли один товар, то ли другой, а может стать, и все разом. Неясно, вследствие какой причины не видно в гавани судов: то ли они ушли оттуда, то ли не возвратились. Что же до тех судов, которые находятся в пути, неясно, отплыли ли они из Гулля в Лондон или, напротив, идут в Гуль, ведь все они порой одновременно пребывают в море и направляться могут в Ярмут, в Гримсби или в иное место.

Подобные распоряжения нисколько не обязывают ни того, кто отдает их, ни того, кто получает. Вот вам в пример еще одно письмо, которое некий купец отправил своему комиссионеру в Лиссабон: «Не почтите за труд выслать с первым следующим сюда судном сто пятьдесят ящиков товару лучшего севильского сорта, а также двести бочонков наилучшего лиссабонского белого. В счет вышеперечисленного Вы можете выставить счет на сумму в тысяча двести пятьдесят фунтов стерлингов. Полагаюсь на то, что Вы сумеете зафрахтовать шлюп в Севилью за означенными ящиками. Остаюсь Ваш...»

Итак, комиссионер отправит, ежели пожелает, и не отправит, ежели не пожелает, то ли сто пятьдесят ящиков лучших севильских апельсинов, то ли столько же апельсиновых деревьев, то ли столько же масла, то ли чего угодно. Под лиссабонским белым, надо думать, подразумевается вино, а может статься, что-нибудь иное, хотя, должно быть, все-таки вино. И точно так же непонятно, будет ли принят выставленный комиссионером счет, ибо подобные распоряжения не означают никакого обязательства для заказавшего. Их следовало отдавать не так, а просто и понятно, заверив первым делом своего поставщика, что его счет будет учтен и деньги он получит вовремя.

Я знаю, что подобные причуды слога слынут модными, выглядят заманчиво и придают письму значительность, но всюду в мире лучшие купцы их избегают, предпочитая выражаться точно и понятно, а уж тем паче следует воздерживаться от подобного нашим отечественным торговцам, горожанам и лавочникам, чье дело торговать и изъясняться просто.

Я начал изложение с того, что переписку нужно вести простым и ясным слогом, ибо на этом зиждется коммерческое дело. Торговцу, взявшему себе ученика, нужно сперва отправить его за прилавок, потом перевести его в контору, ознакомить со счетными книгами, а после, испытав требующими доверенности поручениями, возложить на него всю переписку с посредниками и собратьями-торговцами. Вести ее он должен от лица хозяина, подписываясь так: «По поручению моего хозяина мистера Такого-то и К^о ваш покорный слуга...» и начиная обращение со слов: «Сэр, я уполномочен моим хозяином мистером Таким-то Вас уведомить...», «Сэр, по воле моего хозяина мне надлежит выразить...», «Сэр, по

приказанию хозяина я должен предупредить Вас» и прочее.

Как уже говорилось выше, заказы на товары следует делать точно и понятно, дабы посредник не ошибся, тем более что ему вменяется в обязанность сообщить заказ от торговца изготовителю, который обязуется закупать или сработать его по указанному образцу, избрав нужное сырье. Тогда товары, присланные к сроку, не уступающие рыночному качеству, исполненные в должном цвете и размере, без возражений будут приняты заказчиком, который в свою очередь не сможет возратить их или отказаться произвести за них уплату изготовителю. Напротив, ежели товары не отвечают рыночному качеству, указанному сроку или известным образцам, изготовитель должен быть готов к тому, что заказавший их не примет. Для примера я приведу письмо владельца складских амбаров к поставщику из Девайза в Уилтширском графстве:

«Сэр, последняя присланная Вами партия не отвечает моим нуждам, ибо в моих амбарах нынче имеется переизбыток сих товаров. Однако, коли Вам угодно, я мог бы их оставить у себя в надежде, чтобы при возможности продать их для Вас. В случае Вашего несогласия прошу меня уведомить, и я их тотчас перешлю по указанному адресу. Надеюсь, что Вы не истолкуете сего дурно, ибо я ничего такого не заказывал. При сем прилагаю пять образцов потребной мне ткани, помеченных от единицы до пяти. Прошу Вас также изготовить пятьдесят штук материи для дорожек такого же веса и качества, что и пятьдесят штук за номером А. В., какие Вы поставили минувшим октябрем, а также по десяти штук материи такой же смеси нити и того же сорта, что и прилагаемые образцы. Коль скоро Вы перешлете мне сии товары в течение февраля будущего года, я положу за них ту же цену, что за последнюю поставку, с тем чтобы по истечении месяца Вы могли получить от меня деньги, каковые будут выплачены к Вашему полному удовлетворению вашим другом и покорным слугой Таким-то.

P. S. Не откажите уведомить меня о получении сего письма с ближайшей почтой и известить, возьметесь ли Вы исполнить мой заказ, чтобы я мог сообразоваться с Вашим ответом».

Со следующей почтой суконщик шлет ему письмо такого содержания:

«Сэр, я получил Ваше последнее письмо от 22-го сего

месяца с заказом на пятьдесят штук тонкой материи для дорожек такого же веса и качества, что и изготовленные мной две кипы под номером А. В., какие я отослал Вам в октябре минувшего года. К письму были приложены пять образцов, помеченных от единицы до пяти, и я теперь уведомлен, какую смеску Вам угодно заказать. Исполняя Ваше желание, довожу до Вашего сведения, что вышеупомянутые пятьдесят штук уже находятся в работе, и смею Вас заверить, все товары удобного Вам веса и качества и в полном соответствии с указанными образцами будут доставлены Вам к сроку, иными словами, к марту следующего года. Всегда готов служить Вам в меру своих сил и высоко ценю Ваши ответные услуги, вследствие чего осмеливаюсь высказать Вам нижеследующую просьбу: под сделанный заказ прошу Вас уплатить пятьдесят фунтов, поскольку наши бедняки сильно нуждаются, а деньги нынче в недостатке (спешу сообщить, что двадцать или тридцать штук такой материи, уже изготовленных, я мог бы отослать в любое время, до окончания работы над всей партией), за какую услугу буду чувствительно Вам благодарен и с радостью пришлю любое поручительство, какое Вам желательно, в том, что все прочие товары будут доставлены Вам к сроку.

Касательно товаров, что прибыли без Вашего заказа и ныне хранятся в Ваших складских амбарах, хочу заметить, что весьма доволен их нынешним местопребыванием и очень бы желал, чтобы Вы распродали их для моего прибытку, когда позволит случай.

В чем остаюсь...»

Так выглядит согласие в торговом деле. Все в этих письмах сказано как должно: заказ сделан ясно и точно, суконщик отвечает с толком, обстоятельно, здесь можно не бояться недоразумения. Исполненный усердия суконщик без промедления возьмется за работу, разложит шерсть по видам, окрасит, смешает цвета по образцам, отдаст ее прядильщикам, отправит пряжу ткачам и, получив мануфактуру в штуках, сваляет ее на сукновальне, упакует в своей мастерской и точно к сроку пошлет ее заказчику. За двадцать штук, доставленных до срока, владелец складского амбара, желая оказать ему услугу, оплатит его счет на пятьдесят фунтов, а месяц спустя, получив недостающие три-

Дэниел Дефо

дцать штук материи, изготовитель отправит ему счет на оставшуюся сумму, каковая будет ему выплачена незамедлительно. Таковы последствия умения писать и отвечать по существу.

Тем самым у владельца складских амбаров, которому без опоздания доставили товар, полки не будут пустовать и покупатели останутся довольны. Такой хозяин скажет своему приказчику: «Да, этот малый из Девайза знает свое дело, и человек он надежный. И коли мне потребуется, чтоб мой заказ исполнили и к сроку, и по чести, я напишу ему: он понимает, что у него просишь, работает без проволочки и исполняет все ко времени». Должно быть, и суконщик из Девайза не преминет заметить своему помощнику: «Что за порядочный заказчик! Всегда понятно, что ему требуется, и, если выполнишь заказ на совесть и в положенное время, это верные деньги: рассчитывать не отказывается, расплачивается вовремя. Пусть кто угодно остается без товару, а уж его я никогда не подведу». Тогда как непонятные заказы исполняются небрежно и, получив такой товар, купец бывает недоволен, владелец складских амбаров шлет товар назад к суконщику под тем предлогом, будто ничего такого не заказывал в надежде избежать расчета. Сбитый с толку суконщик лишается, по недостатку денег, доверия других торговцев, и вся эта неразбериха ведет к потере денег и кредита.

С чем и откланиваюсь.

Автор.

Джозеф Аддисон

ЭССЕ ИЗ ЖУРНАЛА «ФРИГОЛЬДЕР»

№ I

Пятница, 23 декабря 1715 г.



Доводы того или иного писателя теряют едва ли не всю свою весомость, когда мы полагаем, что пишет он спору ради, нимало не затронутый самым его предметом. Так бывает, если кто-либо берется за перо в защиту собственности, ее не имея, за исключением, возможно, тех случаев, в коих он переписывает жалобу или балладу. Мы нередко подозреваем, что страсть к свободе, овладевшая мятежным писакой, вызвана лишь страхом перед тюрьмою и, как бы он ни притворялся, цель его — не чужое благо, но своя корысть; если же правительство падет, терять ему нечего, разве что старую чернильницу.

Посему я хотел бы, чтобы читатель, прочитавший название моего листка, отнесся к автору с должным почтением и доверием; ибо смею сказать, что я обладаю достаточным весом, чтобы доход мой был не меньше сорока шиллингов в год.

Название это я выбрал из всех прочих, поскольку горжусь принадлежностью к сему роду, как ничем на свете, и, благодаря ему, ощущаю с особой силой все счастье, дарованное мне нынешним нашим правлением. Имя английского фригольдера я не поменял бы на титул французского маркиза; и, видя, как соотечественник мой предается счастью в малом огороде, почитаю его более важной особой, чем обладатель богатейших виноградников Шампани.

Таких, как я, представляет палата общин, и потому я мыслю себя одним из тех, кто дает согласие на каждый

принятый закон. Фригольдер при нашем устройстве страны подобен римскому гражданину, который, избрав трибуна, как бы принимал издалека участие в любом решении прославленной республики. Можно сказать, что фригольдер — без малого законодатель и потому должен бы защищать законы, принятые в некоторой степени при его участии. Самая природа счастливого нашего устройства такова, что множество народу поистине вправе дать согласие на все, чему должно подчиниться, и предписывает себе правила, коими руководствуется.

Однако, причисляя себя к фригольдерам, я не отказываюсь от прочих именовании и званий. Фригольдер может быть и простым обладателем голоса, и родовитым дворянином; и острословом, и охотником на лисиц; ученым и воином; олдерменом и придворным; мятежником-патриотом и биржевым маклером. Словом, к именованию сему присоединяются и другие, но лишь это, главное, животворит его и украшает; без него они — не более, чем цвет, осыпающийся с первым же порывом ветра.

Воспользуюсь случаем восхвалить страну, где возросло сие счастливое племя, ибо, благодаря мудрости нынешнего парламента фригольдеры распространились по самым дальним уголкам острова. Я говорю о законе, принятом на недавней сессии парламента, дабы умножить в Шотландии верность короне; согласно которому каждый и всякий подданный, кой, намереваясь впредь жить по доброй воле в должном послушании Его Величеству, а также наследникам и преемникам сего монарха, является держателем имущества и земли, принадлежащих изменнику, получившему их от короля, отныне получает их сам и посему должен и обязан держать указанные земли и имущество, данные королем ему самому, наследникам его и преемникам, наследственно и навечно, точно так же, как держал сии королевские земли означенный изменник.

Благодаря сему обитатель горной Шотландии может, ежели захочет, стать добрым землевладельцем, а не мятежником и зваться верным слугою, не полагая своим долгом следовать на виселицу за прежним хозяином.

Как не восхвалить великодушие нашего монарха, не желающего, чтобы во владениях его обитал и единый раб! Как не возрадоваться деятельному образцу того повиновения, которое не обрекает человека на мерзкую неволю (что ви-

дишь во многих соседних нам королевствах), но дарует ему высокие блага собственности и свободы! Вознадемся же, что покорно подчиняться будут у нас лишь законам нашей страны.

Если люди, обретшие великое благо, наделены любовью к собственности, они возлюбят и уложение, его даровавшее. Трудно выразить, сколь приятно назвать что-либо своим. Даже если земля твоя покрыта льдом и снегом, ты рад ей и готов за нее держаться, ибо это достойная награда за верность королю, кой защищает от рабства свой народ, порою — вопреки его воле (поистине, редчайший образец монаршего великодушья и безумства подданных!), не давая немалому числу людей подпасть под иго, которому учили подчиняться с упорством и охотой.

Английскому фригольдеру искони гнусно все, что тащит и толкает его к чуждому произволу. Примеры тому мы нередко видим в истории, где нас привлекают более всего те, кто мужественно противился покушениям на гражданские свободы и хитросплетениям тирании, которою паписты поработали тела наши, судьбы и самый разум. Сколь жалки будут в глазах потомства мнимые патриоты, избравшие виселицу, плаху и дыбу, чтобы уничтожить гражданские права, за которые предки их погибли на поле брани! Что подумают в грядущих столетиях о последователях ученья, не убоявшихся той же виселицы ради суеверий, за противление которым сгорали на кострах их отцы?

Каким бы поучительным ни было для будущего такое безумие, мне надлежит говорить не о нем, но о благе времен, выпавших мне на долю. Поскольку множество нечестных писателей тщило приукрасить недостойное дело, я, не щадя сил, буду проповедовать дело доброе, для чего понадобится всего лишь его разъяснить. Многие из доблестных моих соплеменников преследуют почти поверженных врагов, расписывая их вину; я же попытаюсь использовать победу во благо собратьям в подданстве, повествуя о наших успехах и примиряя умы со всем тем, что отстаивают их король, страна их и вера.

Для цели этой во всех листках (выходящих с сего дня в понедельник и в пятницу) я буду неустанно объяснять соотечественникам, в чем их польза, показывая, сколь велики преимущества фригольдеров, коими они наслаждаются вместе со мною, дабы все уразумели, что порукой сему власть нашего монарха, правление его и нрав.

Джонатан Свифт

БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПОЛОЖЕНИЕ В ИРЛАНДИИ



В последнее время, как меня уверяют, стало своего рода правилом вежливости среди джентльменов на вопросы о ценах на землю, хозяйственных возможностях арендаторов, состоянии ремесел и торговли и о том, как выплачивается рента, отвечать, что все вокруг процветает, а рента и стоимость на землю повышаются с каждым днем. И если найдется джентльмен чуть более откровенный в изображении истинного положения вещей, его не только почтут человеком неблагожелательным, но возле него, несомненно, тут же появится дюжина опровергателей. Ни для кого не секрет, почему столь охотно задают подобные вопросы и столь любезно на них отвечают.

Между тем, обращаясь к делам Ирландского королевства, я лишь огромным усилием воли сдерживаю владеющее мною негодование, которое вызвано отнюдь не соображениями личной выгоды, ибо на всем острове мне не принадлежит ни пяди земли. А посему, согласно общеизвестному и повсеместно принятому правилу, я перечислю те причины, которые (по общепризнанным и неопровержимым законам) способствуют процветанию и обогащению любой страны, а затем рассмотрю, каковы следствия, возникающие из этих причин для Ирландского королевства.

Первая причина благосостояния любой страны заключа-

ется в плодородии почвы, способной производить все необходимое для жизни и благосостояния населения в количестве, достаточном не только для жителей этой страны, но и для вывоза за ее пределы.

Вторая — в трудолюбии народа, прилагающего все старания, чтобы наилучшим образом изготовить необходимые товары.

Третья — в удобных и безопасных портах и гаванях, из которых в пределах, дозволенных условиями взаимного обмена, вывозится возможно больше изделий, а ввозится возможно меньше сырья.

Четвертая заключается в том, чтобы население вывозило и ввозило товары по возможности на судах, сооруженных в собственной стране и из местного леса.

Пятая — в том, чтобы ее купцы пользовались правом свободной торговли во всех иноземных государствах, в которые им открыт доступ, кроме тех, кои находятся в состоянии войны с их государем или страной.

Шестая — в том, чтобы народ управлялся только теми законами, кои учреждены с собственного его согласия, ибо в противном случае он не будет свободным. А потому все мольбы о справедливости, все просьбы о благосклонности и привилегиях, обращенные к чужому государству, суть лишь свидетельства бессилия страны.

Седьмая — заключается в развитии земледелия, в поощрении сельского хозяйства и благодаря сему в росте народонаселения, без чего любая страна, как бы щедро ни одарила ее природа, останется бедной.

Восьмая — в пребывании в стране ее государя или лица, облеченного верховной гражданской властью.

Девятая — в том, чтобы чужеземцы во множестве стекались в страну ради образования, развлечений или удовольствий либо как во всеобщий центр торговли.

Десятая — в распределении почетных, доходных и ответственных должностей только среди своего народа, в крайних случаях допуская исключения для тех чужеземцев, которые, давно проживая в стране, можно полагать, понимают и уважают ее интересы как свои собственные.

Одиннадцатая — в том, чтобы земельная рента и доходы от различных должностей расходовались в той стране, в которой получены, и ни какой иной, что, разумеется, возможно там, где царит любовь к своей отчизне.

Двенадцатая — чтобы все государственные доходы, исключая издержки на войны с чужеземными государствами, расходовались у себя на родине.

Тринадцатая — в том, чтобы народ не заставляли пользоваться иными деньгами, кроме тех, которые отчеканены на собственном государственном монетном дворе, исключая те случаи, когда отступление от этого обычая, принятого у всех просвещенных наций, окажется выгодным для государства.

Четырнадцатая — в склонности жителей страны носить одежду собственного изготовления и ввозить по возможности меньше предметов роскоши, будь то одежда, мебель или продукты питания, без коих легко можно обойтись.

Есть еще множество других причин, способствующих процветанию нации, которые я не могу припомнить. Однако без наличия хотя бы некоторых из уже перечисленных я даже после долгих размышлений не в состоянии обнаружить, откуда же происходит наше благосостояние, и был бы поэтому рад просветиться на этот счет. Пока у меня нет более полных сведений, я рассмотрю здесь, какие из вышеуказанных действуют в Ирландии, а также какова ее доля в результатах и следствиях.

Я намерен не жаловаться, а просто излагать факты, и предмет моего исследования представляется мне весьма значительным. Ибо совершенно очевидно, что человек, живущий в уединенном доме и вдали от всякой помощи, поступил бы неразумно, стремясь прослыть среди соседей богачом; потому что те, кто приходит за золотом, предпочтут скорее уйти с оловом и медью, нежели с пустыми руками. И так уж повелось на свете, что самые состоятельные люди менее всего выставляют свое богатство напоказ, предоставляя это делать тем, кто рад покрасоваться немногим, что имеет, на бирже.

Что касается первой причины благосостояния нации, а именно: плодородия почвы, а также умеренности климата, — у нас нет оснований жаловаться, ибо, хотя в нашем королевстве непригодных земель, считая болота, камни и голые скалы, вдвое больше, чем в Англии, тем не менее все, что производят оба королевства и чем они торгуют, почти равно по качеству, и при одинаковом поощрении ирландские товары могли бы вырабатываться столь же хорошо. Я исключаю руды и минералы, хотя в добыче некоторых из них мы уступаем Англии только в ловкости и усердии.

Что касается второй причины — трудолюбия народа, — в нашем несчастье повинны не столько мы сами, сколько миллионы обстоятельств, в результате которых у нас опускаются руки.

Удобство портов и гаваней, которыми природа щедро одарила наше королевство, приносит нам столько же пользы, сколько заключенному — прекрасный вид, открывающийся из окна его темницы.

Что касается собственного судоходства, Ирландия им совершенно не обеспечена; и едва ли можно сказать, что из всего превосходного строевого леса, срубленного за последние пятьдесят-шестьдесят лет, были сооружены на благо нации хотя бы один стоящий жилой дом или одно торговое судно.

Ни в древней, ни в новой истории мне не доводилось слышать или читать ни об одном королевстве, лишенном, подобно Ирландии, права экспорта своих товаров и изделий туда, куда ему желательно, кроме как в те государства, которые находятся в состоянии войны с его государем или правительством. Однако превосходством одной лишь силы это право отнято у нас в самых насущных отраслях торговли; не говоря уже о навязанном нам и жестоко проводимом Навигационном акте, на который мы никогда не давали согласия, и о тысяче других беспримерных ограничений, столь тягостных, что ненавистно даже одно их упоминание.

Далее: слишком хорошо известен тот факт, что мы вынуждены подчиняться законам, на которые никогда не давали своего согласия; положение, которое я не осмеливаюсь назвать его истинным именем, дабы не явился мне дух лорда верховного судьи Уитшеда с девизом *libertas et natale solum*¹, написанным на дверце его кареты, всегда дожидавшейся у дверей суда, пока почтенный лорд, нарушая присягу, предавал как свободу, так и отечество. Итак, мы поставлены в положение больных, которым шлют лекарства далекие врачи, не знакомые ни с их организмом, ни с природой их недуга. Итак, нас вынуждают выплачивать пятьсот процентов за присуждение нам того, что нам естественно принадлежит, тем самым отличая нас перед всем остальным человечеством.

¹ Свобода и родная земля (*лат.*).

Что касается развития земледелия, то те немногие, кто пытается заняться землепашеством или лесонасаждениями, своей алчностью или неумелостью приводят наши земли в состояние еще худшее, чем прежде. Ни деревья, ни кусты у них не растут, и, увлекаясь пастбищами по примеру скифов, они день за днем лишь опустошают страну.

У нас не только нет короля, живущего среди нас, но даже лорд-наместник обычно отсутствует четыре пятых из всего срока своего правления.

Ни один чужеземец не избрет нашу страну для путешествий, ибо все, что он сможет здесь увидеть, — это картины нищеты и разорения.

Те, кто имел несчастье родиться здесь, менее всего могут притязать на высокие должности; их допускают к ним крайне редко, и то лишь по политическим соображениям.

Третья часть ирландской ренты расходуется в Англии, что вместе с доходами от синекур, пенсий, судебных апелляций, увеселительных и лечебных поездок, а также с издержками на образование молодежи в школе правоведения и обоих университетах, с денежными переводами частных лиц, с расходами на содержание всех старших офицеров армии и со всеми прочими отчислениями составляет добрую половину доходов всего королевства и чистую прибыль для Англии.

Нам отказано в праве чеканить свою монету не только золотую или серебряную, но даже медную. На острове Мэн чеканят свое серебро. Каждый вассальный князек германского императора может чеканить какую ему угодно монету. И в этом, как и в большинстве уже упомянутых пунктов, мы составляем исключение среди всех других государств и монархий, когда-либо известных миру.

Что касается последнего, четырнадцатого пункта, то в течение всей нашей жизни мы особенно старательно противоречим ему своим поведением. И мужчины и женщины, преимущественно женщины, с презрением и отвращением отказываются носить вещи отечественного изготовления — даже те, что сделаны лучше, чем в иноземных странах; в частности, один сорт клетчатой шелковой ткани, в который ткачи пускают золотую нить, дабы она могла сойти за индийскую. Даже пиво и картофель доставляют из Англии, и также хлеб, а наша внешняя торговля сводится к ввозу французских вин, за которые, как мне известно, мы платим наличными.

Итак, если все сказанное соответствует истине (а я легко мог бы умножить приведенные примеры), то хотелось бы знать, с помощью каких тайных способов мы обогащаемся и процветаем: без *свободы, торговли, промышленности, населения, денег и права их чеканить, без трудолюбия, усердия и земледелия*? Добавьте сюда, что больше половины земельной ренты и доходов со всего королевства ежегодно вывозится, и мы не получаем взамен ни фартинга, а также никаких товаров, достойных упоминания, разве что холст с севера (торговля случайная, грабительская, произвольная) и немного масла из Корка. Если мы действительно процветаем, то вопреки всем законам природы и рассудка — как шиповник из Гластенбери, который расцветает посреди зимы.

Пусть достойные господа комиссары, прибывающие к нам из Англии, проедут по всему королевству и посмотрят на лицо природы и на лица местных жителей; пусть полюбуются нашим земледелием, многочисленными цветущими угожьями, великолепными лесами, обильными и близко расположенными друг к другу поместьями, удобными крестьянскими домами, городами и селами, где каждый занят делом, преуспевая во всякого рода ремеслах; пусть бросят взгляд на лавки, полные товаров превосходного качества, где толпятся покупатели, на здоровую пищу, добротную одежду и жилье простых людей, на огромное число судов в наших гаванях и доках, на множество корабельных плотников в наших портовых городах, на дороги, запруженные повозками с грузом богатых товаров, на непрерывный поток роскошных экипажей, едущих во всех направлениях.

С каким чувством зависти и восхищения эти господа вернутся из столь замечательного путешествия! Какие славные отчеты представят они, когда вернуться в Англию!

Но слишком тяжело у меня на сердце, чтобы развивать эту иронию, ибо очевидно, что всякий чужеземец, здесь побывавший, легко подумает, что он путешествует по Лапландии или Исландии, а не по стране, которую природа столь щедро одарила и плодородием почвы, и умеренностью климата. Убогая одежда, пища и жилье простых людей. Полное безлюдье в большинстве частей королевства. Старинные поместья знати и дворян — в развалинах, новых же на их месте не видно. Крестьянские семьи, выплачивая огромную ренту, живут в грязи и нечистотах, на снятом молоке и картофеле, не имея ни сапог, ни чулок, не имея дома, равного по удоб-

ствам хотя бы английскому свиарнику, где бы они могли найти приют. Воистину все это, может статься, утешительное зрелище для наблюдателя-англичанина, приезжающего сюда на краткий срок только ради изучения языка и возвращающегося к себе на родину, куда, как он убеждается, переместились все наши богатства.

Nostra miseria magna est¹.

Нельзя привести ни одного довода в доказательство благосостояния Ирландии, который не был бы логическим свидетельством ее нищеты. Высокая рента выжимается из крови и пота, платья и жилья арендаторов, которые живут хуже английских нищих. Низкий процент ростовщической прибыли, который во всех других странах является признаком богатства, у нас — лишь доказательство бедности, ибо в стране нет промышленности, куда можно вложить капитал. Отсюда высокие цены на землю, ибо людям с деньгами их больше некуда вложить. Отсюда дороговизна предметов первой необходимости, ибо арендаторы не в состоянии выплачивать столь непомерную ренту (если же не захотят платить, то окажутся нищими), не подымая цены на скот и хлеб, хотя сами живут на мякине. Отсюда рост строительства в Дублине, ибо рабочим ничего не остается, как наниматься друг к другу, и половина их неизбежно разоряется. Отсюда с каждым днем увеличивается число банкиров (возможно, необходимое зло в стране, где процветает торговля, но губительное в нашей), которые ради личных выгод вывезли из нашей страны все серебро и треть золота, так что оборотный капитал нации, насчитывавший три года назад более пятисот тысяч фунтов, сейчас составляет менее двухсот и с каждым днем неминуемо будет падать, если не дадут нам права чеканить деньги наравне со столь важным государством, как остров Мэн, или с самым захудалым княжеством германской империи (как уже отмечалось выше).

Мне иногда приходило на ум, что парадоксом о богатстве нашей страны мы обязаны главным образом банкирам — сим достойным джентльменам, единственным процветающим среди нас людям, если не считать нескольких таможенных чиновников, перелетных птиц, скупых, прижми-стых сквайров и немногих других, о которых лучше умол-

¹ Наше несчастье велико (лат.).

чать. Я не раз желал учреждения закона, по которому ежегодно вешали бы с полдюжины банкиров, что по крайней мере на краткий срок приостановило бы разорение Ирландии.

«Праздны вы, праздны», — ответил фараон израильтянам, когда те пожаловались его величеству, что их заставляют делать кирпичи, а соломы не дают.

Англия пользуется всеми перечисленными мною выше преимуществами, необходимыми для обогащения нации, и сверх того без труда и риска к ней ежегодно поступает добрый миллион фунтов, меж тем как мы не получаем ни фартинга взамен. Но сколь долго будем мы еще в состоянии продолжать платежи, об этом я не имею ни малейшего представления. Одно я знаю твердо: когда курицу уморят голодом, неоткуда больше будет взять и золотые яйца.

Вряд ли, думается мне, требуется законами гостеприимства (а иные даже назвали бы это в некотором роде злым умыслом!), чтобы гости по прибытии в Англию стали рассказывать, будто мы утопаем в богатстве и роскоши, разве что в нашем городе найдется дюжина семей, способных щедро принять и угостить своих английских друзей.

Слыхал я, признаться, об одной больнице, где все чиновники наживались, тогда как бедняки, для коих она была построена, умирали от голода и холода.

В заключение: если Ирландия действительно богатая и процветающая страна, то благосостоянием и преуспеянием своим она обязана таким причинам, которые пока еще скрыты от человечества, и результаты их столь же незримы. Нет нужды удивляться чужеземцам, изрекающим такого рода парадоксы, но, когда уроженец Ирландии или ее житель ведет подобные речи, он, должно быть, либо невежествен до глупости, либо льстец, готовый в угоду другим пограть честь, совесть и истину.

VI

ФИЛОСОФСКИЙ ЭПИЛОГ

Александр Поуп

ОПЫТ О ЧЕЛОВЕКЕ

Эпистола I

О природе и положении человека
относительно вселенной



Долой заботы, дорогой Сен-Джон!
Оставь их трону, ибо правит — он.
Нам миг отпущен в этой жизни краткой,
Чтоб мир увидеть, да и то — украдкой;
5 Давай над ним открыто воспарим;
Он — лабиринт, чей план неоспорим,
Цветник, чьи розы заросли репеем,
Запретный сад, чьих яблоч вожделею.
Ну так давай на этот вертоград
10 Попробуем с вершины бросить взгляд.
Земные бездны и небесны дали
Немало бездарей перевидали,
Но Глупость, рвущуюся в высоту,
Природа подбивает на лету;
15 Дерзнем, мой друг, — и смысл в твореньях
Божем.

Мы человеку разглядеть поможем.

I. Ответ сначала, разве здесь не всяк
О Боге судит, но откуда, как?
Что знаем мы о Человеке, кроме
20 Его наличья, чтоб судить в объеме?
Открыт Создатель тысячным мирам,
Но только в нашем он доступен нам.
Лишь тот, кто землю нам избрал пределом,



Александр Поуп

25 Кто все миры способен видеть в целом,
Кто возле солнц бесчестных завертел
Такое множество небесных тел
И населил их по своей причуде,
Поведать может, отчего мы — люди.

- Но кто способен из людей, скажи,
30 Пространства эти, грани, рубежи,
Их цель и свойство взглядом неумелым
Своим постичь; и что есть часть пред целым?
И кто их цепью из стольких колец
Связует прочно, ты или Творец?
- 35 II. Но разве, смертный, перед их масштабом
Не выглядишь ты маленьким и слабым!
А если так, ужель не занимал
Тебя вопрос: а почему ты мал?
А почему, спроси свой гордый разум,
40 Трава — не ровня густотенным вязам?
Иль почему среди небес Луна
Земле своим размером не равна?
А стало быть, в основе мирозданья
Лежит всех частных согласованье;
- 45 Одни системы выше в нем стоят
Других, которые идут на спад.
Отсюда ясно, что на их арене
Закономерно наше появленье.
Вопрос лишь в том: а верно ли Творец
50 Расположил свой малый образец?
Но то, что мы зовем несправедливым,
Всему на свете служит нормативом.
Сколь мы в трудах не прилагаем трат,
Чтоб получить конечный результат,
- 55 А Бог его предвидит сызначала,
Дабы старанье наше не пропало.
А это значит, что в трудах своих
Мы первенствуем только во-вторых,
И все живем с неведомым прицелом,
60 И видим часть, не обладая целым.
И не скорей, чем огненный гнедой
Дознается, зачем он под уздой,
А сонный бык, гонимый батогами, —
Зачем в Египте он живет с богами,
- 65 Ты сможешь, смертный, подчинить уму
Все за и против, как и почему;
Зачем ты в жизни то актер, то зритель,
И нынче — Раб, а завтра — Небожитель.
Весьма нелепо обвинять Творца,
70 Что совершенен ты не до конца;

- Пускай твой космос — лишь земная сцена,
А жизнь, быть может, чересчур мгновенна.
Но как достоинства, что нам даны,
Зависеть могут от ее длины?
- 75 Ты — совершенен, вопреки уронам,
Являясь фактом, Богом совершенным.
- III. Хоть в Книге Судеб Бог нам не дает
Ни на страницу забежать вперед,
Кто ведает, какие огорченья
- 80 Нас ожидали б, знай мы продолженье?
В преддверье смерти стало бы ягня
Так веселиться, бубенцом звеня?
Оно ж, не зная о грядущей муке,
Бросается к убийце прямо в руки.
- 85 Незнание о будущем — залог
Существованья. Так задумал Бог.
Его вниманьем равно удостоен
И жалкий воробей, и храбрый воин;
Миры, и те — перед Царем Царей —
- 90 Едва ль весомей мыльных пузырей.
- Надежда — вот что, как мы жизнь ни ценим,
Дает о Смерти думать со смиреньем.
Знать, что за нею, — выше наших сил,
Но Бог надеждой нас благословил.
- 95 Она одна лишь обещает людям,
Что мы не здесь, а там блаженны будем,
И что душа, избавясь от тенет,
В грядущей жизни наконец вздохнет.
- Индеец бедный! По его понятию,
- 100 Он слышит Бога в громовом раскате
И разумом не тщится перейти
Через границу Млечного Пути.
Он верит в Небо, что за горным склоном
Должно быть вечным и неомраченным,
- 105 И в мир лесов, что тайной окружен,
И в остров счастья для таких, как он,
Где не смутят его природной веры
Златолюбивые миссионеры.
Да, он не просит, чтобы Серафим
110 Своим гореньем поделился с ним,
Но убежден, что верная собака
Его не бросит даже в царстве мрака.

- IV. А ты, разумник, не стыдись, валяй,
Обрушь на Бога недовольный л а й , —
115 Что от него двуногим перепало
Там — слишком много, здесь — безбожно мало.
Сотри творенье, если, наконец,
Кругом в несчастьях виноват Творец.
Ты — одинок, и в том для человека
120 Опять не хороша Его опека.
Бери весы и, если так он плох,
Суди по-новой, стань над Богом — бог.
В ней, в ней, в гордыне — главная зараза;
Нам не живется, все нам надо сразу!
125 Лишь из гордыни мы с тобой хотим
Стать Ангелами, те ж — Творцом самим.
Но Ангелы и то погрязли в сраме,
Восстав на Бога; что же будет с нами?
И что, как не мечты быть выше всех,
130 Умнее Бога, — суть наш главный грех.
- V. Кому, ты спросишь, свежесть роз и вишен?
Гордыня скажет, что вопрос — излишен;
«Лишь для тебя Природа создает
Любой цветок, а также — всякий плод;
135 Целует ветром или утром ранним
Дарит росой и благоуханьем.
А реки существуют, чтобы ты
Судами правил и сплавлял плоты;
Земля ж тебе надежным треном стала,
140 А ветер служит вместо опахала».
- Выходит, что Природа, нас любя,
Опровергает самое себя, —
Когда земля, восстав, подобно водам,
Глотает город заодно с народом?
145 Нет, — отвечает, — ибо есть Закон,
Стоящий над Природою, и он
Не может быть частичным — только общим
Для всех созданий. — Так на что ж мы ропщем?
Пускай нам счастье и предрешено,
150 Мы только часть Природы, лишь звено.
И так же, как немислимо в Природе
Сплошное лето и краснопогодье,
Так и от жизни ждать мы не должны
Безоблачности и голубизны.

- 155 Но ни шторма, ни мор, ни Катилины
Не могут общей изменить картины.
Лишь Бог провидит, мир животворя,
Зачем бушуют и бурлят моря,
А сын Аммона с венценосным Гаем
- 160 Таким тщеславием обуреваем.
Лишь из гордыни мы Природу-мать
От собственной спешим отмежевать;
Одну кляня, другую мы лелеем,
Хоть ключ один подходит к ним обеим.
- 165 А между тем не лучше ли понять,
Что все крепит гармонии печать;
Что как моря колеблемы ветрами,
Так точно страсти управляют нами,
И как обычен спор природных сред,
- 170 Так нашей жизни без борений нет.
И стало быть, один Закон от века
Как у Природы, так у Человека.
- VI. Чего же нам, глупцам, недостает?
То взмыть хотим до Ангельских высот,
175 То причитаем, что не дал нам, Боже,
Медвежьей хватки иль слоновьей кожи.
И, может, вправду Бог жестокосерд,
Лишив нас этих драгоценных черт?
Но в том и суть, что каждому созданию
- 180 Бог выдал свойства сообразно званию;
Одним дал силу, а другим взамен
Дал расторопность, чтобы не вышел крен;
Поэтому в цепи из стольких звений
Нет ни пробелов, ни нагромождений.
- 185 И зверь, и мошка счастливы судьбой.
Так почему ж несчастны мы с тобой?
Не потому ль, что с нашим интеллектом
Не ровня мы ни зверям, ни инсектам?
Но не гордыня ли повинна в том,
- 190 Что мы себя всех выше сознаем?
Для счастья же потребно, чтобы сила
Себя с реальностью соотносила.
- Но почему у мух во много раз
Микроскопичней зренье, чем у нас?
- 195 Да потому, что, видя лишь детали,
Мы б крупное из виду потеряли.

- Будь мы чувствительнее, и цветы
Нас доводили бы до дурноты,
А от любой пылинки поневоле
200 Мы б вздрагивали, как от жгучей боли.
А если бы Природа, например,
Нас оглушила музыкаю сфер,
То, с ней в сравненьи, показался б благом
Простой ручей, журчащий по оврагам.
205 Так можно ли считать, что Бог не прав,
Давая это, а того не дав?
- VII. Взгляни, как многочисленны ступени
Ума и чувства, явленных в твореньи;
От низких трав они берут разбег
210 К той высоте, где правит Человек.
Не может нюхом лев гривобородый
Соревноваться с гончею породой,
А силой зренья близорукий крот
Сравниться с рысью, и наоборот;
215 А тварь морей, от рыб и до креветок,
Сравнятся слухом с жителями веток.
Но как же просто и легко паук
На тонкой нити повисает вдруг!
С каким искусством над лесной поляной
220 Выискивают пчелы сок медвяный!
Насколько же свиньи умнее слон,
Хоть разумом тебе не равен он!
Вовек они, благодаря преградам,
Не могут слиться, пребывая рядом!
225 И сколь неразличима та стена,
Которой мысль от чувств отделена!
Но без барьеров этих и ступеней
Творенье было бы несовершенней,
И ты бы не был возведен в цари
230 Без этой иерархии внутри.
Не потому ли и царит твой Разум,
Что силу всех в себя вмещает разум?
- VIII. Взгляни на воздух, землю, океан:
235 Везде простор существованью дан,
Все зиждется на должном благочинье
Вверху, вокруг и глубоко в пучине!
Бог начал цепь, навек связавши ей
Существ эфирных, ангелов, людей,

- Зверей и рыб; нельзя постичь итога
240 Ее пути, идущего от Бога
До нас и дальше; как нельзя, чтоб связь
В цепи существ великой прервалась,
Иначе равновесие на свете
Нарушится; ни третье, ни сто третье,
245 Ни даже миллионное звено
Нельзя сместить, как ни мало оно.
Наш мир — лишь часть в необозримом Целом,
Но связанная с ним одним уделом;
Разрушься он, запаянный в мирах, —
250 И Целое обречено на крах;
Задумай он покинуть ось земную,
И ринутся планеты врассыпную;
А потесни мы Ангелов с высот, —
И лопнет цепь, и мир на мир падет,
255 И вся Природа к Божьему подножью
Прихлынет враз, охваченная дрожью!
И для тебя весь этот кавардак? —
О, недоумок, пустозвон, червяк!
- IX. Что, если б ноги в человеческом теле
260 Стать головой внезапно захотели?
Иль начала бы отрицать рука
Свою зависимость от мозжечка?
Вдвойне нелепы притязанья эти,
Коль речь идет о мировом скелете;
265 Напрасно мы на свой удел грешим,
Коль Высший Разум управляет им.
Все части мира и являют купно
То Целое, что части недоступно,
Чья плоть — Природа, а душа — Творец;
270 Он — в каждом вздохе и толчке сердец;
Он в солнце светит и в зефире веет;
Горит в звездах и в розах розовеет;
Он длится в каждой из возможных длин,
Всегда различен и всегда един;
275 Он абсолютен в каждом проявлении,
В любом из видов света или тени;
В любом из нас, клянущих свой талан,
И в Ангеле, что счастьем осиян;
Его ничто ни меньше, ни крупнее,
280 Он равен всем, и все пред ним пигмей!

Х. Довольно нам на мир глядеть брюзгой,
Не видя сущности его благой!
Хоть слепы мы и расточаем пени,
Но знай, что выше не найти ступени,
285 И больших, знай, не обрести даров
Нам ни в одном из тысячных миров;
Мы в руке Божьей все, без исключенья,
И в смертный час, и в светлый час рожденья.
290 Прядется жизнь, но людям не дано
Увидеть целостное полотно,
И за бессмыслицей отдельных пятен.
Им общий смысл картины непонятен.
А потому нам надобно учесть,
Что в мире сем *разумно все, как есть.*

Эпистола II

О природе и положении человека
относительно его самого



Постичь Творца — нелепая затея;
Познать себя для нас куда важнее.
Небезупречен Человек, хоть он
И в центре мироздания помещен:
5 Для Скептиков умом он слишком боек,
И духом слаб, как утверждает Стоик;
Он мечется и все же не поймет,
Кто он на деле: Бог иль жалкий скот,
Душа иль тело в нем первостепенней;
10 Рожден для смерти, жив для заблуждений;
И будь он велемудрие само,
Неведение — навек его клеймо;
Он целиком построен на контрасте
Рассудочности и бредовой страсти;
15 Он полугрешник и полусвятой;
Он царь вещей, и сам под их пятой;
Он ищет правды, сам ее скрывая;
Вершина он и бездна мировая!
О, существо предивное! Иди
20 Туда, где Знание светит впереди;
Пути планет по-новому расчисли,
И Время укроти работой мысли;
И наравне с Платоном овладей

- Незримым царством отправных идей,
25 И гордо думай, что Творцу вселенной
Ты можешь быть достойною заменой;
Как думает шаман, что солнца ход
Теловращением он создает;
Учи Творца, как править небесами,
30 И убедись, сколь мы ничтожны сами!
Еще недавно поражался Бог
Тому, сколь смертный разумом глубок,
Дивясь плодам *ньютонových* дерзаний,
Как мы б дивились сметке обезьянней.
35 Но смог бы он, проливший свет во тьму,
Дать объясненье своему уму,
Иль жизнь свою предусмотреть заране,
Он, столько тайн открывший в мирозданье?
Увы, никак! Способен Разум наш
40 Любую сложность взять на бордаж,
Но чуть в себе начнем искать зацепок,
Как рушит Стрость все то, чем Разум крепок.
Ну а теперь попробуй отними
От Знанья то, что движет в нем людьми;
45 Сорви с него гордыни одеянье, —
И ты увидишь под богатством ткани
Излишества ума иль просто цель
Засовывать свой нос в любую щель;
Брось это все на весовые чаши
50 И посмотри, насколько знанья наши
Ничтожнее, чем пагубный налет;
Долой его, и устремись вперед!
II. На Человека взглянем через призму
Двух сущностей — Ума и Эгоизма;
55 Ум держит нас, а Эгоизм — ведет;
Ни доброе, ни злое здесь не в счет,
Поскольку и удачи, и напасти
Рождаются от той и этой части.
Коль Эгоизм — пружина душ людских,
60 То Ум уравнивает их.
Без первого не может быть движенья,
А без второго нету завершенья;
Без них бы человек напомнил плод,
Что тянет соки, спеет и гниет;
65 Иль метеор, летящий ярким светом



Гравюра со стихотворными цитатами, среди которых отрывки из «Опыта о человеке» А. Поупа

По небесам и гибнущий при этом.

- Да, Эгоизм нам стоит многих сил,
Он деятелен, жаден, быстрокрыл;
Удел Ума — покой и хладнокровье,
70 Мы сами крепче на его основе.
Чем ближе цель, тем Эгоизм сильней;
Ум судит с расстояния о ней:
Тот страстью одержим нетерпеливой,
А этот существует перспективой.
75 Соблазны ярче доводов Ума,
Зато вторые бдительны весьма.
Чтоб первых одолеть, нам надо чутко
Прислушиваться к голосу Рассудка.
Весь опыт жизни, вероятно, в том,
80 Чтоб Эгоизм превозмогать Умом.
Пусть велико желание в схоласте
Ум противопоставить всякой Страсти,
Он с тем же рвением мог бы утверждать,
Что Добродетельность — не Благодать,
85 Поскольку для подобных пустосвятов
Важна не суть, а повод для дебатов.
И Ум, и Эгоизм равно хотят
От жизни не страданий, а услад;
Ум пьет нектар, нигде цветка не рая,
90 А Эгоизм — синоним пожирания;
Услада — Зло, как в случае втором,
Но в первом именуется Добром.

- III. Все наши Страсти ощущают тягу
Ко мнимому иль подлинному благу.
95 Любовь к себе рождает их на свет,
Но Разум тоже подает совет,
И те оправдывает он частично,
Чья цель честна, пускай эгоистична;
А те, в которых благости печать,
100 Мы вправе Добродетелями звать.
Пусть Стоики бахвалятся ретиво,
Что Добродетель — их прерогатива,
Никто из них вовеки не поймет,
Что Жар она, а не душевный Лед.
105 Душа — корабль, но даже спутав снасти,
Его не могут опрокинуть Страсти;
В житейском море Разум — наш компас,

- А Страсти, словно ветры, гонят нас.
Но и в безветрии, и в урагане
- 110 Мы чувствуем поддержку Божьей длани.
Хоть Страсти и родятся для войны,
Но в мирном виде людям не страшны;
И можно ли, по размышленьи здравом,
Душе пренебрегать своим составом?
- 115 Пусть только Разум держит их в узде,
Не отступая от себя нигде.
Любовь с Надеждой — наших душ Услада,
А Ненависть и Страх — Страданий чада;
Но если их смешать, как тень и свет,
- 120 Получится прекраснейший портрет,
Ведь именно благодаря их смеси,
Душевное возможно равновесье.
- Как ни взгляни, мы все на разный лад
Стремимся к достижению Услад;
- 125 Мы веруем, что в будущем обрящем
Все не доставшееся в настоящем.
Но сколь ни привлекательна подчас
Бывает цель, не все сдается в нас;
Страсть, как болезнь, затрагивает ткани,
- 130 Лишь расположенные к ней заране,
А уж потом, как Ааронов змей,
Глощает чувства, спорящие с ней.
- Как человек уже при первом вздохе,
Наверное, вбирает Смерти крохи,
- 135 И вместе с ним из этого зерна
Растет и развивается она, —
Вот так и гумор, впитываясь с кровью,
Приводит нас от силы к нездоровью;
Сперва лишь частью овладевает тайком,
- 140 Он нас захватывает целиком:
Чуть только в сердце возникает жженье,
Коварные меха воображенья
Из искры раздувают сноп густой,
И вспыхиваем мы, как сухостой.
- 145 Но главную, а с ней другие Страсти
Мы все же сами допускаем к власти,
А Разум только бередит их в нас;
Так на свету забраживает квас.
Мы — подданные Разума, но Разум,

- 150 К несчастью, поддается их приказам,
И, самоуправления лишен,
Как нам помочь реально может он?
И очень часто до последней нитки
Нас обирают эти фаворитки!
- 155 Он судит нас за то, что неумны,
Но в этом доля и его вины;
Одерживая мелкие победы,
Он забывает про большие беды:
Так врач стремится, приступ исцелив,
160 Не думать про возможный рецидив.
Куда верней идти путем Природы;
Здесь Разум наш не метит в воеводы,
А Страсти — не враги, скорей — друзья ;
И каждому из нас дана стезя,
- 165 Которою неведомая Сила
Ведет по жизни, стоя у кормила,
И как бы Страсти ни швыряли бриг,
Упорно держит курс на материк.
Пожалуйста, зови ее желаньем
170 Покоя или Славы, тягой к Знаньям
Иль к Золоту, — она в нас до конца;
Возня торговца, праздность мудреца,
Монаха кротость или гордость воина —
Все поощренья Разума достойно.
- 175 Природа, делая добро из зла,
В нас принцип этот воспроизвела:
Чтоб не были мы паче ртути шатки,
Она с достоинствами недостатки
Лишь сочетает поровну, создав
180 Из тела и души сверхпрочный сплав.
Как черенок, привитый садоводом
К дичку лесному, радует приплодом,
Так из Страстей рождается на свет
Всех наших Добродетелей букет.
- 185 Мы в гневе, например, быстрее мужаем,
А ненависть обильна урожаем
Правдивости, и, словно кожура,
Скрывают мудрость леность и хандра.
И, наконец, что может быть смиренней
190 Любви, очищенной от вождлений!
Что, как не зависть, нас толкает, друг,


- К соперничеству в области наук?
Лишь то ко благу в даме и в мужчине,
Что на стыде взошло или гордыне.
- 195 И Добродетель наша, и Порок
Имеют, в сущности, один исток,
И если бы хотел Нерон, легко бы
Мог, как и Тит, — процарствовать без злобы.
Жар Катилины, чуть не сжегший Рим,
- 200 Мы в Курции почти боготворим:
Так честолюбье, мыслями владея,
Творит и патриота, и злодея.
- IV. Но кто, ты спросишь, свет от темных масс
В душе разрознит? — Бог, который в нас.
- 205 Непредсказуем смысл противоречий,
Намешанных в природе человеческой;
Как при живописаньи полотна
Один с другим сливаются тона,
Так трудно углядеть обычным оком,
- 210 Где Добродетель сходится с Пороком.
Глупцы, кто заключает нам в ответ,
Что разницы меж ними вовсе нет!
Да разве же цвета, смешавшись с целым,
Перестают быть черным или белым?
- 215 Спросите сердце, и тотчас оно
Укажет вам, где бело, где черно.
- V. Порок отвратней самых гнусных пугал,
Чей вид один нас загоняет в угол;
Но чем его мы ближе узнаем,
- 220 Тем меньше грязи замечаем в нем.
Мы для порока ищем отговорки:
Спросив, где север, ты услышишь в Йорке,
Что он близ Твида, а шотландец, тот
К Оркнейским островам тебя зашлет.
- 225 Порок для нас — чужая заграница,
И всяк в себе признать его боится;
А тот, кто к климату его привык,
Уже не ощущает, сколь он дик:
Что праведникам кажется геенной,
- 230 Для нечестивцев — жар обыкновенный.
Свои грехи у каждого из нас,
Таких немного, кто совсем погряз:
Последний плут бывает временами

- Чистейшим агнецем, по сравненью с нами.
235 Мы ненавидим Зло, Добро любя,
Но прежде них исходим из себя;
У каждого внутри — своя пружина,
Но Провидение для всех Едино.
Оно мешает глупостям и лжи
240 Нарращивать пороков этажи,
Распределив все слабости по лицам,
Дав гордость — женам, стыд — отроковицам,
Министрам — трусость, воинам — устав,
Монархам — спесь, а черни — кроткий нрав.
245 Оно легко творит благодеянья
Руками тех, кто ищет лишь признанья,
И зиждет радость, счастье и покой
На слабости и глупости людской.
Жена и муж, слуга или хозяин, —
250 Зависимостью общей мир наш спяня;
Так Бог распорядился, ибо с ней
Мы, слабые, становимся сильней.
Желанья наши, страсти и стремленья
Как раз и служат почвой для сближенья,
255 И только им, как их ни назови,
Обязаны мы в дружбе и любви.
Все эти страсти, радости и муки
Нас обучают жизненной науке;
Ее освоив телом и умом,
260 Прихода Смерти мы спокойно ждем.
Любой из нас на этом свете пленник
Желанья славы, знаний или денег.
Блажен ученый, вникший в суть вещей,
Блажен невежда в темноте своей;
265 Богач ликует на мешках наживы,
А нищие довольны тем, что живы.
Слепой танцует, а хромой — поет,
Монаршей властью бредит идиот,
Алхимик грезит о счастливом сдвиге
270 В своих исканьях, а поэт — о книге.
Когда мы предаемся этим снам,
Гордыня покровительствует нам
И новой жаждой каждый возраст метит,
И даже в Смерти нам Надежда светит.
275 Как погремушки радуют детей,

Так в юны лета треск пустых затей
Нас убажает, а когда взрослеем, —
Почет и деньги служат нам елеем,
А в старости утехой седины
280 Молитвенник и четки нам даны,
И эту забавою монашьей
Кончается игра всей жизни нашей.
И лишь порою самоменья луч
Подкрашивает серость наших туч;
285 Хотя Гордыня существует между
Ущербных чувств, а боль мертвит Надежду,
Хоть наш Рассудок и бессилен здесь,
А чашу Неразумья пенит спесь,
Но все же, друг мой, заключить мы вправе,
290 Что не вотще дается нам тщеславье:
Коль мы ранимы, можно ли другим
Желать того, что сами не хотим?
А, стало быть, и здесь признать не лишне,
Сколь мы глупы и сколь премудр Всевышний.

Александр Поуп

Эпистола III
О природе и положении человека
относительно общества

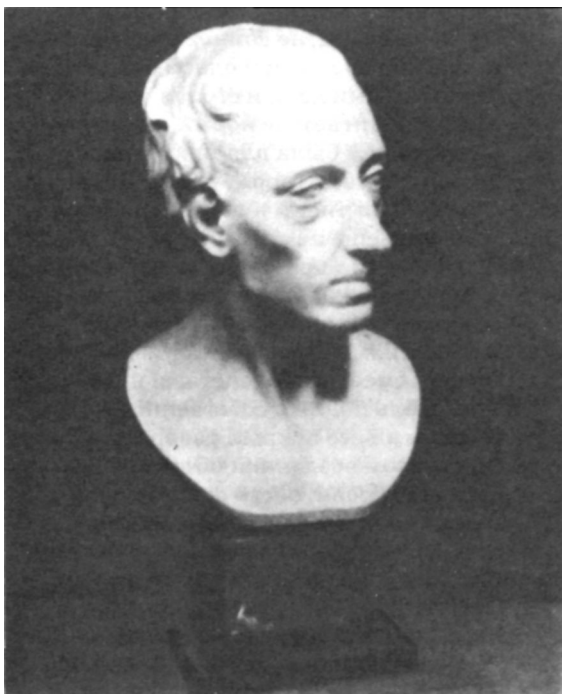
 так, Первопричина весь наш род
По-разному, но к одному ведет.
Ты можешь находиться в полном Здравьи,
Купаться в Деньгах, в Роскоши и Славе,
5 Но эта мысль, покуда мы живем,
Да будет главной в промысле твоём.
I. Взгляни вокруг, и ты узришь сначала,
Как цепь любви все сущее связала
Между собой; как, обгоняя взгляд,
10 Разрозненные атомы спешат
Один к другому, чтобы вместе слиться,
И за частицей тянется частица.
Материя — загадочна, она
Всегда различна и всегда одна:
15 Зерно, что в землю мы с тобой сажаем,
Нас, умирая, дарит урожаем.
И все, и вся Материя живит,
Смерть — это лишь существованья вид,
Как пузыри средь водного покрова,
20 Мы лопаемся, став водою снова.
В цепи созданий лишний звений нет;
С тех пор как Бог содеял этот свет,
Он дал животных в помощь человеку,

- Над ними утвердив его опеку;
25 Всех вяжет цепь, и всех хранит Творец,
И Он лишь знает, где ее конец.
Но будешь ты весьма самонадеян,
Решив, что мир лишь ради нас содеян.
Тот, кто оленем твой украсил стол,
30 Ему под выпас прежде луг отвел.
И разве соловей в своей руладе
Усердствует твоей услады ради?
Нет, потому он эту песнь исторг,
Что движет им естественный восторг.
35 Конь успеваает скачкой насладиться
Не менее, чем ты, его возница.
Твоим посевам медленный урон
Наносят стаи галок и ворон,
А урожай, твоей возвращенный пашней,
40 С тобою разделяет скот домашний.
Но хряк жиреет от твоих щедрот,
Хоть и не пашет, как обычный скот.
Природой всем дается в равной мере;
Мех, греющий монарха, грел и зверя.
45 Когда мы восклицаем: «Всё — для нас!» —
Гогочут гуси от подобных фраз,
Поскольку на питанье благодатном
Они убеждены совсем в обратном.
Пусть будет сильный слабому вождем;
50 Пусть Человек господствует во всем:
Из всех созданий он один, который
Способен остальным служить опорой.
Ну разве сокол за один лишь вид
Несчастную голубку пощадит?
55 И разве ястреб, птицелов умелый,
Заслушаться способен Филомелой? —
А Человек блюдет их, уступив
Скотам и птицам благость рощ и нив.
Он может печься о своей усладе,
60 Иль делать это только выгод ради,
Но, так или иначе, жизнь для тех
Исполнена довольства и утех.
Им не грозит ни дикий зверь, ни голод,
Хоть может всякий нами быть заколот.
65 И вся их жизнь, пока ножа удар

- Ее не оборвет, — счастливый дар;
Так человек от знания свободен,
Когда его настигнет гром Господен.
Мы также в радости проводим дни,
70 И точно так же смертны, как они!
 Но тварям неразумным знать об этом
 Не дал Всевышний, смерть покрыв секретом;
 А людям — дал, но так, что в их сердцах
 Надежда пересиливает страх:
75 Страшась кончины и не зная срока,
 Надеются они, что смерть — далёко.
 И это тоже — чудо из чудес,
 Нам явленное милостью Небес!
- II. Инстинкт иль Разум, то или другое
80 Питает в мирозданье все живое,
 И надо только, чтобы жизни пыл
 Задачам оной соразмерен был.
 Кем побуждаем зверь четырехлапый?
 Инстинктом, ясно, а не Римским Папой.
85 Да, Разум выше, если он высок,
 Но от него тогда и меньший прок:
 Пока он медлит в некой выси горней,
 Инстинкт оказывается проворней,
 А то, насколько он во всем быстрее,
90 Мы можем видеть, глядя на зверей.
 Инстинкт, мой друг, послушнее приказам,
 Чем наш строптивый и неспешный Разум.
 Не ошибаясь в первом, со вторым
 Нередко мы неверный путь торим.
95 Для зверя оба суть одно и то же,
 Но для людей они ничуть не схожи,
 Ведь Разумом, хорош он или плох,
 Мы правим сами, а Инстинктом — Бог.
- Кто научил жильцов полей и сада
100 Корм добывать, остерегаясь яда?
 Предвидеть бури и, усилив прыть,
 Глухие норы под землю рыть?
 Кто точность линий задал шелкопрядам,
 Что сам Муавр пасует с ними рядом?
105 Кто аистам внушил благую цель
 Колумбу подражать, ища земель?
 Кто им велит, и налагает вето,

- И путь находит к дальней части света?
III. Бог каждому созданию порадел
- 110 И каждому отвел его предел;
Любовь Он сделал этой жизни гимном,
Все на влечение утвердив взаимном,
И с той поры, как мир свой начал бег,
Своей в нем пары ищет человек.
- 115 Любая жизнь, кипящая в эфире,
В морских глубинах и в наземном мире,
Одною, друг мой, искрой зажжена
И сеет дальше жизни семена.
Не токмо люди, но и те, кто в чашах
- 120 Живут лесных, или в потоках мчащих, —
Все призваны любить, как ни взгляни,
И льнут к другим, таким же, как они.
Любовь двоих полна лишь на две трети:
Последнюю должны составить дети.
- 125 Животные хранят своих детей
От хищных лап и от чужих когтей,
А выкормив, знакомят их со светом,
И их инстинкт кончается на этом;
Отпав от лона, те стремятся вновь
- 130 Найти поддержку в стае и любовь.
Людская ж общность по сравненью с тою
Сильна как раз своею теплотою:
Осознанной ответственности груз —
Для нас основа всех семейных уз;
- 135 По выбору мы сходимся друг с другом,
И ко взаимным призваны услугам;
Любовь, мой друг, воспитывает в нас
Терпения и нежности запас,
И именно ее природный гений
- 140 Крепит преемство наших поколений:
Мы к слабости отцов и матерей
Тем бережнее, чем они старей,
Поскольку помним, кто из нас моложе,
И потому, что старость ждет нас тоже;
- 145 Заботою оплачиваем мы
Все то, что брали до сих пор взаймы.
IV. Порядок этот в мире не случаен,
Коль над Природой только Бог хозяин:
Любовь к себе и к Обществу с плен

- 150 Воспринял Человек, как свой закон;
Он не был горд, не сомневался в Боге
И ночевал со львом в одной берлоге;
С животными деля и стол, и сон,
Кровопролитьем не кормился он.
- 155 Святилищем была для них дубрава,
Где слышалась Творцу хвала и слава,
А жрец был чист и непорочен встарь,
И бойнею еще не стал алтарь;
Был вечный мир в пределе богоданном,
- 160 А Человек — царем, но не тираном.
О, как он изменился с тех времен!
Проклятиями тысяч заклеямен,
Он сеет смерть, злодейства и невзгоды,
Предатель подлый собственной природы!
- 165 Болезнями его покрыл разврат;
Он страхом воздаяния объят,
Он алчет крови, пасть свою ощеря,
И для своих же ближних хуже зверя.
Но кто к Искусствам дал толчок ему?
- 170 Инстинкт здесь был поводырем Уму.
Рекла Природа: «Пусть ориентиром
Послужит людям связь с животным миром!
Там ты освоишь полный курс наук:
Тебя обучит ткачеству — паук,
- 175 Крот — земледелью, птицы — сбору ягод,
Пчела — строительству дворцов и пагод,
А наутилус, вечный пилигрим, —
Передвиженью по путям морским.
Там ты найдешь все формы общежитья
- 180 И сможешь выбрать должный путь развития.
Там ты увидишь множество родов
Подземных стран, древесных городов;
Республику с могучей дисциплиной
Улицезришь ты в куче муравьиной,
- 185 Где труд совместный правит искони;
На королевство пчел затем взгляни:
Они хоть и живут под общей крышей,
Но каждая в своей, отдельной нише.
Законы их надежны и просты,
- 190 И лучшие не выдумаеть ты;
Напрасно полагать, что могут люди



Александр Поуп

Воздвигнуть истинное правосудье;
Окажется всегда любой статут
Для сильных — мягок, а для слабых — крут.
195 Но ты иди! и воцарись над миром,
И для других созданий стань кумиром;
За Разум твой, впитавший их урок,
Ты будешь вознесен как Царь и Бог».
V. Так молвила Природа; и повсюду
200 Возникли города, подобно чуду;
И примешались меньшие к большим,
Поддавшись на соблазн или нажим.
Одна страна гордилась плодородьем,
Другая — рыбным иль пушным угодьем;
205 Что между ними брань могло б раздуть,

- То возмещал с лихвой торговый путь.
Союзы крепи, множились народы
Под сенью правил, взятых у Природы,
И жили без Правителя, пока
210 Им не потребовалось Вожака.
Поборник мира и наук радатель,
Собою воплощал он Добродетель;
Как дети в старших видят образец,
Так для народа был он как отец.
- 215 VI. До этого в любом роду общинном
Был Патриарх жрецом и властелином;
Второе Провиденье чтили в нем;
Людей он научил дружить с огнем,
В земле неплодной находить коренья,
220 Предвидеть засуху и наводнения,
Морских чудовищ бить среди валов *
И на руку приманивать орлов.
Обожествлявшийся своим народом,
Он умер стариком седебородым,
225 И в поколениях, порожденных им,
Как Праотец остался свято чтим;
А веру в Бога вместе с культом этим
Родители передавали детям:
Что из творенья явствует Творец, —
230 Ни сын не сомневался, ни отец.
И до тех пор, пока не развратила
Их Разум Остроумья злая сила,
Любой из почитавших божество
Любил отца как Бога своего.
- 235 Любовь была и веры их основой,
И верностью традиции отцовой;
И люди знали для себя, что зло
Проистекать от Бога не могло;
И вера шла с политикою в ногу;
240 Та к людям обращалась, эта — к Богу.
Кто первый научил, какой злодей,
Себе поработать других людей,
И, преступив закон, себя поставил

* *Морскими чудовищами* называли китов и моржей. — *Прим. перев.*



Генри Сен-Джон, виконт Болингброк

Превыше всех Природных норм и правил?
245 Сперва он силой насаждал устав,
А после, Суеверье в помощь взяв,
Богов самих по отношенью к людям
Он сделал угнетения орудьем.
Раскаты грома и огни зарниц
250 Трусливых самых повергали ниц,
И в ужасе незримой этой Силе
Они свои молитвы возносили:

В толчках земли, в сверкании небес
Им чудились то грозный Бог, то Бес,
255 Там — бездна ада, тут — чертоги рая ;
Страх ослеплял их, Демонов рождая,
Богов развратных, равнодушных, злых,
Чья каждая черта и каждый штрих
В сознании, окутанном туманом,
260 Уподобляли их земным тиранам.
Мир будто бы преобразился весь:
Ад злобу воплощал, а Небо — спесь;
Второе почиталось лишь на слове,
И почернели алтари от крови:
265 Сначала резали зверей, а там
И люди стали жертвою Богам;
А сотрясавший землю гром Господен
Был средством против тех, кто неугоден.
Так к благу одного, другим во зло,
270 Однажды Себялюбье привело,
Но и оно же сделалось причиной
Ограниченья воли самочинной;
Коль одного хотите — ты и он,
Тогда-то и необходим Закон,
275 Иначе кто тебе послужит стражем,
Когда твое решит отнять он, скажем?
Лишь ограниченность людских свобод
Возможность жить в согласье нам дает,
Ведь даже Короли блюдут законы,
280 Единые для подданных короны;
Так Себялюбье свой прямой успех
Извлечь способно лишь из пользы всех.
Так появилось мудрецов сословье,
Горящих к людям и Творцу любовью.
285 И патриот стремился и поэт
Зажечь в сердцах угасшей веры свет
И с образа Творца развеять тени, —
Уча людей, как почитать правленье,
А королей — как власть вестись должна,
290 Чтоб не оборвалась ее струна,
Чтоб сочетание большого с малым
Мироустройства стало идеалом,
И чтоб в одну соединились цель
Их интересы, розные досель.

Философский эпитог

- 295 Гармония всего, мы знаем сами,
Зависит от согласия меж частями,
Где малое живет в ладу с большим,
Крепясь, а не унижаясь им;
А если сильный для других полезен,
300 То он и людям, и Творцу любезен.
И ангелы, и зверь, и человек, —
Все к одному концу свой правят бег.
Глупцы пусть спорят из-за форм правленья;
Что к пользе всех — достойно восхваленья.
305 О вере пусть торгуется софист;
Кто праведно живет, пред Богом чист.
Надежда с Верой — повод к прекословью,
Согласие же зиждется Любовью:
Все то преступно, что перечит ей,
310 И то — от Бога, что к добру людей.
Как виноград не может без подпорок,
Так Человек поддержкой жив и дорог.
Как бег планет вокруг солнца неделим
С их собственным вращеньем осевым,
315 Так в нас сосуществуют параллели
Любви к себе с движеньем к общей Цели.
Любовь к себе и к Миру — суть одно,
Иначе цепь распалась бы давно.

Эпистола IV
О природе и положении человека
относительно счастья



О

- Счастье! цель и смысл существования!
Какое я ни дам тебе название, —
Услада, Доблесть, Благо иль Покой, —
Лишь для тебя мы жертвуем собой.
- 5 Ты и вдали и рядом постоянно;
И умным ты, и дуракам желанно;
Небесная рассада! в чьей гряде
Изволишь ты произрастать и где?
Дворам монаршим ты сияешь щедро,
- 10 Иль алмазном освещаешь недра?
С Парнасским лавром схоже ты листвою,
Или подобно жатве боевой?
Где всходишь ты? — где нет? Пустая нива
Не виновата в том, что нерадива:
- 15 Свободно Счастье, — где его зерно
Падет с небес, там и взойдет оно;
И равнодушно к комнатам дворцовым,
Оно, Сен-Джон, живет с тобой под кровом!
- 20 I. У Мудрецов спроси, где путь к нему? —
И выслушаешь ты суждений тьму:
Кто в деятельной жизни видит Счастье,
А кто — в спокойствии и безучастье;
Одни — Страданье выше всех услад,
Другие — Добродетель тщетной мнят

Философский эпилог

- 25 И сомневаются во всем на свете;
Но в крайности впадают те и эти *.
И что добавить, кроме болтовни,
К понятию Счастья могут нам они?
- П. Насытившись ученою беседой,
30 Забудь их бредни, лишь Природе следуй;
Она не любит крайностей, открыв
Путь к Счастью всем, кто здрав и терпелив;
Хоть на различье судеб мы и ропщем,
В нас чувство Счастья остается общим.
- 35 Должны мы помнить: Божий Суд и Чин
Не выборочен, но для всех един,
И то, что Счастьем мы зовем, дается
Нам всем, чтоб черпать из его колодца.
Оно не личный наш с тобой успех,
- 40 Но благо, разделенное на всех.
Ни царь, вознесшийся в своей гордыне,
Ни схимник, обитающий в пустыне,
Не будет счастлив до тех пор, пока
Льстеца не сыщет иль ученика.
- 45 Для нас тускнеют все дела благие,
Когда о них не говорят другие.
Толика Счастья всем дана, а тот,
Кто хочет больше, у себя ж крадет.
- Баланс — вот главная Творца забота;
50 Поэтому умом иль силой кто-то
Нас превосходит, но, мой друг, не мни,
Что, значит, и счастливей нас они.
Мы б упрекнули Небо в беспристрастье,
Когда бы в равном пребывали счастье,
- 55 Но именно неравенство крепит
К нему наш неумный аппетит.
На самом деле, и цари, и слуги
Находятся в его едином круге,
Где сильный охранять слабейших рад,
- 60 А слабый счастлив, что его хранят:
Так в нас самих равно одушевленны
И сильные, и немощные члены.

¹ Имеются в виду Стоики и Скептики. — *Прим. перев.*

- Коль всем Фортуна даст одно и то ж,
Понравится ли нам такой дележ?
65 А если всем дается Счастье, значит,
Во внешних благах Бог его не прячет.
 Всем разные дары Судьба дает:
 Ей этот обделен, обласкан — тот,
 Но Бог для равновесья делит между
70 Вторыми — Страх, а первыми — Надежду:
Кто ждет или страшится перемен, —
Не до конца несчастлив иль блажен.
 О смертные! Какая вам потреба
В гордыне горы громоздить до неба?
75 Известно ведь, что не один погиб
Под грудой им же взгроможденных глыб.
 III. Знай: благо, о котором мы хлопочем,
 Которое Бог нам судил и прочим,
 В триаде заключается такой:
80 Здоровье, Достаток и Покой.
Покоя — Добродетель, а Здоровья
Умеренность суть главные условия;
Любой из нас к дарам Фортуны глух
Становится, когда нет этих двух.
85 Но кто рискует в гонке за Достатком, —
Стоящий на пути благом иль шатком?
Кто больше, Добродетель иль Порок,
От снисхожденья нашего далек?
Порок плетет немало хитрых петель,
90 И вовсе безыскусна Добродетель,
Но, своего добившись, этот тать
Зря хочет добродетельным предстать.
 Сколь план Творца те видят однобоко,
Кто Добродетель мнят бедней Порока!
95 Но счастлив тот и Счастья смысл постиг,
Кто ведает, сколь этот план велик.
Как можно Добродетель невезучей
Считать за то, в чем виноват лишь случай?
И если Фолкленд оказался брэнн,
100 И если пулей был сражен Тюрэнн,
И если Сидни пал на поле боя,
То благочестье ль их тому виною?
И благость ли, что так была светла,
Мой юный Дигби, в гроб тебя свела?

- 105 Но как, скажи, дано другим достойным
 Столь долго жить, назло чуме и войнам?
 В чумном Марселе как остался цел
 Его епископ, светоч добрых дел?
 Как мать моя жила — почти столетье! —
- 110 На радость мне и беднякам на свете?
 Откуда же все нравственное зло
 С физическим, мой друг, произошло?
 Одно — от нашей Воли, а второе
 Природа доставляет нам порою.
- 115 Бог зла не чинит, или же оно
 Всеобщего добра тогда звено.
 И так же глупо Бога виноватым
 Считать за то, что Авель предан братом,
 Как в том, что сыну кроткому дана
- 120 В наследство хворь отца-потаскуна.
 Бог разве принц какой-то, чтоб в законах
 Любимцев ублажать и приближенных?
 IV. Ужели Этна сдержит пламень свой
 Из-за одной лишь прихоти людской?
- 125 А воздух умалит давленье, дабы
 Ты, Безел мой, не маялся от жабы?
 Ужель гора отсрочит свой обвал
 Из-за того, что ты под нею встал?
 А чтобы рухнуть, храм или палаццо
- 130 К себе Чартриса станет дожидаться?
 V. Ты говоришь, что мир наш всем хорош
 Лишь для пройдох. — Но где другой возьмешь?
 Мол, должен Бог о добрых бдеть особо,
 Но как быть с тем, кому довлеет злоба?
- 135 Кто, кроме Бога, столь учен зело,
 Чтоб знать наверно, где добро, где зло?
 Одни Кальвина дланью мнят Господней,
 Другие же — орудьем Преисподней, —
 Но все равно, попал он в Рай иль в Ад,
- 140 Те злом его, а эти — благом мнят.
 Что нравится тебе, меня корежит;
 Дать счастье всем строй ни один не может;
 Возьми хоть самолучший: что для тех —
 За благость плата, этим — казнь за грех.
- 145 *Разумно все, как есть.* — Земля открыта
 Для Цезаря, но также и для Тита:

- А кто счастливей? — тот, кто мир потряс,
Иль тот, чья благодать не смыкала глаз?
- 150 VI. «Но ведь Порок частенько, — ты свидетель, —
Питается сытней, чем Добродетель».
Но разве хлеб за Добродетель мзда?
Ведь он дается всем не без труда;
Пройдохи тоже вспахивают землю,
Пройдохи тоже, тяготы приемля,
- 155 Сражаются за власть или доход;
А добронравные, наоборот,
Бывают часто слабы и ленивы;
Ужель все счастье — лишь тюки наживы?
«Нет, — скажешь ты, — еще здоровье, власть».
- 160 А дай их, спросишь: «Что ж не вся, а часть?»
Но что ж не Бог ты: а земля — не Небо?
Почто во внешнем — вся твоя потреба?
Тот не поймет, кто рассуждает так,
Что Бог и больше дать способен благ:
- 165 Безмерна власть его, но жизнь чем краше,
Тем все безмерней в ней запросы наши.
Лишь радость сердца и души покой,
Не связанные с суетой мирской,
Есть дар за Добродетель. Но, быть может,
- 170 Роскошный выезд сны твои тревожит?
Иль славы меч? Иль мантия судьи?
Иль трон за добродетели твои?
Ах, глупый смертный! Разве этой гили
Ты будешь удостоен в замогильи?
- 175 Ценна в мужчине мужественность черт,
Что ж ты, как мальчик, грезидишь про десерт?
Иль, как Индеец, чаешь взять с собою
Туда собаку заодно с женою?
Все эти блага нас пьянят, как сны,
- 180 Но бдящему сознанию не нужны;
Не в них для Добродетели награда,
И ей, напротив, их страшиться надо, —
Ведь не один, кто в двадцать лет был свят,
Вкусив от них, растлился в пятьдесят!
- 185 Когда Богатство принесло хоть крохи
Почтения злоимцу иль пройдохе?
Все можешь ты купить — вплоть до суда,
Любви и уваженья — никогда!

- 190 Смешно считать, что не любезен Богу
Тот, у кого друзей достойных много,
Кто чист душой, здоров, но чей доход
Не достигает тыщи фунтов в год.
Честь меньше всех зависит от удела,
Но от достоинств внутренних всецело.
- 195 Больших различий между нами нет,
Хоть этот в шелк, а тот — в тряпье одет;
Сапожник носит фартук свой по миру,
Монах — сутану, а монарх — порфиру.
Как рознится венец от клобука?
- 200 Да так же, как мудрец от дурака;
Предстань тебе монарх, но под сутаной,
Иль встреться пастырь, как сапожник, пьяный,
И ты поймешь, что в людях суть важна,
Все остальное — видимость одна.
- 205 Недолго титул получить в подарок
От государей или их сударок,
Поэтому пускай твой знатный род
Хоть от самой Лукреции идет,
Ты мне скажи, чем славен он при этом,
- 210 Чтоб я к тебе проникся пиететом.
Но если в нем скопилась подлость вся,
То хоть он до потопа начался,
Уж лучше притворись, что ты не знатен,
Чем отмываться от подобных пятен.
- 215 Все *Говарды*, хоть вместе их сложи,
Не оправдают подлости и лжи.
Кому ж мы знак Величия присвоим?
«Политикам, — ты скажешь, — и героям».
Но все герои — что теперь, что встарь,
- 220 И Шведский Карл, и Македонский царь, —
Сплошь одержимы дикою мечтою
Весь Божий мир попать своей пятою!
И без оглядки двигаясь вперед,
Не знает ни один, куда он прет.
- 225 Политики — из той же галереи,
Лишь осмотрительнее и хитрее:
Не столько выдаются их умы,
Сколь чересчур уж левоверны мы;
Что первые берут в набеге бранном,
- 230 Вторые добиваются обманом.

- Кто мудр порочно, или храбр, но дик, —
Тот, как мерзавец иль глупец, велик.
Кто ж полон самых благородных целей
И бодр в изгнание, — пусть он, как Аврелий,
235 Царит иль умирает, как Сократ, —
Тот вправду славен и велик стократ!
 Но что есть слава? благо, о котором
 По толкам узнаем мы или спорам.
Мы их не слышим — меркнет и она,
240 Хоть Туллию, хоть нам с тобой дана.
Все, что мы в славе черпаем и ценим,
Питается лишь нашим окруженьем;
Для прочих же она — ненужный гам,
Будь то Евгений или Цезарь сам;
245 Жив или нет, — для них она ничейна,
У Рубикона родилась иль Рейна.
Ум славен правдой, Вождь — своим жезлом,
Но в Боге — тот, кто не уловлен злом.
Злодея слава жить по смерти может,
250 Но Справедливость гроб его тревожит;
Забвенье — лучше, чем, уйдя едва,
Стать вечным жупелом для большинства.
Любая слава, кроме доброй, мнима, —
Не входит в сердце и проходит мимо:
255 Час самоодобренья стоит лет
Тупых похвал и восклицаний вслед;
Марцелл в изгнание был счастливей, кстати,
Чем Цезарь в Риме при своем сенате.
 «Так в чем, скажи, Величия цена,
260 И подлинная мудрость, в чем она?»
В том, чтобы знать, сколь мало значит слава,
И все свои проступки видеть здраво:
Вершить дела и судьбы — тяжкий труд,
Где сам ты и присяжные, и суд.
265 «Ты судишь мир, а он в разврате тонет;
Ты будешь одинок и недопонят».
Но истое величие никак
Не связано с наличием внешних благ!
 Ты постарайся взвесить эти блага
270 И убедиться, какова их вага;
Во сколько нам обходятся они,
И сколько мы теряем, ты сравни;

- Насколько с ними наш удел рискован;
Насколько прост без них он и раскован.
275 Но коль уж зависть твое сердце ест,
Скажи, готов ли ты нести их крест?
И если ленты разум твой затмили,
На Лорда Умбру глянь иль Сэра Билли.
Ты алчешь злата? Вспомни, не ко сну,
280 Про Грипия или его жену.
Влекут тебя таланты? Так размысли,
Чем кончил Бэкон, гений в высшем смысле!
Ты о бессмертье гредишь? Так взгляни
На Кромвеля, чей лавр клейму сродни!
285 Но раз ты рвешься к этим благам пошлым,
Поройся для острастки в нашем прошлом,
И ты поймешь, что слава, власть, доход —
Не сущность Счастья, а его налет!
В сердцах Монархов или в их постели
290 Одни — цвели, другие — богатели.
Вся слава оных по ступеням зла
Из грязи, как Венеция, возшла;
Им злодеянье их венцы стяжало;
В Героях человеческого мало:
295 Все лавры ими приобретены
Чужою кровью иль за счет казны;
Конец один их — в ссылке иль в поместье,
А в результате — полное бесчестье.
И никакая слава с этих пор
300 Не освятит их нынешний позор!
А что же остается им в итоге?
Прославленные некогда чертоги,
Которые теперь оглашены
Ворчаньем слуг иль сварами жены.
305 И блеск их кажется нам тускловатым,
Едва их полдень сменится закатом;
Не слава велика у сих владык,
А их позор заведомо велик!
- VII. Вот — истина (как мы ее ни застим):
310 «Лишь Добродетель обладает Счастьем»;
Единственная точка, где оно
Устойчиво, а зло — исключено.
Чтоб по заслугам нам была награда,
Она последним поделиться рада;

- 315 Ей никогда не жаль своих утрат,
А радость превышает результат;
Какие перед ней не ставьте брашна,
А пресыщенье для нее не страшно;
И даже слезы на ее лице
- 320 Приятнее бездушности в Глупце;
Она повсюду извлекает блага,
Не отступая в сторону ни шага;
И нет в ней торжества от чьих-то бед,
И ревности к чужому счастью нет;
- 325 И нету у нее других желаний,
Кроме того, чтоб стать еще гуманней.
Она единственная из утех,
С которой к Счастью путь открыт для всех!
Он умникам и богатеям в тягость,
- 330 Но прост для тех, в ком процветает благодать:
Блажен не тот, кто сущим овладел,
А тот, кто в сущем высшее прозрел;
Кто в сей величественной панораме
Провидит цепь между Творцом и нами,
- 335 И то, что Счастья не было б, не стой
В ней кто-то выше, скажем, чем другой;
И кто постиг, что, кроме тяги к свету,
У нас, у смертных, выше цели нету;
Что сущность веры, правил и идей —
- 340 В любви Творца, а главное — людей.
Лишь Человеку свет Надежды даден,
Целящий душу от потерь и ссадин,
И с Верой утешительной вдвоем
Мечту о счастье пестующий в нем.
- 345 Да, уповать позволено лишь людям,
Что здесь иль там, но мы блаженны будем!
Для прочих тварей от Природы нет
Исхода за предел земных сует;
Но для людей в прямую связь мы ставим
- 350 Их счастье там с их *здешним* благонаравьем,
И перспектива райских благ от нас
Подвижничества требует сейчас.
Любовь к себе мы обращаем к ближним
И счастье их связуем с благом вышним.
- 355 Но если это мало для тебя,
Попробуй жить, врагов своих любя,

- И окружить весь мир земных созданий
Единым контуром благоденствий:
Блажен, кто милостив; познаешь ты
360 Верх Счастья на вершине Доброты.
Бог к частностям идет в своей отдале
От целого; а доброхот — иначе.
Любовь к себе лишь благость будит в нем,
Как камушек — стоячий водоем;
365 Волнение тогда по амальгаме
От середины ширится кругами;
Сперва включает близких и родных,
Потом — страну, а там и остальных;
И постепенно, расходясь все шире,
370 Собой объемлет все живое в мире.
Так благочестие, наоборот,
От личного к всеобщему идет.
Веди ж, мой Друг! веди, мой добрый Гений
И вдохновитель этих песнопений!
375 Покуда Муза сходит в дол страстей
Иль устремляется в их апогей,
В пути к вершине и в пути уклонном
Достоинства служи мне эталоном;
Учи меня в беседе сочетать
380 Серьезность с легкостью, тебе подстать;
Быть собранным и не велеречивым,
Внимательным к рассудку и порывам.
Пока твой парус по реке Времен
Летит вперед, никем не обойден,
385 Скажи, успеет ли угнаться следом
Мой утлый челн и стать ему соседом?
Когда враги твои уймутся впредь,
И будут сыновья за них краснеть,
Сумею ли, скажи, в стихе негромком
390 Как выученик твой предстать потомкам?
От глупых бредней в глубь сердец людских
Ты надоумил повернуть мой стих,
Дабы Гордыню убедить на лире,
Что *все*, как *есть* — *разумно* в этом мире,
395 Что Страсть и Разум деют заодно,
Что к Миру и к себе Любовь — одно,
Что Счастье только в Благости надежно,
И что себя *лишь* нам познать возможно.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Произведения, собранные в настоящем сборнике, связаны с конкретными событиями, происходившими на протяжении первых полутора десятилетий XVIII в. Однако исторические отношения, традиции сплетаются в такой тугий узел, что их невозможно ни понять, ни распутать, не бросив взгляд в прошлое, отстоящее порой на несколько десятилетий, а то и еще далее — почти на два века.

То, что складывается, зарождается в этот момент, будет иметь очень далеко идущие, вплоть до сегодняшнего дня английской истории, последствия; то, что отжило, но все еще яростно сопротивляется, отстаивает себя, уводит далеко назад. Не вспоминая о революции XVII в., совершенной под пуританскими лозунгами, нельзя понять всей остроты политических столкновений, за которыми прячется страх — как бы снова страна не вверглась в смуту, как бы не рухнул с таким трудом установленный порядок. Не вспомнив о Реформации XVI в., не понять сущности расхождений в вопросах веры, которой в последний раз (по крайней мере в Англии) удастся выступить универсальной формой идеологии, подчиняющей себе все стороны общественной жизни.

С первой половины XVI в. Англия — страна протестантская. Реформация проведена королем Генрихом VIII, который и провозгласил себя главой *англиканской* церкви, независимой от Рима. Осуществленная сверху Реформация носила характер компромиссный, незавершенный. Во всяком случае, так полагали наиболее решительные ревнители чистоты веры — пуритане (*pure* — чистый).

Тезис чистоты веры — общий для всех протестантов, подсказанный возмущением против искажения, попрания христианства

католическим Римом, погрязшим в грехе и лицемерии. В признании насыщенности перемен, то есть Реформации, сходились все протестанты, но что понимали под истинной верой?

Возвращение к учению и тексту Священного писания, минуя все наслоения позднейших комментаторов, то, что получило название «традиции». В этом соглашались все, однако в спорах о том, каким быть верному и единственно истинному учению, протестанты начали терять свое единство. Ответы множилось соответственно бесчисленному количеству сект, члены которых обличали друг друга с не меньшим рвением, чем нечестивых католиков: лицемерный единомышленник или отступник опаснее и ненавистнее прямого врага.

В рамках англиканства, хотя верховная власть теперь признается не за папой, а за королем, прежняя церковная структура частично сохранена. Монастыри уничтожены, их богатства конфискованы, но ненавистные пуританам епископы и их власть над верующими сохранены. Отсюда и еще одно название англиканской церкви — *епископальная*.

Ее не признают пуритане, утверждающие, что спасение в вере, а не в исполнении обрядов, не в лицемерном очищении путем исповеди или в приобретении индульгенций. Не принимая церковную структуру, они нарушают основные догматы англиканства: *Акт о супрематии* (признании высшей духовной власти короля) и *Акт о единообразии веры*, — принятые в 1534 г. и впоследствии неоднократно подтверждаемые.

Власть, вырванная из рук Рима, становится объектом многих домогательств. Идеальным в глазах протестантов выглядит своего рода самоуправление верующих, одной из форм которого и становится более радикальная, чем англиканство, *пресвитерианская церковь*, установившаяся в том же XVI в. в Шотландии. Она существует под началом независимых от светских правителей пастырей и выборных старейшин (пресвитеров). Различие в вероисповедании (хотя и существующее внутри протестантской религии) — серьезное препятствие к окончательному объединению двух королевств, имеющих с 1603 г., с момента воцарения в Англии Якова I Стюарта (бывшего до этого Яковом VI — королем Шотландии), общего монарха, но различный парламент и отдельное государственное устройство.

С началом гражданских войн объединение королевств становится особенно насущным, ибо происходившие из Шотландии Стюарты, играя к тому же на монархическом чувстве этой более патриархальной страны, получают возможность пополнять ряды своих приверженцев. Понимая, что без присоединения Шотландии победа не может быть полной, решительные к тому шаги делает Кромвель. Однако окончательное соединение королевств будет узаконено спустя полвека — Унией 1707 г.

Ей предшествует ряд сложных событий и смена нескольких правлений.

Реставрация Стюартов (1660—1688) не принесла желаемого устойчивого порядка и уничтожения повода для религиозной розни в стране. Даже скорее наоборот, обострила ее, хотя Карл II несколько раз пытался пожаловать подданным свободу вероисповедания. Парламент неизменно противился такому дару, настаивая на его отмене или встречая его каким-либо нейтрализующим законом. Так, на *Декларацию* короля в 1672 г. парламент откликнулся в 1673 *Актом о присяге* (Test Act), согласно которому каждый, претендующий на государственную должность, обязан принять участие в согласии с обрядом англиканской церкви. Отказывавшиеся получили имя *нонконформистов*.

Сам этот термин вошел в употребление десятью годами ранее в связи с подтверждением Акта о единообразии веры. С тех пор он употребляется наряду с более ранним — *диссентеры* (т. е. несогласные), возникшим еще в XVI в., но применявшимся первоначально исключительно для обозначения католиков, противящихся новой протестантской вере. Начиная с эпохи Реставрации, когда основную оппозицию официально англиканству составили более радикальные протестанты-пуритане, оба термина были перенесены на них. Причем первый — нонконформист — получил более широкое значение, подразумевая не только тех, кто не признает Церковь Англии, но отвергает любую установленную церковь.

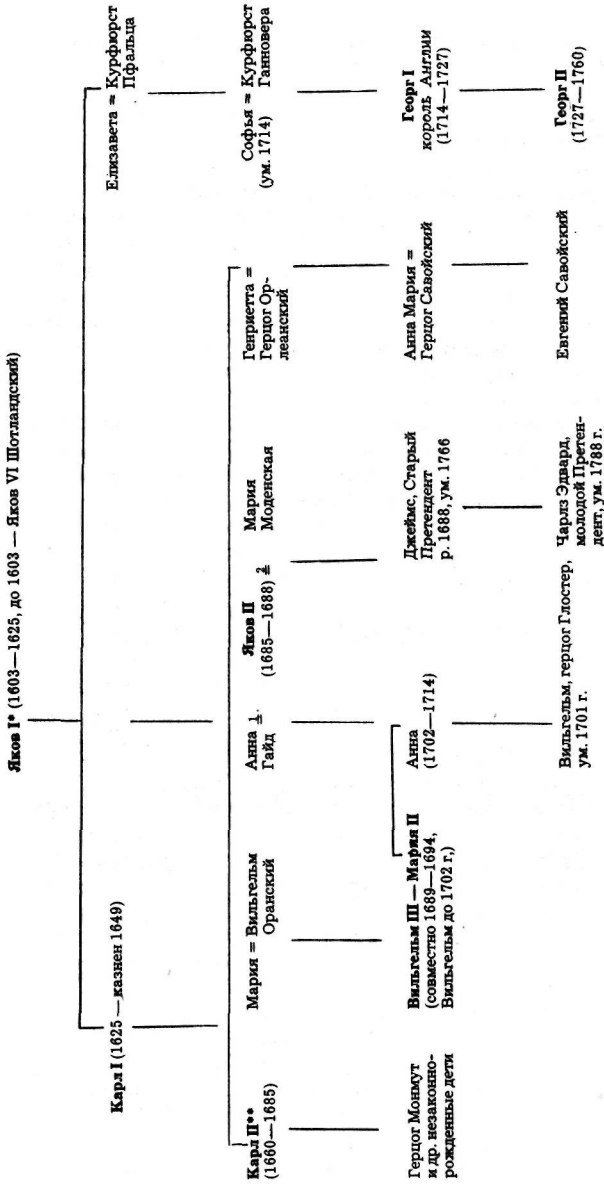
Нежелание парламента узаконить веротерпимость в стране объясняется боязнью как пуританской, так и католической крайности.

Всем было ясно, что не о благе подданных печется Карл II, отставивая веротерпимость. Воспитанный в эмиграции во Франции, король усвоил французский вкус и в политике и в религии, хотя внешне исповедовал официальное англиканство (лишь на смертном одре перейдя открыто в католическую веру). Зато его брат — будущий Яков II был откровенным католиком. Поскольку законных прямых наследников у Карла не было, а никому из внебрачных сыновей (включая популярного герцога Монмута — «протестантского герцога») он трона передать не хотел, то намеревался оставить его брату и упорствовал в этом.

Как только в 1679 г. вопрос о нем в качестве наследника должен был получить силу закона, парламент ответил *Биллем об исключении* Якова из престолонаследия. Трижды за два года Карл собирал и распускал парламент, так и не добившись от него другого ответа. Не искушая более судьбу, последние четыре года Карл правил единолично — парламент не созывался. Необходимые деньги, которых король не мог взимать со своих подданных в виде налогов без согласия парламента, он получал в виде тайных субсидий от своего французского собрата.

Тем самым король лишь подтвердил реальность опасности,

Старшты на английском троне



* Имена английских королей выделены жирным шрифтом.

** Карл II считается королем в изгнании после казни отца — с 1649 г.

пугавшей его подданных — опасности из-за Ла-Манша. Англичане боролись против католицизма, но в их сознании он прочно был связан с определенной формой правления — абсолютизмом, подобным французскому. В Англии же вопрос о прерогативах короля со времен буржуазной революции — традиционно острый и спорный. Парламент не собирался отказываться от своих завоеваний.

В английской политической истории парламентские дебаты о престолонаследии памятливы еще и тем, что в их ходе родились названия партий: *тори* и *виги* — первоначально бранные клички. Слово «тори» (ирландского происхождения — «вор») было у англичан презрительным обозначением для католика-ирландца; его перенесли на *партию короля*, отстаивающую его верховное право определять наследника независимо от его веры. Оппозиционную партию, *партию страны*, начали называть шотландским словом «виги» (одно из значений — «скотокрад, человек вне закона»).

Пока что король сильнее. Ему неуютен парламент, и он его не собирает (впредь на это не решится ни один английский король!). Ему ненавистны оппозиционеры-виги, и он уничтожает партию в самом зародыше: инсценированный заговор приводит ее лидеров (Рассела, Сидни) на эшафот или вынуждает в предчувствии опасности к изгнанию (Шефтсбери). Основа партии — городские корпорации лишаются своих хартий и перестраиваются. Даже престол, как того и хотел Карл, переходит к брату Якову.

Переходит к нему, но за ним не удерживается.

Еще в 1673 г. вторым браком Яков женился на католической принцессе Марии Моденской. Если бы в этом браке родился сын, он стал бы наследником, законным по своим династическим правам, но неприемлемым в Англии по своей вере. Вот почему сразу же после новой женитьбы Якова и был проведен Акт о присяге, фактически исключающий из общественной жизни всех иноверцев. В этот момент и обострился вопрос о престолонаследии.

Однако наследник все не появлялся на свет, и угроза нового короля-католика уже перестала страшить англичан, надевавшихся, что со смертью Якова II на престоле окажется одна из его дочерей от первого брака — Мария или Анна, — обе бывшие замужем за протестантскими государями. И вдруг в 1688 г. разразилась катастрофа — у Якова родился сын.

Спасать страну и протестантскую веру парламент призвал Вильгельма Оранского, штатдхальтера (т. е. правителя) Нидерландов, что кардинальным решением проблемы все равно не было, ибо Вильгельм и Мария, старшая дочь короля Якова, — бездетны.

Единственным наследником — Стюартом по крови и протестантом по вере — был последний из оставшихся в живых многочисленных детей второй дочери Якова — Анны, юный герцог Глостер. И опять катастрофа — его смерть от оспы в 1701 г.

Снова над страной — угроза возвращения Стюартов. Ее пытаются предотвратить принятым в том же 1701 г. *Актом о престолона-*

следии, согласно которому после смерти Вильгельма трон переходит к Анне, а за ней — к Ганноверской династии, по женской линии связанной со Стюартами (см. династическую таблицу, с. 464).

Из пятидесяти с лишним возможных претендентов Георг Ганноверский был отнюдь не самым предпочтительным: далеким по крови, чужим по языку, отнюдь не выдающимся по личным качествам¹, он обладал одним неоспоримым преимуществом, все перевесившим, ибо был протестантом.

Наследник определен, но волнения не кончились. Они продолжают на протяжении всего правления Анны (1702—1714), Акт о престолонаследии может быть нарушен, и страх перед тем, что за этим нарушением последует, усиливается наглядным историческим примером — войной за Испанское наследство. Как бы не разгорелась другая — за Английское!

Казалось бы, притушенные *Актом о веротерпимости* (1689), наконец-то принятым при Вильгельме III, религиозные распри вновь разгораются. Обе партии ловят друг друга на отступлении от ортодоксального англиканства. Тори подозреваются (и не всегда обосновательно) в склонности к папизму, а значит, в приверженности Стюартам, в намерении не допустить воцарения Ганноверской династии.

Они в свою очередь не остаются в долгу и уличают вигов во всевозможных диссентерских ересьях, в безбожии, что дает повод снова поднять крик: «Церковь в опасности!» Акт о присяге 1673 года не отменен, и тори настаивают на его неукоснительном соблюдении, вопреки ставшей обычной практике его обхода: достаточно однажды перед вступлением в должность совершить обряд, каким он установлен в англиканской церкви, чтобы затем не переступать ее порога, предпочитая один из диссентерских домов.

Эта практика получает название временного единоверия (*Occasional Conformity*) и за билль, ее отменяющий, тори десять лет боролись в парламенте. Наконец, билль прошел в 1711 г., но на деле почти не применялся: его строгости были слишком очевидным анахронизмом и оставались на бумаге — пока при вигах (в 1719 г.) он не отменяется вовсе.

Политическая полемика, вспышки религиозного фанатизма, война за Испанское наследство — вот канва основных событий того времени. Отдельные же эпизоды этой борьбы, намеки, обвинения в памфлетах — материал для конкретного комментария.

¹ Ни Георг I, ни последовавшие за ним на протяжении 115 лет еще три короля, носивших это имя и принадлежавших к той же династии, не пользовались у подданных ни популярностью, ни уважением. Общей им эпитафией в 1830 г. после смерти Георга IV стала знаменитая эпиграмма У. С. Лэндора:

Георг Первый не герой,
Но подлей — Георг Второй;
Добрым словом в целом свете
Не помянут Георг Третий;
А Четвертый в землю лег —
Всем Георгам вышел срок.

Памфлет — жанр, предполагающий точное и конкретное знание обстоятельств, в которых то или иное произведение появилось. Собранные вместе памфлеты поясняют друг друга и восстанавливают общий смысл исторической ситуации. Дополнить ее — главная цель комментария, не претендующего в данном случае на академическую исчерпанность. Предпочтение отдается историческим реалиям, в то время как раскрытие цитат, намеков, имен, имеющих общекультурное значение, вынужденно ограничено. Так, приходится отказаться от целого пласта — античных аллюзий, выполняющих в тексте XVIII века роль культурной памяти и богато представленных в эпиграфах, явных и скрытых цитатах, реминисценциях.

Широкий контекст исторических событий очерчен во вступительной статье и в «Историческом послесловии», отсылки к которым даются лишь в случае особой необходимости.

Издание английских текстов XVIII в. представляет немалые текстологические трудности при приведении их в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации. Одна из проблем — обилие заглавных букв, с которых писались многие существительные, чтобы подчеркнуть значительность обозначаемого, придать ему обобщающий, часто аллегорический характер. В некоторых случаях, представляющихся особенно важными или обязательными с точки зрения той эпохи, этот обычай был сохранен.

За исключением памфлета Дж. Арбетнота «Искусство политической лжи», а также двух памфлетов Дж. Свифта («Краткая характеристика... Томаса Уортона» и «Беглый взгляд на положение в Ирландии») и двух его эссе из журнала «Исследователь» (№ 14, 16), все произведения в настоящем сборнике либо впервые публикуются на русском языке, либо даются в новых переводах.

АВТОПОРТРЕТ ДЖОНА БУЛЛА

О национальном самосознании и о чувстве патриотической гордости в Англии XVIII века см. вступительную статью — раздел «Англичане».

Д. Дефо. Чистокровный англичанин

Дэниел Дефо (1660—1731) родился в семье убежденных протестантов, английских пресвитериан, и получил воспитание в одной из диссентерских академий. Свою деятельность политического публициста он начал почти одновременно с восшествием на престол Вильгельма III, но вначале писал редко, от случая к случаю. Личное сближение с королем (о чем мы знаем только со слов Дефо, ибо других

тому свидетельств не сохранилось, см. «Призыв к Чести и Справедливости», с. 352—353) началось в январе 1701 г. после появления «Чистокровного англичанина».

Любое неудовольствие королем Вильгельмом (ввиду его голландского происхождения) приобретало у англичан националистическую окраску. В этот момент публицисты обеих партий высказывают сильное волнение по поводу несоблюдения королем парламентского решения о сокращении армии в мирное время до восьми тысяч человек и особенно настаивают на удалении из страны голландских гвардейцев, пребывание которых в Англии воспринимается как угроза ее независимости. Дефо в числе очень немногих принял сторону Вильгельма, ограждая его от нападок рьяных патриотов.

Непосредственным поводом к написанию «Чистокровного англичанина» послужил памфлет убежденного вига Джона Татчина «Иноземцы». О важности, которую Дефо придавал своему выступлению, свидетельствует тот факт, что впоследствии он не раз подписывается прозрачным псевдонимом — Автор «Чистокровного англичанина»; под этим именем в 1703—1705 годах выходит в свет двухтомное собрание его произведений. В течение года памфлет был переиздан девять раз, не считая «пиратских» изданий.

Для Дефо данный случай явился возможностью еще раз поднять голос в защиту веротерпимости и против националистического «энтузиазма», как тогда называли любой фанатизм. Национальным предрассудкам Дефо противопоставил гордость человека третьего сословия: «Не слава рода, которая обманчива, но только личная добродетель делает нас великими» — этими строками (не вошедшими в публикуемый фрагмент) завершается «Чистокровный англичанин».

С. 37. *К нам Юлий Цезарь Рим привел сначала...* — Римские легионы под предводительством Юлия Цезаря начали завоевание заселенной кельтскими племенами (бритты, пикты, скотты) Британии в 55—54 гг. до н. э. Остров оставался римской провинцией до конца IV в., когда римляне ушли для защиты империи от варваров.

Энгист — один из вождей германских племен (ютов), начавших завоевание Британии в V в.; *Свен* — предводитель викингов (варягов) в X в.

Вильгельм — нормандский герцог, вошедший в историю под именем Вильгельма Завоевателя; в 1066 г. в битве при Гастингсе он разбил войска англосаксов, преводительствуемые королем Гарольдом. Хотя Вильгельм также происходил из германских викингов и был связан родством с англосаксонской династией, он был воспитан во Франции и принес с собой франкоязычную культуру.

Игорь Шайтанов

С. 39. *Голландцев этих он приблизил к трону...* — В данном случае под голландцами разумеются чужеземцы вообще; однако выбор этого слова не случаен: традиционным было сравнивать воцарение Вильгельма III, оставшегося в то же время и правителем Нидерландов, с нашествием норманнов под предводительством Вильгельма I. Дефо повторяет сравнение как бы с голоса тех, кто желал представить короля еще одним завоевателем и попрекал его чужеродностью.

С. 39. *Хоть Давенант весьма ученый луж...* — Чарлз Давенант (сын известного драматурга) поддержал памфлетом решение палаты общин (15 декабря 1699 г.) о возвращении в казну всех земель и доходов, дарованных Вильгельмом III своим сторонникам, по преимуществу голландцам, в Ирландии. Дефо в оправдание монарха указывает на то, что Вильгельм I, ко времени правления которого с гордостью возводят свою родословную и свои привилегии английские аристократы, поступал точно так же.

С. 39. *И Перепись тех лет...* — Речь идет о так называемой Книге Страшного суда (XI в), в которую были включены сведения обо всем: населении, землях, имуществе, — подлежащем налоговому обложению.

С. 39. *С их незаконнорожденным главой...* — Вильгельм Завоеватель был бастардом, незаконным сыном нормандского герцога Роберта I.

Д. Арбетнот. История Джона Булла

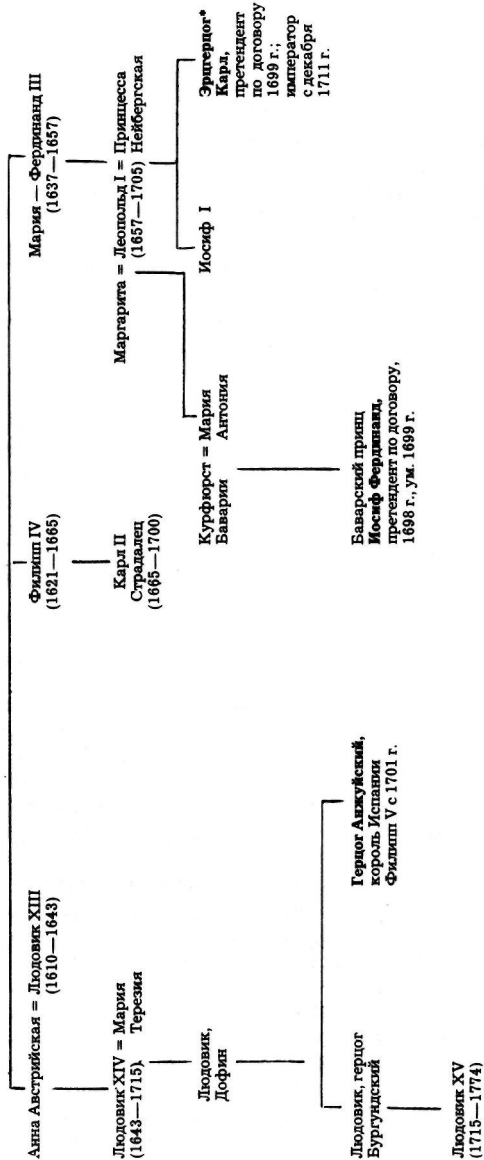
Джон Арбетнот (1667—1735) — личный врач королевы Анны; как свидетельствует лорд Честерфилд, оставивший мемуарный портрет Арбетнота, «обширная и разносторонняя начитанность сочелась у него с неиссякаемым остроумием и юмором, которому друзья его Свифт и Поуп были обязаны в большей степени, чем они это признавали». Трудно сказать, кто и кому был более обязан в этом прославленном кружке остроумцев, где шутки подхватывались, идеи развивались совместно, а авторство зачастую не было индивидуальным, что и подчеркнуто наличием общего псевдонима — Мартина Скриблеруса (Мартина Писаки), под чьим именем в 1713—1714 годах возник литературный кружок. Проблема авторства в отношении многих памфлетов, в том числе и «Истории Джона Булла», остается достаточно сложной и вплоть до настоящего времени дает повод предположениям о реальном участии Свифта (в первую очередь его) в написании памфлетов, автором которых традиционно считают Арбетнота.

Свое желание завершить войну за Испанское наследство тори мотивировали тем, что она выгодна лишь нескольким ловкачам вну-

Претенденты на испанское наследство

короли Франции

короли Испании



* Имена претендентов, согласно разновременным договорам о разделе испанского наследства предполагаемых на испанский трон, выделены жирным шрифтом.

три страны и союзникам англичан. Эти же аргументы — в иносказательном повествовании Арбетнота. Вот почему в памфлете отступает на второй план вражда с основным противником — Луи Бабуном, т. е. с Францией. Этот враг уже повержен, и продолжение войны с ним никак не в интересах Англии — Джона Булла. Он разоряется, а выгадывают его друзья.

В первую очередь Ник Фрог (т. е. Голландия). В войне две морские державы, как называли Англию и Голландию, выступали в роли союзников, объединенные и протестантской религией, и политикой, где линию их поведения диктовала боязнь дальнейшего усиления Франции. Однако союз этот не мог быть прочным, ибо слишком многое традиционно разъединяло, прежде всего деловая, торговая конкуренция двух стран, не раз вступавших между собой в войну на протяжении предшествующего столетия.

Еще менее был подкреплён союз со сквайром Саутом (south — юг) — империей. Здесь общность начиналась и заканчивалась опасением, что Франция сумеет присоединить к собственной еще и испанскую корону, после чего ее власть в Европе была бы непрерываемой.

Внутренних противников мира представляет плут-стряпчий Хокус (to hocus — надувать, обманывать), в ком легко узнаваем герцог Мальборо, главнокомандующий английской армией. Об отношении к нему тори см. подробнее прим. к журналу «Исследователь» (№ 16).

Раскрывая имена персонажей этой политической аллегии, нужно иметь в виду, что они могут быть соотнесены с различными смысловыми уровнями: в них можно видеть обозначение того или иного национального характера, государства с его интересами, отстаиваемыми в ходе затянувшейся войны, или конкретного политического деятеля. В образах некоторых персонажей все три значения совмещаются; например, Луи Бабун — это одновременно и француз, обучающий Европу языку, танцам, устанавливающий для нее моду, и сама Франция, персонифицированная в лице Людовика XIV Бурбона заявившего: «Государство — это я».

Пресловутое высокомерие испанского гранда подчеркнуто в характере лорда Стратта, соответствующего в то же время двум историческим лицам: покойному Карлу II и наследовавшему ему Филиппу Бурбону, личные черты которых совершенно стертые, растворены в обобщающей идее нации и государства.

Совсем иначе происходит с герцогством Савойским, которое представлено образом, отдельным от образа его правителя принца Евгения. Герцогство, сначала поддерживавшее Францию и лишь позже примкнувшее к лагерю союзников, получает презрительную кличку — «брехун Нед-трубочист»; прославленный полководец принц Евгений с легкой иронией именуется сеньором Бененато.

Более всего трудностей для истолкования представляют характер и имя главного героя — самого Джона Булла, символизирующего Англию и англичанина. «Bull» значит «бык», который, быть

может, вспомнился как воплощение силы и одновременно слепого упрямства в стремлении к цели. Не исключено, что источник образа — басня Лафонтена, связавшая, как и в памфлете Арбетно-та, быка и лягушку, раздувающуюся в подражание ему, — Джон Булл и Ник Фрог (Frog — лягушка). Во всяком случае, отношения между Англией и Голландией, какими они представлены в памфлете, не противоречат расстановке сил в басенном сюжете.

Высказывалось предположение, что слово «bull» выбрано не столько из-за общеязыкового, сколько из-за его жаргонного значения — «нечто исполненное противоречий, абсурдное». Иногда его связывали с именем Болингброка, произносимым якобы в то время как Булингброк; в характере этого исторического деятеля, известного своей необузданностью, есть кое-что роднящее его с аллегорическим персонажем, однако их отождествление отвергается большинством исследователей.

«История Джона Булла» — по словам знаменитого историка Т. Б. Маколея, «самая остроумная и смешная политическая сатира, существующая на английском языке», — печаталась в 1712 г. как серия из пяти памфлетов, составивших пять частей книги; в издании 1727 г. было принято иное композиционное членение текста — на две части.

Для данного издания выбраны фрагменты первых двух — из пяти — памфлетов.

С. 41. *Лорд Стратт* — испанский король Карл II Страдалец (to strut — гордо, надменно шествовать; намек на пресловутое испанское высокомерие). Его смерть и стала поводом к войне между имеющими династические права на корону Испании претендентами (см. таблицу, с. 470). Незадолго до смерти в результате дипломатической интриги, проведенной кардиналом Протокартеро (приходский «священник») и маршалом Франции Аркуром («хитрец-стряпчий»), Карл оставил завещание в пользу Филиппа, герцога Анжуйского, провозглашенного королем в 1701 г., чьи права на трон оспаривали Англия и ее союзники, поддерживавшие претензии эрцгерцога Карла, брата императора.

С. 44. *...твердые гарантии в том, что вы не станете пользоваться услугами помянутого Луи Бабуна.* — Союзники настаивали на том, что не должно произойти соединения двух корон и, следовательно, двух монархий: Франции и Испании.

С. 45. *Миссис Булл* — первая жена Джона Булла; подразумевается парламент, находившийся до августа 1710 г. во власти вигов.

С. 46. *Том-мусорщик* — Португалия, король которой был готов довольствоваться мелкими выгодами за участие в войне.

С. 48. ...пришлось Джону уже занимать под банковский капитал, под акции *Ост-Индской компании*... — Намек на растущий национальный долг Английскому банку, бывшему, как и *Ост-Индская компания* (основанная еще в 1600 г. для ведения торговли с Индией), в руках вигов.

...лишить Филиппа лорда *Стратта* всего имения. — В ходе войны союзники выдвигают требование лишить Филиппа, герцога Анжуйского, испанской короны, что заводит в тупик любые переговоры, ибо даже в 1709—1710 годах, время особенно тяжелое для Франции, Людовик XIV, принимая все остальные требования союзников, отказывается пойти войной против собственного внука.

Джон бесновался все больше и больше... — Английский флот блокирует порты Испании, наносит особенно большой урон, перехватывая богатые караваны, идущие из американских колоний.

С. 51. *Блэквелл-холл* — лондонская биржа, на которой производилась оптовая торговля сукном.

В первом памфлете опущены последние пять глав. В них повествуется о том, как Джон Булл обнаруживает измену собственной жены с Хокусом: подразумевается влияние, которое Мальборо мог оказывать на парламент, настаивая на продолжении войны. Во время возмущения, вызванного проповедью священника, проявившего более «пыла, нежели разума» (священник — Генри Сэчверелл, чьи фанатические выступления и их последующее осуждение парламентом стали поводом к падению вигов, см. о нем подробнее прим. к № 15 журнала Д. Свифта «Исследователь»), первая миссис Булл получила рану в бок и вскоре умерла, завещав своей семье непримиримость в судебной тяжбе. Булл вступает в новый брак с разумной сельской дамой и заменяет стряпчего Хокуса Роджером Смелчаком (Робертом Харли — о нем см. прим. к «Исследователю», № 26), долгое время проживавшим в деревне: намек на предшествующую отставку Харли, а одновременно на то, что главная опора пришедших к власти тори — сельские сквайры.

С. 52. ...проповедь некоего ученого богослова против прелюбодеяния. — Снова подразумевается Г. Сэчверелл, фанатично ратовавший в своих проповедях против временного единоверия, позволявшего многим нонконформистам — путем однократного исполнения обряда в соответствии с установлениями англиканской церкви — сохранять свои гражданские права, поставленные в зависимость от вероисповедания. Краеугольным камнем партийной позиции тори в делах церковных была доктрина единоверия, а в делах политических — полного повиновения королевской власти. В противовес им виги ратовали за большую веротерпимость, что сатирически и отражено в рассуждении Арбетнота о мужеврных и шляхах.

Комментарий

С. 54. ...а разногласий о престолонаследии позволила бы избежать. — Намек на то, что именно бездетность Карла II Испанского послужила поводом к войне.

С. 56. *Дон Диего Дизмалло* (dismal — угрюмый) — Дэниел Финч, граф Ноттингем, один из самых влиятельных и непримиримых тори; был противником умеренной политики Роберта Харли. Поддержал оппозицию вигов, противящихся заключению мира, в обмен на поддержку ими Билля о временном единоверии, отменявшего установившуюся практику обхода существующего церковного обряда. Условия, на которых был заключен этот неожиданный тактический союз радикального тори с вигами, демонстрируют, как более консервативные тори все еще подчиняют свое поведение религиозным пристрастиям, в то время как виги уже способны поставить политические соображения выше вопросов веры. К тому же, принеся в жертву интересы сотен тысяч диссентеров, более умеренные и исповедующие англиканство виги-политики обеспечивают себе всю полноту влияния на лишенных прав и зависящих от их защиты людей.

С. 58. ...Фрог только и делает, что прикупает — то ферму, то поместье! — Участие Голландии в войне было обеспечено обещанием передачи ей ряда городов по границе с Фландрией, число которых было значительно увеличено дополнительным Договором о барьере, заключенным вигами в октябре 1709 г. Ему был посвящен резкий памфлет Свифта «Несколько замечаний касательно договора о барьере», написанный в том же, что и «Джон Булл», 1712 г.

С. 61. *Не угодно ли прочесть сие письмо...* — Осенью—зимой 1709/10 г. голландцы, не выдерживающие военных тягот, пытаются склонить англичан к миру и вступают в переговоры с Францией; однако непримиримая позиция правительства вигов и заманчивые условия Договора о барьере заставляют их прервать переговоры и продолжить военные действия. Тем более неожиданным явился для них поворот в английской политике к миру, так резко обозначившийся со сменой правительства во второй половине 1710 г.

С. 62. ...как вас угораздило взять в ваше дело сэра Роджера... — Злопамятный и вспыльчивый Ноттингем имел повод и для личной неприязни к Р. Харли, сменившему его на посту государственного секретаря в 1704 г.

С. 64. *Тауэр* — в этом древнем замке, воздвигнутом еще Вильгельмом Завоевателем для защиты Лондона по течению Темзы и бывшем в разное время крепостью, королевской резиденцией, тюрьмой, размещался и королевский зверинец.

Уоппинг — восточный район Лондона между Сити и доками, в многочисленных тавернах которого собирались моряки.

С. 68. *Сеньор Бекенато* — принц Евгений Савойский, чей визит в Лондон в начале 1712 г. был обставлен с королевскими почестями, но уже не мог остановить движения Англии к миру, особенно после того, как сама Анна побудила Мальборо подать в отставку и приняла ее накануне приезда принца Евгения.

В III—V частях памфлета внимание сначала уделено внутренним событиям — в семье Джона Булла, его почтительным отношениям с матерью — Церковью Англии, его распрям со вздорной сестрой Пег — пресвитерианской церковью Шотландии. Затем в ходе непосредственной подготовки к миру возникнет спор вокруг французских укреплений порта Дюнкерк (об этих исторических событиях см. подробнее в памфлете Свифта «О гражданском духе вигов» и в прим. к нему).

Д. Свифт. Предложение об исправлении, улучшении и закреплении английского языка

Решающим событием в жизни Джонатана Свифта (1667—1745), в его деятельности политического публициста явился его приезд в Лондон в сентябре 1710 г. Священник из ирландского прихода в Ларакоре, известный уже как автор «Битвы книг», «Сказки бочки», а также серии памфлетов под вымышленным именем астролога и предсказателя Исаака Бикерстафа, он приезжает с целью добиваться налоговых льгот для ирландского духовенства. Ему обещана помощь влиятельными лицами в партии вигов, но оказывается, что давно данные обещания именно теперь исполнены быть не могут, ибо виги больше не у власти. В этот момент и завязываются у Свифта отношения с министрами нового правительства: им он нужен как блестящий полемист; они же ему обещают содействие в его деле, которое на протяжении последующих четырех лет не раз будет казаться близким к благополучному концу, а в результате так и не сдвинется с места.

Небольшое письмо о языке, обращенное Свифтом к графу Оксфорду (Роберт Харли только что удостоен этого титула), задумано в июне 1711 г. во время краткой передышки; от издания журнала «Исследователь» (см. разд. «Виги и тори») Свифт отходит, а наиважнейшее сочинение, готовящее общественное мнение к заключению мира, — «Поведение союзников» — он еще не начал. Запись в «Дневнике для Стеллы» 22 июня 1711 г.: «Я предлагаю милорду учредить общество или академию для исправления и упо-

рядочения нашего языка, чтобы он не менялся непрестанно, как это у нас происходит»¹.

Начатое, вероятно, тогда же, письмо будет закончено лишь полгода спустя — 21—22 февраля 1712 г.: «Нынче утром я за шесть часов сочинил 19 страниц «Письма лорду-казначею касательно учреждения Общества или Академии для исправления и закрепления английского языка». Кстати, как будет правильнее — английской речи или языка?..» (Дн., с. 288).

Опубликовано письмо только в мае и, по словам автора трехтомного исследования о Свифте И. Эренпрайса, «с редким, почти исключительным отличием — собственным именем Свифта, полностью напечатанным в конце» (I. Ehrenpreis. Swift. His life, his works, his times, v. 2, L. 1962, p. 544).

Таковым отличием письмо обязано самому предмету, в нем обсуждаемому. Это не очередная политическая злоба дня, а вопрос о сохранении культуры, которая как раз и расхищается, разменивается в повседневном обращении. Очистить язык от жаргонизмов, закрепить его образцами высокой словесности, одобренными вкусом, — вот цель.

Поскольку, поставив свое имя, обычно неуловимо анонимный Свифт предоставил возможность противникам не гадательно, а с полным основанием обсуждать и изобличать его взгляды, то такой возможностью не преминули воспользоваться.

Публицисты-виги (Олдмиксон, Манаринг), отметили консерватизм автора, настаивающего на неизменности языка; однако обвинение в консерватизме лингвистическом было лишь прелюдией к тому, чтобы обнаружить сходное мышление и в политике. Требование учредить академию давало повод к тому, чтобы уличить в галломании, в принятии за образец французской Академии, а значит, и французских вкусов... Дальнейшее развитие аналогии приводило к католицизму, Стюартам, а значит — к прямой измене.

Конечно, ничего не только крамольного, но даже нового в требовании учредить академию не было. Такого рода академии широко учреждались в Европе в XVII в. Поскольку развитие английской мысли приняло более научный, чем собственно литературный уклон, то в Лондоне тогда же возникает Королевское общество, имеющее целью развитие научных знаний. В 1667 г. пишется его история, автор которой, Т. Спрэт, посвящает раздел XX «Предложению об учреждении английской академии».

Когда впервые Свифт высказывал свои мысли о языке на страницах «Болтуна» (№ 230), они не казались вигам порочными и были объявлены таковыми только ввиду новых — политических — разногласий. На их фоне осознается и реально возникает разность эсте-

¹ Свифт Дж. Дневник для Стеллы. М., 1981, с. 164—165. Впоследствии ссылки на это издание, подготовленное А. Г. Ингером, даются в тексте: Дн., с указанием страницы.

тической программы, вовлекающей и суждение о языке. Вопросы стилиа дебатируются очень остро, иногда по частным поводам, приоб- ретающим важность, ибо свидетельствуют о занимаемой позиции, литературной и не только литературной. Знаменитым эпизодом этой полемики стал спор о языке пасторали в 1714 г. между А. Поупом и членом «малого сената» при Дж. Аддисоне — Э. Филипсом. Поуп отстаивал критерий вкуса и литературной условности, классической и неизменной; Э. Филипс стремился, хотя и наивно выражая это стремление в стихе, придать языку характер национальной окра- шенности.

Пусть и на малом пространстве, в данном случае сошлись две принципиально разные точки зрения, вовлекающие и отношение к культуре и к современному состоянию мира. Свифту, Поупу, в этом смысле последовательным тори, представляется важным ограни- чить произвол индивидуальности, подчинить его не столько сковы- вающей, сколько разумно облагораживающей норме. Представле- ние о ней реализуется и в лингвистической программе.

Однако именно в тот момент, когда Свифт и Поуп отстаивают значение культуры, объединяющей, дающей ощущение связи и все- общности, именно в это время утверждается и побеждает другая тенденция, настаивающая на праве и важности более индивидуали- зированного выражения, сознания, бытия. Важность особенного в каждом человеке и в каждом народе, что и подчеркивает в своих лингвистических наблюдениях Аддисон: «...тон... или акцент каждого народа в его обычной речи полностью отличается от тона всех остальных народов» («Зритель», № 29 — Из истории англий- ской эстетической мысли XVIII века. М., 1982, с. 79—80; см. также № 135 и др.).

И любопытная деталь: Свифт сомневается, как правильнее ему говорить — о речи или языке; Аддисон подчеркивает индивидуали- зированность, особенность именно речевого поведения, которое совсем уже невозможно подвести под строгую норму.

Однако и в рассуждениях XVIII века о языке все более настой- чиво проводится мысль о возможности постичь в нем характер народа. Мысль не новая, но обретшая новое значение. Ее мы слышим в знаменитых словах М. В. Ломоносова о возможностях основных европейских языков; к ней же, уже прочно овладевшей сознанием, отсылает А. Н. Радищев, когда слышит в самом звуча- нии английского языка выражение духа современной истории этой нации: «Английский язык, а потом Латинский, старался я вам (своим детям. — *И. Ш.*) известнее сделать других. Ибо упругость духа воль- ности, перехода в изображение речи, причили и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным» («Путешествие из Петербурга в Москву», гл. «Крестцы»).

Даже для начала XVIII века в Англии мечта о создании акаде- мии — своего рода анахронизм. В духе развития английской куль- туры стремление закрепить язык, ввести его в пределы литератур-

Комментарий

ной нормы найдет свое выражение не в регламентирующей деятельности академии, а более свободно и индивидуально — в создании классического словаря английского языка (1755) Сэмюэлем Джонсоном.

Впервые письмо Свифта было опубликовано по-русски в 1776 г. в переводе М. Н. Плещеева. В настоящем переводе сокращено за счет отдельных языковых примеров.

С. 71. *...вплоть до времени Клавдия.* — При римском императоре Клавдии (41—54), спустя сто лет после прихода римлян на Британские острова, было завершено их завоевание.

...бритты подверглись жестоким набегам пиктов и были вынуждены призвать на помощь саксов. — В результате вражды между кельтскими племенами в стране появляются германские племена — саксы, чей язык и станет основой формирования современного английского языка. Преобладание латинских заимствований в языке древних кельтов по сравнению с древнегерманским языком Свифт объясняет непосредственностью их контактов с римлянами на протяжении нескольких веков римского завоевания Британии.

Эдуард Исповедник — король Англии (1042—1066) из англосаксонской династии, после чьей смерти произошло норманнское завоевание страны.

С. 72. *Генрих II* — король Англии (1154—1189) из династии Плантагенетов.

Эдмунд Спенсер (1552—1599) — крупнейший английский поэт эпохи Возрождения; именно на его поэму «Пастушеский календарь» как на образец ссылались сторонники большей поэтической архаизации языка или придания ему национального, простонародного колорита.

С. 73. *Туллий* — Марк Туллий Цицерон (106—43 до н. э.), выдающийся оратор, на много веков давший образец золотой латыни.

С. 74. *Елизавета* — королева Англии (1558—1603), последняя из династии Тюдоров.

...кончается великим мятежом сорок второго года. — С 1642 г. начинается открытая борьба между королем и парламентом, и с этой даты английские историки ведут начало революции, как сказано ниже у Свифта — «период узурпации».

С. 75. *Так что двор, который обычно был образцом пристойной и правильной речи...* — В эпоху Возрождения, когда шло формирование национальных языков, было естественным за культурный

образец принимать речь двора, во всех сферах общественной жизни являвшего пример централизующей, объединительной тенденции. На протяжении всей эпохи сохраняло силу рассуждение Данте «О народном красноречии», где в качестве основных значимых определений к понятию «народная италийская речь», даются следующие: «...осевая, придворная и правильная...» («О народном красноречии», Кн. I, XIX). К началу XVIII в. вычурная придворная культура не может считаться эталонной. Все писатели единодушно сходились на осуждении светских жаргонизмов, представляющих порчу языка. Индивидуальными словечками изобиловала «История Джона Булла», которая вначале печаталась как рукопись, обнаруженная в кабинете сэра Г. Поулзворта, члена парламента, знаменитого своим жаргоном (эта пародийная лексическая черта почти непередаваема в переводе). Одним из самых распространенных вариантов светского жаргона были галлицизмы; о них пишет Свифт, им же посвящает отдельные эссе Аддисон в «Зрителе» (см. № 135 и 165), что, естественно, заставляет вспоминать аналогичное явление и в русской культуре.

С. 78. *...я скорее верил бы исправление нашего языка... усмотрению женщин...* — Подобная речевая установка напоминает русскому читателю о стилистических устремлениях Н. М. Карамзина и его школы или — еще ранее — о В. К. Тредиаковском; непринужденное изящество и благозвучие речи принимаются в таком случае за образец. В реальной литературной практике, как показано недавним исследованием, «ориентация на язык и вкус светской дамы» становится знаком принадлежности прециозной традиции или зависимости от нее (Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века. М., 1985, с. 57, 155). Однако все содержание данного эссе и система взглядов Свифта скорее изобличают в нем противника прециозности, так же как и развиваемый им несколько ниже взгляд на важность Библии для современного языка (что в русской традиции составляет уже аналогии взглядам М. В. Ломоносова, а позже — архаистов!). Получается, что в теории Свифта есть попытка соединить то, что по крайней мере в реальном развитии русского литературного языка доказало свою несоединимость в XVIII в., развивалось не во взаимодействии, а в противоборстве.

С. 80. *...Траян* — римский император (53—117), чьим современником был поздний греческий историк Плутарх.

С. 81. *...уже сообщалось мною читателям...* — Свифт напоминает о своем выступлении в «Болтуне» (№ 230), издававшемся Р. Стилом.

Д. Дефо. Опыт о проектах.

«Опыт о проектах» (небольшой частью которого является публикуемый фрагмент) — одно из первых заметных выступлений Дефо-публициста, просветителя. Первое издание увидело свет в мае 1698 г., второе — четыре года спустя.

Слово «проект» воспринималось в то время двойственно. С одной стороны, в эпоху больших перемен ощущалась потребность в идеях; с другой — «проект» и производное от него — «прожектор» — легко ассоциировались с обманом и обманщиком. Вот почему насмешки над прожектерами нередки в журнале «Зритель» (№ 28, 31), над ними же издается Свифт в третьей части «Путешествий Гулливера», хотя в числе его собственных первых произведений значится «Проект, касающийся природных и искусственных достопримечательностей в Англии».

Решительная перестройка культурного сознания, усложнение форм человеческого общения сделали насущным вопрос о судьбе национального языка, ради решения которого Дефо, подобно Свифту и многим другим, считает целесообразным учреждение в Англии общества наподобие французской Академии. Хотя Дефо и предполагает введение норм, упорядочивающих языковое употребление и ограничивающих вольности, он далек от того, чтобы поклоняться правилам ради правил, и даже предлагает закрыть доступ в Академию ученым-педантам. Само изложение проблемы у него иное, чем у Свифта; менее историческое и теоретическое, а более — практическое. Цель его — просветительская: приспособить язык к нуждам сегодняшнего общения, научить людей чистому и точному языку, что сам он не раз пытается осуществить, включая овладение речью в программу воспитания и джентльмена и торговца (см. «Совершенный английский торговец» — «Письмо о том, как надлежит вести торговую корреспонденцию»).

С. 82. *Оных у нас в Англии меньше, нежели в других странах...* — В данном случае под академиями Дефо имеет в виду не Французскую Академию, а учебные заведения, которые — особенно учреждаемые диссентерами — так и назывались в Англии.

С. 83. *Ришелье, Арман Жан дю Плесси* (1585—1642) — кардинал, фактический правитель Франции при Людовике XIII; в 1635 г. основал французскую Академию из сорока членов с целью создания словаря.

С. 83. *Роскоммон*, Уэнтворт Диллон, граф (1633—1685) — автор «Опыта о переводном стихе» и переводчик «Поэтического искусства» Горация, которое, наряду с другими трактатами преимущественно французских авторов (в том числе и названных у Дефо

выше Рапена и Сент-Эвремона), служило основой поэтики и хорошего вкуса в Англии.

С. 87. *...два наших театра* — В конце XVII в. в Лондоне соперничали два театра: «Друри Лейн» и «Линкольнз Инн Филдз».

Дж. Аддисон. Эссе из журнала «Фригольдер»

Джозеф Аддисон (1672—1719) — разносторонне одаренный литератор; еще в юности он прославился своими стихами на латинском языке. В более поздние годы его славу поэта подтвердили произведения в классических жанрах: поэма «Кампания», прославляющая победу Мальборо при Бленхейме (1704), и лучшая трагедия английского классицистического театра «Катон» (поставлена в 1713 г.). Однако в историю английской литературы он вошел прежде всего как один из создателей просветительской прозы, замечательный мастер эссе, соавтор знаменитых журналов (см. прим. к журналу «Зритель»).

Журнал «Фригольдер» издается Аддисоном с 23 декабря 1715 г. по 29 июня 1716 г. и выходит дважды в неделю. В отличие от предшествовавшего ему нравоописательного «Зрителя» этот журнал был предпринят с политическими целями — окончательного изобличения отстраненных от власти тори.

№ XXV

Этот номер журнала готовит почву для проведения правительством вигов закона о продлении полномочий парламента (т. е. о периодичности выборов в палату общин) с трех- до семилетнего срока. Закон утвержден королем 7 мая 1716 г. и сохранял свою силу до 1911 г.

С. 89. *Недавно ведя войну...* — Подразумевается заключение Утрехтского мира, сочтенного вигами актом государственной измены.

Такая изменчивость настроений... — Возможность резких колебаний в политическом курсе, происходящих при смене кабинета и приходе к власти противной партии, воспринималась как черта новой английской политики, подрывающая доверие к ней в целом.

Кондэ, Луи II Бурбон (1621—1686) — принц Кондэ, Великий Кондэ, выдающийся французский полководец.

С. 91. *...чему сейчас сопротивляются.* — Первоначально и в самой партии вигов была сильна оппозиция закону о семилетнем сроке, ибо по традиции именно виги были сторонниками не только регулярных, но возможно более частых созывов парламента. Однако, придя к власти и не будучи уверенными, что смогут эту власть удержать во всей полноте в случае близких выборов, они решились изменить

этому пункту партийной программы. В числе тех, кто особенно упорно противился новому закону, был и Р. Стил, которого Аддисону удалось уговорить воздержаться от печатания уже готового ответа на свое эссе.

С. 92. *Стернхолд и Хопкинс* — основные авторы первого стихотворного переложения на английский язык Книги псалмов (полностью опубликовано в 1562 г.). Этот перевод, проникнутый пуританским духом, в 1696 г. был заменен новым.

...подозревая их в преданности роду Иакова... — Пуритане в их стремлении к изначальной чистоте веры нередко говорили о себе как о потомках патриарха, родоначальника израильтян. Здесь же намек на то, что диссентеры могли подозреваться в симпатиях к Якову II, предоставившему им большую свободу вероисповедания.

...приверженкой белой розы... — Т. е. сторонницей Стюартов и Претендента. Цветок флердоранжа свидетельствовал о верности дому Вильгельма Оранского (orange — апельсин).

«ЗРИТЕЛЬ»

Д. Аддисон, Р. Стил. Эссе из журнала «Зритель»

Совместные журналы Д. Аддисона и Р. Стила: «Болтун», «Зритель», «Опекун», — среди которых наиболее значителен «Зритель», составили эпоху не только в истории публицистики, но всей литературы европейского Просвещения. Хотя по традициям и исходя из характера тематики мы именуем их «журналами», по своему внешнему виду и объему они напоминают газету размером в половинную долю листа. Текст печатался по обе его стороны в две колонки. Содержание каждого номера составляло одно эссе, кроме которого помещались различного рода объявления.

«Зритель» начал выходить спустя два месяца после прекращения предшествующего ему «Болтуна» (журнал, начатый Стилом, к которому Аддисон присоединился позже). Первая серия «Зрителя» печаталась ежедневно, кроме воскресенья, с 1 марта 1711 г. по 6 декабря 1712 г. (всего — 555 номеров); вторая — с 18 июня по 15 декабря 1714 г. по три раза в неделю (всего — 80 номеров).

По мере того как материал накапливался, эссе собирались в том (куда объявления уже не перепечатывались). По сведениям самих издателей, тираж порой превышал 3 тыс. экземпляров; для сравнения: тиражи первых русских журналов XVIII в. колебались от 300 до 500 экземпляров. С учетом же последующей перепечатки книгой тираж «Зрителя» мог достигать 20 тыс. В течение ближайшей четверти века понадобилось не менее десяти переизданий. К концу века начинают выходить первые комментированные издания и появляются переводы на многие европейские языки.

Журналам Аддисона и Стила предшествовало успешное развитие английской журналистики на протяжении двух десятилетий — с 1688 г., и особенно после того, как в 1694 г. истек срок Закона о цензуре, который более не возобновлялся (правда, правительство всегда находило способ наказать, подчас жестоко, неугодного журналиста).

Значительнейшая часть периодических изданий того времени была посвящена политике, от которой «Зритель» в большей мере, чем любое другое издание Аддисона и Стила, должен был воздерживаться: его сфера — нравы, образование, искусство, его цель — просвещение. Осмеять пороки, поощрить добродетели, воспитать вкус и во всем проповедовать веротерпимость.

Первые два эссе объясняют порядок ведения журнала: от лица человека, своего имени не раскрывшего, он просто — Зритель, наблюдающий, обдумывающий. В самом этом слове — метафорическое значение, которое легко возвести и к преданной размышлению, рефлексии, нравственной философии эпохе, и к ее естественнонаучным открытиям, важнейшие из которых в сфере оптики сделаны великим И. Ньютоном. Не забылась еще и ренессансная метафора: весь мир — театр, где, быть может, самое разумное — оставаться Зрителем.

Впрочем, Зритель не одинок: он глава клуба, члены которого представлены во втором эссе. Такого рода прием не был совершенной новостью. С начала 90-х годов журналисты начали строить свои издания в форме диалога с читателем, ответов на его письма. А чуть позже — в форме беседы, которую ведут несколько постоянных участников.

Предшественниками подсказаны прием, тон разговора с читателем, даже характер тематики. Однако за Аддисоном и Стилом осталось главное преимущество — литературной одаренности, глубины мысли. До них (как заметил С. Джонсон в биографии Аддисона) учили болтать тех, кто еще не научился думать. Они же учили думать.

В качестве создателей журнала мы называем двоих, но авторов было куда больше, вероятно, не менее тридцати. Аддисону и Стилу принадлежит общая идея, разработка ее и подавляющее большинство эссе. С определением авторства есть трудности, ибо подлинники имена не ставились, зашифровывались буквами. Стил раскрыл шифр Аддисона: любая из букв в имени музы истории КЛИО; сам же он ставил сначала Р, позже — Т. Усилиями поколений исследователей выяснена с достаточной достоверностью и степень участия других корреспондентов.

Для данного издания выбраны эссе, принадлежащие перу только двух основных авторов. Принцип отбора диктовался желанием показать разнообразные жизненные типы, предвосхищающие характерологию английского просветительского романа (см. подробнее в предисловии, с. 20—21). В Англии отдельным томом наиболее

часто издаются эссе, посвященные самому яркому из членов клуба — сэру Роджеру де Каверли; собранные вместе, они уже складываются в биографическое повествование, предвосхищающее просветительский роман.

О переводах из «Зрителя» в XVIII в. см. предисловие (с. 20). В последнее время заново были переведены эссе, где речь идет об искусстве, и включены в сборник «Из истории английской эстетической мысли XVIII века» (М., 1982). С этой подборкой в нашем издании совпадают два эссе (№ 1 и № 10), без которых трудно обойтись, ибо в них — план журнала и рассказ о восприятии его первыми читателями.

№ 1

С. 100. ...*в кофейне Уилла*. — Непременным фактом лондонской общественной жизни во второй половине XVII и в первой половине XVIII в. были кофейни. Их породила мода на кофе — все еще экзотический напиток, недавно завезенный с Востока. Ему приписывали почти чудодейственные свойства: способность возвращать не только бодрость, но здоровье, обострять ум. За чашкой кофе формируется общественное мнение. Кофейни становятся предвестниками клубов (появившихся только в последней трети XVIII в.), играют роль парламентских кулуаров, а иногда вынужденно заменяют и сам годами не созываемый парламент.

Кофейни, которых в эпоху «Зрителя» в Лондоне существовали десятки, разделялись по профессиональным склонностям, партийным пристрастиям. У Уилла традиционно собирались литераторы; у Чайлда, ввиду близости к собору святого Павла, — служители культа; в Сен-Джеймской — виги, а невдалеке от нее, на той же улице, в «Кокосовой пальме», — тори; в греческой — юристы, но также и литераторы, туда, согласно объявлению в первом номере, должны были направляться все ученые статьи, предназначенные для «Болтуна»; и, наконец, у Джонатана — биржевые дельцы.

С. 100. *Друри-лейн и Хеймаркет* — в первое десятилетие XVIII в. конкуренцией этих театров сменилось предшествующее соперничество между «Друри Лейн» и «Линкольнз Инн Филдз».

С. 102. *Сэмюэль Бакли* — известный издатель, в том числе первой ежедневной газеты «Дэйли курант»; тогда было обычным получать почту на адрес кофейни или таверны.

№ 2

С. 102. *Роджер де Каверли* — центральная фигура среди всех семи членов клуба. Разнообразие его портрета искупает подчеркнутую анонимность самого Зрителя, воплощающего здравый смысл и очень редко оживляемого какими-либо характерными чертами (и только в эссе, принадлежащих перу Стила). Разность манеры двух

основных авторов журнала сказалась с первых их выступлений. Сначала Аддисон создает отвечающую его характеру и литературной манере маску Зрителя. Затем — во втором эссе — Стил, к тому времени известный комедиограф, дает драматическую разработку остальным персонажам. Дальнейшее развитие характеров под пером Аддисона не всегда совпадает с этим первоначальным планом. Расхождения особенно очевидны в отношении сэра Роджера.

«Стил, — писал В. Лазурский, — имел в виду представить в нем черты кавалера эпохи Реставрации. По его рассказу, сэр Роджер в молодости участвовал в кутежах, буянил, любил франтить. ...Замысел Аддисона был гораздо шире и глубже. Куртоп (автор литературной биографии Аддисона, 1884. — *И. Ш.*) совершенно правильно указывает, что есть нечто общее между сэром Роджером Аддисона и Дон-Кихотом Сервантеса. Они находятся в комическом положении среди общества, которое уже пережило те формы культуры, благородными представителями и защитниками которых они являются» (В. Л а з у р с к и й. Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона. Из истории английской журналистики XVIII века, т. I. Одесса, 1909, с. 182).

Трудно сказать, насколько благородной представлялась Аддисону уходящая в лице сэра Роджера культура и в какой мере он был склонен сожалеть о ее уходе, но, во всяком случае, в этом характере он сумел явить себя на редкость веротерпимым, ибо, практически нигде не сгущая краски до сатиры, нарисовал портрет своего политического противника. Сэр Роджер — типичный тори из числа тех «охотников за лисицами», чьи лица мелькают в «Зрителе» среди гостей и друзей добродушного сквайра. Совсем иначе — резко и политически непримиримо — Аддисон нарисует этот тип три года спустя в журнале «Фригольдер» (см. эссе № XXII).

Многие имена членов клуба значимы. Сэр Роджер — здесь многое говорит уже сам титул, за которым — вполне определенный жизненный тип. В отношении иносказательных имен других персонажей переводчик пошел по пути поиска возможных русских эквивалентов, придавая им английское звучание; купец Торгмен (Ffeerport), военный — капитан Чэсти (Sentry), дамский угодник Уллей (Honeycomb). Два наиболее редко появляющихся члена клуба обозначены лишь своей социальной принадлежностью и не имеют имен: священник и студент-юрист.

Прадед его избрал сельский танец... — Танец «Роджер де Каверли» упоминается начиная с середины XVII в.

С. 103. *Живет на Сохо-сквер...* — Только что отстроенный в эпоху Реставрации модный район Лондона. О положении сэра Роджера в свете свидетельствуют его ужины с Джоном Уилмотом, графом Рочестером (1648—1680), прославленным поэтом и щеголем,

Комментарий

с драматургом Джорджем Этериджем (1634—1691) и поединок с известным шулером Даусоном.

Иннер-Темпл — так же как и упоминаемый ниже Нью-Темпл, одна из четырех юридических школ, дававших право выступать в суде в качестве адвоката.

Лонгин (3 в. до н. э.) — под именем этого древнегреческого риторика становится известным в XVI в. трактат «О возвышенном», приобретший популярность и превратившийся в одно из основных эстетических наставлений, особенно по мере того, как росла любовь к природе, бурной и величественной.

Литтлтон или Кук — написанное в XV в. рассуждение Т. Литтлтона о правах было прокомментировано Э. Куком и появилось впервые в 1628 г., надолго сделавшись одним из основных источников по английскому праву.

С. 104. *Таверна «Роза»* — примыкала к Друрилейнскому театру, и при позднейшей перестройке стала частью его здания.

С. 106. *Том Мирабелл* — имя героя-любовника в нескольких английских комедиях, в том числе в пользовавшейся большим успехом комедии У. Конгрива «Так поступают в свете» (1700).

№ 3

С. 107. *...принадлежащую банку...* — Имеется в виду Английский банк (см. предисловие, с. 14—15).

С. 108. *Великая хартия вольностей* — документ, который мятежные бароны получили от Иоанна Безземельного в 1215 г. в подтверждение своих свобод; им учрежден парламент, и от него ведут начало английской конституции.

...сидели два секретаря... — В правительстве с 1660 г. существовало две должности государственного секретаря, первоначально для того, чтобы один ведал отношениями с северными (протестантскими), а другой — южными (католическими) странами. Однако к этому моменту — к 1712 г. — их функции несколько изменились: Генри Сен-Джон (будущий виконт Болингброк) занимался внешними, а Уильям Лег, граф Дартмут, — внутренними делами.

С. 109. *...один лидийский царь...* — Мидас (греч. миф.); согласно одной из версий мифа, просил у богов и получил в дар способность своим прикосновением все превращать в золото.

...молодой человек лет двадцати двух... — Джеймс Стюарт (см. таблицу, с. 464).

...как в бужингемовом бурлеске... — «Репетиция» (1672), пародийный фарс на жанр героической трагедии, очень популярный и

приписываемый Джорджу Вильерсу, герцогу Бекингему, но, вероятно, плод соавторства нескольких лиц.

Эол (греч. миф.) — бог ветров; в «Одиссее» (песнь X) он вручает прибывшему на его остров герою мешок с заключенными в нем бурными ветрами, дабы они не препятствовали его плаванию. Мешок был развязан спутниками Одиссея, заподозрившими скрытые в нем сокровища.

Кучи золота по сторонам трона обратились в кипы бумажек... — Аддисон иносказательно рисует картину неизбежного разорения тех, кто является вкладчиками Английского банка и держателями его акций, ибо в случае воцарения Претендента национальный долг, возникший и растущий из-за расходов в войнах с Францией, разумеется, был бы аннулирован, — угроза, страшившая многих виггов, чьим детищем был банк.

№ 10

С. 111. *...как змей Моисеев с поглощенными им жезлами египетскими...* — Либо Фрэнсис Бэкон, либо ссылающийся на него Аддисон ошиблись, ибо в Библии (Книга Исхода, VII, 12) говорится о том, что жезл Аарона, а не его младшего брата Моисея обернулся змеем, проглотившим змей египетских.

С. 112. *Королевское общество* — полное название: Королевское общество в Лондоне для дальнейшего распространения естественных знаний; оно было окончательно утверждено королевскими постановлениями в 1662—1663 гг.

№ 15

С. 117. *...увидела троянца в расшитой тунике...* — У Вергилия в «Энеиде» (XI, 782) причиной гибели Камиллы стало то, что «Женскую жадность разжег в ней убор драгоценный Хлорея» (пер. С. Шервинского).

№ 21

С. 118. *...они подобны войску у Вергилия...* — Описание битвы в «Энеиде» (X, 432—433): «...уплотняется строй, невозможно // Руку в толпе занести» (пер. С. Шервинского).

Марциал... — Аддисон ошибся: приведенные слова принадлежат Сенеке.

...и танцуют раз в год... — В День всех святых, отмечаемый 1 ноября праздник, сохранивший черты древнего карнавала.

Вестминстер-холл — огромный зал, самая древняя часть старого Вестминстерского дворца, где происходили судебные заседания.

С. 119. *Уильям Темпл* (1628—1699) — политик, знаток и любитель античности; в 90-х годах он, приняв подделку за подлинный античный текст, дал повод для начала в Англии дискуссии о сравнительных достоинствах древних и новых авторов, в ходе которой возник памфлет Свифта (бывшего в то время секретарем Тем-

Комментарий

пла) — «Битва книг». Аддисон ссылается на эссе Темпла «О доблести».

Готы и вандалы — древнегерманские племенные союзы, в первые века нашей эры хлынувшие с севера Европы на юг и сокрушившие Рим. Верховное божество германского пантеона — *Один* (Вотан); наряду с ним один из самых могущественных богов — *Тор*.

№ 26

С. 121. *Вестминстерское аббатство* — место захоронения великих людей Англии.

С. 122. *Шовел*, сэра Клодсли (ок. 1650—1707) — адмирал, утонул в Средиземном море после того, как его корабль наскочил на подводную скалу; его тело было первоначально захоронено в прибрежном песке, но, опознанное по кольцу, снятому с него рыбаком, перевезено в Англию.

№ 34

С. 124. *...обиделись на то, что я толкую о таких пустяках, как опера и кукольный театр...* — Об опере и других видах театрального искусства в «Зрителе» писалось не раз, например в некоторых эссе, переведенных на русский язык в сборнике «Из истории английской эстетической мысли XVIII века», № 5, 13, 18, 29.

№ 45

Тема мира возникает в № 45, так как к этому времени — 17 апреля — Англии достигло сведение о смерти императора и о том, что на престол взошел его брат Карл (см. таблицу, с. 470); таким образом отпал один из основных претендентов на испанский трон.

С. 129. *Томас Беттертон* (1635—1710) — выдающийся трагический актер.

С. 130. *Сен-Джеймский приход* — расположен в центре Лондона, включает королевский дворец (ставший официальной резиденцией в 1698 г.).

№ 96

С. 141. *Вестминстерская школа* — основанная в 1560 г. одна из старейших привилегированных частных мужских школ в Англии.

№ 108

С. 147. *Когда вчерашним утром я гулял с сэром Роджером...* — Зритель посетил своего друга в его поместье и прогостил у него целый месяц, о чем и рассказывается в № 106—131.

№ 125

С. 150. *Кавалеры и круглоголовые* — так во время революции XVII в. называли сторонников короля и сторонников парламента.

С. 152. *Гвельфы и гибеллины* — враждующие между собой в XIII—XIV вв. политические партии в Италии: первые поддерживали папу, вторые — императора.

Лига — союз католических сил, созданный герцогом Гизом в 1576 г. для борьбы с протестантами во Франции.

№ 126

С. 154. *Диодор Сикул* (I в.) — греческий историк, собравший огромное количество фактов и наблюдений в результате поездок по Европе и Азии.

№ 135

С. 157. *Л'Эстрендж, сэр Роджер* (1616—1704) — один из первых политических публицистов, издатель газет, при Реставрации цензор периодической печати.

С. 159. *Моска* — искаженное «Москва».

Граф Пинер (1647—1716) — приближенный к шведскому королю Карлу XII министр, взятый в плен под Полтавой.

С. 160. *Детфорд* — южный пригород Лондона, с XV в. знаменитый своими морскими доками; там в 1698 г. останавливался Петр. I.

№ 152

С. 164. «*Прожить бы еще часок...*» — Этот эпизод заимствован из мемуаров Великого Кондэ и относится к битве при Сенелфе (1674).

№ 165

С. 166. *По слову известного нашего писателя...* — Ричард Бентли (1662—1742), критик, непререкаемый авторитет в античной литературе, хотя нередко его суждения о древних и его приемы установления подлинности текста оказывались совершенно произвольными.

Эдуард III — английский король (1327—1377); *Черный Принц* — его старший сын, не правивший, ибо умер раньше отца (1376), но прославившийся своими военными победами.

№ 195

С. 175. *Сказки, именуемые «Тысячей и одной ночью», повествуют нам о султанах...* — Приведен рассказ из «Сказок о рыбаке» — «Повесть визиря царя Юнана» (ночи 4—5).

С. 177. *Луиджи Корнадо* (1467—1566) — знатный венецианец, в молодом возрасте страдавший от болезней, но совершенно излечившийся благодаря диете и умеренности, о чем он рассказал в книге «Преимущества умеренной жизни» (1558); в Англии она выдержала более 30 изданий.

№ 549

С. 182. *...Гораций повествует...* — Приблизительное изложение второго эпода Горация — «На Альфия».

Когда из всего нашего клуба остались только мы... — Клуб начал распадаться со смертью сэра Роджера (№ 517), которому наследовал дальний родственник — капитан Чэсти, превратившийся теперь в сквайра и покинувший Лондон, так же как и Уллей, неожиданно женившийся на дочери своего арендатора.

ВИГИ И ТОРИ

В английской исторической литературе давно дебатировался вопрос, свидетельствует ли факт возникновения партийных названий о том, что за ними — устойчивая разность позиций. Когда складывается в английской политической жизни традиция партийной борьбы, сохраняющая преемственность в отстаивании принципов, интересов той или иной социальной группы или класса?

Одни относят начало этой традиции едва ли не ко времени буржуазной революции, считая, что определенность противоречий обозначилась и привела к размежеванию задолго до того, как она была зафиксирована в названиях враждующих партий. Другие — и здесь большое влияние сохраняет точка зрения крупного английского ученого Л. Б. Намира — полагают, что и сто лет спустя, в середине XVIII в., партийная структура оставалась достаточно аморфной и не строгой.

В 1977 г. в предисловии к своей книге «Революционные принципы. Политика партий: 1689—1720» кембриджский профессор Дж. Ф. Кэньон считает возможным и своевременным поставить как принципиально новый или, во всяком случае, упущенный из виду в последнее время вопрос о «политических идеях»: были ли таковые у обеих партий? Сохранялись ли ими принципы, убеждения? Ответ, каким он прочитывается в книге, скорее отрицательный. Все решали «опыт и историческая традиция», то есть в конечном итоге — тактика, нужды данного момента.

Видимо, об этом же свидетельствуют и ставшие массовыми в начале XVIII в. переходы от вигов к тори, сопровождаемые игрой эпитетов, добавляемых к названию покинутой партии: очень многие, уходя от вигов, продолжали считать себя не отступниками и не тори, а старыми или истинными вигами... В результате создавалась очень запутанная ситуация.

Но если позиции так непрочны, если различие политических идей так неопределенно, почему же в «каждом уголке страны лицом друг к другу стоят ряды тех, кто призван под свои знамена двумя партиями?» — так писал в «Истории моего времени» современник событий Джилберт Вернет, епископ Солсберийский.

Конечно, существовал комплекс идей, традиционно соотноси-

мый с той или иной партией, и комплекс, довольно рано сформировавшийся.

В политике тори — сторонники королевских прерогатив, виги — парламентских законов, ограничивающих монарха. В религии тори — высокоцерковники с уклоном к католицизму, виги — низкоцерковники с симпатиями к диссентерам. В экономике тори — получатели доходов с земли, виги — с капитала, от торговли и мануфактур.

Как будто бы очень ясное и социально четкое разделение. Однако ясное скорее в теории и в крайнем выражении партийной позиции. Большинство же членов той и другой партии (не будем забывать о провозглашенной многими веротерпимости, и всеми — разумности) старались избежать крайностей.

Разве владение землей исключает возможность обладания и банковским капиталом? Отнюдь нет. Что же касается религии и политики, то, забывая о противоположности крайних склонностей, многие и в той и в другой партии согласились бы на том, что они сторонники королевской власти, не нарушающей парламентских установлений, и англиканской церкви, свободной от любой ереси. В общем, многие были готовы заявить себя сторонниками существующих законов и умеренности.

А как называться — тори или вигом, этому еще не придавали решающего значения. Тем более, что само деление по партийному признаку едва ли не всем представлялось великим злом, расколом и ослаблением страны. Болингброк, в «Рассуждении о партиях» (правда, несколько позже — в 30-х годах — написанном) полагавший принцип партийного разделения естественной и необходимой гарантией конституции, выражал далеко не распространенную точку зрения. И даже он находил устаревшее деление на вигов и тори «нелепым и смехотворным».

Разделение между тем существовало, упрочивало себя в качестве реальности английской политической системы. В век Анны оно сказалось как раз в непримиримости крайностей: в вопросах веры, в отношении к войне и перспективе престолонаследия.

О возникновении и борьбе партий см. также во введении и в «Историческом послесловии».

Д. Дефо. Простейший способ разделаться с диссентерами

Спустя всего несколько месяцев после воцарения Анны, уже летом 1702 г., тори, рассчитывая на поддержку королевы, известной своей приверженностью Церкви Англии, начинают проповедовать закрытие диссентерских академий. 4 ноября в палату общин был впервые внесен на обсуждение Билль о временном единоверии (см. «Историческое послесловие», с. 466). Ответом тем, кто хотел лишить диссентеров гражданских и религиозных свобод, прозвучал памфлет Дефо «Рассуждение о временном единоверии», не первое и не последнее его высказывание по этому поводу. Как это нередко

случалось с Дефо, его мнение, основанное на принципах веротерпимости, не могло удовлетворить крайних ни в той, ни в другой партии.

Его единоверцы диссентеры, особенно те из них, кто стремился к различного рода государственным должностям («...чтобы их избирали мэрами и шерифами...»), дорожили временным единоверием как необходимой уловкой. Дефо же полагал практику единократного совершения обряда вопреки своей вере лицемерной и не одобрял ее. Пусть лучше на какое-то время диссентеры пойдут на утрату своих гражданских прав, ибо больше, чем они, от этого пострадает все общество, лишившись участия в своих делах столь полезных членов. Дефо верил, что разум и соображения пользы незамедлительно восторжествуют над фанатизмом, а значит, восторжествует и истинная веротерпимость, допускающая различие убеждений открыто, не требуя для него благовидных предлогов.

Дефо возражал против временного единоверия, но по причинам, противоположным тем, которые заставляли высокоцерковников добиваться его запрещения особым биллем: им оно казалось проявлением излишней, а ему — недостаточной веротерпимости.

Опасность и неразумность фанатизма были Дефо столь очевидны, что свой следующий памфлет он написал, прикрывшись маской непримиримого к инакомыслящим «энтузиаста»: «Простейший способ разделаться с диссентерами, или Предложения для укрепления Церкви». Дата его публикации — 1 декабря 1702 г. О драматичных для автора последствиях см. подробнее в предисловии и в памфлете Дефо «Призыв к Чести и Справедливости».

C. 187. *Последние четырнадцать лет не знает славы...* — То есть с тех пор, как в 1689 г. принят Закон о веротерпимости.

C. 189 *...данную законному и правомочному монарху...* — Т. е. Якову II, которого многие тори продолжали считать единственным законным королем и после 1689 г.

...многие новообращенные во Францию... — Те из французских протестантов, кто не эмигрировал после отмены в 1685 г. Нантского эдикта, были вынуждены хотя бы по видимости принять католичество.

...которому досталось править только в клубах... — Последнее слово у Дефо написано не целиком, а лишь первые две его буквы, что расшифровывают как сокращение от слов «клоуны» или «клубы», как в XVII в. уже начали называть общества, собиравшиеся с политическими целями.

C. 190. *Впервые закон против диссентеров...* — После умеренного правления Елизаветы первый король из династии Стюартов Яков I повел более жесткую политику в отношении пуритан; в 1604 г. он потребовал от всего духовенства принять веру по установленному ритуалу к 30 ноября и в ответ на их возражения произнес знамени-

тые слова: «Не будет епископа, не будет и короля», тем самым утверждая свою неколебимую приверженность англиканской епископальной церкви.

...переселиться в Новую Англию... — Корабль «Майский цветок», на котором отправились в Америку первые колонисты-пуритане, отплыл 6 сентября 1620 г.

С. 191. *...Кроме безжалостных царевубийц...* — Перед своей реставрацией Карл II обещал полное прощение участникам революции, но, заняв трон, предал казни или вынудил к изгнанию тех, кто был непосредственно причастен к казни его отца.

...с помощью злодейской хитрости... — Разоблаченный в 1683 г. заговор кромвелевских офицеров, давший повод для репрессий против оппозиционеров-вигов.

С. 192. Хотелось бы узнать у «Наблюдателя»... — Журнал, издававшийся Джоном Татчином, которому Дефо отвечал в «Чистокровном англичанине» (см.). Епископальная церковь в Шотландии была уничтожена законом 22 июля 1689 г., за чем действительно последовало немало жестокостей со стороны пресвитериан. Упоминаемый далее трактат появился в 1691 г.

...гнусаемое собрание шотландских долгопых... — Пуританская манера монотонно и в нос исполнять гимны была объектом нескончаемых насмешек.

С. 193. *Короны двух этих государств с недавних пор передаются не по наследственному праву...* — Его нарушением тори и часть вигов считали как правление Вильгельма, так и Закон о престолонаследии 1701 г., отдававший корону Ганноверской династии.

...нас очень много... — Сам Дефо в «Обозрении» (1712, 20 сентября) полагал, что в Англии два миллиона диссентеров.

С. 194. *Когда из обращения изымали старую монету...* — Реформа, заключающаяся в перечеканке монет, проводилась в 1695 г. Старые золотые и серебряные монеты, не имевшие по краям насечки, обрезались злоумышленниками и становились неполноценными.

С. 195. *Шефтсбери*, Энтони Эшли Купер, граф (1621—1683) — один из основателей партии вигов, еще в 1681 г. вынужденный бежать (вместе с внуком, будущим философом, и своим секретарем — Джоном Локком) в Голландию, где он и умер.

Аргайл, Арчибальд Кэмбелл, граф (1629—1685) — наследник влиятельнейшего шотландского рода, как и его отец, казненный в 1661 г. за содействие Кромвелю, был казнен за поддержку «протестантскому герцогу» Монмуту.

С. 196. *Что вам соделать с сестрою вашею...* — Цитата из Библии («Песнь песней», VIII, 8).

Act de Haeretico Comburendo (1382) — закон, позволявший епископу без суда приговаривать еретика к сожжению; отменен в Англии в 1677 г.

С. 197. *Сципион Африканский Старший* (236—183 до н. э.) — прославившийся своей доблестью и упорством римский полководец, победитель Ганнибала, неустанно требовавший разрушения его столицы — Карфагена.

Кротчайший и милосердный Моисей... — В Библии (Книга Исхода, XXXII) рассказывается о том, что, пока Моисей беседовал с богом, его народ, поколебавшийся в вере, потребовал от старшего Моисеева брата Аарона сотворить золотого тельца, которому люди и начали поклоняться. Возвратившись, Моисей в гневе разбил принесенные им священные скрижали божественного откровения и поразил мечом виновных, число которых Дефо преувеличивает, называя тридцать три тысячи вместо трех в тексте Библии.

С. 199. *Один из известных пастырей...* — Автором названного памфлета был сам Дефо.

Ваше учение изложено в тридцати девяти догматах... — Именно в такое число доктринальных положений было заключено в 1563 г. учение англиканской церкви. Это был ряд пунктов, вызвавший полемику и разногласия с другими христианскими учениями. В свою очередь диссентеры упорно отказывались целиком принимать тридцать девять догматов, особенно ожесточенно отвергая статьи 34, 35, 36. Они отказались следовать «традиции», то есть признать непререкаемым авторитет основных истолкователей и комментаторов Священного писания; отвергли подчинение епископам и отправление службы по утвержденному тексту молитвенника.

С. 200. *...Конвокация* — со времен раннего средневековья (VIII в.) существующие собрания клира Кентерберийского и Йоркского архиепископств Англии; обладали законодательной властью. В начале XVIII в. партийные склонности церковнослужителей распределились таким образом: вигов поддерживали более образованные и веротерпимые епископы, низшее же, преимущественно сельское, духовенство взяло сторону тори, обеспечив им большинство в конвокациях. Это стало причиной того, что с приходом вигов к власти — с 1717 г. и до конца века — конвокации не созывались (см. прим. к «Фригольдеру», № XXII.)

Д. Свифт. Краткая характеристика его светлости графа Томаса Уортона

Памфлет написан в октябре — ноябре 1710 г. и появился вслед за № 17 журнала «Исследователь» (30 ноября), упоминаемым в его

начале и посвященным тому же лицу. Pamфлет имеет авторскую датировку — 30 августа 1710 г., — которая относится не ко времени его написания, а к окончанию срока наместничества Уортона в Ирландии. Около этого времени сам Свифт прибывает в Англию и находится на пути в Лондон.

С Томасом Уортоном (1645—1715) Свифту пришлось познакомиться еще в Ирландии, где тот в 1708—1710 гг. исполнял должность лорда-наместника, пост главного секретаря при котором занимал бывший в ту пору другом Свифта Джозеф Аддисон.

В настоящем издании публикуется первая часть памфлета; вторая часть, содержащая изложение отдельных фактов деятельности Уортона в Ирландии, которую сам Свифт считал «бесцветной», опущена (вполне вероятно, что вторая часть не является оригинальной, а представляет собой публикацию материалов, собранных ирландскими друзьями С в и ф т а). — *Прим. перев.*

С. 203. *Ирландским королевством управляют полномочные представители Англии.* — На протяжении XVI—XVII вв. Ирландия была окончательно подчинена Англии, что завершил Кромвель, фактически превративший ее в первую английскую колонию. Ирландия управлялась (до 1922 г.) назначаемым из Лондона лордом-лейтенантом, исполняющим функции наместника.

С. 205. *Граф Томас Уортон... уже несколько лет как вступил в преклонный возраст...* — Т. е. 63 года, срок, считавшийся критическим по теории семилетних возрастных циклов.

Фригольдер — см. прим. к № 1 журнала того же названия (разд. «Новые люди»).

С. 206. *Он спустил свое состояние, пытаясь разорить одно королевство, и нажил новое, преуспев в разорении другого.* — Уортон потратил немало сил и средств на подкуп, добываясь в 1707 г. заключения Унии с Шотландией, за что и получил в следующем году наместничество в Ирландии для поправления своих дел. Свифт, с предубеждением относившийся к шотландцам-пресвитерианам, обычно считал, что от Унии более выигрывает Шотландия, а не Англия, см. «О гражданском духе виггов», с. 304—305.

Д. Свифт. Эссе из журнала «Исследователь»

Журнал (или политическая газета, ибо различие для той эпохи еще неопределенно), «Исследователь» («Examiner») был задуман и начат Г. Сен-Джоном для ведения торийской пропаганды, каковую задачу он и поставил письмом к «Исследователю» в августе 1710 г. (в английских изданиях оно печатается как предисловие к журналу). После сближения с министрами, в начале ноября, это дело берет на себя Свифт и пишет тридцать два номера подряд

(№ 13—44, а также начало № 45), после чего от непосредственного занятия «Исследователем» отходит, передавая его в руки миссис Мэнли, типичной журналистки с Граб-стрит, безнравственной по своей репутации и не стесняющейся с чужими. 7 июня 1710 г. Свифт сообщает: «Я предсказываю, что впредь это будет дрянь, и мне показалось, что в сегодняшнем «Экзаминере» автор словно бы дает понять, что сочинять его больше не намерен» (Дн., с. 162). Впоследствии он лишь просматривает и иногда правит материалы для журнала, от которого его отвлекла необходимость отдать много сил работе над главным сочинением этого времени — памфлетом «Поведение союзников».

№ 14

С. 208. *Уступая настояниям друзей, я решаюсь нарушить замысел...* — В предшествующем, первом написанном им номере Свифт обещал опровергать мнения, порочащие королеву и ее правительство. С этой целью, собственно говоря, возник и существовал журнал: «...исследовать некоторые из тех писаний, что являются со злым умыслом против религии и правительства» (№ 41). Однако галерею разоблачительных портретов Свифт решает предварить рассуждением о политической лжи — тема, которую спустя два года в отдельном памфлете разовьет Дж. Арбетнот (см. «Искусство политической лжи»).

...занимал должность наместника огромной западной провинции... — В этих словах комментаторы иногда усматривают намек на Т. Уортона: «В поэме Мильтона «Потерянный рай» (кн. V, ст. 689, 726, 755) Сатана владеет областью на севере. Перенося его в западную провинцию, Свифт подразумевает под нею Ирландию, а под дьяволом — Т. Уортона» (В. Рак, И. Чекалов. Комментарии, — В кн.: Д. Свифт. Избранное. Л., 1987, с. 431).

С. 211. *Воображение рисует мне некоего великого человека...* — Томаса Уортона, которому уже был посвящен отдельный памфлет и который еще не раз будет помянут на страницах «Исследователя».

№ 15

С. 215. *...я имею в виду издателей...* — До своей гибели от руки в 1707 г. издатель «Наблюдателя» («Observator») — Джон Татчин, «Обозрения» («Review») — Дефо; оба неприемлемы для Свифта своим пуританским духом. Противоположная крайность — издатель «Репетиции» («Rehearsal») Чарлз Лесли, чья газета еще в 1709 г. была закрыта, а сам он по отбытии годичного срока в тюрьме уехал ко двору Претендента. Обличая обе крайности (или то, что он обозначил как крайности, ибо «Обозрение» также издавалось в поддержку кабинета), Свифт претендует на то, чтобы занять внепартийную умеренную позицию, отвечающую линии, проводимой Р. Харли; обиженный личными выпадами Свифта Дефо ответил ему в двух номерах «Обозрения» (14 и 16 декабря).

С. 217. ...несколько лет назад было вынесено парламентом противное решение... — В 1709 г. в нескольких своих проповедях, в том числе 5 ноября — день высадки Вильгельма Оранского в Англии, почитающийся днем утверждения новых «революционных» принципов, — священник Генри Сэчверелл, известный своим высокоцерковным фанатизмом, объявил церковь в опасности и напал на священный для вигов Закон о веротерпимости. Сэчверелл был в числе тех, кто особенно рьяно ратовал за проведение Билля, отменяющего временное единоверие (так что памфлет Дефо «Простейший способ разделаться с диссентерами» был непосредственно спровоцирован в 1702 г. тем же Сэчвереллом). Виги, даже в отступлении от собственной веротерпимости, решили проучить неистового ревнителя веры и предали его парламентскому суду, который превратил Сэчверелла в мученика за истинную веру и подготовил падение вигов, сделал их крайне непопулярными. Сэчверелл, хотя и признанный виновным с небольшим перевесом голосов, отделался тем, что был на три года отлучен от проповеднической кафедры. Свифт понимал, какую неоценимую услугу в данном случае оказал Сэчверелл нынешнему правительству, фактически способствовал его приходу к власти; он был готов помочь и помогал пострадавшему священнику, но личной приязни или уважения к нему не испытывал, сообщая в «Дневнике для Стеллы»: «...не собираюсь поддерживать с ним знакомство» (22.1.1712, с. 274). См. о нем также прим. к «Истории Джона Булла» Д. Арбетнота.

№ 16

Самое серьезное препятствие для новых министров в их стремлении к полноте власти представлял Джон Черчилль, герцог Мальборо (1650—1722), прославленный полководец, главнокомандующий английскими войсками в войне за Испанское наследство. Он был слишком осмотрителем, чтобы связать себя с какой-либо партией, но в данный момент его интересы совпадали с ратующими за продолжение войны вигами, — войны, от которой, побуждаемый и тщеславием, и огромным корыстолюбием, он ожидал для себя новых благ. Ему единственному из английских генералов удавалось не только на равных сражаться с прославленными маршалами Людовика XIV, но и одерживать над ними блестящие победы. Герой Бленхейма, Ромильи, Уденарда, Мальплаке, он возродил военную славу Англии, вернул ей решающий голос в делах европейской политики, который она утратила в предшествующие десятилетия. Удивительно ли, что Мальборо был кумиром нации, воплощением ее славы и военной доблести. Если к этому добавить, что ставшая его женой Сара Дженнингс, властная и не менее мужа честолюбивая, была с юности ближайшей подругой во всем ей подчинявшейся королевы Анны, то станет в полной мере ясно, сколь серьезный противник стоял на пути у министров-тори.

Наступать на него можно было лишь не теряя осмотрительно-

сти, как это и делает Свифт, пока что избирая для первой атаки самый уязвимый пункт в позиции великого полководца — его сребролюбие. Затем писатель будет постепенно усиливать эту линию наступления, расширяя фронт атаки, чему герцог дает повод, требуя пожизненного закрепления за ним поста главнокомандующего, дабы не ставить свое положение в зависимость от колеблющейся партийной политики. Это был крайне неосторожный шаг, повлекший за собой обвинение в попытке достичь единоначальной власти, в нарушении конституции. Еще ранее путем дворцовой интриги из покоев королевы удаляется герцогиня Мальборо (эти события и изобразил Э. Скриб в «Стакане воды»). Отставка Мальборо была предпринята.

Но прежде, чем это произошло, писать против герцога было опасно и чревато обвинениями в самой черной неблагодарности к национальному герою. Дефо не поднял голоса против него. Аддисон и Стил в стихах и прозе пели гимны, и, как считает в биографии Мальборо его прямой потомок — Уинстон Черчилль, — именно нападок на Мальборо не простил Свифту Стил, именно они положили конец их дружбе.

Свифт же искренне не разделял всеобщего преклонения перед Мальборо, однако после его отставки писал: «...считаю, что с герцогом Мальборо обошлись чересчур круто, и нередко вычеркивал целые куски из газет и памфлетов, которые мне присылали перед тем, как напечатать, считая их слишком резкими, хотя он, без сомнения, подлец и никаких иных заслуг, кроме военных, не имеет» (Дн., с. 275).

С. 222—223. *...по крайней мере две особы, близкие генералу по брачным узам, лишились своих должностей.* — Свой пост утратил граф Сидни Годолфин (1645—1712), лорд-казначей и фактический глава правительства при вигах; его сын был женат на одной из трех дочерей Мальборо. С поста государственного секретаря пришлось уйти еще одному зятю герцога — Чарлзу Спенсеру, графу Сандерленду (к его потомкам впоследствии перейдет герцогский титул, и к родовому имени Черчиллей он добавит собственное — Спенсер).

С. 223. *...надлежит оказывать величайшее уважение ее королевскому величеству...* — Отсутствие такого рода уважения было объяснено причиной смещения Годолфина.

С. 225. *Бленхеймский дворец* — назван в честь самой прославленной победы Мальборо, одержанной им в 1704 г. на берегах Рейна. В европейской истории она более известна как битва при Гохштедте; а следуя точному произношению английского названия, должна была бы именоваться — при Блениме. Дворец строился на деньги казны известным архитектором и драматургом сэром Джоном Ван-бру, поражая роскошью и своим невиданным размахом.

Княжество в Германии — княжество Милденхейм, полученное Мальборо в 1704 г. от императора.

С. 227. ...*веряя эти деньги своей камеристке...* — Намек на отношения королевы с герцогиней Мальборо.

№ 17

С. 230. *Мистер Старолис* — Годолфин (см. прим. к № 16).

Чарлз и Гарри — два государственных секретаря при вигах: Сандерленд (см. прим. к № 16) и Генри Бойл.

Билл Двоеженец — Уильям Каупер, лорд-канцлер.

С. 231. ...*мой младший собрат по перу...* — Подразумевается «Вигский Исследователь», начатый Аддисоном, чтобы нейтрализовать пропаганду тори, однако просуществовавший недолго: с 14 сентября по 12 октября 1710 г.

Веррес — под именем римского наместника в Сицилии (73—71 гг. до н. э.) Кая Корнелия Верреса Свифт изображает Томаса Уортона, такой же срок и со сходным результатом пробывшего наместником в Ирландии (см. памфлет Д. Свифта «Краткая характеристика...»).

№ 20

С. 235. *Уильям Руфус* — Вильгельм II, король Англии (1087—1100); имя Уильям, как и имена Черльз, Джеймс, меняет в русском языке свое звучание, когда принадлежит королю.

С. 236. *Эмилий Павел*, как и *Сципион Африканский*, — римский полководец времен Пунических войн с Карфагеном (III—II вв. до н. э.).

С. 238. *Эдмунд Ледлоу* (1617—1692) — участник революции, генерал; после Реставрации, как человек, поставивший свою подпись под приговором Карлу I, был вынужден эмигрировать. В Швейцарии написал свои знаменитые мемуары.

С. 239. ...*верности некоему полководцу...* — Герцогу Мальборо.

№ 24

С. 247. ...*касается до собора в Глостере.* — В № 22 Свифт с уточнением места повторил то же обвинение, что и в № 18, — в осквернении алтаря, совершенном Уортоном; теперь он с издевательским смирением признает, что уличен в ошибке.

№ 26

С. 249. ...*отнесли ее авторство на счет одного на редкость остроумного джентльмена...* — Свифта.

С. 251. ...*нынешний лорд-хранитель печати...* — Сэр Симон Харкорт (1661—1727), знаменитый юрист, выступал обвинителем на процессе Г. Сэчверелла (см. прим. к № 15); не имел отчетливой

партийной позиции — «улаживающий (Trimming) Харкурт», по выражению Свифта.

Лорд-президент Тайного совета — Лоренс Гайд, граф Рочестер (1641—1711); его отцом был граф Кларендон, глава правительства в первые годы Реставрации и первый значительный английский историк нового времени; сестра Рочестера вышла замуж за герцога Йорка, будущего Якова II; сам он приходился дядей королеве Анне.

Социнианство — признанное еретическое учение Лелия и Фауста Социна (XVI в.), согласно которому Христос — обыкновенный человек; своей рационалистичностью повлияло на развитие европейского деизма, и в частности на Джона Локка.

Джон Толанд (1670—1722) — английский философ-материалист; у Свифта не раз встречаются резкие выпады против него и других светских вольнодумцев.

С. 252. *Нынешний министр двора* — эту должность (Lord Steward) в это время исполнял Джон Шеффилд, герцог Бекингем и Нормэнби (1648—1721); он был также поэтом, покровителем Джона Драйдена; в этом — литературном — качестве более известен под своим первоначальным титулом графа Малгрейва. Его предшественником в должности был Уильям Кавендиш, герцог Девоншир (дед великого физика); замечание Свифта об ораторском искусстве предшествующего министра двора, возможно, вызвано тем, что он был одним из тех, кто поднял народное возмущение против Стюартов в 1688 г.

Герцог Шрусбери, Чарлз Толбот (1660—1718) — он занимал в это время придворный пост лорда-камергера (Lord Chamberlain). Один из первых по родовитости вельмож Англии, Шрусбери был известен своей честностью, что делало его желанным кандидатом на многие высшие придворные и государственные должности, от которых он нередко отказывался или, даже приняв, вскоре подавал в отставку, предпочитая уединение. Его человеческий образ воспринимался как эксцентрический и таинственный. За два дня до своей смерти королева Анна, отобрав белый жезл лорда-казначея у Оксфорда, вопреки ожиданиям интриговавшего Болингброка передала его Шрусбери; выбор оказался верным, ибо Шрусбери, избежав каких-либо волнений в стране, обеспечил наследование короны Ганноверской династией, от которой также удостоился высших должностей.

Мистер Харли — Роберт Харли, с мая 1711 г. граф Оксфорд и Мортимер (1661—1724), происходил из семьи, издавна занимающей места в палате общин. Именно в нижней палате парламента Харли и выдвинулся вначале как лидер группы старых вигов (многие из них впоследствии перешли к тори), а позже как спикер. В августе 1710 г. сменил Годолфина на посту канцлера казначейства, см. также прим. к «Исследователю», № 44. Политической линией Харли была умеренность и желание стоять над партийной борьбой. Ярко одарен-

ным человеком он не был; но был образован, политически умудрен, проницателен. Свифт затрудняется найти у него человеческие недостатки (кроме тех, что лишь оттеняют его добродетели), но по крайней мере один порок за ним был известен: Харли любил выпить, в последние месяцы своего министерства появляясь даже в покоях королевы в состоянии, мало способствующем решению государственных дел.

Милорд Дартмут — Уильям Лег, граф Дартмут (1672—1760), о нем см. прим. к «Зрителю», № 3.

С. 253. *Мистер Сен-Джон* — Генри Сен-Джон, с июня 1712 г. виконт Болингброк (1678—1751), общественный деятель, публицист, историк. Человек, разносторонне одаренный, в двадцать два года — член парламента, в двадцать шесть — военный министр, в тридцать два — государственный секретарь, чья карьера закончилась в тридцать шесть лет бегством во Францию ко двору Претендента. Чувство соперничества, которое тщеславный Болингброк все время испытывал к Оксфорду, приводило к конфликтам между министрами; Свифту не раз выпадала трудная миссия миротворца.

№ 44

С. 255. *Теперь, когда долгая, затянувшаяся из-за ряда обстоятельств... сессия парламента подходит к концу...* — Весенние месяцы 1711 г. были временем окончательного укрепления нового министерства, поводом чему послужило происшествие, едва не стоившее жизни Р. Харли. 8 марта французский эмигрант маркиз де Гискар, допрашиваемый в Тайном совете, нанес ему два удара ножом — рана оказалась опасной; на несколько дней были прерваны заседания палаты общин. По удачному для Харли стечению обстоятельств в начале мая умер граф Рочестер, ему не благоволивший, и путь к милостям королевы, чувствовавшей себя обязанной министру, едва не распрощавшемуся с жизнью, был открыт. 24 мая Харли получает титул графа Оксфорда и Мортимера; 29-го — белый жезл лорда-казначея. За этим последовал ряд перемен в министерстве.

С. 256. *«Палатинцы»* — жители области на Рейне, которая называлась со времен средневековья Палатинатом или позже — курфюршеством Пфальц, часть современной Баварии. Исповедующие протестантскую религию, жители ее пострадали от имперских войск, хотя и союзных англичанам, которые сочли себя обязанными помочь «палатинцам» деньгами и принять эмигрантов. Последнее решение и вызвало в стране волнения, тем более что приезд тысяч людей пришелся на неурожайные годы.

С. 257. *Бывший министр финансов* — граф Оксфорд, к этому

времени уже оставивший пост в связи с получением высшей в стране должности лорда-казначая.

...несколько месяцев назад он склонил ее величество пожаловать ирландскому духовенству право на первые плоды и десятину... — Свифт со слов министров считал дело, ради которого он и прибыл в 1710 г. из Ирландии, решенным благодаря Оксфорду: «...дело с первинами завершено... Герцогу Ормонду велено упомянуть о том, что они дарованы, в речи, которую ему предстоит произнести в вашем парламенте, а я настоятельно прошу вас сказать при случае, что лорд-казначей Харли сделал это еще много месяцев тому назад, задолго до того, как герцога назначили лордом-наместником» (Дн., с. 162).

Однако Свифт ошибался: дело не было решенным; более того, как ему не удалось ничего добиться с помощью его прежних покровителей-вигов, так же тщетными оказались его ходатайства при поддержке друзей-тори.

Дж. Аддисон. Эссе из журнала «Фригольдер»

№ 54

С. 261. *...способствовал возвеличению короля-католика...* — Невнимание Якова I к флоту позволило Испании вернуть себе значение морской державы, ею утраченное после гибели Великой армады в 1588 г.

С. 263. *...тори вынуждены прибегать к сим законам в поисках защиты и убежища...* — Тори, обвиненные в государственных преступлениях после смерти Анны, прибегали к закону (Habeas Corpus Act), регулирующему порядок предъявления обвинений и предварительного лишения свободы; он был в окончательном виде принят в 1679 г. и ставился вигами себе в заслугу.

№ 19

С. 264. *Маршал де Креки* — Шарль де Креки де Бланшефлер, герцог Ледигьер (1578—1638), французский полководец.

«Исследователь» — см. о нем выше, прим. к эссе из этого журнала Свифта.

№ 22

С. 267. *Со времен Революции.* — Т. е. с. 1688 г.

...он из Охвостья. — Этим словом, впервые применявшимся к одному из парламентов при Кромвеле, тори окрестили парламент 1715 г., где резко сократилось представительство их партии.

...не было ни одного хорошего закона, кроме закона об охоте. — Среди законов, охранявших охотничьи права землевладельцев, один из самых строгих принят в 1692 г.

С. 268. *Джон Дайер* — один из тех, кто в эпоху ежедневных газет еще поддерживал отживающий обычай рукописных «новостей», бывших по вкусу не любящему нововведений сквайру. Это был в течение долгого времени оракул деревенских «джентльменов из крайних тори», — писал В. Скотт в «Уэверли».

С. 269. *«нет ни единого пресвитерианина, кроме епископа».* — Как пишет английский историк Дж. М. Тревельян, если сельские священники «чаще твердили о короле-мученике Карле I, чем об Иисусе Христе», заражая прихожан фанатизмом, то «главным образом в Лондоне имелось влиятельное меньшинство англиканского духовенства, проповеди которых — весьма гуманные, ученые и красноречивые — заслуженно высоко подняли среди всего населения репутацию церкви и ее кафедры» (Дж. М. Тревельян. Социальная история Англии. М., 1959, с. 284—285). Проповедники этого рода, чаще всего встречавшиеся среди епископов, и заслужили презрение сквайра.

...в деревянной нашей ограде... — Сквайр имеет в виду флот, который тори предпочитали постоянной армии, обременяющей сельских джентльменов налогами и постоями.

Дж. Арбетнот. Искусство политической лжи

9 октября 1712 г. Свифт писал: «Арбетнот прислал мне из Винзора славное «Рассуждение касательно лжи», и я велел типографу прийти за ним. Его полное название — «Предложение о напечатать примечательного сочинения под названием «Искусство политической лжи в двух томах и пр.». А дальше следуют извлечения из первого тома, весьма напоминающего памфлеты под названием «Труды ученых мужей» (Дн., с. 326). В духе пародийных «Трудов», упоминаемых Свифтом, и выдержан памфлет Арбетнота, развивающий свифтовскую тему — № 14 журнала «Исследователь» (см.).

С. 273. *Катоптрика* — раздел оптики, изучающий законы отражения зеркальными поверхностями.

С. 274. *...в районе Биржи...* — Т. е. в кругу деловых людей Сити, противопоставленных политикам из Вестминстера, где расположен парламент.

...слава победы, одержанной в сражении одним лицом, может быть присвоена другим... — «Имеется в виду эпизод в войне за Испанское наследство. 28 сентября 1708 г. соединение союзников численностью около 6000 человек, конвоировавшее транспорт с боеприпасами и продовольствием для войск, осаждавших город, Лилль (Франция), было атаковано французскими войсками, превос-

ходившими его втрое по численности. Благодаря умелому командованию английского генерала Уэбба все атаки французов были отбиты, и они отступили с большими потерями. Однако секретарь главнокомандующего английскими войсками герцога Мальборо в сообщении в Англию приписал победу любимцу герцога генералу Кадогану, который подоспел с несколькими кавалерийскими эскадронами к месту сражения, когда оно было уже окончено» (Ю. Д. Левин, М. А. Шерешевская. Примечания. — В кн.: Дж. Свифт. Памфлеты. М., 1955, с. 331—332).

С. 278. ...автор исследует благонамеренную, но злополучную ложь о победе над Францией... — Требование вигов вести войну до полной победы над французами, — победы, уже близкой.

С. 279. ...моряки и солдаты из гоститалей Гринвича и Челси. — В Гринвиче, городке неподалеку от Лондона (теперь его пригород), и в районе самого Лондона — Челси — расположены богадельни для старых моряков и солдат.

С. 280. *Пресуществление* — догмат католической церкви, согласно которому во время таинства причастия освященные хлеб и вино превращаются в плоть и кровь господни. Хотя протестанты, отвергнув большинство из семи таинств, сохранили это (наряду с крещением), но в духе рационализма толковали его лишь как символ, не имеющий силы, если он не подкреплён верой.

С. 281. *Уоппинг* — см. прим. к «Истории Джона Булла» Дж. Арбетнота, с. 475.

ПОРАЖЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Война за Испанское наследство закончилась для Англии в марте 1713 г. Утрехтским миром. Это был победный мир, в котором англичане диктовали условия поверженной Франции. Однако времени праздновать свой успех у тори почти не оставалось. И дело даже не только в том, что срок их правления неизбежно истекал со смертью тяжело больной королевы, ибо будущий наследник — ганноверский курфюрст — не без основания полагал, что многие лидеры партии предпочитают ему Претендента из Стюартов; дело еще и в том, что с окончанием войны тори утратили свой главный лозунг, объединявший партию, делавший ее популярной.

Цель была достигнута. Войска сворачивали знамена, а некоторые публицисты — свои издания, как это делает Дефо: десять лет он вел политическое «Обозрение» и прекратил его сразу же по заключении мира.

Когда в январе 1712 г. королева посланием уведомила парламент о том, что «ведет переговоры касательно заключения мира» (Дн.,

с. 271), Свифт сообщал об этом не только с удовлетворением — с гордостью. Разве не его памфлет-исследование «Поведение союзников» способствовал такому решению монархини и подготовил к нему общественное мнение? Памфлет напечатан в ноябре 1711 г., а спустя два месяца понадобилось 6-е издание, всего к январю разошлось 11 тысяч экземпляров. А перед читателями был уже новый памфлет Свифта — «Несколько замечаний касательно договора о барьере».

Свифт мог считать этот мир своим детищем не в меньшей мере, чем его друг, поэт и дипломат Мэтью Прайор, который вел переговоры и по чьему имени этот мир окрестили в Англии «миром Мэта». Свифт тоже готовил заключение мира и теперь отстаивает его необходимость. Он нападает, обороняется, и обороняться приходится все чаще, ибо времена изменились. И Свифт и Дефо считают нужным именно теперь рассказать, как же все было на самом деле.

Если «Гражданский дух вигов» написан еще пером памфлетиста, то два других сочинения этого раздела скорее — пером историка.

Дж. Свифт. О гражданском духе вигов и пр.

Памфлет возник в ответ на памфлет Р. Стила «Кризис», бывший патетическим предостережением английской нации по поводу того, что опасность не миновала, что условия мира, и без того не слишком выгодного для Англии, не соблюдаются французами.

К этому времени прежние дружеские отношения Свифта со Стилом, в журнале которого «Болтун» он участвовал и для которого Стил позаимствовал у него литературную маску Исаака Бикерстафа, окончательно испортились. Особая резкость обозначилась в них с лета 1713 г., когда в политическом журнале Стила «Опекун» (№ 128, 7 августа) было провозглашено требование выполнить условие мира — принудить французов разрушить укрепления Дюнкерка.

Вопрос об этом порте-крепости был особенно важным для англичан. Дюнкерк являлся важным стратегическим пунктом, из которого не раз предпринимались и могли предприниматься впредь попытки вторжения в Англию. Вот почему Кромвель отвоёвал его, но затем Карл II в 1662 г. продал его французам; это считалось более чем неосмотрительностью — актом измены. По Утрехтскому договору, укрепления Дюнкерка следовало уничтожить, что французы не торопились сделать.

За выпадом в журнале последовал памфлет Стила «Размышления о важности Дюнкерка. В защиту «Опекуна» от 7 августа. В письме к бейлифу Стокбриджа» (именно от Стокбриджа Стил несколькими месяцами ранее был избран в палату общин).

«Опекуну» отвечал «Исследователь», Стилу — Свифт, в октябре выпустивший свой памфлет «Размышления о важности «Опекуна». И наконец, в ответ на «Кризис» («Кризис: несколько современных замечаний по поводу опасности папистского наследования») в фев-

рале 1714 г. появился памфлет под таким полным названием: «О гражданском духе вигов, побудивших к сему своей щедрой поддержкой автору «Кризиса», и с несколькими замечаниями относительно своевременности, искренности, эрудированности и стиля, явленных в этом трактате».

Этими двумя сочинениями с их необъективностью, с их желанием приписать все дурные намерения и совершенные преступления членам противоположной партии (не замечая аналогичных в собственной) отмечен пик «памфлетной войны». Полемический дар Свифта здесь явлен во всем блеске, перед ним не может устоять высокопарная патетика Стила, но, зная все факты, нельзя кого бы то ни было признать победителем в этой полемике. Впрочем, едва ли и сам Свифт, обвиняя вигов в связях с Претендентом, предполагал, что гораздо крепче с ним связан Болингброк, который менее чем через год и займет пост государственного секретаря при эмигрантском дворе в Лоррене.

Оба памфлета были официально осуждены. Стил предстал перед парламентом и был изгнан из него. Памфлет Свифта вышел анонимно, и, хотя ни для кого не было секретом, кто автор и где его искать, была объявлена солидная награда (100 фунтов) тому, кто его укажет. Никто, разумеется, Свифта не собирался разыскивать и арестовывать, поскольку он действовал с согласия министров и в защиту правительства.

С. 285. *Из всех пишущих радетелей сей стороны мне на память приходят лишь трое...* — Подробнее об английской журналистике см. прим. к журналу «Зритель». «Летучая почта» была одной из полутора десятков лондонских газет (издатель — Джон Ридпат), возникших сразу же по истечении действия Закона о цензуре в 1694 г. Слово «почта» было самым популярным для названия, ибо напоминало о еще более привычных рукописных «новостях». Первые газеты нередко выходили на двух листах, второй из которых оставался чистым — для письма.

С. 286. «Голландская газета» — издававшийся в Амстердаме («Газета Амстердама») антиторийский орган.

Граф Ноттингем — о нем см. прим. к «Истории Джона Булла» Дж. Арбетнота, с. 474. Свифт посвятил ему несколько своих памфлетных выступлений.

«Англичанин» — политическая газета, в 1713—1715 гг. неоднократно возобновляемая Стилом.

С. 288. *Свида* (точнее, *Суда*) — византийский словарь-энциклопедия (X в.), название которого долгое время принимали за имя составителя.

С. 289. *Граф Страфффорд*, Томас Уэнтворт (1593—1641) — основ-

ной проводник абсолютистской политики первых Стюартов; казнен по требованию парламента. Так же как и в случае с сэром Джоном Фенвиком, организатором заговора против Вильгельма III в 1694 г., приговор вынесен в обход существующей юридической процедуры — обвинительным актом, подписанным королем.

С. 289. Юрисдикция *архиепископа Кентерберийского*... — Хотя он и является примасом англиканской церкви, но его непосредственная власть ограничена пределом его архиепископства, ибо глава церкви — король Англии.

С. 291. *Епископ Сарумский* — Джилберт Бернет (1643—1715), епископ Солсберийский (как чаще обозначается это церковное звание), известный историк, мемуарист, плодовитый писатель по различным, в том числе и полемическим, вопросам веры, в которых всегда выказывал себя приверженцем умеренности.

С. 292. *Моулсворт, Роберт* — ирландский виг, удаленный из Тайного Совета Ирландии по обвинению в богохульстве и оскорблении церковнослужителей. Стил взял его под защиту в «Англичанине» (№ 46).

Lucius Florus — Луций Анней Флор (2 в.) — древнеримский историк, автор высокопарных компиляций.

С. 294. *Сэчверелл* — о нем см. прим. к журналу «Исследователь», № 15.

С. 297. ...к приему, именуемому логиками «двумя средними посылками»... — Ошибка суждения, сочетающего два высказывания, не дающих возможности перейти к связующему их заключению.

С. 298. *Брентфордский король* — персонаж фарса «Репетиция», см. прим. к «Зрителю» (№ 3).

С. 299. *Нынешний лорд-канцлер* — Симон Харкерт, о нем см. прим. к журналу «Исследователь», № 26.

Стэнхоп, Джеймс — с 1708 г. командующий войсками в Испании; как и священник Бенджамин *Хоудли* — сторонник вигов.

С. 302. *Бромли*, Уильям — в 1713 г. сменил на посту государственного секретаря графа Дартмута.

С. 303. ...*некий министр*... — Граф Сидни Годолфин.

С. 304. ...с весьма почтенным государственным мужем... — Джон Сомерс (1651—1716), лорд-канцлер в правительстве вигов, которому одно время Свифт был близок и даже посвятил ему свой лучший памфлет «Сказка бочки».

Комментарий

С. 305. *...почерпнутые из фуллеровских историй...* — т. е. из книг известного церковного историка-роялиста Томаса Фуллера (1608—1661).

С. 306. *Сэр Томас Хэнмер* (1677—1746) — тори, однако отказавшийся от поста в правительстве Харли и возглавивший группу «проганноверских тори», отстаивающих законность передачи трона Георгу, курфюрсту Ганновера (см. табл., с. 464).

С. 311. *...некоему джентльмену... который... увещевал герцога...* — В правительстве вигов и лорд-канцлер Сомерс, и лорд-казначей Годолфин, известная своей осмотрительностью, увещевали Мальборо не требовать пожизненных полномочий; Свифт, вероятно, подразумевает Сомерса.

С. 312. *Граф Страффорд* — Томас Уэнтворт, лорд Рэби, а с 1711 г. граф Страффорд, полномочный посол в Гааге, завершал переговоры и подписывал мирный договор в Утрехте.

Бушен, Дуэ — укрепленные пункты французской обороны, взятые союзниками в 1709—1710 гг. с большими усилиями и без большой для себя пользы.

Герцог Орионд, Джеймс Батлер (1665—1745) — после отставки Мальборо в 1712 г. назначен главнокомандующим английскими войсками; после падения тори бежал и умер в изгнании.

С. 313. *...при взятии Турина...* — В 1706 г. в результате победы, одержанной Мальборо при Ромильи, принцу Евгению Савойскому удалось заставить французов снять осаду с Турина.

С. 315. *...христианнейший король...* — Титул, в XV в. дарованный французским королям папой.

С. 317. *Барселона* — город был взят союзниками после осады и штурма в октябре 1705 г.

С. 322. *Тоби* — задиристый пес из народного фарса о Панче (Петрушке).

С. 323. *Месье Тюге* — член магистрата Дюнкерка, автор петиции против разрушения укреплений города.

Дж. Свифт. Несколько непредвзятых мыслей... (Впервые опубликовано в 1741 г.)

С. 326. *...иноземный дипломат...* — Жан-Батист Кольбер, маркиз де Торси (1665—1746), руководитель переговоров с французской стороны, министр иностранных дел.

С. 330. *...королева... призвала на службу нации иных людей...* — Подразумевается приход к власти тори в 1710 г.

С. 331. *«Непостоянные»* — группа вигов, поддерживавшая в парламенте тори и, подобно им, претендовавшая на то, чтобы выразить интересы сельских джентльменов.

С. 332. *Октябрьский клуб* — группа из полутораста наиболее непримиримых тори, членов палаты общин, преимущественно сельских сквайров; они собирались в таверне «Колокол», где проводили время за кружкой октябрьского эля. По другой версии, название возникло в память окончательного прихода тори к власти в октябре 1710 г. На них делал ставку Болингброк; Свифт же, поддерживая более умеренную линию Оксфорда, пытался увещевать их еще в конце 1712 г., обратив к ним «Совет... членам Октябрьского клуба».

С. 335. *Команда корабля, затеявшая свару...* — Разногласия между Оксфордом и Болингброком, сказывавшиеся с самого начала и все более усугублявшиеся.

С. 339. *...некое достаточно значительное лицо...* — Свифт имеет в виду себя.

С. 340. *Мистер Лесли* — см. прим. к № 15 журнала «Исследователь».

С. 342. *Старая курфюрстина* — Софья, мать будущего короля Георга I.

С. 345. *...разговаривать со своими подданными через переводчика.* — Как сообщает в своих воспоминаниях о восшествии на трон Георга I леди М. У. Монтегю: «Он по-английски не знал и вышел из возраста, когда мог бы научиться». Это, конечно, стало одной из причин произведенного им неблагоприятного впечатления на своих подданных, среди которых (сообщает прусский посол в Лондоне) предпочтение Стюартам распространилось более за первые восемь месяцев царствования Георга, чем за предшествующие четыре года пребывания тори у власти. Его сын, Георг II, по воспоминаниям графа Честерфилда, «очень правильно говорил по-английски, но все же с иностранным акцентом».

Д. Дефо. Призыв к Чести и Справедливости

Памфлет вышел из печати в январе 1715 г.; его полное название: «Призыв к Чести и Справедливости Дэниела Дефо, даже и к его злейшим врагам. Содержит правдивый отчет его участию в общественных делах».

Комментарий

С. 349. *Приметы брэнности и немощь...* — В момент выхода в свет памфлета Дефо был болен — последствия перенесенного им в середине ноября апоплексического удара, заставившего, возможно, прервать работу над «Призывом».

С. 351. *Деловые неудачи удержали меня...* — В 1692 г. торговые операции завершились банкротством Дефо с долгом в 17 тысяч фунтов.

С. 355. *В сем перевороте пала партия сэра Эдварда Сеймура...* — Влиятельный и крайний тори Э. Сеймур был удален от дел в апреле 1704 г., незадолго до назначения Харли государственным секретарем. В этот момент Харли и лорд-казначей Годолфин согласно исповедовали политику умеренности, свободной от крайностей обеих партий. Однако, несмотря на их противодействие и на торийские симпатии королевы, все более усиливаются ратующие за войну виги, министерские посты переходят в руки Хунты. В ходе борьбы за власть происходит окончательное разделение и внутри самой партии: новые виги — сторонники министров, и старые — оппозиционеры, отстаивающие принцип равновесия между королем и парламентом. Многие из тех, кто причислял себя к старым вигам, подобно Харли и Свифту, переходят к тори.

С. 356. *...мне передали слова одного влиятельного лица...* — Роберта Харли, судя по письму Дефо к нему (9.XI.1703), ранее они не были знакомы и связаны.

...евангельской притчей о слепце... — Лука, 18, 41.

...дело было передано некоему лицу... — Графу Ноттингему (о нем. см. прим. к «Истории Джона Булла», с. 474). Еще в июле месяце 1703 г., до того как приговор — выставить его у позорного столба — был приведен в исполнение, Дефо нашел способ через Уильяма Пенна (основателя Пенсильвании) обратиться к лорду-казначею Годолфину и королеве, предлагая свою службу и обещая чистосердечное признание. Его исповедь была сочтена королевой не содержащей в себе ничего значительного, а дело его тогда же и было оставлено на усмотрение Ноттингема. Впоследствии Дефо был представлен королеве в августе 1704 г.

С. 357. *...я удостоился чести исполнить несколько почетных, хотя и тайных поручений...* — Кроме того, что с февраля 1704 г. Дефо издавал поддерживающую правительство политическую газету «Обозрение», он, видимо, сыграл важную роль в подготовке Унии с Шотландией, куда он отправился в сентябре 1706 г. и где пробыл до января 1708 г. Во все время его пребывания в северной части королевства в Лондоне дважды в неделю продолжало выходить «Обозре-

ние», для которого Дефо, единственный его автор, переправлял материалы.

С. 358. Когда... *государственный секретарь был отрешен от должности...* — В результате разногласий между Р. Харли, с одной стороны, и Годолфином и Мальборо, с другой, Харли в феврале 1708 г. оставил должность государственного секретаря.

...милорд Годолфин... вновь представил меня королеве... — В марте 1708 г.

С. 359. *Так я попал в Шотландию.* — В этот раз Дефо отправился туда в конце марта и прибыл в Эдинбург 17 апреля. В сентябре он возвратился в Лондон.

С. 362. *...когда милорд Годолфин был отстранен от должности...* — 8 августа 1710 г., что стало знаком решительных перемен в правительстве и прихода к власти тори.

С. 363. *Никто не может заявить, будто я когда-нибудь поддерживал сей мир.* — Эго не так: в «Обзрении» и памфлетах Дефо, проводя линию министерства, поддерживал мир.

С. 365. *Затем я долго пребывал на севере Англии...* — Т. е. в Шотландии с сентября 1712 по январь 1713 г.

С. 367. *...я, сражавшийся с оружием в руках на стороне герцога Монмута...* — Теперь Дефо не боится признаться в своем участии (июнь—июль 1685 г.) в восстании «протестантского герцога», ибо это свидетельствует о его давней неприязни к Стюартам.

За эти сочинения я был привлечен к суду... — В апреле 1713 г. против Дефо было выдвинуто обвинение в связи с публикацией им в феврале—апреле трех памфлетов, содержащих клевету и измену при обсуждении вопроса о переходе трона к Ганноверской династии. Поскольку первый из них назывался «Доводы против восшествия на престол Ганноверской династии...», то обвинение могло показаться обоснованным, однако Дефо возмущенно оправдывался тем, что его слова искажают, преднамеренно не замечая иронии, обычной для него мистификации, когда он говорит с чужого голоса. Освобожденный под залог, он усугубил прежние провинности нападками на верховного судью и вновь оказался под стражей. Только то, что в эти месяцы заключения Утрехтского мира Оксфорд был в силе и пользовался влиянием на королеву, спасло Дефо.

С. 379. *Две книги... были приписаны мне...* — Дефо имеет в виду две части памфлета «Потаенная история Белого Жезла, содержащая отчет о состоянии дел при недавних министрах и о том, что по всей вероятности могло бы произойти, если бы королева не умерла».

Появившиеся в октябре обе части пользовались популярностью и переиздавались; третья вышла почти одновременно с «Призывом». Вопрос об авторстве остается открытым, а отрицание самого Дефо не может считаться решающим аргументом, ибо, вопреки его утверждению, далеко не все, что выходило из-под его пера и печаталось в это время, носило его имя.

«*Торговец*» — «Торговец, или возвращенная Торговля...», журнал, издаваемый Дефо с мая 1713 по июль 1714 г. Как еще справедливо заметил биограф писателя У. Ли, хотя Дефо и не был единственным автором журнала, но идеи, в нем выраженные, безусловно, принадлежали ему и «вынашивались им много лет».

С. 380. *...девятая статья договора о торговле...* — Этот договор был одним из документов, подписанных в Утрехте; далее Дефо излагает смысл не девятой, а седьмой статьи соглашения.

С. 382. *...я решил возражать и стал писать против них...* — Никаких документальных свидетельств, подтверждающих слова Дефо, не сохранилось.

С. 383. «*Наблюдатель*» — журнал Джона Татчина, убежденного вига, но находившегося в те годы в оппозиции к вигскому министерству и Хунте; так что его выпады были не менее резкими, чем они будут в «Исследователе» Свифта или в «Почтальоне», издаваемом с 1695 г. *Авелем* Роупером, приверженцем тори, журналистом, падким на всякого рода недостоверные и низкие измышления.

С. 384. *В «Примечаниях» мистера Пула...* — «Примечания к Священному писанию» М. Пула (1685).

С. 385. *Имя шестерых детей...* — Два сына и четыре дочери.

«*Летучая почта*» — Издание Джорджа Ридпата, одного из тех журналистов, по чьему доносу Дефо был привлечен к суду в апреле 1713 г.

С. 386. *Дополнение издателя.* — По всей вероятности, написано самим Дефо.

НОВЫЕ ЛЮДИ

Обычным самообозначением англичан на рубеже XVII—XVIII вв. стало выражение «торговая нация», или даже, поскольку слово «trade» имело очень широкое значение, «деловая нация».

Именно в Англии во второй половине XVII в. закладываются основы нового мышления и его теория — политэкономия. Избран-

ные труды ее создателей Т. Мена, У. Петти, Д. Норта, ценимые К. Марксом, были изданы по-русски в 1935 г. в «Библиотеке истории экономической мысли». Сборник назывался «Меркантилизм», но, по сути, в составивших его работах уже преодолевается устаревшее убеждение, что экономическая мощь страны зависит от накопленных богатств, ибо под богатством начинает пониматься не лежащее мертвым грузом золото, а широта промышленного производства и торгового обмена.

На пути развития промышленности и торговли в стране было немало препятствий, в том числе и облеченных в форму разнообразных предрассудков. Обычное дворянское высокомерие, хотя и принявшее под пером Поупа изящную форму афоризма: «Человек, обладающий утонченным умом (дословно: остроумием — wit), способен заниматься делом (business), но он выше этого. Скакун благородных кровей способен ходить под грузовым седлом так же, как и осел, но он слишком драгоценен для этой грязной работы».

Такое убеждение устаревало, но оставалось достаточно прочным, чтобы дать повод Аддисону сожалеть о бесполезности младших сыновей, чей обобщенный образ он создал в портрете Уилла Уимбла.

Предрассудки деловых людей мешали применению научных идей, изобретений, которые требовали, чтобы деловой человек был образован. Это оставалось редкостью.

Характер деловой среды был таков, что предубеждение против нее честного человека имело под собой немало оснований. Причем расширение ее сферы с возрастанием размаха операций это предубеждение не рассеивало, напротив, превращало в осуждение самого возникающего общества — буржуазного по своей природе. Так, Свифт, начавший свое участие в журнале «Исследователь» (№ 13) с признания делового жаргона покровом «дьявольской тайны», придет к обличению деловой нации — самой новой Англии.

Далеко не все были настроены так же непримиримо, даже если и полагали, что существующее положение дел далеко от идеала. К нему следует стремиться, а потому не ограничивать себя осуждением делового человека, которому требуется наука. Его надо учить. Эту миссию принимает на себя Дефо.

Среди его огромного наследия немало трактатов, памфлетов, касающихся деловой жизни. Одну из своих поздних работ — «План для английской коммерции» (1728) — он открывает такой фразой: «О торговле, как и о религии, болтают все, но мало кто понимает».

Дефо стремится углубить это понимание, чтобы рассеять то, что Свифту и многим, кроме него, казалось «дьявольской тайной».

Д. Дефо. Протест фригольдеров против биржевых спекуляций

Памфлет появился в начале 1701 г. в ряду других выступлений Дефо против попыток тори путем подкупа усилить позиции Новой

Ост-Индской компании, созданной в 1698 г. в противовес старой, находящейся в руках вигов.

С. 389. *Фригольдер* — см. прим. к след. эссе Аддисона.

Д. Дефо. Совершенный английский торговец

Первоначально в 1725 г. появился первый том этой книги, рассчитанный на начинающего дельца. Работа над книгой продолжалась в течение последующих лет, когда первый том был переиздан, дополнен вторым, обращенным к торговцу независимо от его возраста, и, наконец, в 1728 г. оба тома вышли вместе. На протяжении всего века, в то время как многие другие сочинения Дефо предавались забвению, «Совершенный торговец» продолжал иметь успех.

Дж. Аддисон. Эссе из журнала «Фригольдер», № 1

В средневековой Англии фригольдером считался всякий крестьянин, свободно владеющий землей. В XVIII в. этот феодальный смысл расширяется, и слово начинает обозначать всякого, кто обладает собственностью, приносящей ему не менее 40 шиллингов годового дохода, дающих право принимать участие в парламентских выборах. Как полагает редактор современного комментированного издания журнала Дж. Лини, Аддисону важен и старый смысл слова, подразумевающий прежде всего землевладельца: «Называя свой журнал «Фригольдером» и выступая в нескольких эссе под маской жителя графства, обладающего избирательным правом, Аддисон, вероятно, претендует на то, чтобы говорить от имени среднего независимого избирателя и дать соответственно понять, что, исходя из результатов последних выборов в парламент, партия тори больше не является партией мелких землевладельцев». А значит; приобретя голоса фригольдеров, виги окончательно утвердились как партия, представляющая интересы всей страны.

С. 411. *Я говорю о законе...* — Закон, дающий право правительству забирать земли у мятежных владельцев и передавать их новым, доказавшим свою лояльность, был предложен в палате общин 10 августа 1715 г. и одобрен королем 30 августа 1715 г. И принятие этого закона, и само издание Аддисоном журнала, претендующего на то, чтобы стать мнением всей страны, становятся понятнее, если вспомнить, что время издания «Фригольдера» — время якобитского мятежа с целью вернуть трон Стюартам. Журнал прекращает свое существование с окончательным подавлением мятежа.

Дж. Свифт. Беглый взгляд на положение в Ирландии

Большую часть жизни Свифт провел в Ирландии: там он родился, закончил Дублинский университет и туда же уехал, полу-

чив в 1713 г. должность декана главного собора ирландской столицы — собора Святого Патрика. Три последние десятилетия своей жизни Свифт почти безвыездно провел в Дублине. Здесь он стал свидетелем новой колониальной политики Англии. Pamфлет теперь — единственное оружие писателя, и к нему он неоднократно прибегает, навлекая на себя гнев правительства, прекрасно знающего, кто автор мятежных «Писем суконщика». Однако тронуть его не решались, ибо, как предупреждали Роберта Уолпола, арестовать Свифта в Дублине — для этого недостаточно и десяти тысяч солдат. Pamфлет написан и опубликован в 1728 г.

С. 413. *В последнее время, как меня уверяют...* — В первом абзаце Свифт иронически говорит об Англии, якобы процветающей под властью победивших вигов и их первого министра Уолпола. Дав в 1724—1725 годах своим противникам почувствовать всю свою силу в памфлетах о положении дел в Ирландии, писатель дважды (в 1726 и 1727 гг.) приезжает в Лондон, надеясь здесь найти применение своим талантам. В первый приезд он публикует «Путешествия Гулливера». И все-таки его надежды тщетны: его ненавидят и предпочитают опасаться издалека — из Ирландии, а не иметь у себя под боком. Свифт покидает Лондон, теперь уже навсегда.

С. 416. *Навигационный акт* — закон, первоначально принятый после закрепощения Ирландии Кромвелем в 1651 г. и затем неоднократно ужесточавшийся. Согласно ему, Ирландия была лишена права самостоятельной торговли. Свифт перечисляет этот закон в числе других, ущемляющих страну и ведущих ее к разорению.

Уитшед, Уильям — Верховный судья Ирландии, председателем служивший в 1724 г. в суде над издателем свифтовских «Писем Суконщика» Гардингом, который, несмотря ни на что, был оправдан присяжными.

С. 417. *Остров Мэн* — остров в Ирландском море и до сих пор сохраняющий статус государственной независимости, хотя он и входит в состав Великобритании.

С. 418. *Корк* — порт на юге Ирландии; в XVII—XVIII вв. он вырастает в важный торговый и промышленный центр страны.

...как шитовник из Гластенбери... — Согласно средневековому историку Уильяму Мальмсберийскому (XII в.), основателем знаменитого аббатства в Гластенбери был Иосиф Аримафейский, посланный с проповедью христианства. Согласно легенде, посох святого, воткнутый в землю, на рождество превращается в цветущий куст.

С. 420. *«Праздны вы, праздны»* — Исход. V, 17. Эта фраза в тексте Библии произнесена фараоном, приказавшим, чтобы израильтяне, которые изготовляли кирпичи, продолжали выполнять прежний урок, хотя им и перестали выдавать необходимую для этого солому.

ФИЛОСОФСКИЙ ЭПИЛОГ

А. Поуп. Опыт о человеке

К «Опыту о человеке» Александр Поуп (1688—1744) приступил в начале тридцатых годов, уже стяжав славу лучшего современного поэта во всех жанрах. И все-таки у него было немало причин, по которым он предпочел не ставить своего имени под новым произведением и выпустил его в свет анонимно.

«Опыт о человеке» — центральное произведение для Поупа в тот достаточно долгий и плодотворный период его творчества, который начался в середине двадцатых годов с возвращением Болингброка, с посещением Лондона Свифтом (подробнее см. вступительную статью, с. 32—33). Предшествующее десятилетие — после смерти королевы Анны — Поуп провел вдаль от современности, переводя Гомера, редактируя Шекспира.

С возвращением друзей он прервал молчание и заговорил как сатирик. Этот период открывается и завершен «Тупицадой» (или по-английски — «Дунсиадой»: от *dunce* — тупица), первое издание которой выходит в 1728, а последнее, расширенное в 1743 г., за год до смерти поэта. «Опыт» возникает в окружении сатир (большинство из них — в подражание Горацию), сатирических посланий, пять из которых составили книгу «Моральные опыты».

Своим тоном и предметом высокого философского рассуждения «Опыт о человеке» противостоит этим произведениям и в то же время с ними тесно связан. Поуп подчеркивал существование между ними связи, заставляющей рассматривать их как единое целое. Существует свидетельство тому, что «Опыт о человеке» в настоящем виде — это лишь первая книга произведения того же названия, но гораздо более обширного, задуманного и не написанного автором.

Создавая и выпуская в свет поэму, Поуп хотел, чтобы его мнение о человеке было выслушано непредвзято, чтобы критики воспринимали его, забыв и о славе автора, и о своей вражде с ним, которую Поуп-сатирик возбудил в очень многих литераторах. Отсюда анонимность эпистол, выходящих отдельно в 1733—1734 гг., и первого полного издания, увидевшего свет 20 апреля 1734 г.

«Опыт о человеке» неоднократно и подробно комментировался. Начало было положено самим Поупом, включавшим пояснения тех или иных строк в издания поэмы, предпославшим ей прозаическое предисловие и «изъяснения» к каждой эпистоле (они включены в настоящий комментарий). Затем еще при жизни автора «Опыт» был откомментирован его другом — священником (позже епископом) Уорбертоном, взявшим поэму под защиту от обвинения в ереси и безбожии. Современный академический комментарий, выполненный самым авторитетным знатоком творчества Поупа — М. Мэком для «твикенхемского издания», раскрывает сотни явных и скрытых совпадений мысли Поупа с суждениями философов от античности до начала XVIII в.

Игорь Шайтанов

Эпистола I
«Изъяснение» А. Поупа

«О человеке вообще. I. О том, что мы имеем возможность судить относительно лишь нашей вселенной и остаемся в неведении относительно других вселенных и других явлений. II. О том, что человека не следует полагать существом несовершенным, но соответственным его месту и положению в творении, согласным с общим порядком вещей и ради его же спокойствия лишенным знания отношений и целей, ему чуждых. III. О том, что частью от его неведения о грядущих событиях и частью благодаря его надежде на будущее блаженство зависит его счастье в настоящем. IV. Тщеславие, побуждающее устремляться к большему знанию и выказывать большее совершенство, — причина человеческих ошибок и несчастия. Кошунственно равнять себя с Богом и судить о том, какие из его установлений годны или негодны, совершенны или несовершенны, справедливы или несправедливы. V. Абсурдно мнить себя конечной целью творенья или ожидать в нравственном мире того совершенства, коего нет в природе. VI. Неразумно роптать на Провидение, требуя от него, с одной стороны, совершенств, дарованных ангелам, а с другой — телесных качеств, дарованных животным; обладание более тонкой чувствительностью сделало бы человека несчастным. VII. О том, что во всей зримой вселенной блюдетсЯ порядок и иерархия в согласии телесных и душевных свойств, откуда и происходит подчинение одного существа другому, а их всех — человеку. VIII. Как далеко этот порядок и иерархия живых существ простираются над нами и ниже нас; буде одна часть нарушена, не эта часть только, но все связанное творение должно уничтожиться. IX. Противуестественность, безумие и тщеславность желания к тому побуждающего. X. Из сказанного следует: абсолютное повиновение воле Провидения во исполнение наших настоящих и будущих целей».

1. Долой заботы, дорогой Сен-Джон! — Г. Сен-Джон, виконт Болингброк, о нем подробнее см. прим. к журналу «Исследователь», № 26. и во вступит. статье. Дружеское сближение Поупа с ним происходит в начале 1713 г. после публикации поэмы «Виндзорский лес», ратовавшей за окончание войны и заключение мира. В последующие полтора года оба являются членами кружка Мартина Скриблурса.

«Опыт о человеке» написан в форме посланий к Болингброку, в беседах с которым поэма рождалась. Тем не менее вопрос о реальном участии Болингброка в ее создании сложный и спорный. Одни считают, что его идеи послушно восприняты и зарифмованы Поупом, для которого был составлен подробный прозаический план поэмы; другие указывают на то, что поэт в своей моральной системе опровергает широко известное вольномыслие Болингброка и что замысел поэмы возник прежде нравственных сочинений опального политика.

21. *Открыт Создатель тысячным мирам...* — Идея множественности миров, которую так свободно излагает Поуп, в XVIII в. еще не утратила своей крамольной новизны, хотя и была, безусловно, принята наукой. В России именно эта идея стала одним из самых серьезных цензурных препятствий к опубликованию перевода Н. Поповского, даже несмотря на то, что она уже высказывалась в русской поэзии (например, М. В. Ломоносовым — «Вечернее размышление о божьем величии») и была подробно развита А. Д. Кантемиром в его переводе книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» (1740).

63. *А сонный бык, гонимый батогами...* — Апис, священный бык, почитавшийся воплощением бога у древних египтян.

87—88. *Его вниманья равно удостоен // И жалкий воробей, и храбрый воин...* — Знаменитый афоризм, представляющий собой перифраз библейского выражения (Мтф., 10, 29), которому Поуп придает новый смысл: у него Бог не вмешивается в ход земных событий, что составляет характерную черту новой философии — деизма.

143. *Когда земля, восстав, подобно водам...* — Одним из существенных аргументов против разумности мироздания была ссылка на стихийные бедствия, которые невозможно объяснить праведностью божьего гнева. Один из ощутимых ударов просветительному оптимизму будет нанесен знаменитым лиссабонским землетрясением 1755 г. (о нем и повествует Вольтер в отдельной поэме и в повести «Кандид»); такого рода бедствия и ранее смущали умы, требовали объяснения, например землетрясение на острове Сен-Винсент (1718), мощный ураган в Вест-Индии (1721), землетрясение, поднявшее огромную океанскую волну в Чили (1732).

259. *А сын Аммона с венценосным Гаем...* — Аммон — древнеегипетское божество, земным воплощением его сына признавали Александра Македонского; Гай — Гай Юлий Цезарь.

202. *А если бы Природа, например, // Нас оглушила музыкою сфер...* — Образ, восходящий к философии пифагорейцев, полагавших, что мироздание представляет собой совокупность из десяти вращающихся сфер, каждая из которых имеет свой тон звучания и все они сливаются в музыкальный образ мировой гармонии; слышать ее дано лишь ангелам.

237. *Бог начал цель...* — Образ Цепи Существ, как эта идея обозначалась в России в XVIII в., или Великой Цепи Бытия, как ее обозначают теперь имеет долгую историю в европейской философии и обычно возводится как к первоисточнику к платонизму поздней античности. Поуп не был первым, кто развил эту идею в Англии в XVIII в. Аддисон дал ее сжатое изложение в «Зрителе» (№ 408, 18 июня 1712 г.), и именно к этому эссе еще в прошлом веке Я. К. Грот отсылал как к источнику знаменитой державинской фразы в оде «Бог»: «Я раб — я царь — я червь — я бог» (Г. Р.

Державин. Сочинения, т. I. Спб., 1864, с. 201). Однако, хотя Поуп и не был первооткрывателем, идея цепи существ с такой силой поэтического аргумента воплощена им в «Опыте», что она соединилась с его именем. Это подтверждается ее восприятием в России, где М. Н. Муравьев в стихотворении «Успех британской музыки» (1778) так вспоминает о Поупе:

А там пиит-мудрец природу испытует
И цепи зрит существ несчетные звена...

Эпистола II «Изыяснение» А. Поупа

«Забота человека — познать себя, а не любопытствовать о Боге. Срединное положение человека в природе; его сила и его слабость. Ограниченность его дарований. II. Два условия существования человека: любовь к себе и разум, — оба равно необходимые. Любовь к себе сильнее, и почему так. Общность их цели. III. Страсти и их назначение. Главенствующая страсть и ее сила. Она направляет людей к разным целям. Она предопределяет нашу моральную природу и нашу добродетель. IV. Добродетель и Порок соседствуют в нашей смешанной природе; их границы сходятся, но сами они со всей очевидностью различны; о назначении Разума. V. Сколь отвратителен Порок и как мы обманываемся, впадая в него. VI. Как бы то ни было, наши Страсти и Несовершенства не противоречат ни целям Провидения, ни всеобщности Добра. С какой пользой они распределены между людьми; сколь полезны они для общества; и для каждого его члена, каковы бы ни были их положение и возраст».

1. Постичь Творца — нелепая затея... — Поуп открывает эпистола афоризмом, ставшим знаменитым и характерным для просветительской нравственной философии.

21. Пути планет по-новому исчисли... — Поуп подразумевает успехи современной астрономии, физики, математики, давшей возможность уточнить календарь и позволившей И. Ньютону написать одну из основополагающих книг эпохи — «Математические начала натуральной философии» (1687). В один ряд с этими современными открытиями он ставит и философские догадки Платона, и шаманство дикарей, ибо все это для Поупа в данном случае не свидетельство мудрости человека, а его тщеславных заблуждений. Скептическое или, во всяком случае, осторожное отношение к науке, признание недостоверности, даже абсурдности ее выводов, гипотез было распространено среди тори (в то время как пропагандистами науки выступали обычно виги), что нашло отражение и в поэме Поупа, и в третьей части «Путешествий Гулливера» Свифта.

93. Все наши Страсти ощущают тягу... — Отношение Поупа к Страстям было подсказано движением новой мысли в сфере морали; мысли, отказавшейся от безусловного осуждения страстей, от требо-

Комментарий

вания подавлять их, на чем настаивали и влиятельные на протяжении многих веков античные философы-стоики, и современные церковные моралисты, особенно в протестантских странах. Спустя два десятилетия после Поупа и в согласии с ним Ж.-Ж. Руссо повторит ту же мысль, ощущая всю ее новизну и полемичность: «...чтобы там ни говорили моралисты, а разум человеческий все же многим обязан страстям...»

131. *Ааронов змей...* — см. прим. к «Зрителю», № 10.

237. *Вот так и гумор, впитываясь с кровью, // Приводит нас от силы к нездоровью...* — Здесь Поуп непосредственно переходит к описанию главенствующей страсти, вписывая ее в принятую медициной на протяжении многих веков теорию гуморов. Согласно этой теории, гумор — один из четырех видов жидкости в человеческом теле (кровь, флегма, черная и желтая желчь), преобладание которой определяет характер, темперамент: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик. Гумор становится синонимом главенствующей, руководящей человеком страсти; теория литературного характера на этой основе была впервые разработана за сто лет до Поупа Б. Джонсоном (см. вступит/ статью, с. 20).

197. *Нерон* — римский император (54—68 гг.), вошедший в историю своей безумной показной жестокостью, самовлюбленностью и распутством.

198. *Тит* — см. далее прим. к Эпистоле IV, строка 146.

199. *Катилина* — организатор заговора в Риме (66—63 гг. до н. э.) с целью захватить власть; разоблачен Цицероном.

200. *Курций* — легендарный римлянин, который в полном вооружении верхом бросился в образовавшуюся расщелину, ибо, согласно предсказанию, она должна была сомкнуться после того, как Рим принесет ей в жертву самое драгоценное, чем обладает (силу и доблесть).

Эпистола III «Изъяснение» А. Поупа

«I. Вся вселенная — единая система общежития. Ничто в ней не создается только для себя или только для других. Все живое счастливо в ней сообща. II. Разум и Инстинкт равно споспешествуют единству всего живого. III. В какой мере единство общежития связывается Инстинктом; как укрепляется Разумом. IV. О том, что зовется естественным состоянием. Разум, наставляемый Инстинктом, в развитии навыков и искусств, а также в развитии форм общежития. V. Происхождение государства; происхождение монархии; патриархальное управление. VI. Происхождение истинной религии и правления из единого для них чувства Любви; происхождение предрасудков и тирании из единого для них чувства Страха. Влияние Любви к себе на распространение всеобщего блага. Восстановление истинной религии и правления на основе их первоначального прин-

ципа. *Смешанное* правление. Различные его формы и истинная их цель».

1. *Итак, Первопричина весь наш род // По-разному, но к одному ведет.* — Уже в самой терминологии, представляя бога как Первопричину или Всеобщую (Universal) причину, Поуп обнаруживает деистический в сущности характер своей мысли: бог являет свое присутствие в созданном им мире, не вмешиваясь в действие законов, по которым этот мир существует. Особенно часто и значительно у Поупа идея бога оборачивается метафорой всеобщей причинности, то есть всеобщей связи вещей и самого мироздания.

56. *Филомела* (греч. миф.) — соловей.

104. *Муавр*, Абрахам де (1667—1754) — математик, француз по происхождению, поселившийся в Англии после отмены Нантского эдикта (1685) и начавшихся гонений на гугенотов.

147. *Порядок этот в мире не случаен...* — С этого места Поуп начинает поэтическое изложение важной в философии XVII—XVIII вв. идеи «естественного состояния», которая вначале окрашивается у него библейской образностью — в духе райской жизни первых людей. Поуп, следуя в этом Болингброку, примыкает к тем мыслителям своего века, кто, во-первых, признавал predisposedness к общественной жизни, заложенной в природе человека, тем самым опровергая, будто интересы каждого непременно приводят его в состояние войны против всех (как полагал Т. Гоббс). А во-вторых, Поуп старался избежать и противоположной крайности, представляющей человека прирожденным альтруистом. Он настаивает не на крайностях, а на синтезе, на примирении крайностей и дает своему убеждению столь законченное и совершенное выражение в поэме, что уже Болингброк в «Письмах об изучении и пользе истории» цитирует из «Опыта о человеке» в подтверждение своей правоты (строки 363—368 из IV эпистолы).

169. *Но кто к Искусствам дал толчок ему?* — Обычным в XVII—XVIII вв. было обозначать переход человека из «естественного состояния» к цивилизации через его движение от Природы к Искусству. Под Искусством в этом случае подразумевалось и все разнообразие приобретенных навыков, и вся сумма знаний, в том числе научных, и отличающая человека от животного способность восхититься открывшейся ему красотой мира: «Искусства в мире возсияли — // Родился новый человек...» — как скажет Н. М. Карамзин.

231—232. *И до тех пор, пока не развратила // Их Разум Остроумья злая сила.* — Каждая из способностей человека, чувственных и интеллектуальных, у Поупа имеет свои достоинства и несовершенства. Двойственная природа приписывается и Остроумью (Wit). Это слово имело очень широкий круг значений. Литераторы, политики, оракулы кофеен нередко назывались «остроумцами», причем слово

произносилось с различными оценочными оттенками: от восхищения до осуждения, — им нередко пользовались как пренебрежительной характеристикой противника, прибегающего к внешне блестящим, но пустым фразам. В течение целой недели в шести эссе тему остроумия трактовал Аддисон в «Зрителе» (№ 58—63), так заявив ее в первой же фразе: «Ничем так сильно не восхищаются и ничто так плохо не понимают, как Остроумие...»

303—304. *«Глупцы пусть спорят из-за форм правленья; // Что к пользе всех — достойно восхваленья».* Эти строки вызвали многочисленные нападки на Поупа уже у его современников. Их трактовали в том смысле, что для автора не важна ни форма правления, ни смысл религиозного учения, лишь бы ему при них хорошо жилось. Поупу несколько раз пришлось разъяснять сказанное: «Автор этих строк далек от того, чтобы полагать, будто бы сама по себе ни одна форма правления не лучше другой... напротив, какой бы превосходной и предпочтительной ни была форма правления, ее недостаточно, чтобы сделать народ счастливым, если она не находится в руках честных людей. Более того, наилучшее правление, когда его форма сохранена, но развращена администрация, становится в высшей степени опасным». (Текст, обнаруженный на полях памфлета, направленного против Поупа, впервые воспроизведен в комментарии М. Мэка.)

Эпистола IV «Изыяснение» А. Поупа

«I. Ответ на ложные мнения о Счастье, как философские, так и бытующие повсеместно. II. Это цель всех людей и для всех достижимая. По Божьему промыслу, в Счастье все равны, а раз так, ему следует быть всеобщим, поскольку частное Счастье зависит от всеобщего и поскольку Бог управляет согласно общим, а не частным законам. Так как для порядка, мира и процветания, царящих в обществе, необходимо, чтобы обладание внешними благами было неравным, то Счастье заключено не в них. Однако, невзирая на таковое неравенство, Провидением блюдетс я равновесие в обладании Счастьем благодаря двум чувствам: Надежды и Страх а. III. В чем состоит Счастье каждого, пока оно согласно с устройством мира; и о том, что преимущество здесь за добронравным человеком. Ошибочно судить о Добродетели по тому, что есть лишь следствие природного бедствия или ошибка Фортуны. IV. Глупо ожидать, что Бог отступит от всеобщности законов в пользу частных обстоятельств. V. Не нам судить о том, кто добронравен, но кто бы он ни был, он счастливейший. VI. О том, что внешние блага не есть прямая награда и даже несовместны с Добродетелью и для нее губительны. И что даже они не имеют силы сделать счастливым того, кто не добродетелен, чему и приводятся примеры через изображение Богатства, Почестей, Благородного Происхождения, Величия, Славы, Высших Дарований, кои не осчастливили владевших ими. VII. О

том, что единая Добродетель составляет Счастье безграничное и длящееся вечно. О том, что совершенство Добродетели и Счастье следуют путями Провидения ныне и отдаются во власть его ныне и во веки веков.

99. *Фолкленд*, Люций Кэри, виконт (1610—1643) — придворный Карла I, поэт, вольнодумец. С началом революции принявший сторону короля скорее из чувства долга, чем по убеждению, Фолкленд, как считали, искал смерти в бою; погиб в битве при Ньюбери, ринувшись в гущу врагов.

100. *Тюрени*, маршал Франции (1611—1675) — выдающийся полководец.

101. *Сидни*, сэр Филип (1554—1586) — дипломат, государственный деятель, величайший английский поэт эпохи Возрождения; его личность и его смерть в войне с Испанией возвеличены легендой.

104. *Дигби*, Роберт — друг Поупа, смерть которого 24 апреля 1726 г. в возрасте 40 лет он почтил эпитафией.

108. *Епископ* — имеется в виду Бельсьюнс де Кастельморон, епископ Марсельский, прославившийся своим героическим милосердием во время чумы 1720—1721 гг.

109. *Как мать моя...* — Мать Поупа была смертельно больна и умерла (7 июня 1733 г. в возрасте 91 года) как раз во время его работы над четвертой эпистолой.

123. *Ужели Этна сдержит пламень свой...* — Согласно легенде, древнегреческий философ Эмпедокл (490—430 гг. до н. э.) бросился в кратер Этны, чтобы доказать свою власть над природой.

126. *Безел*, Хью — друг Поупа, страдавший астмой, которому поэт писал (9. III. 1733), что вставил в свою поэму одну строку о нем, но боится, как бы Безел не обиделся на это упоминание.

130. *Чартрис*, Фрэнсис, (1675—1732) — «известный негодяй, недавно умерший» (прим. Поупа к «Моральным опытам»).

146. *Тут* — римский император (71—81), отличавшийся стремлением править разумно и справедливо. Историк Светоний сообщает: «Когда однажды за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал ничего хорошего, и произнес свои знаменитые слова, памятные и достохвальные: «Друзья мои, я потерял день!» *Цезарь* — Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) сосредоточил в своих руках всю полноту власти в Риме и, приняв титул императора, положил конец республиканскому периоду.

209. *Лукреция* — знатная римлянка, обесчещенная сыном царя Рима Тарквиния Гордого и лишившая себя жизни (ок. 509 г. до н. э.).

225. *Говарды* — аристократическая английская фамилия.

220. *Шведский Карл* — Карл XII (1682—1718), шведский король, чье безрассудство в войне с Россией и особенно после поражения под Полтавой стало широко известно в Евро-

Комментарий

пе. *Македонский царь* — Александр Великий (356—323 гг. до н. э.).

234. *Аврелий* — Марк Аврелий Антоний, римский император (161—180), был также философом, последователем стоиков; прославился мудрой умеренностью правления.

235. *Сократ* — приговоренный в 399 г. до н. э. афинским судом к смерти, он принял яд, подтвердив свое учение, в основе которого — умение подчинять разумом страсти.

240. *Туллий* — см. прим. к «Истории Джона Булла».

244. *Евгений* — принц Евгений Савойский, см. прим. к «Истории Джона Булла».

258. *Марцелл*, Марк Клавдий — римский консул в 51 г. до н. э., противник Цезаря, изгнанный из Рима. Предполагают, что у Поупа здесь содержится намек на герцога Ормонда, военного министра в правительстве тори, бежавшего из Англии после смерти королевы Анны.

278. *Лорд Умбра* — хотя существуют различные догадки, точно неизвестно, кого подразумевал Поуп в данном случае и далее под именами сэра Билли или Грипия.

282. *Чем кончил Бэкон...* — Фрэнсис Бэкон (1561—1626), основоположник философии нового времени; находясь на посту лорда-канцлера при Якове I, был обвинен в злоупотреблениях и вынужден оставить пост.

292. *Из грязи, как Венеция, возшла...* — Венеция по соображениям большей безопасности была основана в труднопроходимом низком месте на берегу лагуны Адриатического моря. Здесь и в последующих строчках намек на семейство Мальборо (см. подробнее прим. к «Исследователю», № 16).

И. Шайтанов

С о д е р ж а н и е

| | |
|--|---------|
| И. Шайтанов. «Столетье безумно и мудро...» | 5—34 |
| Автопортрет Джона Булла | |
| Д. Дефо. Чистокровный англичанин. <i>Пер. И. Кутика</i> | 37—40 |
| Д. Арбетнот. История Джона Булла. <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 41—69 |
| Дж. Свифт. Предложение об исправлении, улучшении и закреплении английского языка. <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 70—81 |
| Д. Дефо. Опыт о проектах. <i>Пер. Н. Лебедевой</i> | 82—87 |
| Дж. Аддисон. Эссе из журнала «Фригольдер». <i>Пер. Н. Трауберг</i> | 88—94 |
| Зритель | |
| Дж. Аддисон, Р. Стил. Эссе из журнала «Зритель». <i>Пер. Н. Трауберг</i> | 97—184 |
| Виги и тори. | |
| Д. Дефо. Простейший способ разделаться с диссентерами. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> | 187—202 |
| Дж. Свифт. Краткая характеристика его светлости графа Томаса Уортона *. <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 203—259 |
| Дж. Свифт. Эссе из журнала «Исследователь». <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 203—207 |
| Дж. Аддисон. Эссе из журнала «Фригольдер». <i>Пер. Н. Трауберг</i> | 260—270 |
| Дж. Арбетнот. Искусство политической лжи *. <i>Пер. Ю. Левика</i> | 271—282 |
| Поражение победителей | |
| Дж. Свифт. О гражданском духе вигов и пр. <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 285—324 |
| Дж. Свифт. Несколько непредвзятых мыслей о нынешнем положении дел в Ирландии. <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 325—347 |
| Д. Дефо. Призыв к Чести и Справедливости. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> | 348—386 |

Содержание

Новые люди

| | |
|---|---------|
| Д. Дефо. Протест фригольдеров против биржевых спекуляций. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> | 389—398 |
| Д. Дефо. Совершенный английский торговец. <i>Пер. Т. Казавчинской</i> | 399—409 |
| Дж. Аддисон. Эссе из журнала «Фригольдер». <i>Пер. Н. Трауберг</i> | 410—412 |
| Дж. Свифт. Беглый взгляд на положение в Ирландии * <i>Пер. М. Шерешевской</i> | 413—420 |

Философский эпилог

| | |
|---|---------|
| А. Поуп. Опыт о человеке. <i>Пер. И. Кутика</i> | 423—460 |
| И. Шайтанов. Историческое послесловие | 461—466 |
| Комментарий | 467—524 |

А 64 Англия в памфлете: Англ. публицист. проза нач. XVIII в. : Пер. с англ. / Сост., авт. предисл. и коммент. И. О. Шайтанов. — М.: Прогресс, 1987. — 528 с., 27 ил.

В книге собраны лучшие образцы английской политической публицистики XVIII в. Среди авторов: Аддисон, Свифт, Дефо, Стил, Поуп, чьи эссе и памфлеты оказали значительное влияние на развитие всего европейского Просвещения. Произведения, вошедшие в сборник, дают возможность проследить, как складывался национальный и исторический тип сознания, отражают атмосферу — литературную и политическую — XVIII в., важную для понимания всей английской литературы последующего периода. Большинство произведений на русском языке публикуется впервые.

А 4703000000-725 77-87
006(01)-87

ББК 84.4 Вл

АНГЛИЯ В ПАМФЛЕТЕ

Составитель
Игорь Олегович Шайтанов

Редактор А. Н. ПАНКОВА
Художник В. Е. ВАЛЕРИУС
Художественный редактор В. А. ПУЗАНКОВ
Технический редактор М. Г. АККОЛАЕВА
Корректор Г. А. ЛОКШИНА

ИБ № 15148

Сдано в набор 10.03.87. Подписано в печать 23.11.87.

Формат 84 x 108 ¹/₃₂. Бумага офсетная.

Гарнитура эксцельсиор

Печать офсетная. Услови. печ. л. 27,72.

Усл. кр.-отт. 56,04. Уч.-изд. л. 26,83.

Тираж 50 000 экз. Заказ № 1013.

Цена 1 р. 50 к. Изд. № 41891.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Прогресс»
Государственного комитета СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
119847, ГСП,
Москва, Г-21,
Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Калининский полиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 170024,
г. Калинин, пр. Ленина, 5.